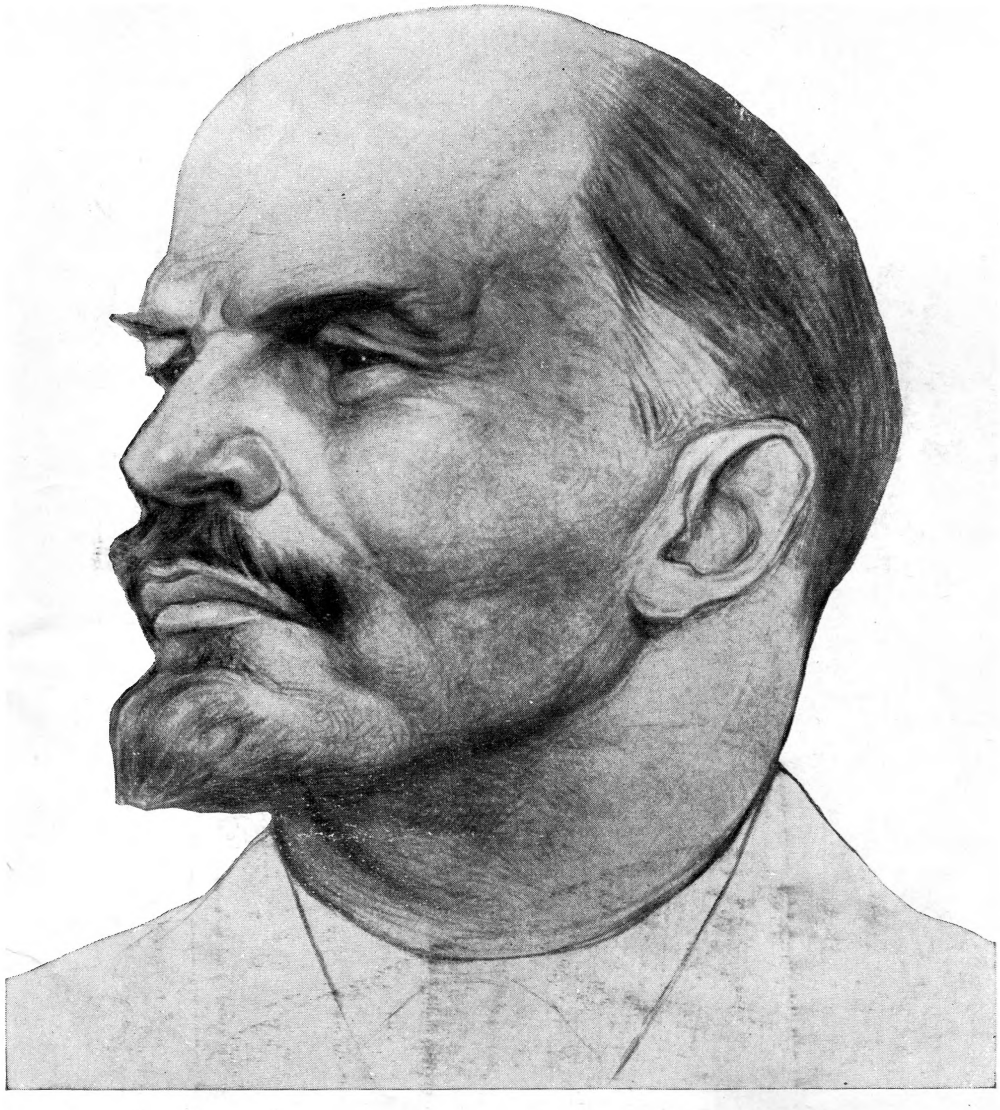
ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

5

НОЯБРЬ

1955

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ



Портрет Н. А. Андреева.

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Содержание

ЛЕНИН В ГОДЫ РЕВОЛЮЦИИ

Из воспоминаний зарубежных писателей о В. И. Ленине. Предисловие Н. Погодина 3
АЛЬФРЕД КУРЕЛЛА — ИВАН ОЛЬБРАХТ — АНТОНИН ЗАПОТОЦКИЙ — КРУМ КЮЛЯВКОВ — ЦЮЙ ЦЮ-БО.

ПОЛЬ ЭЛЮАР — Свобода *(Стихи)* 16
НЬОУ ЧО — Рассвет *(Стихи)* 19
МИХАЙ БЕНЮК — Молнии и звезды *(Стихи)* 20
МАРИЯ ДОМБРОВСКАЯ — На деревне свадьба *(Повесть)* 21
ГОВАРД ФАСТ — Христос в Куэрнаваке *(Рассказ)* 61
МУХАММЕД ДИБ — Большой дом *(Роман)* 78
ПАБЛО НЕРУДА — Ода радости *(Стихи)* 106
ЧЖАО ШУ-ЛИ — В деревне Саньливань *(Роман. Окончание)* 108
СТЕВАН СРЕМАЦ — Почтенный старец *(Рассказ)* 185

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ АДАМА МИЦКЕВИЧА

АДАМ МИЦКЕВИЧ — Из „Крымских сонетов“ 199
Смерть полковника 203
М. РЫЛЬСКИЙ — Об Адаме Мицкевиче 204
СЕМЕН КИРСАНОВ — Читая Мицкевича 207

К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МИХАИЛА САДОВЯНУ

Классик румынской литературы 210
М. САДОВЯНУ — Народная поэзия 211

КРИТИКА

Н. НИКОЛАЕВА — „Чтобы не было ни лживых, ни немых книг“ 214

РЕЦЕНЗИИ

ЕЛЕНА СТАСОВА — Образы женщин-борцов 225
Л. СИМОНЯН — Неумирающий Киш 227
В. РОЗЕНЦВЕЙГ — Люди новой Румынии 231
Л. ОСПОВАТ — Книга Герреро „Ускользающая земля“ 234

5

1955

НОЯБРЬ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ

БОРИС ПОЛЕВОЙ — Легендарный Джон Рид 239

ПИСЬМА ИЗ-ЗА РУБЕЖА

МУНИР СУЛЕЙМАН — Арабская культура и современность 244

ПУБЛИЦИСТИКА

Деятели культуры о задачах современного искусства
МАРИЯ МАЙЕРОВА — Искусство и революция 246
ЛИОН ФЕЙХТВАНГЕР — Литература — сила, сближающая народы 247
ПОЛЬ РОБСОН — Песни свободы 249
ЛАО ШЭ — Лицом к жизни 251
ЖАН-ПОЛЬ САРТР — Отражать настоящее сквозь призму будущего 252
ДИМИТР ДИМОВ — Искусство жизнеутверждения . . . 254
АРНОЛЬД ЦВЕЙГ — Искусство, форма, действительность 256
ХАН СЕР Я — Путь народности и реализма 257
МУЛК РАДЖ АНАНД — Новая эра 259
ИВ МОНТАН — От всего сердца 259
НАЗЫМ ХИКМЕТ — Октябрьская революция и литература 260

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

Гравюры китайского художника Гу Юаня 265

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ *(Хроника)* . . 269

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ 288

ЛЕНИН В ГОДЫ РЕВОЛЮЦИИ

(Из воспоминаний зарубежных писателей о В. И. Ленине)

Тридцать восемь лет назад на одной шестой части земного шара была свергнута власть буржуазии и основано первое в мире социалистическое государство. Празднуя славную годовщину, советские люди обращаются памятью к незабываемым дням Октября 1917 года, когда с трибуны II Съезда Советов Владимир Ильич Ленин провозгласил рождение социалистического государства.

Ленин и революция. Образ великого вождя и великое событие для миллионов трудящихся всего мира слились воедино. Нам бесконечно дорого все, что относится к дням революции, к памяти ее организатора и руководителя Владимира Ильича Ленина.

Собранные здесь и впервые на русском языке публикуемые отрывки из мемуарных материалов, рисующие нам образ Владимира Ильича Ленина, написаны в разное время людьми разных наций. Они, эти материалы, индивидуальны, отнюдь не стереотипны и уж, во всяком случае, писались без мысли о том, что когда-нибудь будут объединены и, собранные в хронологическом порядке описываемых событий, появятся в печати.

И когда теперь, через многие годы после написания, читаешь эти записки, то вновь и вновь неизбежно убеждаешься в двух особенностях, отличающих великое множество высказываний о Ленине.

Первая состоит в том, что всякий, даже самый краткий, рассказ о Ленине, о самой мимолетной встрече с ним всегда пронизывает чувство ленинского величия — величия, лишенного внешних знаков.

И вторая состоит в том, что ленинский образ так громаден, так неисчерпаем, что в каждом воспоминании — будь то рассказ о короткой встрече или большие впечатления от ленинских бесед — всегда открываются какие-то новые черты.

Неимоверно дороги как для нас, современников, так и для будущих поколений эти черты, ибо в целом они воссоздают образ Владимира Ильича Ленина, достойный его бессмертного имени.

Николай Погодин.

Альфред Курелла

ПЕРВОЕ МАЯ 1919 ГОДА

...Многие люди во всех уголках земного шара знают сегодня эту картину: длинное светлое здание, увенчанное зеленым куполом, над которым развевается красное знамя; угловое окно, в котором до недавнего времени по ночам горел свет; выступающие далеко вперед полированные матово-красные гранитные плиты мавзолея около посаженных рядами темных елей, а между мавзолеем и зданием с куполом — древняя кирпичная стена с высокими зубцами, похожими на хвосты ласточек...

На этой стене, между двумя высокими зубцами, стоял в канун 1 мая 1919 года молодой немецкий коммунист и смотрел на расстилавшуюся перед ним Красную площадь.

В то время Красная площадь у подножья стены выглядела не так, как мы привыкли видеть ее сейчас. Тогда там находилась свежая могила: за несколько недель до того здесь был погребен Яков Свердлов — один из тех великих людей социалистической революции, чьи останки покоятся ныне у кремлевской стены.

Перед могилой была возведена высокая, наскоро сколоченная трибуна. И на ней стоял человек. Он не стоял спокойно; он все время двигался в этом маленьком, отведенном для него пространстве, и по его жестам, по его рукам, то энергично выбрасываемым вперед, то будто призывно или вопросительно разводимым в стороны, то отбивающим ритм фразы, и по его голове, которая, казалось, быстро и порывисто меняла положение, — по всему этому можно было понять, что он произносит речь, хотя до зубцов стены его голос доносился неясно.

Вокруг этого голоса стояла такая всеобъемлющая тишина, что отсюда, сверху, можно было ощутить ритм, подобный биению пульса, — ритм тех мыслей оратора, которые держали в напряжении большую толпу, летя над пустым четырехугольником, тянувшимся перед трибуной. Как раз на этом месте только что состоялся небольшой военный парад. Солдаты, одетые не совсем парадно (даже издали было видно, как пестра их одежда), стояли теперь в каре справа от причудливого собора Василия Блаженного. Другие солдаты образовали цепь вокруг освободившегося места, на котором происходил парад, а за ними — огромная толпа людей. Здесь, тесно прижавшись друг к другу, стояли, не заполняя всей площади, те, кто пришел на майский праздник и кто составлял в то время «всю Москву». К ним, этим людям, был обращен голос оратора, приковавшего к себе со всех сторон десятки тысяч глаз.

И вот речь закончена. Несколько особенно энергичных жестов сопроводили последние слова, и многоголосое эхо будто пробудившейся взволнованной толпы явилось на них ответом.

Человек на трибуне собрался спуститься вниз по ступеням. Из широко распахнутых ворот под большой башней с часами выехал скромный автомобиль. Возгласы немного стихли, и стал слышен небольшой духовой оркестр, медленно завершавший третью строфу «Интернационала».

Но когда невысокий человек спустился к подножью трибуны, куда в тот же момент подъехал автомобиль, толпа прорвала слабый кордон.

Альфред Курелла — писатель и публицист, директор Литературного института в Лейпциге (Германская Демократическая Республика). Перевод воспоминаний сделан по тексту книги «Он мир ото сна пробудил. В. И. Ленин в произведениях немецких писателей», Берлин, 1954 год.

Увлекая за собой солдат, одушевленных тем же стремлением, что и их братья в рабочей одежде, и совсем не думавших противиться толпе, люди вдруг устремились со всех сторон к человеку, стоявшему у автомобиля. Как от упавшего в воду камня — только в обратном направлении — шли концентрическими кругами людские волны, суживаясь и становясь все гуще. А то, что оставалось единственной серой точкой на светлой мостовой пустого прямоугольника, — автомобиль и усевшийся в него человек, — стало в один миг едва заметным центром почти черной массы, растущей с быстротой ветра, бушующей и клокочущей, которая окружила медленно двигавшийся автомобиль. Человек в машине встал. Он приветственно поднял руку с кепкой навстречу этому океану, а из океана, под беспрерывные взмахи рук и шапок, все громче раздавалось:

— Ленин... Ленин... Ленин...

Все те, кто был на площади, стар и млад, люди в военных куртках и пиджаках, смешавшись в одну пеструю толпу, — все в один момент оказались здесь, и все это единое целое двинулось, кружась и кружась вокруг одной точки, которая была не точкой, а скорее центром этого водоворота, — и все это единое целое плавно покатилось к башне с часами. Затем большие ворота медленно поглотили серый автомобиль, и почти в тот же миг волна стихающего напряжения прошла по толпе от центра к краям, и она, словно лишившись магнетического центра притяжения, распалась в бесформенную массу, постепенно стала крошиться и редеть...

Иван Ольбрахт

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ О ВЛАДИМИРЕ ИЛЬИЧЕ ЛЕНИНЕ

Впервые я увидел Владимира Ильича 16 марта, вскоре после моего приезда в страну Советов, в московском Большом театре. Там происходило траурное заседание, посвященное годовщине со дня смерти Якова Михайловича Свердлова, одного из вождей русской революции и основателей первого государства Советов рабочих депутатов.

Этого впечатления я не забуду никогда. Театр, один из крупнейших в Европе, — весь в золоте и пурпуре. Балконы и ложи выступают золотыми полукольцами на красном фоне обивки и шелковых занавесей. Расположенная против сцены просторная царская ложа с балдахином, занимающая в высоту два яруса, — тоже сплошь золото и пурпур. И всюду рабочие. Они пришли в кожанках и полушубках, в фуражках, красноармейских шлемах и высоких белых папахах, в шерстяных платках, меховых девичьих шапочках и косынках, пришли, как в собственный дом, просто и радостно, заняли все до единого места в партере и пурпурно-золотых ярусах, включая царскую ложу, расселись на стульях в глубине открытой сцены, задник которой представлял собой какой-то синевато-серый готический собор, украшенный колоннами. Между колоннами натянуто широкое кумачовое полотнище с надписью «Про-

---

Иван Ольбрахт (1882—1952) — выдающийся чехословацкий писатель, один из организаторов Коммунистической партии Чехословакии. В 1920 году, вернувшись из Советской России, И. Ольбрахт издал три книги очерков «Картины современной России». Перевод публикуемых воспоминаний сделан по тексту сборника «В конечном счете победит народ», Прага, 1952 год.

летарии всех стран, соединяйтесь!». А несколько ниже висит обрамленный хвоей портрет Свердлова.

Впереди, за покрытым красной материей длинным столом, занимающим всю сцену, — вожди революции, руководители коммунистической партии, те, кто заложил фундамент новой эры в истории.

Незадолго до начала заседания на сцену из-за боковой кулисы выходит Ленин. Небольшой, широкоплечий, с темнорусой бородкой, с лысиной и крутым лбом, устремленным вперед, словно готовый протаранить все, что только встанет на пути. Владимиру Ильичу через несколько дней исполнится пятьдесят. Его встретили аплодисментами. Не слишком шумными, скорее дружескими, чем восторженными. Ленин садится на один из свободных стульев за столом президиума — третий или четвертый от края; место совершенно неприметное. Почему? Да потому, что он здесь среди товарищей, с которыми уже двадцать пять лет работает вместе, которых хорошо знает и которые так же хорошо знают его.

Председатель открывает собрание краткой речью. Ленин смотрит на часы, проводит рукой по лысине, затем трогает рукой полные губы, оборачивается к кому-то назад и что-то говорит. Я гляжу на этого могущественнейшего в мире человека. Все его портреты неудачны. Они придают прищуренным глазам Ленина какое-то саркастическое выражение, которое отсутствует в его лице, и не говорят, что у него светлые волосы. От уголков глаз Ильича веером расходятся морщинки.

Товарищ Ленин! Не больше, но и не меньше. Человек, которого эпоха вывела из чердачных каморок и музейных библиотек эмиграции и поставила в центр событий мировой истории.

Он, которого из недр своих подняла масса людей, чтобы в его ясных, твердых, как удар колокола, словах выразить свой нестройный крик, чтобы из мутного хаоса разрозненных помыслов он смог выковать идею, чтобы он руководил ими, сплотил их и вместе с ними завоевал мир.

И вот он встает и выходит на авансцену. Одет Ленин, как рабочий с какого-нибудь чистого производства: коричневый пиджак, порыжевшие, собравшиеся в складки брюки. Он берет слово, и весь как-то становится тверже, как бы еще собраннее. Голос у него сильный и звучный, но несколько приглушенный. Так бывает у людей, которые слишком часто напрягают голосовые связки, выступая на митингах. Но возможно также, что это последствия ранения в легкие, которое нанесла ему в позапрошлом году на заводе Михельсона эсерка Каплан. Ленин говорит о Свердлове. Его фразы спокойны, выразительны; они одинаково четки и ясны, ибо все, что он произносит, важно: не нужно ничего особенно подчеркивать и нет ничего лишнего. Таковы же и его жесты: категорические, не допускающие сомнений. Сжатые кулаки поднимаются и опускаются в такт речи; несколько плавных, широких движений указательным пальцем; решительный взмах руки — страсть, выкристаллизовавшаяся в закон. Ее выгранила тюрьма, она окрепла в изгнании, была отточена под виселицей брата и под виселицами товарищей, закалилась в кровавых кострах контрреволюции.

Но только ли о Свердлове говорит Ленин?

Да, имя этого замечательного человека оратор называет несколько раз; вот и теперь Владимир Ильич вспоминает о том, каким блестящим организатором был Яков Михайлович. Но, произнося эту фразу, Ленин переходит к вопросу о значении организации и дисциплины. Только они могут привести русский пролетариат к победе. Без организации и дисциплины, без их постоянного укрепления невозможно завершить строительство советского государства и обеспечить победу рабочего класса во всем мире.

Ведь кем был Свердлов, соратник и друг Ленина? Детищем эпохи, одним из многих, таким же солдатом революции. Как и Ленин, солдат революции, он был рожден ею и ей принадлежал.

Оратор рассказывает, что с людьми, которых Яков Михайлович умел так хорошо подбирать и расставлять по местам, он знакомился не в салонах и не на банкетах, как это принято на Западе, а в тюрьмах и на этапах, в Сибири и в эмиграции. Такое упоминание необходимо для того, чтобы подчеркнуть различие между Россией с ее старыми революционными традициями и остальной Европой, поскольку вообще необходимо сказать о Западе, о политике Антанты, исполненной ненависти к пролетарской революции, об агентах буржуазии в среде европейских лжесоциалистов, о попытке переворота в Германии, о сообщениях, полученных в этой связи сегодня вечером советским правительством, о надеждах и реальных возможностях немецкой корниловщины. Ленин живет только настоящим и будущим. Революция для него все: только к ней прикованы его мысли, только о ней он говорит, только ее духом он живет...

Он напоминает массам о необходимости организации труда, и его спокойные выразительные слова, его категорические жесты говорят: так, так и так! Речь его убедительна; ничто ей так не чуждо, как лесть: это язык элементарнейших истин и опыта. Он не терпит фразерства. Революции не оставляют непроверенной ни одной «фразы», и в этом — одна из самых прекрасных их особенностей... И массы слушают Ленина. Кажется, что перед тобой огромный бронзовый барельеф застывших в неподвижности голов и бюстов. Тысячи взглядов, устремленных из партера и лож, скрещиваются в одной точке...

На всех лицах одинаковая улыбка, тихая, едва заметная, нежная улыбка великой любви. Ведь Ленин — плоть от плоти и кровь от крови этих масс, и уста его ни разу не произнесли слова, которое одновременно не было бы их словом...

Владимир Ильич кончил свою речь и уходит со сцены. Взоры всех присутствующих провожают его до кулис.

И оцепеневшая во время его выступления толпа снова охвачена прибоем повседневной жизни. Зрительный зал волнуется и приходит в движение.

Выступают и другие ораторы, они тоже говорят о покойном Якове Михайловиче Свердлове. Потом оркестр заполняют музыканты, очевидно, те же, которые играли здесь три года назад штабным офицерам, статским генералам и богатым купцам. Начинается концерт. Исполняют «Девятую симфонию», произведения Римского-Корсакова и Чайковского.

Концерт оканчивается пением «Интернационала». Все встают; шапки и папахи, которые до сих пор оставались на головах, сняты, и в московском Большом театре, в пурпурно-золотом театре с шестью ярусами и просторной царской ложей, тысячеголовая толпа рабочих, крестьян и солдат единым могучим хором подхватывает строфы «Интернационала»:

«Это есть наш последний
И решительный бой...»

Западноевропейский пролетариат пока еще поет: «Это будет последний и решительный бой». Всего три года назад и они так пели.

За время своего девятимесячного пребывания в стране Советов я несколько раз видел и слышал товарища Ленина.

Второй Конгресс III Интернационала, на котором мне посчастливилось присутствовать, открылся в Петрограде. Затем он продолжал свою работу в Москве. От этого Конгресса у меня сохранилось одно до-

рогое воспоминание — о Ленине, великом историческом деятеле, навсегда оставшемся простым и человечным.

Когда члены Исполнительного Комитета заняли свои места в президиуме, на сцену вышел и товарищ Ленин. Он обвел взглядом огромный зал собрания, потом почему-то вдруг сошел в партер и направился вверх по проходу амфитеатра. Все оборачивались и не сводили с него глаз. Где-то в задних рядах сидел старый друг Ленина, ослепший питерский рабочий — революционер Шелгунов. Это один из самых старых друзей Владимира Ильича, оставшихся еще в живых. Он работал вместе с Лениным в подпольных кружках, принимал участие в большинстве проводившихся тогда политических кампаний, распространял листовки, был в 1895 году в числе первых членов «Союза борьбы», а когда в 1900 году под редакцией Ленина начала выходить «Искра», Шелгунов, работавший в ту пору на электростанции близ Баку, стал ревностным распространителем газеты. Он принял участие в подготовке Октябрьской революции, но дождался ее уже слепым.

Когда Ленин подходил к его креслу, ослепшего большевика предупредили об этом. Шелгунов встал, сделал два шага навстречу Владимиру Ильичу, и два борца крепко расцеловались. Вот и все. Мне кажется, они не сказали друг другу ни слова. И все же эта встреча была прекрасна своей человечностью. Потом Ленин вернулся на сцену, и вскоре заседание началось.

О Владимире Ильиче у меня осталось еще одно, внешне незначительное, но приятное личное воспоминание.

Я написал пространную статью о положении в Чехословакии для большого сборника «Интернационал», издававшегося на нескольких языках. По-моему, это было первое обстоятельное сообщение о моей родине. Статья, написанная по поручению чешского Совета, помещавшегося на Кудринской улице, очевидно, была направлена в ЦК партии. Я об этом, впрочем, ничего не знал. Позднее до меня дошло, что ее читал Ленин. Я был очень удивлен, найдя свою статью целиком напечатанной в сборнике «Интернационал». Так Ленин узнал о моем существовании.

В конце весны из Чехословакии прибыла делегация чешских коммунистов, возглавлявшаяся товарищем Шмералем. Вскоре он был приглашен к Ленину. В книге Шмераля «Правда о Советской России» под датой: пятница, 21 мая — имеется только следующая запись: «Сегодня вечером был у Ленина на его квартире в Кремле». И ни слова больше, хотя остальные главы этой книги весьма обстоятельны. О чем Ленин разговаривал с товарищем Шмералем, так и осталось неизвестным. Но одной подробностью Шмераль поделился со мной.

«Как нравится вашему товарищу Советская Россия? — спросил Ленин. — Жалуется он на что-нибудь?» — «Ну, он, разумеется, восхищен страной Советов», — отвечал Шмераль.

Но потом, вспомнив о чем-то, добавил: «Только никак не может достать спичек».

Ленин улыбнулся шутке, опустил руку в карман и вынул спичечный коробок: «Вот ему от меня». Ленинский коробок, конечно, уже пустой, я хранил некоторое время в ящике своего письменного стола. В ту пору в Москве действительно была большая нехватка спичек, и нам с пятого этажа второго Дома Советов приходилось спускаться вниз, где на кухне всегда бурлила горячая вода, и прикуривать свои папиросы-самокрутки от пламени плиты.

Коробок. Мертвый деревянный предмет. Но все же это подарок Ленина. И он был мне очень дорог...

Антонин Запотоцкий

ВОСПОМИНАНИЕ О ЛЕНИНЕ

Это было после первой мировой войны, летом 1920 года. Европа еще сотрясалась от революционных бурь, вызванных войной. На развалинах распавшихся государств создавались и формировались новые государства. На месте старой царской России, на одной шестой части света, вырастала Советская Социалистическая Республика. Распадалась и старая Австро-Венгрия, а на ее территории вырастали новые государства. Между ними была и Чехословакия. Новые государства не только создавались, но и искали для себя новых форм. Эти поиски часто были предметом многочисленных дебатов и борьбы. В этой борьбе сталкивались не только отдельные политические партии, но и целые классы общества. Новое рождалось и росло, старое разрушалось. Поэтому в Европе было неспокойно. Неспокойно было в России, неспокойно было у нас.

В Москве был созван Всемирный Конгресс III Коммунистического Интернационала. Я был послан на Конгресс как делегат левой оппозиции, которая образовалась в недрах социал-демократической партии Чехословакии. Наиболее сильной была оппозиция в Кладне. Красное Кладно и послало меня на Конгресс. Я поехал. Тогда это был нелегкий путь. В Польше была война...

Нужно было ехать через Германию. Из Германии — пароходом в эстонский Ревель, оттуда — в латышскую Ригу. Из Риги — в Петроград и Москву. Всюду остановки и препятствия. Наконец, я добрался до Москвы, но со значительным опозданием. Конгресс был уже открыт. Заседания проходили в коронационном зале царского Кремля в Москве.

Был перерыв заседания, когда я вошел в зал, и здесь я впервые увидел Ленина. На ступеньках трибуны президиума сидел небольшой, на первый взгляд ничем не примечательный человек. На его коленях лежал раскрытый блокнот, в который он быстро что-то записывал. Я остановился, как останавливались многие делегаты. Никто не осмеливался ему помешать. Так вот он — Ленин! Вот тот, чье имя в последние три года так пугает капиталистическую Европу.

Пугает по праву. Только теперь это обнаруживается со всей ясностью. Но если Ленин при жизни наводил страх на капиталистов, то еще больше он пугает их сейчас! Ленин умер, а ленинизм живет. Правильное понимание Ленина и ленинизма означало конец капиталистического строя во многих странах и привело трудящийся народ на путь свободы и социализма.

В 1920 году многие этому еще не верили. Не верили, быть может, и многие из тех, кто в перерывах заседаний Конгресса Коммунистического Интернационала стоял перед Лениным, сидевшим на ступеньках трибуны. Не верили многие из тех, кто принял участие в Конгрессе и с которыми Ленин с ораторской трибуны дискутировал и полемизировал по своим заметкам, сделанным в блокноте. И среди нескольких моих товарищей, делегатов из Чехословакии, как оказалось позднее, были неверящие. Но поверили миллионы трудящихся. И они не только поверили, но и действовали так, как учил Ленин. Тогда, на Конгрессе Коммунистического Интернационала, после первой встречи с Лениным, я прочно встал в ряды верящих. Никогда я об этом не жалел.

Антонин Запотоцкий — президент Чехословацкой республики, выдающийся революционный деятель, один из основателей Коммунистической партии Чехословакии. Автор романов «Встанут новые бойцы», «Бурный 1905 год», «Красное зарево над Кладно». Перевод «Воспоминания о Ленине» сделан по тексту сборника «Они говорили с Лениным», Прага, 1950 года.

На Конгрессе я имел возможность лично говорить с товарищем Лениным.

В один из июньских дней я пришел в гостиницу, и мне сообщили, что я должен идти в Кремль к товарищу Ленину, который пригласил к себе чешских делегатов. Это приглашение вызвало волнение. Мы, чехословацкие делегаты, вдруг стали объектом внимания. Многие делегаты других стран, несомненно, завидовали нам. А я растерялся. Как и о чем буду я говорить с Лениным? Я, рядовой работник социал-демократической партии из угольного Кладно! Да и что вообще может интересовать Ленина в нашей маленькой Чехословакии?

Так думал я даже в прихожей рабочего кабинета Ленина. Однако все мои опасения оказались напрасными. Ленин знал о нас многое.

Прежде всего оказалось, что он понимает чешскую речь. И мы тоже понимали русский язык, хотя говорить не умели. Выяснилось, что переводчик не нужен. Ленин знал Прагу. Он был там на нелегальной конференции русской большевистской партии в 1912 году.

Беседу он начал вопросом, который наверняка ни одного чеха не привел бы в замешательство. Он спросил, едят ли еще в Чехии кнедлики со сливами. Он помнил об этом любимом чешском блюде еще со времени своего пребывания в Праге. Само собой разумеется, что после такого вступления беседа протекала совершенно по-дружески даже тогда, когда мы касались политических вопросов. Ленин интересовался Чехословакией. На большой карте он с наших слов очертил синим карандашом ее новые границы. Разговор перешел на Подкарпатскую Русь, затем его заинтересовало наше отношение к Венгрии (это было после падения Венгерской коммуны); был поднят целый ряд других политических вопросов. Особенно интересовался товарищ Ленин венгерской проблемой. Он хотел иметь как можно более подробную информацию о ней. При этом он очень интересно объяснил свое внимание к проблемам Венгрии.

«У нас здесь много товарищей из венгерской эмиграции. Но я хочу знать ваше мнение. Я слишком хорошо — по собственному опыту — знаю, что эмигранты очень часто изображают отношения в своей стране такими, какими они их желали бы видеть, но не такими, какими они в действительности являются».

Вот так говорил Ленин. Просто, понятно, но в каждой фразе ты чувствовал большую правду, жизненный опыт и необычные знания. Благодаря этой убеждающей силе, исходящей из внутренней правды, Ленин и ленинизм победили.

Победили на одной шестой части света и совершают свое триумфальное шествие в другие части света.

Ленин умер — ленинизм будет вечно жить, и с ним живое воспоминание о товарище Ленине.

Крум Кюлявков

МОЕ САМОЕ СВЕТЛОЕ ВОСПОМИНАНИЕ

В 1921 году в Москве состоялся III Конгресс Коминтерна. Болгарская делегация возглавлялась товарищами Георгием Димитровым и Василем Коларовым ...Как член нашей делегации, я имел большое счастье

Крум Кюлявков — один из старейших членов Болгарской коммунистической партии, писатель, переводчик, лауреат Димитровской премии. В 1921 году был делегатом III Конгресса Коммунистического Интернационала. Перевод воспоминаний сделан по тексту, опубликованному в газете «Литературен фронт» 17 января 1952 года.

не только видеть великого Ленина, но и разговаривать с ним и рисовать его с натуры.

Открытие Конгресса состоялось в Большом театре. Гостиница, в которой остановилась наша делегация, была недалеко от театра, и в назначенное время мы отправились на Конгресс пешком. Выйдя на площадь, мы заметили, что за нами следом идет довольно большая группа детей. Чем мы заслужили такое внимание? Скоро все стало ясно. Последними шли я и Пенчо Дворянов. Дети не спускали глаз именно с Пенчо. Оказалось, что их любопытство было возбуждено покроем карловских шаровар, которые носил Пенчо...

После окончания торжественной части на сцене появился Шаляпин в сопровождении пианиста, который был ему едва по пояс; от этого фигура Шаляпина казалась еще больше. Шаляпин спел несколько песен и закончил выступление «Дубинушкой». Зал загремел бурными аплодисментами, когда он, вместо припева «Эх, дубинушка, ухнем! Эх, зеленая, сама пойдет!», запел:

Эх, дубинушка, ухнем!
Эх, с о в е т с к а я, сама пойдет!..

На другой день начались рабочие заседания Конгресса. В зале, где он проходил, впервые встретились делегаты разных стран, до того знавшие друг друга только по именам. Советские товарищи отнеслись к иностранным делегатам с большим интересом. В свободное время, в перерывах между заседаниями, они подсаживались к нам или же вместе с нами прогуливались в кулуарах, ведя оживленные разговоры. Но еще большим был интерес иностранных делегатов к крупным деятелям и героям Октябрьской революции. Здесь были люди, имена которых прогремели на весь мир, и в первую очередь имя Ленина.

Но Ленина на Конгрессе все еще не было. Он явился, если не ошибаюсь, только на восьмое заседание. При его появлении зал загрохотал от аплодисментов и оваций. Все делегаты, стоя, с энтузиазмом приветствовали великого учителя и вождя, гения революции, который озарил человечество ярким светом своей глубокой марксистской мысли. Скромный и спокойный, он сразу же сел за стол и деловито стал рыться в своей папке, наклонив голову и уже не поднимая ее, — казалось, он хотел сказать: давайте оставим это, есть дела и поважней.

В это время с трибуны говорили итальянские делегаты. В их делегации были не только коммунисты, безоговорочно присоединившиеся к программе III Интернационала и которыми здесь руководил Дженнари, но и последователи Серрати, представителем которых был Лаццари. Серратисты входили в число раскольников Итальянской коммунистической партии. Они не соглашались с некоторыми пунктами программы III Интернационала. Чтобы убедить их в правоте этой программы и помочь Итальянской компартии ликвидировать кризис, в Италию был послан в 1920 году Христо Кабакчиев. Вот почему все стремились услышать, что сейчас скажет представитель серратистов, который только начал свое выступление, когда вошел Ленин.

Уже пожилой человек, оратор старой школы, Лаццари говорил темпераментно, преувеличенно жестикулируя и оборачиваясь во все стороны. Когда он закончил, все приготовились слушать перевод. Сейчас вы надеваете наушники и втыкаете вилку в ту розетку, над которой стоит надпись на вашем родном языке или языке, перевод на который вы хотели бы слушать. Тогда же перевод делался так: после окончания речи переводчики расходились по четырем углам зала и там переводили речь на русский, французский, немецкий и английский языки.

Каждый отправлялся в тот или иной угол, в зависимости от того, какой язык он понимал.

Мы, естественно, отправились в угол, где давался русский перевод. Переводил, кажется, Луначарский... Заслушавшись переводом, я не заметил, как кто-то стал рядом со мной, плотно прижавшись к моему левому плечу. Оборачиваюсь — Ленин! Казалось, мое плечо обдало жаром. Какое счастье! Я всматривался в его лицо, которое было совсем близко от моего, чувствовал его дыхание, видел едва заметные мелкие ямочки на его лице, вглядывался в цвет лица и волос, стараясь запомнить все как можно лучше...

Ленин продолжал слушать, время от времени что-то записывая в свою записную книжку. Лицо его теперь было по-детски спокойно, искренне и добродушно. Я продолжал его разглядывать и думал: какая человечность исходит от него! Гений, который настолько же велик, насколько прост и прекрасен. Так прост и мил, с такой обаятельной силой тебя притягивает, что ты не можешь глаз от него оторвать.

Когда переводчик закончил и делегаты стали расходиться и усаживаться, Ленин внезапно обернулся ко мне.

— А вы почему так загляделись на меня, товарищ?

— Извините, товарищ Ленин, — ответил я, немного смущенный этим неожиданным обращением, — но я художник. Наверно, буду когда-нибудь вас рисовать.

— А, вы, значит, художник? А откуда вы?

— Из Болгарии.

— А много там наших художников?

— Да, есть.

Здесь в смущении я, понятно, немного преувеличил. Тогда в Болгарии наших художников-коммунистов можно было перечесть по пальцам. Но все же они были.

Около нас собралось несколько человек — репортеры и художники. Они, как и я, жадно и с любопытством внимательно вглядывались в лицо Ленина.

— Товарищ Ленин, уделите нам немного времени, — попросил кто-то.

Ленин посмотрел на нас, захватил пальцами свою жилетку и кивнул головой.

— Ну, ну... Пойдемте.

Мы последовали за ним. В одной маленькой комнате было только несколько делегатов. Ленин сел на стул и, вынув блокнот из кармана, обменялся несколькими словами с одним журналистом, французом. Рисовали мы его три или четыре минуты — точно не помню. Кто-то сказал, что его зовут к телефону. Он ушел и больше уже не вернулся. К тому же перерыв закончился и начиналось заседание.

Первым слово получил Дженнари. Когда он кончил, Ленин поднялся на трибуну. Он отвечал Лаццари. И даже не отвечал, а скорее спрашивал. Вопросы сыпались один за другим, как пули из пулеметной ленты. Лаццари все чаще и чаще вынимал свой носовой платок и вытирал взмокшую шею. Теперь Ленин был уже совершенно другим. Его лицо было напряженно, вдохновенно, целеустремленно, и глаза его больше не глядели по-детски.

Другой раз мы были свидетелями интересной сцены. Ленин вошел и сразу же отправился к столу президиума. Но слова оратора, говорившего в то время, показались ему столь интересными, что он, не тратя времени на то, чтобы обойти колонну и попасть в президиум, присел на нижнюю ступеньку возвышения (на котором находился президиум)

и быстро стал что-то записывать в свой блокнот. Этот интересный момент засняло много фотографов, многие художники сделали наброски. Одним из самых деятельных художников, сделавших тогда много рисунков, был Бродский.

Глубоко врезался мне в память и другой случай.

Время нашего пребывания в России было тревожным. Врангель еще не был сброшен в море. То тут, то там вспыхивали очаги контрреволюции. Москва была начеку. Она выглядела безлюдной, потому что люди были на фронте, на ответственных и угрожаемых участках необъятной страны, но око Москвы было бдительно. Студенческие общежития тогда были похожи на казармы. Часто среди ночи студенты брались за свои винтовки, и в окно нашей гостиницы я слышал шум их быстрых шагов, затихавших где-то в направлении Кузнецкого моста.

В связи с отсутствием рабочих рук возникли тогда так называемые субботники.

Каждую субботу все свободные граждане отправлялись на бесплатную работу (нечто подобное трудовым дням у нас), помогая молодому пролетарскому государству справляться с трудностями.

Делегаты Конгресса также захотели принять участие в этих субботниках. И в одну из суббот, построившись в колонны, с песнями и маршами, мы отправились к указанному нам объекту. Это был Александровский вокзал, где нужно было выгрузить из вагонов и рассортировать балки.

Мы прибыли на вокзал. Перед нами стояли длинные вереницы вагонов, груженных балками и другими материалами, — целые товарные составы, разгружать которые было некому. Распределившись по два человека на каждый вагон, мы должны были сгрузить балки из вагонов, а затем сложить их в штабеля.

Разгрузка одного из таких вагонов досталась мне и товарищу Георгию Димитрову. Работа началась. Снимаем балки и осторожно кладем их в сторону. Вначале все шло хорошо: мы одновременно подхватывали балки и одновременно клали их на определенное место. Но к середине работы — уже когда вагон был почти наполовину разгружен — случилась небольшая неприятность. Одна из балок оказалась очень толстой и тяжелой. Товарищ Димитров, который был тогда в расцвете своих сил, как человек здоровее и сильнее меня, удержал балку, а я ее выпустил. Конец балки придавил мне ступню ноги, и я скорчился от боли. Удар был не очень сильным, но советские товарищи сразу же отправили меня в Кремлевскую больницу, где мне сделали компресс и уложили в постель.

Через несколько часов после этого ко мне подошла сестра, улыбнулась и сказала:

— А знаете, кто интересуется вами? Только что спрашивал Владимир Ильич. Он узнал, что один из иностранных делегатов ушибся при разгрузке балок на Александровском вокзале, и спрашивал о его здоровье.

Забывается ли такое? Очень трудно представить себе, как нашел Ленин время заниматься такими мелочами.

Эти отдельные моменты из жизни самой светлой личности в истории человечества глубоко врезались в мою память.

Цюй Цю-бо

ЛЕНИН

...Красный свет, бьющий во все стороны из Андреевского зала, озаряет вселенную; речи представителей трудящихся разных стран, их голоса сотрясают земной шар — это Коммунистический Интернационал на своем III Конгрессе. Сегодня Кремль стал поистине символом поразительного сочетания различных культур человечества.

Ленин несколько раз выступал на Конгрессе. Он совершенно свободно говорит по-немецки и по-французски, спокойно обдумывая и взвешивая каждое слово. В том, как Ленин держится во время выступлений, нет ничего от университетского профессора. И в этой простоте, с которой он держит себя, виден прямой и непреклонный политический деятель. Как-то я встретился с Лениным в коридоре, и мы разговаривали несколько минут. Он указал мне на некоторые материалы по вопросам Востока, а потом, занятый государственными делами, извинился и ушел.

Всякий раз, когда в Андреевском зале выступает Ленин, протиснуться к трибуне невозможно. На стульях и столах — всюду стоят люди, так что яблоку негде упасть. Когда в зале зажигаются огни, большая тень Ленина, образуя удивительную картину, падает на плакаты и лозунги: «Коммунистический Интернационал», «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», «Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика». Этот силуэт на кумаче рождает необыкновенные чувства и становится особым символом... Последние слова речи Ленина утопают в громе аплодисментов...

6 июля 1921 года.

КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ

Завод «Электросила» № 3, бывшие мастерские «Динамо».

Годовщина Октябрьской революции. В торжественный вечер на заводе собралось много народа... Рабочим — этим честным труженикам — пришлось немало повидать и перенести на своем веку: и разгоны рабочих сходок озверелыми казаками, и подобные урагану стачки, и упорные, не на жизнь, а на смерть, бои с врагами. А сегодня, в годовщину Октябрьской революции, их чествует столько людей! Служащие, рабочие, их семьи, группа за группой, все идут и идут к заводу.

...Все встают, чтобы почтить память павших в боях за революцию. После того как стихают звуки траурной мелодии, на трибуну один за другим поднимаются ораторы, которые горячо поздравляют присутствующих.

Все, на кого ни глянь, в необычайно приподнятом настроении. Но вот совершенно неожиданно они видят, что на трибуну поднимается Ленин. Все, кто был в зале, толпой устремляются вперед. В течение не-

---

Цюй Цю-бо (1898—1935) — выдающийся китайский публицист, член Центрального Комитета Коммунистической партии Китая, расстрелянный гоминдановцами. Литературная деятельность Цюй Цю-бо сыграла большую роль в деле ознакомления китайского народа с жизнью нашей страны. Наряду с очерками, написанными Цюй Цю-бо в связи с его поездками в Советскую Россию, его перу принадлежат переводы ряда произведений русской классической и советской литературы.

Перевод публикуемых отрывков сделан по тексту I тома «Собрания сочинений» Цюй Цю-бо, вышедшего в 1954 году в Пекине.

скольких минут кажется, что изумлению не будет конца. Однако тишина длится недолго: ее вдруг раскалывают крики «ура», аплодисменты, от которых сотрясаются небо и земля...

Взоры рабочих устремлены в одну точку — они прикованы к Ленину. Напрягая до предела слух, они внимательно слушают его речь, стараясь не упустить ни единого слова. На самых простых и понятных примерах Ленин убедительно показывает, что советская власть есть власть самих трудящихся, и сознание этой истины у трудящихся масс растет день ото дня, и с каждым днем она становится для них все более понятной.

«Человек с ружьем — страшный в прошлом в сознании трудящихся масс — не страшен теперь, как представитель Красной Армии, и является их же защитником».

Последние слова Ленина утопают в бурной овации. Кажется, не выдержат заводские стены грома аплодисментов, возгласов «ура» и торжественных звуков «Интернационала» — это пробуждается к жизни и растет великая, могучая энергия...

Собрание окончено. Большинство присутствующих уходит в столовую на праздничный ужин...

Заводской вечер, посвященный празднованию годовщины Красного Октября, был по-настоящему торжественен...

8 ноября 1921 года.

Поль Элюар

Свобода

Перевод с французского С. Боброва

На школьных моих тетрадках,
На парте, на тех деревьях,
На песке, на снегу —
Пишу твое имя.

На страницах прочтенных,
На всех чистых страничках,
И на камне, и просто на пепле —
Пишу твое имя.

На детских моих картинках,
На золотых доспехах,
На королевской короне —
Пишу твое имя.

На джунглях и на пустыне,
На гнездышках и на дроке,
На отзвуке детства —
Пишу твое имя.

На чудесах полночных,
На кусочках хлеба деньского,
На помолвке весны и лета —
Пишу твое имя.

На всех лоскутках лазури,
На пруду, зацветшем от Солнца
На озере ясного Месяца —
Пишу твое имя.

На полях и на горизонте,
На крылах улетающих птиц,
На тенях одиноких мельниц —
Пишу твое имя.

На каждом порыве зари,
На море и на суденышках,
На разметавшихся горах —
Пишу твое имя.

На пенистых тучах,
На грозах вспотевших,
На частом, на редком дожде —
Пишу твое имя.

На мерцающих формах,
На трезвоне звенящих красок,
На правде познанья —
Пишу твое имя.

На разбуженных тропках,
На дорогах, развернутых фронтом,
На прорвавших брега площадях —
Пишу твое имя.

На лампе — сейчас загорится!
На лампе — сейчас потухнет!
На домах моих, сбившихся в кучку,—
Пишу твое имя.

На яблоке — пополам разделим! —
Зеркало и комната моя,
На кровати, пустой, словно раковина, —
Пишу твое имя.

На собаке, лакомке ласковой,
На ушах ее, вздернутых чутко,
На неловкой и теплой лапе —
Пишу твое имя.

На ступеньках у двери моей,
На родных незаметных предметах,
На потоке святого огня —
Пишу твое имя.

И на теле, ко мне прильнувшем,
На челе дорогих друзей,
На каждой руке протянутой —
Пишу твое имя.

На стеклянной стене неожиданностей,
На внимательной складке уст,
Высоко-высоко над затишьем —
Пишу твое имя.

На прибежищах погоревших,
На маяках моих рухнувших,
На стенах неисходной тоски —
Пишу твое имя.

На отсутствии безжеланном,
На нагом одиночестве,
На ступенях смерти —
Пишу твое имя.

На здоровье — оно вернулось!
На опасности — вот и исчезла!
На надежде без воспоминаний —
Пишу твое имя.

И могуществом этого слова
Начинаю я заново жить:
Я родился затем, чтоб понять тебя,
Чтоб назвать тебя,
Свобода!

Ньоу Чо

Перевод с бирманского В. Журавлева

Из-за гор, из-за круч,
из-за дальнего стога,
поднимается луч
с золотого востока.
Он звенит,
как звонарь,
в неба синей громаде.
И блестит,
как янтарь,
утопая в прохладе.

Свет!
Да здравствует свет!
Что ни миг —
он чудесней.
И встречают рассвет
птицы
радостной песней.

Шевелятся кусты.
И на пиршестве лета
оживают цветы
в ожидании света.
Вот они,
затаив
сладость снов,
словно в сказке,
раскрывают свои
с поволокою глазки.
Вот идут на парад
и головки качают,
и хмельной аромат,
не скупясь,
источают.

О, друзья дорогие,
время тьмы на счету.
Время тьмы непробудной
скоро сбросит планета.
Верьте в светлую жизнь
и в ее чистоту.
Свежий встанет рассвет,
только ждите рассвета.

Михай Бенюк

Молнии и звезды

Перевод с румынского П. Железнова

Хоть с молнией сравни перо поэта,
Хоть со звездой —
я тронут буду мало.
Песнь может быть звездою-пустоцветом
И молнией, что даром просверкала.

Уж если быть звездой, так путеводной,
Полярной, нужной спорящим со мглою,
Уж если вспыхнуть молнией свободной,
Так в прах испепелить старье гнилое!

Мария Домбровская

На хуторе свадьба

ПОВЕСТЬ

Перевод с польского Е. Усиевич

Ой, пей, ешь, коль угощают,
Да пляши, когда играют,
Коль бьют в бубен, не зевай,
Догоняют — удирай.

Народная плясовая песенка.

В субботу, под третье воскресенье октября, гости уже с полудня стали съезжаться на свадьбу Зузи Ясноты. Первыми прибыли издалека, из самого Вроцлава, Михал Богусский и Анеля Павоняк — брат и сестра Малгожаты Ясноты. Анеля Павоняк привезла с собой двоих детей, Фелека и Эльжуню; оба они чуть постарше невесты, которой исполнилось всего семнадцать лет.

— А Хеленка, а Стасек? — допытывается Малгожата о невестке и зяте. — А твои дети, Михась, не приедут?

Оказывается, они не приедут. Так уж вышло, что всем им важные дела помешали отлучиться с работы, а Хеленка, как обычно, хворает.

Малгожата встречает гостей, сияя от счастья и вместе с тем сгорая от стыда: в доме еще ничего не готово к свадьбе, работы уйма. Зузя и ее жених Чесек Руцинский пропускают через мясорубку мясо для котлет; на кухне, кроме самой Малгожаты, суетятся ее другая сестра, Паулина Шатковская, и невестка Леокадия, та, что за старшим Богусским, Лукашем. Им уже за пятьдесят, роста они невысокого, худые, и передних зубов недостает, но проворны и крепки, дело горит у них в руках; тяжелые чугуны они поднимают, как перышки. Малгожата присматривает за свиными и говяжьими ножками, которые варятся у нее в чугуне, и одновременно укладывает на два больших противня грудинку, чтобы поставить в духовку жарить. Леокадия из огромной миски отщипывает тесто и катает из него пончики. Паулина жарит пончики в свином сале и обваливает в сахарной пудре. Две взятые взаймы большие стольницы заставлены колобками теста; целая гора уже готовых и обсыпанных пудрой пончиков лежит в жестяном корытце. Пол весь в жирных пятнах, завален отбросами, покрыт мучной пылью; серенький котик принюхивается, нельзя ли чего-нибудь съесть или слизнуть, и носик у него при этом вздрагивает.

— Что поделаешь! Не успели, — оправдывается Малгожата с жалобной извиняющейся улыбкой, и серые глаза у нее сияют. — Четыре дня уж мучимся, четвертую ночь не спим, а работе конца не видно!

Фелюсь Павоняк, оглядев хату, где он провел детские годы, удивленно говорит:

— Я и забыл, что тут так низко... Мне казалось, что дом больше и светлей. — И торопливо поправляется: — Но и так уютно. А когда еще приберетесь...

Приятный паренек! Впрочем, он с детских лет обещал быть таким. Фелюсь тщательно одет, светлые волосы у него гладко зачесаны вверх, взгляд ясный, вдумчивый, он очень учтив, следит, как бы кого не задеть, не помешать кому. И голова хорошая: сдал какие-то трудные экзамены, теперь учится в университете. Малгожата оторопело смотрит на своих щеголеватых родственников. Ну, Михал, тот уже девять лет живет во Вроцлаве, а городским человеком стал еще раньше: шестнадцати лет его взял в ученье электромонтер, родственник одних тут в деревне; теперь Михал стал служащим, заведует городским складом электрооборудования. Но ведь Павоняки всего год назад, поддавшись на уговоры Михала, перебрались во Вроцлав, переписав на Яснотов дом и хозяйство, доставшиеся им по аграрной реформе после немца-колониста, а смотри ты, что за этот год сделалось с Анелей Павоняк и ее детьми! Из всех сестер и братьев Анеля была самой красивой, но когда вышла замуж, от черной деревенской работы огрубела, подурнела. А в городе сразу лоск приобрела, настоящей барышней стала, представительная и еще красивая, хоть и в летах. Фелек уже студент, Эльжуня — продавщица в магазине. Вот только эта Эльжуня что-то нос воротит, озирается так, точно первый раз в жизни попала в этот дом.

— Где же тут танцевать? — сомневается она. — Тут совсем места нет. И такие дыры в полу... Еще каблук оторвешь...

— Не горюй, Эльжуня, — уговаривает ее Малгожата. — За ночь дыры заделаем, починим пол. Да к тому же тут только будете есть. Танцевать будете у матери жениха. У пана Чесека.

— У Чесека? Разгорячишься, а потом в легком платье так далеко идти?

— Да нет, Эльжуня, недалеко! Ты что, не помнишь, где живут Рущинские? — Малгожата смущенно смотрит на племянницу. Из всех присутствующих женщин она одна пухлая, рыхлая, глаза у нее навыкате, светлокарие, как только что вылущенные каштаны, черные волосы после перманента вьются, как у барашка. Модница какая! Блузочка, юбочка, лакированный поясок, чулки-паутинка — городской шик. Но если она выдает товар в магазине, так неужто ей должно быть тут все не по вкусу? Фелек вот тоже изменился, а все-таки свой, такой сердечный, приветливый, не разбаловался в городе. То же самое и Анеля: как заговорит, сразу видно, что все примет, как должно, все поймет, все извинит, даже это столпотворение в доме.

Несмотря на столпотворение, Поля Шатковская и Лодзя Богусская, как будто и не отрываясь от своих пончиков и не отвлекая Малгосю от гостей, уже приготовили чай, угощают прибывших свежими пончиками, кровяной колбасой, сдобными булками. Гости пьют слабенький, соломенного цвета чаек, похваливают колбасу — такой, мол, в городе ни за какие деньги не достанешь, — рассказывают о путешествии. Что ж, ехали хорошо, давки не было, только вот сообщение с деревней Павловицы плохое. До самой Варшавы пришлось ехать по железной дороге, а потом на автобусе возвращаться до остановки Ольшувка. Да еще, когда ехали со Щепаном из Ольшувки, немного озябли, ветер был сильный, и даже под дождем промокли. Ну и о погоде — неужели в Павловицах всегда так? А у них во Вроцлаве весь октябрь жарко, как летом, солнышко, погода — прямо не нарадуешься. Щепан Яснота, который привез гостей на своем гнедом мерине, запряженном в повозку на резиновых шинах,

стоит на пороге, — ему еще нужно пойти накрыть лошадь попоной и дать ей корму. Через два часа он снова собирается к автобусу. Но Щепану жалко оставлять гостей, он мешкает, слушает, что говорят о погоде, и уверяет, что в Павловицах тоже все время было ясно и вот только сегодня погода испортилась. Младшая дочка Яснотов, двенадцатилетняя Ядвися, пронзительным голоском клянется, что отец говорит правду: ну, конечно, еще вчера на дворе было тепло и ясно. Гости кивают головами, но как-то недоверчиво: «Да, — говорят они, — холодная у вас погода». Щепан заявляет, что в таких случаях чай не действует, надо выпить чего-нибудь горячительного. Уж какой-нибудь литр можно найти для гостей из запаса, заготовленного для свадьбы.

— Мать, — несмело обращается он к жене, — дай-ка водки с соком.

И они выпивают по чарке любимого напитка — водки с соком.

Щепан Яснота на четыре года моложе жены, но выглядит старше. У Малгожаты до сих пор фигура, как у девушки, и даже морщинки вокруг рта и серых лучистых глаз не старят ее, а скорее придают лицу озабоченное выражение. Щепан высок, костист, лицо у него землистое, плохо выбритое, щеки впалые, во рту больше дыр, чем зубов. Квадратная челюсть и сильно выдающийся подбородок придают ему вид человека энергичного, но взгляд маленьких черных глазок скорее пуглив и кроток, а широкий рот либо полураскрыт задумчиво и глуповато, либо растянут до ушей в счастливой детской улыбке. Малгожата знает, что за этим взглядом и этой улыбкой скрывается настоящий Щепан, тот Щепан, что в течение шестнадцати лет не сумел построить дом для своей семьи. Только благодаря Павонякам они теперь не скитаются по людям, а их надел с четырех гектаров голого поля вырос до десяти гектаров с садиком и хозяйственными постройками. Но это обременительное богатство, потому что здоровье у Щепана плохое; всю весну он харкал кровью и лишь недавно вернулся домой после трехмесячного пребывания в санатории. Он считает, что вылечился, курит, пьет водку и тоже уже четыре ночи почти не спит. Пока они разделали заколотого кабана, у них ушло двое суток. А теперь, прежде чем ехать к автобусу, с которым он ждет свою восьмидесятишестилетнюю мать, Щепан хочет похвастаться перед гостями невестой.

— Что, хороша у меня дочка, а? — умиленно спрашивает он. — Вся в маму!

— Да, похожа, — поддакивают гости, но про себя думают, что Зузе далеко до той Малгожаты, какой она была в молодости. Нет того лучистого взгляда, влажного, как блестящий от росы лист, нет того румянца на щеках, нет хватающей за сердце улыбки. Зузя небольшого роста, у нее хорошая фигурка, решительные и гибкие движения. Нижняя губа и подбородок немного выдаются вперед, как у отца, глаза голубые, большие и красивые, но без блеска; брови красивые, черные, но щеки бледные, хотя упругие и гладкие. Во всем существе Зузи чувствуется преждевременная зрелость, самоуверенность и трезвость не по летам. Зузя нравится хлопцам. Чесек Руцинский у нее уже второй жених. Он очень недурен собой, строен и гибок, лицо у него продолговатое, смуглое, свежее, волосы каштановые, глаза карие; по моде, принятой сейчас у молодежи, шевелюра у Чесека шапкой поднимается над лбом, а когда он наклоняется, свисает длинными прядями, хоть косу заплетай. Чесеку не дашь его двадцати четырех лет, а Зузя, наоборот, кажется старше своих семнадцати. И жених и невеста — оба очень неразговорчивы. «Ничего не скажешь, — думают гости, — славные, только о чем же с ними поговорить? Верно, заняты собой — свадьба, как никак, событие в жизни немаловажное,— а может, просто работой». Сейчас они как раз покончили с мясом, отдали блюдо с фаршем теткам, а сами, захва-

тив Эльжуню и Фелека, уходят в деревню. Надо еще походить по соседям, кое-что призанять на завтра.

Теперь старшие разговорились. Паулина и Леокадия, не переставая хлопотать у печки, расспрашивают о Вроцлаве. Они одни из всех присутствующих всю жизнь прожили в Павловицах, — Ясноты ведь тоже провели молодость в городе, да еще в Варшаве, а они туда лишь изредка наезжали. Поля Шатковская замужем за шорником, земли у них было кот наплакал, но после аграрной реформы стало побольше; за десять лет новой власти они и шорную мастерскую оборудовали и детей на ноги поставили; теперь все дети уже в городе, кроме самого младшего, который хочет остаться в деревне. По Малгожате и Анеле сразу видно, что они сестры. Поля — та другая. Лоб у нее невысокий, а выпуклый, щеки когда-то были круглыми, и шея была круглая, длинная, полная и белая. Теперь Поля высохла, как щепка, но сердце у нее в груди бьется все такое же, полное смутной тоски. Она была девушкой, когда в павловицкой усадьбе появился художник; он писал ее и говорил, что она похожа на средневековую мадонну; с той поры Поля затосковала по какой-то иной, прекрасной жизни, которая чудилась ей за непонятным ей образом средневековой мадонны. Потом она встретилась с шорником Яном Шатковским, и оказалось, что у шорника тоже тоска лежит на сердце, только тоскует он не по иной жизни для себя, а для всей деревни, всей страны и всего света. Когда после бедствий второй мировой войны в деревне появились люди, которые заговорили о другой, лучшей жизни, Шатковские сразу к ним присоединились. Они уже давно в партии, долгое время ходили, будто заново на свет родились, но теперь как-то приуныли, потухли, что-то в них надломилось, они и сами не знают что, но сердца их снова полны тоской по лучшей жизни. И сейчас Поля жадно слушает рассказы Анели: ведь, может быть, в других местах не так уж все плохо получается, как в Павловицах.

У Леокадии Богусской нос изогнут, как ястребиный клюв, губы еще пухлые, хотя окружены складками увядших щек; видно, что она когда-то была красива какой-то необычной суровой красотой. Леокадия — дочь богатых хозяев, но в семье у них было много детей, и поэтому на ее долю пришлось немного. За Лукаша она вышла по любви, родители не хотели отдавать ее за него, Богусские были голь перекатная — два морга земли на шесть душ! А Лукаш меж тем оказался не хозяин, а прямо клад. С малых лет он был каменщиком и на заработанные деньги не только поставил на жениной земле дом, но и прикупил немного земли, развел фруктовый сад. Он и до сих пор работает каменщиком, но теперь больше по городам, потому что по деревням люди строятся мало: говорят, не стоит. Лодзя и Лукаш считаются сейчас зажиточными хозяевами. Недавно старая бездетная тетка Добжинская, присмотревшись, как они хозяйничают, за пожизненное пропитание переписала на Лодзю свое хозяйство, а они тут же отдали это хозяйство старшему женатому сыну Яцеку, у которого уже есть дети. Как бы времена ни менялись, Леокадия не принимает этого близко к сердцу. Она не требует от людей милостей и не попрекает их за обиды, и чужой судьбе не завидует, и своей не бахвалится, просто живет себе в свое удовольствие. А про Вроцлав она тоже слушает, отчего же не послушать, как живется людям в других местах!

Анеля Павоняк, по своему обыкновению, сложила руки на груди, склонила на бок еще темноволосую голову и неторопливо, негромко рассказывает про свою вроцлавскую жизнь. Малгожата слушает с бьющимся сердцем. Она так беспокоилась, повезет ли там Павонякам, не станут ли они жалеть, что оставили свое хозяйство в деревне. Но как им могло не повезти? Стах Павоняк только зря пропадал здесь. Он отличный

плотник и токарь, да и человек оборотистый; хотя собственной земли у них до реформы не было, но на клочке, арендованном у Лукаша, он поставил себе домик, аккуратненький, как игрушечка, и под мастерскую и под жилье. Не удивительно, что там, в городе, его оценили. С помощью Михала, вроцлавского старожила, он устроился на знаменитый вагоностроительный завод, а теперь кончил какие-то курсы, и перед ним открывается еще лучшее будущее.

— Так вам хорошо живется в этом Вроцлаве? — хочет удостовериться Малгожата.

— Ну, еще бы не хорошо! Тамошнюю жизнь, милая, и сравнить нельзя со здешней. Город! Да еще какой город! — отвечает за сестру Михал.

— Говорят, будто очень разрушен, — вмешивается Леокадия, обваливая в муке котлеты.

— Это верно. Ну, а все-таки город еще большой и красивый. — Несколько минут Михал и Анеля наперебой хвалят Вроцлав.

Михал Богусский, мужчина среднего роста, молодцеватый, с открытым, приятным лицом, серыми, ясными глазами и коротко подстриженной светлой шевелюрой, в которой уже серебрится седина; он очень удачливый, да и неглупый человек. Малгожата его любит больше всех остальных своих братьев, а с его женой Хеленкой они с молодых лет жили, как сестры.

— Все хорошо, одно только худо, — жалуется она, — больно далеко живете. И когда же я мою Хелечку увижу, когда? Расскажи мне о ней, Михал. Что это с ней, чего она все болеет? Попрежнему такая же хорошенькая, как была?

— Сердце у нее больное. Не знаю, хорошенькая, нет ли, знаю только, что люблю ее. На руках бы носил! Хотя сам я еще кавалер хоть куда, — вдруг рассмеялся Михал и даже весело притопнул ногой. — А вот на тебе, Малгоська, годы сказываются, — завертел он сестру. — Как щепка скоро станешь!

— А я своих лет не чувствую. Не чувствую, да и только! — сияет Малгожата, довольная, что Михал попрежнему любит пошутить. — Шестнадцать лет мне, если кто спросит, не больше! Никак не больше!

— А по мне, Малгося все такая же, какая была, когда мы поженились, — обижается Щепан. — Лицо у нее такое же, глаза такие же и ростом такая же, все как было, так и есть.

Влетает Ядвися и кричит пронзительным голоском:

— Отец, отец! Пора ехать за бабушкой!

— Матушка приезжает на свадьбу, — объясняет Щепан. — Что там о наших годах толковать! Ей вот восемьдесят шесть стукнуло, а собралась в такую дорогу, из-под Минска-Мазовецкого за Варшавой.

— Щепан, поезжай, опоздаешь к автобусу, — торопит его Малгожата. — Его мать еще не была у нас, — обращается она к приезжим.

— Погоди, Щепан, — удерживает зятя Михал Богусский. — Ведь и я в первый раз у вас в этом доме, на новом хозяйстве. Хорошо бы нам хватить с тобой по рюмочке на новоселье. Вы все боялись колхозов, а тут того и гляди в кулаки выбьетесь в нашем народном государстве.

— Неправда! — вспыхивает Малгожата. — Наши четыре гектара мы теперь на Зузю перепишем, да и четыре ли их, десять ли, мне все равно, с утра до ночи работать приходится, работать без устали, а иначе и при своем не останусь! Как отдашь все до зернышка по этим заготовкам... Матерь божия! Да что ж это я! Кур надо ощипать! — вдруг спохватилась она. — Щепан, да поезжай ты, наконец! Возьми рядно для бабушки!

Выпроводив мужа, она вернулась, неся двух петухов и двух откорм-

ленных кур, у которых свисали до земли окровавленные головы. Она присела на скамеечке, Леокадия подвинула ей корытце с водой, Поля — корзину для перьев. Ядвися все бегает взад и вперед, все кого-то высматривает, ей все еще мало гостей, хочется, чтобы уже была свадьба.

— Не вертись,— сердится Малгожата.— Перья раздуваешь! Сходила бы лучше, поискала Зузю. И куда это молодые запропастились?

Но тут появляется Зузя, неся корзину, полную занятой у соседей стеклянной посуды для сдобных булочек.

— Холодно стало,— говорит она.— Пожалуй, завтра не будет хорошей погоды.

Все посматривают в оконце, выходящее на запад. Видно, как клубится на небе серо-фиолетовая туча, из-под которой выплывает пылающее солнце; от его блеска туча еще больше темнеет.

В комнате становится тихо. Три труженицы умолкли за своей работой. Слышно, как скрежещут передвигаемые конфорки, бурлит вода в чугунах, шуршат перья. Зузя принялась украшать окна. Она еще с утра успела вымыть стекла, а теперь обертывает белой гофрированной бумагой цветочные горшки, расправляя ногтем края, чтобы они попышней оттопырились. Анеля Павоняк ловко помогает племяннице, она всегда была на этот счет мастерица. Из розовой папиросной бумаги они вырезают узкие полоски и, как ленточками, обвязывают ими обернутые белой бумагой горшки. Шелестит бумага. Михал Богусский смотрит, как работают женщины, и развлекает их шуточками. Внезапно раздается грохот подводы, да так близко, будто она въезжает в дом.

— Щепан?— удивляется Малгожата, но со двора доносится пронзительный крик Ядвиси, и через минуту девочка возвещает:

— Дядя Гжегож и тетя Ягуся приехали!

В комнату входит Гжегож Богусский, самый младший брат Малгожаты, высокий, статный мужчина с невеселым лицом и кислой усмешкой; когда он снимает шапку, волосы у него отливают серебром, не поймешь, то ли они у него седые, то ли такие уж светлые. Он входит первым, за ним жена; сразу видно, что она старше, тоже рослая, лицо в морщинах, нос длинный, подбородок острый, но из-под платка выбиваются совсем еще черные волосы, а все лицо сияет благодушием.

— Добрый день, как живете?— говорит Гжегож.— Ну и выбрались мы!— Говорил я бабе, что слишком легко оделись. К ночи, видно, подморозит. Прямо закоченели! Двадцать километров по такому холоду! Михал! О-о, вот кого я сто лет не видел!

— А ты, братец, уж сед!— смеется Михал и, прежде чем поцеловаться, хлопает Гжегожа по спине.

— Он всегда был такой светлый, с самого детства, разве ты не помнишь?— защищает Гжегожа Малгожата.— Может, чуточку и поседел, но у него это даже незаметно. Незаметно, совсем незаметно!

— Как тут не поседеть? Жену взял старую, надо же как-то к ней подлаживаться,— бесцеремонно говорит Гжегож немного в пику родственникам: он не забыл, как они попрекали его за то, что женился не на молодой девушке.

— Да Ягуся вовсе не седая! Совсем не седая! Она моложе тебя выглядит!— заступается Малгожата теперь уже за невестку. И смущается, потому что тоже была против женитьбы Гжегожа, хотя сама потом вышла за человека моложе себя. Но она в то время была еще пригожая девушка, хоть и не первой молодости, да и Щепан уже не был юнцом. А о Гжегоже, тогда еще юноше, говорили, что он берет старую, неказистую вдову, да еще с детьми. А главное — из дальней деревни, никто ее не знает. Потом оказалось, что Агнешка — женщина хозяйственная, трудолюбивая, обходительная; детей от первого брака она обучила в шко-

ле, выплатила им их часть и осталась одна с Гжегожем на хозяйстве, небольшом, но налаженном, как хорошие часы. Гжегож всегда был немного рохля и нуждался как раз в такой жене, которая относилась бы к нему по-матерински и крепко держала его в руках.

Агнешка не жалуется, даже виду не подаст, что в дороге озябла. Она всех обнимает, целует, всякому скажет что-нибудь приятное, даже коту улыбается: «Хорошенький у вас котик». Она вынимает из свертка зарезанного петуха и подкладывает его к курам, которых потрошит Малгожата. Мало того, тут же берет другую скамеечку и подсаживается ощипывать кур.

Снова слышен конский топот и стук подводы под окнами — теперь это и вправду Щепан! Все вскочили встречать бабушку, но Щепан вернулся один, разогорченный. Он чуточку запоздал к автобусу и никого не застал на остановке. Либо они с этим автобусом не приехали, либо, не дожидаясь его, пошли пешком. Но какой стороной? По дороге он никого не встретил. Встревожились и домашние, хотя старушка едет не одна — вся родня Щепана приглашена на свадьбу. В утешение стали рассказывать друг другу разные благополучно закончившиеся приключения старых людей в дороге. Гжегож Богусский выпивает со Щепаном, чтобы согреться.

— Щепан, где мы будем ночевать?— беспокоится он.— И куда поставить лошадь? Ночью либо дождь пойдет, либо мороз будет. Не держать же в такую погоду скотину на дворе.

Щепан, кротко глядя на него, скалит желтые пеньки в счастливой детской улыбке.

— Не бойся, Гжесь. Найдется и ночлег и место для лошади,— успокаивает он беспокойного зятя, хотя сам пока не знает, где их поместить.

Малгожата вполголоса рассказывает нараспев Ягусе, сколько у них еще работы и как они израсходовались на эту свадьбу. Правда, водку и пиво ставит жених, но сколько деньжищ вылетело на все остальное! Чего стоит, к примеру, самый жирный кабанчик, который остался после сдачи свиней государству? А говядины и ножек ушло на шестьсот с лишком злотых, не говоря уж о том, сколько пришлось побегать по мясным лавкам, сколько времени потерять! А мука на сдобные булки и печенье! А сахар и приправы! А столовая посуда, взятая напрокат в пункте бытового обслуживания в соседнем местечке! А подвенечное платье, фата, туфли! А само венчание! Ведь венчание в воскресенье после поздней обедни стоит дороже всего. Тут как раз вошла Эльжуня Павоняк в сопровождении нескольких молодых людей и, услышав о платье, говорит:

— Кто же теперь делает к свадьбе белое платье? Я буду венчаться в костюме.

Разговоры Малгожаты Щепану не нравятся.

— Мать, ма-ать, оставь! О чем тут говорить! Свадьба так свадьба. Может, это в деревне уж последняя такая свадьба. Ведь теперь только сходят, распишутся, и баста. Пусть уж у Зузи будет такая свадьба, чтобы людям было что вспомнить.

— Расходы, расходы!— пожимает плечами Гжегож.— Помнится, гости всегда платили за свадьбу. Станут молодой чепчик надевать — и гости надарят ей уйму денег.

— Да не будут надевать чепчик, молодые не хотят. Говорят, что такие обряды теперь только по радио да в клубе представляют,— смеется Малгожата, лучистым взглядом прося прощения за всю эту болтовню о расходах.

— Постой, дорогая, а как у вас с венчаньем?— любопытствует Михал.— Гражданский брак уже заключили?

— То-то и оно, что нет,— после минутного молчания огорченно говорит Малгожата.— Власти не хотят их регистрировать, потому что Зузя несовершеннолетняя.

— Как так? Регистрируют и несовершеннолетних,— удивляется Михал.

— Регистрируют, если очень приспичит,— неуверенно и смущенно говорит Щепан.— Но у нас такой крайности нет. Наша Зузя себя соблюдала... Велика важность,— добавляет он,— через пять месяцев Зузе исполнится восемнадцать, и распишутся.

— Конечно,— говорит Михал,— только как бы не прозевать, а то, знаете, всяко бывает.— Анеля Павоняк с обычной своей рассудительностью тоже предупреждает:

— Я не говорю, что и тут так будет, а только во Вроцлаве у одних что получилось? Молодые обвенчались в костеле, она дождалась ребенка, а муж раздумал, да и расписался с другой. И теперь ребенок от этой церковной жены считается незаконным. Потому что, по закону, имеет значение только гражданский брак.

— Вот и полиц муж то же говорит, — пугается Малгожата. — Ну, да он присягу давал партии, значит, обязан так говорить.

— При чем тут партия? — сердится Паулина. — Янек говорит то, что всякому известно.

— Не пугайте, не пугайте,— цедит сквозь зубы Щепан с глуповато рассеянным видом.— Зузя не за чужого идет. Придет время, все будет сделано. Смотрите-ка, мать жениха бежит к нам!— выглянув в окно, прибавляет он оживившись.

В сумраке угасающего дня видно, что к дому приближается грузная, но подвижная женщина. Она идет, опираясь на палку, но очень быстро, как-то отталкиваясь от палки и подскакивая, точно седок, под которым рысью бежит лошадь.

— Это Руцинская?— изумляется Михал Богусский.— Что с ней случилось, чего она так скачет? Я бы не узнал ее.

— Нога у нее болит,— объясняет Малгожата.— Еще в войну стала она болеть у нее, как раз когда тебя, Михал, немцы в лагерь увезли. Потом ей операцию делали, не помогло. Да она и с больной ногой так скачет, что здорового перегонит. Правда, правда!

Старуха Руцинская размашисто входит, выставив свою палку и ногу, обвязанную тряпками. И тотчас вся комната наполняется ее грубым, хриплым голосом.

— Добрый вечер, люди добрые!— кричит она.— Ну-ка, всех узнаю или нет?— шумно здоровается она с приезжими.— Это Гжегож Богусский, а это Михал. Ой, пан Михал, вас я уже лет шестнадцать не видала! Но у меня такая память на людей, что, как бы вы ни переменились, все равно узнаю. А это кто? Жена Гжегожа? Из-под Блоня? Видела, как вы ехали, еще и часа нет. И уже сидит и кур ощипывает! Дайте-ка я вас расцелую, люблю таких! Ой, что это? Ножки еще только варятся? И грудинку еще только жарите? И пончики? А скамьи? Скамьи еще не сколочены? Полы не вымыты? Когда же вы успеете? У меня, бывало, перед свадьбой к четырем часам дня уже все готово и прибрано, только столы накрывай да жди гостей. Ну, и не диво, я ведь четверых сыновей женила да дочку выдала, так привыкла к свадьбе готовиться, понаторела. Люди добрые, что же это я хотела сказать? Ах да, я хотела сказать, что дом побелен, все прибрано, скамьи кругом приколочены, место для музыкантов готово. Вот как у меня! Ну, до свидания! Да, вот еще что! Я и порошков от головной боли в аптеке купила, гости после водки любят иной раз такой порошок принять. Пол вымыт, даже воском посыпан, чтобы танцевать было легко. Поторапли-

вайтесь, ради бога, а то завтра утром, как начнут гости съезжаться, так только успевай поворачиваться!

Не дав никому слова вымолвить и повергнув всех в изумление, Руцинская выбежала из дома, но, так как уже смеркалось, никому не удалось разглядеть в окно, как она ловкими скачками мчится межой к своей усадьбе.

— Ну и бедовая баба!— рассмеялся Михал Богусский.

— Трещотка!— угрюмо буркнул Гжегож.

Малгожата опасливо огляделась, к счастью, жених и невеста уже опять куда-то умчались.

— Больно речиста,— понизив на всякий случай голос, говорит она.— Так речиста, так всегда умеет кстати сказать, что когда в волость радио приезжало, так ее взяли говорить по радио! И говорила!

— Зажгите свет, ведь темно уже, — просит Щепан. — Я, пожалуй, еще раз съезжу к автобусу. В семь часов еще один приходит.

Паулина и Леокадия уже подлили керосину в две восьмилинейные лампочки, зажигают их и вешают на крюки: одну над устьем печи, другую у окна.

— Вот так освещение!— огорчается Эльжуня Павоняк.— Значит, и у Руцинских будем танцевать в потемках?

— А вы запишитесь в сельскохозяйственное товарищество, сразу у вас электричество будет,— глумливо замечает Гжегож Богусский.

— Вот и неправда!— вдруг сердится Малгожата.— У нас даже у заведующего рыбным государственным хозяйством и то нет электричества. Только телефон ему поставили.

— Что это за деревня!— дуется Эльжуня.— Ни радио, ни электричества...

Тут Ядвися, которая все кого-то поджидает, вбегает со двора с криком, что на дороге остановилась какая-то подвода. К хате не подъехала, но какие-то люди слезают, должно быть, гости. Все засуетились, но не успел никто выйти на улицу, как в хату вошли родные Щепана Ясноты, которых напрасно ждали до сих пор. Престарелая матушка Щепана и его сестра Катажина Гондек вошли со словами: «Слава Иисусу Христу!» Брат Щепана, Юзеф Яснота, работник местечковой милиции, его сын и невестка поздоровались уже по-новому: «Добрый вечер, вот мы, наконец, и приехали». Двенадцатилетний Кубусь Гондек совсем не поздоровался; ничего не сказал и завернутый в шаль младенец, которого Катажина Гондек держала у груди. Две старшие женщины по одежде резко отличались от всех присутствующих. На бабушке старинной работы домотканная юбка в мелкие черные, красные и зеленые полоски и такая же косынка, охватывающая шею и спускающаяся с плеч. Когда Гондек сбрасывает клетчатую шаль, на ней оказывается такая же юбка и голубая кофта, обшитая лентой.

Домашние подняли крик, расспрашивая, откуда взялись гости и как случилось, что Щепан не нашел их у варшавского автобуса. Гондек, бабенка, видно, веселая, со смехом рассказывает о трудностях путешествия.

— Да ведь Зузя в приглашении адрес нам не дала, не написала, как ехать, где выходить. Так и ехали, неведомо куда.

— Ах ты, боже мой!— Щепан кинулся целовать мать.— Подумать только, что матушке пришлось так плутать! Как же вы к нам попали?

— Языка у нас нет, что ли?— хвастает Катажина.— Мы как заработали языком, как стали спрашивать да выспрашивать, так и допытались. А сколько мы в Варшаве находились, набегались! То нас на Житную улицу посылают, а там вовсе и жита нет!— Гондек подмигивает,

давая понять, что шутит.— А с Житной на Опачевскую, там, дескать, та автобусная остановка, что к вам ехать.

Из рассказа выясняется, что гости вышли не в Ольшувке, а на следующей автобусной остановке.

— А как вылезли,— с увлечением рассказывает Гондек,— так и стали: у кого же мы теперь допытаемся про дорогу в Павловицы. А тут едет подвода, Юзеф и спрашивает: «Куда, мол?» А ему отвечают: «Да в Павловицы». «Ну, так подвезите нашу бабушку, а то ей уже восемьдесят седьмой год пошел». А человек говорит: «Коли брать вашу бабушку, так уж и вас всех брать». Так мы с ним ехали, ехали, да вот и приехали.

— Ядвися, беги за Зузей,— волнуется Малгожата.— Все бы им, молодым, пропадать где-нибудь. Все бы им пропадать!

Ядвися выбегает за дверь; около дома слышен ее пронзительный голосок: «Зу-узка! Зузка-а-а!» Затем воцаряется тишина, но через некоторое время Ядвися приводит жениха и невесту. Оказывается, они в сарае шинковали капусту для бигоса. Сразу поднимается крик, шум. Зузю спешат показать бабушке, которая ее до сих пор не знала.

— Хороша у меня дочка, а?— опять спрашивает Щепан, подводя невесту к своей престарелой матери. Бабушка сразу соглашается: «Хороша, хороша»,— бормочет старуха и беззубым, мягким и мокрым ртом звонко целует Зузю. Зузя не без страха поглядывает на свою бабку, дивясь, как это такая старуха может еще ходить по земле. Вот только седины не видно, потому что, по старинному обычаю, волосы, как полагается замужним женщинам, спрятаны у бабушки под туго завязанным на затылке платком. Кожа на высохшем от старости личике уже не морщится, а обвисает желтыми складками, рот от слабости полураскрыт. Но глаза у бабушки живые, речь разумная и голова светлая, видно, что силенки у нее еще сохранились. Бабушка здоровается с женихом и тоже говорит: «Хорош, хорош женишок!» — Но умиляется она по-настоящему только при виде Малгожаты, особенно вспомнив тех господ, у которых ее невестка до замужества семнадцать лет жила в Варшаве прислугой.

— Ах, невестушка, невестушка,— утирает бабушка слезы.— Давно уж это было, приехала я к тебе на свадьбу, а твоя барыня и говорит: «Малгося, Малгося, дай матушке поесть, дай, говорит, матушке чаю». Мало уж что я помню, а это хорошо мне запомнилось, как твоя барыня говорила: «Дай матушке поесть». Щепан говорит, что умерли они, твои господа...

— Умерли,— сухо отвечает Малгожата, ее взгляд скользит по гостям. «Все ли они сыты, устали ведь с дороги», — думает она и замечает вдруг незнакомого еще ей племянника мужа. Мальчик небольшого роста, плечи у него широкие, лицо усталое, как у наработавшегося старого крестьянина.

— Как тебя зовут? Кубусь? Почему ты ничего не ешь? — заботливо спрашивает Малгожата. — Забыли о мальчишке! Вот тебе колбаса, вот пирог! Поля, налей ему кофе! Ешь, расти, а то уж больно ты мал.

— Какое там мал!— восклицает Гондек с гордой нежностью.— Он, пожалуй, и водки бы выпил. Он у меня заправский работник: и вспашет и посеет, а в этом году уж и рожь скосил.

Из дальнейшего разговора выясняется, что муж Катажины работать по хозяйству не может, у него одышка, чуть что, сейчас его схватит и душит. Чтобы даром хлеб не есть, он нанялся ночным сторожем на склады в Минске-Мазовецком. А хозяйство держится на Кубе и на ней. Двое старших ездят на строительные работы в Варшаву; так вот и сводят концы с концами. Сейчас Гондек получил на три дня отпуск,

присмотрит за домом и скотиной, а Кубуся и маленького она взяла на свадьбу, пусть тоже свету повидают.

— Девчоночка или мальчик?— спрашивает Зузя, заглядывая в сверток.

— Девчоночка. Бернадей зовут.

— Бернадя? Ах, какое красивое имя!— Зузя берет из рук Катажины ребенка и осторожно качает. Ее жесткий, сухой взгляд увлажняется, становится мягче.— С полгода будет? Пять месяцев? Ишь, такая маленькая, а уж на свадьбу захотела! Подружкой хочешь быть? На свадьбе хочешь гулять? Есть у нас для тебя дружка, есть, есть. Генюсь Яцека,— обращается она к старшим,— вот дружка для Бернади.

— Уж такая она у меня умница,— говорит Гондек,— хоть бы тебе что, нипочем не заплачет.

Михал Богусский внимательно смотрит на Кубуся — работника и спрашивает, сколько земли у Гондеков.

— Четыре морга. Сколько у нас было, столько и у них,— отвечает за сестру Щепан.— Кася на отцовской земле осталась, и матушка сейчас с ними живет.

— А когда в сорок пятом землю давали, вам не досталось?— допытывается Михал.

— Нет, не досталось,— отвечает Гондек, почтительно и с некоторой опаской глядя на Михала Богусского.— Откуда же? У нас не было имения.

— Вам бы стоило записаться в товарищество, а мальчика отдать в школу,— советует Михал Богусский и, поймав вопросительный взгляд Катажины, поясняет: — Записаться в товарищество по совместной обработке земли.

— Не зна-аю. У нас народ темный,— беспомощно и боязливо бормочет Гондек и как-то вся сжимается, точно божья коровка, которая, почуяв опасность, притворяется мертвой. Этот шикарный пан, видно, чужой тут, из города, еще, чего доброго, оговорит ее где-нибудь там, в далеком городе.

Но Михал уже обращается к хозяевам:

— А у вас в Павловицах нет производственного кооператива?

— Как нет? Е-есть!— выкрикивает Малгожата так стремительно, точно давно ждала этого вопроса.

— Ну? Что же вы ничего не рассказываете?— оживляется Михал Богусский.— Ну, и как же? Много хозяев записалось?

— Из хозяев-то никто не записался.— Щепан точно из вежливости дает объяснения.— Ходили, просили, уговаривали, но никто не захотел, тогда организовали кооператив в имении, которое раньше было пана Ожеховского, а потом государственное. Только рыбные пруды остались за государством. Ну, и записались те, из батраков, что раньше на помещика работали, а потом в государственном хозяйстве. Теперь помещичьи земли будут вроде ихние, общие. А из хозяев — никто... Меня-то никто и не спрашивал. К Малгосе приходили...

— Приходили! Приходили раза три, должно быть,— раздраженно говорит Малгожата, и лицо ее покрывается красными пятнами.— Пока я им не сказала,— нервно добавляет она,— не ходите, пожалуйста, потому, какой от меня толк в этом кооперативе? Муж у меня больной, в санатории три месяца был, чуть не помер, а у самой у меня сил уже мало, куда мне на старости лет такими делами заниматься. Ну... больше не приходили.— Тут Малгожата думает про себя в смятении: «А не придут ли они еще?»

— А тебя, Щепан, вылечили в санатории?— спрашивает Анеля Павоняк.— Как мы испугались, когда Зузя написала, что ты заболел.

— Да, трудно было без меня Малгосе,— бахвалится Щепан со счастливой детской улыбкой.— У меня такие дыры были в легких, с кулак. А когда перед выпиской просветили, оказалось, дыры так зажили, что стали с булавочную головку. Поживем еще...

Малгожата, словно не слыша его, ни с того ни с сего говорит:

— Если заставят, тогда другое дело, тогда хочешь не хочешь, а пойдешь в кооператив. Но чтобы по доброй воле всего лишиться? Да мы только к концу жизни счастья дождались, кой-каким хозяйством обзавелись.

— Как сказать, лишиться,— к удивлению Малгожаты говорит Михал Богусский.— По-разному можно хозяйничать. Пожалуй, лучше попробовать добровольно, чем ждать, пока заставят.

Гжегож, который с дороги уже было задремал, поднимает голову.

— Заставят? Не бойтесь, теперь они научились. Так тебя обойдут, что сам ввяжешься в такое дело, которого знать не хотел,— говорит он с отчаянием и гневом.— Да еще скажут, что вовсе в тебе не нуждаются, и ты сам, как милости, будешь просить, чтобы тебя приняли в кооператив. Чем больше народ чего не хочет, тем больше этого просит. Вот как оно выходит...

— Гжегож, не умничай,— спокойно говорит Агнешка.

— Если кто упрется, так иной раз и хорошего не захочет,— замечает Михал.— Я помню времена, когда в деревне ни за какие сокровища не хотели искусственных удобрений, а теперь не только просят, ругаются, когда их не дают...

— А что ты видишь хорошего в кооперативах?— горячится Гжегож.

Тут в хату вваливается молодежь и прерывает разговор, грозивший перейти в ссору. Восемнадцатилетний Манюсь Шатковский, который живет в Варшаве у родных отца, кое-что уже зарабатывает и к тому же учится на механика. Причесан он как-то мудрено — наверно завивался у парикмахера,— волосы высоко взбиты над лбом, а сзади собраны клинышком. Хлопец—красавец писаный, румяный, чернобровый, над верхней губой темнеют черные усики. Брюки на нем узенькие из серой полушерсти, пиджак из синего вельвета и пестрый галстук. Эльжуня Павоняк дразнит его стилягой, говорит, что зетемповцы * так не ходят. «Манек!— кричат другие,— сбрей усы, кто нынче усы носит?» Манек защищается, зетемповцы, мол, тоже люди, могут одеться и поярче, а усов он не сбреет. «Сколько,— говорит,— намучился, пока отрастил».

Малгожата чувствует, что с нее уже хватит этой толчеи и шума. Впереди еще столько работы; наступил вечер, надо разместить гостей на ночлег. Первой уходит Паулина, забрав с собой своего Манека и Фелека Павоняка.

— Я уж побегу,— объявляет она.— Дома ничего не сделано, не прибрано. Утречком приду.

Малгожата провожает сестру в сенцы, вместе с ней выходит в вечернюю тьму.

— Поля,— спрашивает она робко,— почему ты ничего не говорила об этом кооперативе? Почему вы с Янеком не запишетесь?

— Ах, не приставай ко мне хоть ты,— говорит Поля с неожиданным раздражением.— Зови ребят.

Щепан уезжает с Гжегожем и Агнешкой. Анеля с дочкой отправляется ночевать к Лукашам, Леокадия провожает их. Бабушка Яснота и Гондек с младенцем нашли приют у ближайших соседей, Попёлеков. Их усадьба прилегает к садику Яснотов, хотя дворы в Павловицах

---

* Зетемповец — член Союза польской молодежи.

разбросаны далеко друг от друга; деревня выросла в более позднее время на месте распадавшихся шляхетских владений.

Кубу, другого племянника с женой и брата Юзефа Щепан поместил в собственной риге. К ночи потеплело, сена достаточно, можно и постель постелить; гостям будет не плохо, да и сам Щепан тоже будет ночевать в риге. С Яцеком Богусским заранее уговорились, что у него будет ночевать Михал. Думали, что Михал приедет с женой, женщиной слабого здоровья, да и вообще им, как людям, издавна привыкшим к городским удобствам, хотелось предоставить квартиру получше, а дом Яцека Богусского считается роскошным.

— Зузя, поди проводи дядю,— наказывает Малгожата.

— Да что я, сам не дойду? Неужто девушкам меня провожать?

— Не годится свадебному гостю одному уходить. Ступай, Зузя, да зайди по дороге к Зоське, может, одолжит нам посуды для сахара. Сахарниц у нас маловато.

2

Дядя Михал и Зузя вышли в ночной мрак. Ветер утих. На небе, еще затянутом тучами, кое-где поблескивают звезды, а на земле кромешная тьма; лишь привыкнув, глаза начинают различать в зыбком ночном мраке красноватые огоньки домов. Дядя Михал и Зузя бредут по мягкой, сыпучей земле.

— Значит не наискосок пойдем, не межами?— спрашивает Михал, вспомнив прежние тропинки к дому старой Добжинской.— Прямо?

— Дорогой лучше,— объясняет Зузя твердым хрипловатым голосом.— Дорога ведь новая.

— Да, раньше здесь дороги не было,— подтверждает Михал.

— В этом году проложили. От варшавского шоссе прямо к кооперативу, а от кооператива к груецкому тракту. Вы по этой дороге ехали от Ольшувки. Она вымощена до гмины, а тут еще только собираемся мостить.

— Ага, вот видишь, Зузя, новая дорога,— задумчиво говорит Михал и, не дождавшись ответа, спрашивает:— Ты, верно, рада, что идешь замуж?

— А как же! Не была бы рада, так не шла бы.

— Ты еще совсем молоденькая, ребенок. Другие в твои годы обучаются разным профессиям. Едут в города учиться.

Зузя, помолчав, отвечает:

— Кому-нибудь и в деревне жить надо.

— Это верно. Но ведь и в деревне все больше и больше нужна наука.

— Теперь и после замужества учатся, коли есть нужда.

— Верно. Ну ладно, а приезжает ли к вам сюда кто-нибудь? Кино приезжает? Клуб у вас есть?

— Нет, кино не приезжает. В гмину как-то один раз приезжало. Клуб есть. В помещичьей усадьбе.

— Ходите туда? Устраивают там что-нибудь?

— Когда танцы, ходим.

Михал раздумывает, о чем бы еще спросить, как вдруг на них надвигается тень еще более черная, чем тени ночи. Оказывается, это молодой Яцек Богусский, сын Лукаша. Он только что вернулся из местечка, куда возил на продажу фрукты. Яцек — парень оборотистый, укрепляет свое хозяйство, арендуя сады. Сейчас он идет к тетке Малгожате помочь в предсвадебных хлопотах. Яцек говорит, что жена его Марыся ждет гостей и рассчитывала даже на нескольких человек. Он то-

ропится, и, обменявшись несколькими словами, они расходятся в разные стороны.

Но не успевают дядя Михал и Зузя сделать сотню шагов, как новая тень в ночном мраке окликает Зузю. Это женщина; сдавленным голосом она спрашивает:

— Зузка, ты? Ты никого не встречала? Ничего не видала?

— Ничего не видала. Яцек тут проходил, мой двоюродный брат, мы только что его встретили. А что такое?

— Нет, это раньше,— бормочет незнакомый Михалу женский голос.— Я уж давно тут хожу, остановилась на минутку, а мимо пробегает какой-то мужчина. Бежит, как сумасшедший и стонет. Стонет и кричит: «О боже, о боже!» Кто бы это мог быть? Что с ним случилось?

— Мы ничего не видели. Может, пьяный? А может, тебе померещилось?— неуверенно говорит Зузя.

— Господи Иисусе,— шепчет женщина и исчезает во мраке.

— Кто это? Что у вас здесь творится, почему эта женщина ночью так встревожилась?— спрашивает Михал.

— Это жена пана Стемпня. Он заведует рыбным хозяйством... директор. А она вместе со мной в школу ходила, только я еще в первом классе была, а она уже кончала. Ее муж поехал в уезд на собрание, видно, еще не вернулся, а она боится, как бы ему чего не сделали, уж очень он уговаривает народ вступать в кооператив. Только глупая она, чего ей бояться? У нас не такой народ. Верно, пьяный шатался тут да стонал.

И вдруг оказывается, что Зузя хочет еще что-то сказать!

— Какие чудные они — наша бабушка и тетя Гондек! — удивляется она.— А говорят-то как! А одеты! У нас такое платье никто на себя не напялил бы.

— Это старинное крестьянское платье, и говорят они по-старому, — объясняет Михал.— Должно быть, живут в глухой, старой деревне. Разные есть деревни...

— Ну, вот мы и пришли,— говорит Зузя.

В кухне у молодых Богусских и в самом деле было чисто, светло и уютно. Даже горела новая спиртовка, на которой жена Яцека Марыся варила мальчику кашку. Зузя задержалась на минутку, погладила полутрагодовалого Генюса, рассказала, что к нему приехала «подружка», маленькая Бернадя Гондек. Марыся, совсем еще молоденькая, чуть постарше Зузи, показала дяде комнату, где ему было предоставлено их супружеское ложе. В кухне у них стояла вторая кровать, у мальчика была кроватка с сеткой и у двухмесячной дочки колыбелька. Марыся открыла шкаф, предложив дяде повесить пальто. В шкафу на полках лежало хорошее белье, а на плечиках сверкнуло множество пестрых шелковых платьев.

Михал быстро улегся, довольный удобным ночлегом. Некоторое время он еще слышал, как молодая мать что-то приговаривала, кормя, а потом укладывая детей, но вскоре все стихло, и свет в дверной щели погас. Тишина полей окутала дом, и в окна заглянули звезды. Но тишина длилась недолго. Тотчас принялись шуметь мыши. Их были, должно быть, целые полчища, они скреблись во всех углах, стучали так, точно играли в кегли, шумно бегали и даже попискивали, возились под кроватью, шелестели соломой, — видно, тюфяк, прохудился. Но Михал Богусский был человек здоровый и душой и телом и устал в дороге, поэтому он вскоре крепко уснул.

А у Яснотов кипела работа. Правда, Леокадия ушла с гостями, зато пришел ее старший сын Яцек, красивый молодой человек, такой же, как и мать, горбоносый, с пухлыми розовыми губами и точеными чертами лица. Неожиданно появилась и Агнешка.

— Уложила хлопца спать,— сказала она о муже, как о ребенке,— и прибежала.— Она ни словом не помянула, что Щепан их «надул», так как квартиры для них он так и не приготовил и пришлось заходить в три хаты, прежде чем нашелся ночлег для них и место для лошади и телеги.

Вместе с Малгожатой и Зузей они освободили трехстворчатый фанерный шкаф, связали в узлы одежду, вынесли вещи в ригу. Яцек со Щепаном и Чесеком разобрали шкаф и кровати; тяжело дыша, сопя и покрикивая, они вынесли из дома всю мебель, разместив ее в риге и под навесом сарая. Женщины в это время мыли пол, бранясь и вскрикивая от боли, когда в руку попадала заноза. Едва они кончили, мужчины принялись починять пол, но впопыхах мало что успели, кое-как заделали только дыры побольше и сразу кинулись вносить заранее приготовленные узкие доски и колья для скамей и столов. Пока они сколачивали столы и скамьи и прибивали их к полу, Малгожата решила сбегать к Попёлекам. Перед дверью заколебалась было, не поздно ли, но сквозь щель виднелся свет, и она вошла. Бабушка Яснота и Катажина Гондек хоть и устали с дороги, но все еще не могли наговориться и рассказывали хозяйке о своем путешествии, о Бернаде и Кубусе, о Гондеке и его одышке. Малгося присела на край кровати и обняла укрытую периной свекровь.

— Столько людей надо принять,— пожаловалась она,— даже на вас, мама, я не успела нарадоваться. А как давно мы с вами не виделись!

— Ах, не виделись, не виделись,— зашамкала старуха. Когда она говорила, язык у нее высовывался из беззубого рта. Малгожата отодвинулась: от старухи как-то неприятно пахло. «Боже ты мой!— думала она.— Во что превратилась мать Щепана!»

Ей вспомнилось, как она, еще невестой, поехала со Щепаном в его деревню, как ее там приняли и как понравилась ей его мать. До того понравилась, что хоть она, собираясь в деревню, еще не была уверена, что пойдет за Щепана, но, познакомившись с его матерью, решилась окончательно. Какая это была хорошая женщина! Веселая, приятная, то запоет, то поцелует, редкость, чтобы старуха была такая живая и милая. Приятно было стать ее невесткой. Да и теперь она, видно, еще живая и сердечная женщина, раз пустилась в такой путь, но, господи боже мой! Малгожата может только вспомнить, как когда-то полюбила ее, но прежней любви к ней не чувствует, один только страх перед ее безмерной дряхлостью. Ей так неприятно, что она даже начинает плакать.

— Чего ты плачешь, Малгося? Жаль девичьего веночка Зузи? Ах, горе, ты, горе людское...— И бабушка, которая и прежде, бывало, любила попеть, дрожащим скрипучим голоском тихонько запевает:

Уж тебе в веночке больше не ходи-ить.
За собою молодцев больше не води-ить...

— Ребенок спит...— шепчет Малгожата, улыбаясь сквозь слезы.

— Бернадя? Ничего. Она у нас умница, как уснет, нипочем ее не разбудишь,— восхищается Гондек.

За полночь мужчины кончили сколачивать скамьи и столы и разошлись. Щепан еще проводил Агнешку к мужу на квартиру, а Малгожата с дочками снова подметала и мыла пол. Часов около двух они улеглись на тюфяк, прикрылись рядном. Зузя и Ядвися моментально уснули, но Малгожата долго не могла заснуть. Ее одолевали мысли, и столько их роилось в голове, будто целая толпа там разговаривала.

«Что это Чесек говорил? — мелькает у нее мысль. — Будто музыка будет из Варшавы и первым музыкантом будет его дядя Адам Руцинский?» Она знавала его когда-то. В тот год, когда он приехал в Варша-

ву, где теперь уже много лет работает железнодорожником; он заходил к ней иногда, так поболтать,— односельчанка все-таки, хотя в деревне, живя в разных концах, они почти не были знакомы. Однажды, когда он возвращался от родных, мать Малгоси послала его к ней с каким-то поручением, и с этого времени он стал навещать ее, а потом пропал и вскоре на ком-то женился. Может, раз десять заходил, а может, и того меньше, а она влюбилась в него. Он этого не знал, не догадывался даже, а сейчас, может, и не помнит, что иногда навещал ее. Верно, не к ней одной ходил тогда в гости, общительный был человек. Одного его любила она в девичестве. Эта единственная любовь была и единственной печалью ее молодых лет, в остальном она была счастлива. С девятнадцати лет служила у бездетных пожилых господ и даже не чувствовала себя служанкой — такие были тихие, добрые и умные господа. Она долго не выходила замуж, хотя женихи случались, кровь у нее была не горячая, она все выбирала, искала человека с хорошим характером. А может, и потому не выходила, что после Адама Руцинского ей никто не нравился. Ей шел уже тридцать шестой год, когда она познакомилась со Щепаном, который нанялся в помощники дворника в доме, где служила Малгося. Был он из бедной семьи, как и она, искал в городе заработка. Что побудило ее выйти за него замуж? Да, пожалуй, больше всего то, что он так крепко ее полюбил. Так полюбил, что даже упал без памяти, когда она сперва сказала ему, что не хочет идти за него. Малгося помнила, как тяжело быть нелюбимым, когда сам любишь. Вот она и растрогалась, что кто-то ее так любит, а к тому же и годы шли, брал страх за будущее. Господа уже старились, в случае чего, других таких ей не найти, да и надоест служить, пусть даже у самых лучших людей, никому не охота убить жизнь в прислугах, собственной семьи захотелось, собственного дома. Поженились они, подумали да и решили вернуться в деревню. Времена тогда были не такие уж тяжелые; семьи выплатили им их часть, купили они дешево землю в родной деревне Малгоси, вот те самые четыре гектара без построек, — клочок голой да к тому же тощей земли. Тяжелая началась жизнь, мука-мученическая. Щепан был человек слабовольный, нездоровый, в работе не дюж, любил выпить. А хуже всего было с хатой. Уж и лес купили, Лукаш сам вызвался построить им дом, так доски оказались гнилые, и ничего из этого не вышло. Они маялись по чужим углам,— ведь хорошего угла никто беднякам не сдаст,— и всегда жили далеко от своего участка, за несколько километров приходилось тащиться на работу, ни телеги, ни лошади — корову, и ту некуда поставить. Малгожата в то время так невзлюбила мужа, что иной раз и смотреть на него ей было тошно. Житье в Варшаве вспоминала, как рай, старые господа снились ей по ночам, она писала им письма, не раз жалела, что в недобрый час покинула эту спокойную и чистенькую жизнь, где ее уважали, а весь свет, говорила она, цвел для нее, как роза. В деревне она мучилась, опустилась, ходила грязная и ничем не напоминала прежнюю варшавскую паненку. Мало того, что приходилось все самим делать по хозяйству, надо было еще отрабатывать у богатых хозяев за лошадь и за инвентарь, да и в имение, последнее уже в этих краях, приходилось наниматься. А по ночам Малгося, неплохая портниха — ведь в Варшаве она сама шила себе красивые платья, — обшивала всю деревню, даже мужчин, на машинке, которую ей подарили к свадьбе ее господа. На втором году этой злосчастной жизни подошла война, ну, тут уж всякий знает, что за времена были. Двое мальчиков умерли у них в то время младенцами, только самая старшая, Зузя, которая родилась еще в благоустроенной варшавской больнице, да младшая. Ядвися, которая скоро дождалась лучших времен, кое-как выжили.

После войны жизнь стала быстро меняться. Новые завелись порядки и обычаи, которые нелегко было и понять, не то что привыкнуть к ним. Начались и новые страхи; люди по целым неделям плохо спали, на работе у них прямо руки тряслись от страшных россказней. А жизнь шла своим чередом, и всегда не так, как думаешь. Деревня лежала в сорока пяти километрах от Варшавы, но затерялась в глухой стороне, среди мелколесья, вдалеке от железной дороги. А тут вдруг по окрестным местечкам стали вырастать какие-то заводы, поодаль стали прокладывать новую железную дорогу, в двух километрах от Павловиц построили кирпичный завод, который поставлял кирпичи для восстановления Варшавы. Начались легкие, хорошие заработки. Щепан прямо ожил: он любил разнообразие. То на железной дороге год-другой поработает, то на кирпичном заводе; вскоре они купили лошадь, а с лошадью он еще лучше стал зарабатывать на новых заводах и стройках. На кирпичном заводе и Зузя за последний год подработала на наряды. И, наконец, им достались хозяйство и дом Павоняков. И хотя хозяйство было обременено небольшими долгами, все же началась совсем другая жизнь, настоящая жизнь, было о чем хлопотать. Даже с мужем она стала жить мирно, потому что, когда жить становится легче, так не из-за чего ссориться. Сердце у Малгожаты от природы доброе и признательное, она умеет быть благодарной за каждый подарок судьбы, почему же она не может уснуть, вздыхает и борется с мыслями, словно не Зузя, а она сама готовится к великой перемене жизни?

«Теперь эта свадьба,— не дают ей мысли покоя.— Вроде и счастье, а один бог знает, каково будет Зузе за этим Чесеком. Уж очень он выпить любит. А раз пьет, так и бить ее будет. Да разве Зузя понимает? Мало ли я ей рассказывала, какая у нас была жизнь, когда Щепан пил? А все зря. Зузя против отца словечка сказать не даст. Говорит, что мужчина должен пить. Жаль того, первого ее жениха. Покрасивей Чесека был, а водки и в рот не брал. Да, они плакали, когда Зузя с ним порвала, как сына его полюбили, да что поделаешь? Своему дитяти поперек дороги не станешь, а она, вишь, выбрала Чесека. Уж очень маленького роста был тот, другой. А Чесек высокий — вот и победил. Ну а он, что он в ней увидел? Может, эти морги и то, что у нее только одна сестра, значит, меньше дележу будет. Ах, горе мое, горе горькое, не видно, чтоб любили они друг дружку, так только...»— сокрушается Малгожата.

«А теперь еще страшно, — перескакивает она к новым мыслям, — как бы на свадьбе драки не было, хотя бы все по-хорошему обошлось». У Малгожаты прямо мурашки по спине бегают, как она вспомнит, что иной раз делается на свадьбах. То в кровь изобьют друг дружку, а то и похуже что-нибудь сделают. В прошлом году, не в Павловицах, а тут, поблизости, пьяные мужики надругались над двенадцатилетней девочкой, деревенской сироткой. «И с чего это Михал,— блуждают мысли,— так отстаивает этот гражданский брак?.. И эти кооперативы?.. Видно, он уже переделался на новый лад. Столько гостей, столько работы, даже толком не успела поговорить с ним. Да и с Анелей. Может, они вразумили бы меня, они умные. А у меня уже все в голове перепуталось. Такая тяжелая была жизнь, только-только чего-то добились, а тут — на тебе! — оказывается, это худо. И какой черт эти кооперативы выдумал, людям жизнь отравлять... Как будто и в года уже вошел, и ума набрался, а тут вдруг все пошло вверх тормашками, и ходишь, как одурелый, не знаешь, что хорошо, что худо. Ничего худого никогда не замышлял, а тут говорят — все у тебя худо, все не так. То ли мы поглупели, то ли весь свет помешался? И чего мы дождемся? Может, еще и Зузя с Чесеком скажут нам, что мы злые, глупые, может, сами все в этот кооператив отдадут? Пока они заодно с родителями, а как сойдутся с молодыми, там уж у них другой ветер дует».

«И что это Щепан,— сердится Малгося,— что он врет, будто к нему не приходили? К нему приходили, так он с ними и разговаривать не стал, одно твердит: как жена скажет, так и будет. Значит, все на себя бери? А что я знаю? Может, ему больше по душе было бы, если бы я согласилась?»

«С этой свадьбой... такая прорва денег... Может, хоть и не будут Зузе чепчик надевать, а гости все-таки соберут денег? Куда там, и думать нечего, чтобы хоть половину собрали. А какой порядок можно навести на эти деньги и в доме и в хозяйстве... И двор можно забором обнести, а не жить так вот, на тычке; цветов насадить, страх, как я цветы люблю... Третью корову купить... Матерь божия, коров вечером не подоили!.. Комнатушку надо бы для молодых пристроить... Да ведь кругом говорят: ничего не стоит делать, ничего не стоит устраивать, все равно отберут, а не отберут — налогами задушат, дохнуть не дадут; богатый, скажут, ишь, как вокруг дома красиво, пускай платит. Из-за этих разговоров так все и проедим, пропьем да на тряпки истратим, да ведь и тряпки только молодым нужны; им все простят, подлость — и то простят, а пожилой человек и одеться стесняется, а то скажут: богач, наряжается...»

«Или эти производственные кооперативы,— сверлит ей голову мысль. — И слова какие-то нелюдские, прямо ухо дерет. А может, в этих кооперативах и хорошее что-нибудь есть? Чего только не насказали: и дома, мол, будут новые, с электричеством, с ваннами, садами, только вот земля общая. А болело бы у меня сердце за эту общую землю? Если все так хорошо, отчего же Поля ходит, как в воду опущенная, и говорит, что дело плохо? Не помолилась я, вот меня такие мысли и мучат. Во имя отца и сына и святого духа, аминь. Отче наш, иже еси на небеси, да святится имя твое, да приидет царствие твое, да будет воля твоя, яко на небеси и на земли... на земли... Без воли божьей такое бы не делалось... Хлеб наш насущный...»

Тут Малгожату сморил короткий, тяжелый сон.

3

Михал Богусский тоже не выспался, как ему хотелось. Уже заполночь вернулся Яцек, а в пять часов утра поднялся и собрался к Яснотам.

— Ведь мне еще надо жженку делать,— оправдывался он перед женой, которая сердилась, что он детей перебудит.

— Да еще успеется. Разве тут ее не можешь сделать?— сонно ворчала она.

— Тут делать?!— язвительно улыбнулся Яцек и вышел.

У Михала сон был еще молодой, но не настолько, чтобы ничто его не будило. Ночной шум мешал ему спать, и, рано поднявшись, он тихонько проскользнул через кухню, где все снова уснули, и на рассвете зашагал к дому Малгожаты. Было свежо, но ни ветра, ни мороза. Чистое небо, медно-золотистое сияние на востоке, белесая мгла над далекой рекой наперекор вчерашним опасениям обещали теплый, ясный день. Все вокруг принарядилось в октябрьские краски. На фоне сероватой сосновой хвои золотились березовые рощи, краснели стволы сосен и белели стволы берез. Дубравы отливали рыжим, коричневым и красноватым цветом, медью горели каштаны, которых было довольно много около хат. На фруктовых деревьях, уже почти обнаженных, поблескивал кое-где пурпурный, желтый или серый листок, мокрый от росы. Тут и там стояли безлистые рябины, осыпанные красными, уже промерзшими ягодами, а ровная, чуть холмистая земля расстилала под ними то черную, жел-

товатую или серую полосу зяби, то яркозеленую полосу озимей. Кое-где доцветал благоухающий желтый лупин.

Изба Яснотов казалась убогой в этом осеннем сиянии и блеске. Она стояла на утоптанной земле, фасадом к деревенской дороге, от которой ее отделяли остатки плетня — несколько поломанных, покосившихся кольев. Дом, вмещавший под своей крышей комнату, сенцы и хлев, был построен из пустотелого кирпича и даже не оштукатурен, а лишь кое-как побелен. Только два высоких тополя, с которых на темную, поросшую мхом соломенную кровлю осыпался пожелтелый лист, украшали неказистое обиталище Яснотов. Вокруг дома уже суетился народ, а от дома Руцинских легкими скачками мчалась мать жениха, словно взлетая на своем костыле. Она ворвалась в избу одновременно с подошедшим Михалом.

— Добрый день, люди добрые! — кричит она охрипшим, но могучим голосом. — Что это я хотела сказать? Ага! Музыка уже приехала! Сейчас придут сюда играть гостям, сейчас будут встречать всех! Ну, сказала, и побегу! Вот у меня как!

Никто не успел и слова ответить ей, как она уже помчалась по меже; впрочем, все были заняты. Щепан, махая цепью, покрикивал на коров, выгоняя их на луг,— в такую погоду нечего держать скотину в хлеву. В дверях появилась Малгожата, с глазами, еще хмурыми от ночных раздумий.

— Щепан! Да ведь коровы не доены! Вчера вечером не доены и сегодня утром не доены! Да вороти же ты коров!— захлебнулась она в гневе и отчаянии.

Щепан пустился бегом и быстро воротил ту, что еще не ушла за фруктовые деревья; вторая, бежавшая тяжелой коровьей рысцой, была уже далеко на дороге. Но и та, оглянувшись, приостановилась и медленно повернула назад.

— Ядвися! Зови Зузю, пусть выдоит коров!— Малгося виновато улыбается брату.— У нас все еще суматоха,— говорит она жалобно.— Теперь скатерти не хватает. Михась, ты не прошелся бы к Маршалекам? Они наверняка одолжат...

— Отчего не пройтись? Маршалек... это около тракта под лесом?

— Там, там... Ты ведь их знаешь. Ядвися! Ступай с дядей, принесешь мне скатерть.

— С молоденькой панной — хоть на край света!— смеется дядя.— А только скатерть я и сам дотащу.

— Нет, не годится, чтобы гостя никто не провожал. А ребенка одного послать, так еще обидятся. Она тебя проводит через парк, покажет, где там кооператив, все расскажет.

И они пошли; невысокое еще солнце светило им в спину, и Богуский не ослепленными солнечным светом глазами замечал, что озими на окрестных полях поднялись ровно, как зубья частого гребешка.

— Хорошо у вас поля обработаны,— одобрил он.— Прежде так не бывало. Машинами, что ли, вспахали и засеяли?— Тут он подумал: «А что, собственно, такой ребенок может об этом знать? С ней бы надо об играх, о школе поговорить».

Но Ядвися своим пронзительным голоском серьезно ответила:

— Да, это машинный сев. И картошку мы машиной копали. Только она много оставляет. И не все умеют с ней обращаться.

— А откуда машины?

— Да из усадьбы. На машинно-тракторной станции тоже дают. Тут,— прибавила она,— еще поле пана Домбека, а дальше уже пана Гузека.

— Что это у вас вдруг столько панов развелось?— рассмеялся Бо-

гусский. Ядвися не ответила, не поняв, в чем дело. Она спокойно и вежливо продолжала объяснять:

— А отсюда уже все кооперативное. И по эту сторону дороги, и по ту. До самого рыбного хозяйства. До тех прудов.

— Я знаю. Это бывшие помещичьи поля. Бывало, когда трудно приходилось, мы с твоей мамой ходили сюда на работу. Пока она не уехала в Варшаву.

— Я тоже была в Варшаве. В городе плохой воздух, а вот в деревне воздух хороший, правда? И весной, когда я иду в школу, жаворонки поют. Иной раз нарочно раньше выйду и иду себе потихоньку, а они так поют, так поют. Дядя, а правда, что жаворонок с какого места взовьется, на то самое и падает?

Но дядя, видно, думал о другом, потому что вдруг спросил:

— А эти из кооператива, они где живут?

— В усадьбе. Раньше жили здесь, в бараках.— Ядвися показала на развалины у самой дороги, на занавоженном пустыре. — А теперь, когда сделался кооператив, они живут в усадьбе.

— А кооператив здесь давно основали?

— Неда-авно... В этом году.

— Так что почти десять лет люди жили в этих развалинах?

— Ну да! Если бы не записались в кооператив, так и теперь бы тут жили. А вот записались, и живут в усадьбе.

— А им не лучше было бы в отдельных домах?

— У них будут. На Пясках уже построили. Там уж третий год кооператив. А у нас еще не построили. Дядя, пойдем мимо усадьбы. Там красиво.

Они вошли в разгороженный старый парк, сильно запущенный, но горевший таким богатством красок, что слепило глаза. А над чащей лип, елей, буков, каштанов, грабов и багрянолистых кленов высился белый тополь, покрытый листьями: с одной стороны желтыми, с другой — белыми, как кипень, и пенился в темной лазури, словно бил молочный фонтан. Богусский подумал, что маленьким мальчиком много раз ходил в усадьбу на работу, но никогда не бывал в этом парке и глядел на него только сквозь железную решетку; а теперь по этому парку ходят крестьянские дети. Но и парк уже не парк, а наполовину лесная чащоба; много воды утечет, пока деревенский люд научится ухаживать за парками ради их красоты.

— А вот усадьба,— вывела его из задумчивости Ядвися.

Это была не старинная помещичья усадьба, а воздвигнутый, повидимому, на ее месте современный дом, довольно внушительный, двухэтажный, с террасой, балконами, крыльцом, весь безобразно облупившийся. Вокруг было пусто и тихо, лишь двое худеньких детей вдруг выбежали из дома, который народ называл дворцом, — мальчик и девочка,— оба в бумажных свитерах и в беретиках. Они пронеслись к высохшему пруду, полному палой сухой листвы, и прыгнули в нее, зарываясь в листья по грудь и гребя ручонками.

Возвращаясь со скатертью, Ядвися рассказала дяде, как мало они сегодня спали, но, в конце концов, все же заснули, наверно, уж под самое утро.

— И ты выспалась?

— Конечно! А я уж боялась, что мы вовсе не ляжем. На кого я сегодня была бы похожа, если б хоть немножко не поспала? Стоит мне только не выспаться, и я уже не человек. Такая чего-то делаюсь сердитая, такая печальная... Все свечи и лампады, — оживленно прибавила она,— будут гореть.

— Где? В костеле?

— Конечно! Зузя с паном Чесеком вчера заплатили за венчание так, чтобы все горело. Паникадила тоже будут гореть. И такси будет для жениха с невестой.

Пока дошли до хаты Яснотов, стало так тепло, что Михал снял пальто. Перед избой было полно народу, и музыка уже играла встречный марш новым гостям. Михал еще помнил деревенские обычаи и, проходя мимо музыкантов, сунул в карман стоящему впереди свою лепту. А впереди стоял дядя жениха, Адам Руцинский,— варшавский железнодорожник и член железнодорожного ансамбля гармонистов. Это был человек небольшого роста, но осанистый, со смуглым, очень красивым лицом, даже лысина придавала ему какой-то опрятный и элегантный вид по сравнению с причудливо взбитыми шевелюрами у мужской и женской молодежи. Черты лица у него были точеные, взгляд карих глаз и улыбка полны учтивости и деликатности; хотя ему было уже за пятьдесят, белые зубы, сверкавшие, когда он улыбался, приятно его молодили. И все были целы, а может, это были искусственные зубы? В деревне здоровые зубы считались редкостью, и лишь в преданиях повествовалось о прежних белозубых стариках.

Входя в избу, Михал спросил Малгожату:

— И где только вы раздобыли этакого графа гармониста?

Малгожата залилась краской.

— Правда?— спросила она. И таинственным полушепотом ответила:— Он всегда с виду был такой пан. Это Адам Руцинский, не помнишь? Он когда-то бывал у меня в Варшаве. Ох, как он мне нравился! Я так хотела выйти замуж за музыканта. Он один на свете мне нравился, только он. Когда он женился, я даже плакала, одному тебе, Михал, говорю это.

Она взглянула на брата своими серыми лучистыми глазами и вдруг схватилась за голову.

— Я тут о пустяках болтаю, а у нас еще ничего не кончено. Жженку только сейчас готовим, а ведь до костела надо еще дать гостям позавтракать. Яцек злится, потому что встал до свету ради этой жженки, а у нас все горшки заняты и масла не хватило, пришлось по деревне искать. Подумай только, Михась, чуть не сто человек съехалось на Зузину свадьбу!

В хате было шумно. Зузя, еще в рабочем платье, вместе с теткой Паулиной расставляла на накрытых столах копчености, хлеб, сдобные булки и пончики. Щепан с Чесеком перетирали стаканы и рюмки. Малгожата заваривала ячменный кофе и чай. У плиты Леокадия Богусская мешала поваренной ложкой в огромном чугуне, в который ее сын Яцек сыпал сахар, клал масло, прибавлял толченый мускатный орех и вливал литровые бутылки водки. Яцек, несмотря на молодость, славился в округе тем, что лучше всех готовил свадебную жженку. Но вот уже Михал Богусский появляется на пороге и громко приглашает:

— Покорнейше просим! Завтрак подан! Жженка на столе! Кто первый — самый лучший, кто последний — всех получше! Кто постарше — просим садиться, кто помоложе — пусть постоит!

Гости двинулись толпой и вмиг заняли места за столами, сколоченными подковой. Уселись пожилые и те, что были с детьми, а молодежь плотно заполнила свободное пространство между столами, беря себе лакомые куски через плечи сидящих — кто на хлеб или прямо в рот, кто на тарелочку, если удалось заполучить ее; вилок хватало, каждый старался только раздобыть стакан или рюмку. В них дымилась жгучая, огненная жженка.

Однако, гостям пришлось сбиться еще плотней, когда в хату вошли музыканты, а войти им надо было, потому что на свадьбе не годится что-нибудь делать не под музыку. Музыкантов было трое; кроме гармониста, еще скрипач и барабанщик. Ну, барабанщику пришлось оставить свой барабан на улице, потому что инструмент у него не пустяковый. Огромный обод стоит на земле, а барабанная палка прикреплена к педали, на которую музыкант нажимает ногой. К верхнему краю прикреплены две продолговатые полые трубки; когда музыкант барабанит по ним маленькой палочкой, получаются сухие звуки, схожие с негритянским там-тамом, когда же он выбивает на них искусную дробь, похоже, что щелкают испанские кастаньеты. Над барабаном на толстой проволоке подвешена медная тарелка, по которой артист лупит изо всех сил, когда надо потрясти слушателей этаким медным громом. Сам барабанщик родом из Павловиц, с большинством присутствующих на свадьбе парней «на ты». Но он уже давно живет в Варшаве, где бьет в барабан, лупит в медные тарелки и щелкает кастаньетами на танцульках и народных гуляньях, в закрытых помещениях и на свежем воздухе. Лицо у него, как у клоуна или шута, рот от уха до уха, черты лица нескладные, но глаза плутовские и насмешливые, а в обхождении есть что-то такое приятное и заразительно веселое, что стоит ему рассмеяться, как он приковывает к себе все взгляды и заставляет всех смеяться. Зовут его Толеком. Не считая трехзвучного барабана, Толек обладает еще одним увеселительным инструментом, заключенным в нем самом: он первоклассный исполнитель песенок. Вот с этим-то инструментом он и вошел в хату и тотчас металлическим баритоном запел что-то из модного репертуара; хотя он отличался главным образом в шутливых, забавных и насмешливых песенках, но, поскольку перед венцом они неуместны, он выступил на этот раз с трогательной песенкой о девушке. Осанистый Руцинский вторил ему тенорком и подыгрывал на гармонике.

Но все смотрят на скрипача. Его здесь никто не знает, те двое отыскали его где-то в Варшаве. Во дворе к нему как-то не присмотрелись и только здесь, в низкой хате, увидели, как он высок. До смешного длинен, особенно ноги, а туловище такое маленькое, что кажется, будто весь он состоит главным образом из ног и головы — сущий аист. Лицо такое худое и узкое, что, кажется, и глядеть-то на него можно только сбоку, в профиль. Даже глаза у него сидят по бокам, как у птицы. А так как шею скрипач держит наклонно, а нос у него длины необычайной, то кажется, что носом он упирается в грудь, точь-в-точь, как это делают аисты. Кто-то крикнул: «Да ведь это аист». Другой подхватил: «Журавль, длинноногий журавль!» Так они между собой его и прозвали. «Аист», — твердят одни; «Длинноногий журавль», — стоят на своем другие. Между тем скрипач заиграл. И взял такую хватающую за сердце, такую зажигательную ноту, что всю душу перевернуло, даже застольный шум немного утих. Скрипач по-птичьи посматривает желтыми глазами то вправо, то влево, и волосы у него тоже рыжевато-желтые. Он играет. Но вот женщины уже накрыли перед домом столик с угощением для музыкантов и просят их выпить жженки.

В хате царит неописуемый шум: каждый хочет перемолвиться словом как раз с тем гостем, который сидит от него дальше всех, и каждый норовит перекричать соседа. Но весь этот шум покрыл голос Катажины Гондек, когда она, вспомнив старые обычаи, запела, держа у груди маленькую Бернадю, так пронзительно, будто сотня чаек разом крикнула над лугами:

Эх, крепка горелка, эх, и жженка хороша,
Эх, да еще лучше моя любушка-душа!

Не ожидая поощрения, она перекрикивает всех уже новым куплетом, а бабушка Яснота бодро ей вторит. Обе поют:

Ой, соловушко из лесу голос подает,
Ой, на свадьбе на моей, да песенки поет!

Раздался хохот, особенно смеялись молодые; некоторые из них силятся заглушить бабушку, распевая неизвестную здесь городскую песенку:

Мариника, Мариника,
Не ленись, да погляди-ка, погляди-ка...

Кто-то из гостей, кажется, зять Руцинских — «работник умственного труда, — говорят о нем люди, — из уездного города», — вздумал поощрить двух старомодных певиц.

— Так вот и пойте! — взывает он к бабушке. — Всегда так пойте! Вы облагородили наше собрание, наш пир! Это укрепляет наш дух! Это наша прекрасная народная песня, это традиции Народной Польши. Сто лет вам жить! Облагораживайте! Эту рюмку — за ваше здоровье...— тут восхищенный гость выпивает третий стаканчик жженки.

Но бабушка Яснова не слышит его похвал, и, хотя гость обращается к ней, протягивая через стол стаканчик, она этого не видит: глаза ее зажмурены от восторга, и она поет, нет, не поет, а кричит во всю глотку, широко разевая беззубый рот.

Юзеф Яснота, брат Щепана,— они похожи друг на друга, как две капли воды, только глаза у Юзефа больше, светлые, со стеклянным болезненным блеском, и грудь еще более впалая,— став на пороге, кричит:

— Пора, пора! Пора собираться к венцу!

Начинается суматоха, все встают; жених и невеста уже давно исчезли, их одевают к венцу.

Зузю наряжают в соседней хате — у Попёлеков, а распоряжается церемонией Анеля Павоняк, у которой хороший вкус. Сама она очень хороша в черной юбке, в светложелтой шелковой блузке с черным кружевом у воротничка, заколотого блестящей черной брошкой. Войдя к Попёлекам, Малгожата, на которой попрежнему надето затрапезное рабочее платье, даже не успев взглянуть на дочь, загляделась на Анелю. «Какой вкус, какой шик!» — думает она, а вслух говорит:

— Точнехонько так выглядела моя покойная барыня на портрете. Как раз такой ее изобразили, когда она еще была молодая. Тоже в желтой блузке и с черной брошкой.

— А Зузя?— говорит Анеля с материнской улыбкой.— Не так,— останавливает она помогающих ей подружек.— Фату приколем иначе. И аспарагусов мало.

— Ядвися, беги домой, принеси аспарагусы,— торопит Малгожата. Ядвися с трудом отрывает восхищенные глаза от сестры, выбегает и вскоре возвращается, неся в обеих руках горшочки с аспарагусом, так тщательно убранные вчера белой и розовой папиросной бумагой.

Хозяйка дома поддерживает тюлевую фату и, проливая слезы, говорит:

— Все-то теперь по-иному. Прежде, бывало, невесте полагалось вырастить себе руту или мирт на свадебный веночек. А теперь, как настала эта новая власть, аспарагусы пошли, господи боже мой...

Зузя, пока ее одевают, стоит послушно, в молчании. Глаза ее широко открыты, сухи и неподвижны, выглядит она красивей, чем вчера, потому что припудрила прыщики на лбу и подбородке, слегка нарумянила бледные щеки, губы тоже подкрасила. Чесек любит, чтобы женщина выглядела по-городскому.

Перед хатой гости уже начинают проявлять нетерпение: почему не видно жениха и невесты. Поздняя обедня уже, должно быть, началась, такси из местечка прибыло и ожидает, рокоча мотором. Телеги все прибывают; из дальних концов Павловиц, из соседних деревень съезжается многочисленная родня обеих семей, по тропинкам подходит пешком молодежь, появляются и два солдата — это парни, которые сватаются к младшим дочерям Лукаша Богусского и Паулины Шатковской. Музыка все играет и играет встречный марш; наконец вереница гостей кончается. Гармонист Адам Руцинский стоит со своей гармоникой посреди тропинки и кого-то высматривает.

— Кого это вы там высматриваете, пан граф?— спрашивает Михал Богусский.

— Важного гостя,— серьезно отвечает гармонист,— нашего помещика высматриваю.

— Помещика?— не понял Богусский.— Какой же тут может быть помещик?

— Мы его называем помещиком, потому что он здесь сейчас самый большой человек,— с достоинством объясняет гармонист.— Директор государственного хозяйства. Того самого, рыбоводческого.

На это Михал уж ничего не отвечает; увидев, что и Малгожата выбежала задами на дорогу и тоже кого-то высматривает, он подходит к ней.

— Что, и ты, Малгося, его дожидаешься?— спрашивает он.— Тут вот ждут «помещика». Директора госхоза,— отвечает он на ее испуганный взгляд.

— А-а,— кивает головой Малгожата.— Это пан Стемпень. Он родня Руцинских, они, говорят, пригласили его на свадьбу. Да разве он к нам придет? Он не придет... Нет, я Щепана поджидаю. Все жду, жду,— устало вздыхает она.

— А где же Щепан?— оглянулся Богусский.— Я, правда, что-то давно его не вижу.

— Да поехал к автобусной остановке! Сестра Руцинской должна приехать с мужем. Говорят, у нее ноги больные, не может пешком идти. У него сердце очень мягкое, у Щепана, взял да и поскакал. Не допущу, говорит, чтобы больная пожилая женщина шла пешком на нашу свадьбу. Я-то не против, а только что же теперь будет? Автобус иной раз опаздывает, когда же молодые к венцу попадут? Не может же Зузя ехать без родительского благословения. А Щепана не видно.

— Приедет. А ксендз подождет с обедней. Заплачено ведь,— утешает Михал.

— Да ведь столько народу ждет, столько народу,— жалуется Малгожата.— Сама-то я не так уж гонюсь за этим, но Щепан... Щепан... Сколько он намучился с этой свадьбой, а теперь даже не благословит дочку. Для него большое дело это благословение!

Между тем к толпе гостей подходят жених и невеста. По засыпанной мусором тропинке от Попёлеков плывет Зузя в длинном белом платье, неподвижная, как статуи мадонн, которые носят во время крестного хода. Чесек Руцинский — в синем костюме с белым бантом, украшенным зузиным аспарагусом. Оба окружены толпой девушек и хлопцев. Перед хатой уже поставлен столик, накрытый скатеркой, на нем распятие и две свечи; воздух такой теплый и неподвижный, что свечи горят, как нарисованные, их желтоватые огоньки едва видны в сиянии погожего дня.

Люди начинают терять терпение. «Где родители невесты?» — слышатся голоса.— «Как, отца нет?» — «К автобусу?» — «Да когда же он

теперь приедет?» — «Не мог кто-нибудь другой за него поехать?»

Малгожата в который уже раз выбегает на дорогу и вдруг замечает, что рядом с ней, устремив глаза вперед, стоит Адам Руцинский.

— Не видно!— робко говорит Малгожата.— Щепана не видно,— поясняет она, вспомнив, что Руцинский ждет пана Стемпня.

Гармонист, присмотревшись, кланяется ей, подает руку.

— Так это хозяюшка, матушка невесты?— любезно здоровается он.— Изменились, похудели с тех пор, как я бывал у вас на улице Эмилии Плятер; помню, помню, миновали те времена.

Малгожата вдруг забывает обо всем, она только сознает, что стоит перед этим шикарным варшавянином, который был ей когда-то так мил, в грязном от кухонной работы тряпье. Ведь она даже одеться не может, даже на венчание не поедет, потому что надо мыть посуду, готовиться к приему гостей после венчания. Она хочет сказать об этом гармонисту, но у нее не хватает слов. К счастью, ее зовут — больше ждать никак невозможно. Пусть мать одна благословит детей.

Кто-то подталкивает жениха и невесту, и они опускаются на колени на поспешно подстеленный Юзефом Яснотой коврик. Анеля подает Малгожате кропило, но та не видит; вся дрожа, она обнимает Зузю и восклицает: «Дочепька, дети мои милые, благословляю...» Ничего больше она не сказала, захлебнулась слезами. Да и того, что сказала, никто не услышал, еще и шум вокруг не затих. Вдруг все увидели, что Малгожаты уже нет у столика, проворная мать жениха отстранила ее, будто перышко сдула, и уж она-то сказала речь! Все слушали, прямо как завороженные. Руцинская смотрела не на жениха и невесту, а на толпу гостей, будто всем посылала благословение; она говорила проникновенно, но вместе с тем весело и все в рифму; длинная была речь, и закончила она ее словами:

И благословляю моего сына
в последнюю холостую его годину.

Многие утирали слезы. Никто и не заметил, что отец жениха не присутствовал при церемонии благословения.

Когда пришло время ехать и жених с невестой сели в такси, Зузя вдруг заявила, что сесть-то она села, но без отца к венцу не поедет. И снова стали ждать. Некоторые ворчали: вот, мол, какой легкомысленный человек — такое важное лицо при обряде, а поскакал к автобусу, точно некого было послать вместо него. Другие тем временем размещались на телегах. «А музыка?» — кричал кто-то. — «Ты что, собираешься барабанить в костеле?» — смеялись кругом. «Музыка остается, только скрипка поедет в костел», — решили наконец. — «Скрипка едет!» — передавали из уст в уста. «Пан аист, к нам!» — «Ну, скрипачу и влезать на телегу не надо, у него такие длинные ноги, что телега сама под него подъедет»,— раздавались шутки. Рыжий скрипач, стараясь не показать, как он рад такому отличию, садится на указанную ему телегу, прижимая к боку футляр со скрипкой, и удивленным желтым глазом поглядывает на свою соседку. Рядом с ним сидит бабушка Яснота, которая, несмотря на свои годы, ни за что не хотела остаться дома. Глаза у нее закрыты, верно, видятся ей нарядные дружки верхами, подруги в лентах, бусах, с золочеными уборами на головах, и она скрипучим голоском выкрикивает:

К венцу поспешала и так причитала,
Не давайте меня, мама, не давайте брать...

— Мать,— останавливает ее Катажина Гондек.— Перестаньте петь. Полноте. Не то время, не те люди...

А Малгожата все ждет, уже просто выдержать не может, ни о чем не думает, только о том, как бы Щепан не пропустил прощания с Зузей-девушкой, как бы подоспел хоть в последнюю минуту; должен же он порадоваться, ведь как мало радости видел бедняга на своем веку!

Народ тоже ждет, люди скучают, сердятся, слезают с телег, слоняются по дороге, снова усаживаются на телеги, не зная, как ускорить возвращение легкомысленного папаши.

«Едет!» — кричит, наконец, кто-то. Все застыли в ожидании, слышен только рокот в третий раз запущенного мотора свадебного такси. На дороге из-за небольшого пригорка показалась сперва лошадиная морда, потом, как из-под земли, выскочила телега, вскачь несясь к зрителям.

— Отец! Отец едет!! — вырвалось почти из всех уст. Пожалуй, никогда еще отцовству Щепана Ясноты не воздавалась такая честь, хотя он и не знал об этом, потому что не слышал возгласов. Он натянул поводья так, что вздернул коня на дыбы. На подводе он был один, гости, видно, не приехали. Щепана как ветром сдуло с телеги. Расталкивая народ, он бежал к такси и кричал:

— Зузя моя! Доченька моя милая!

Зузя опрометью выскочила из машины и повисла на шее у отца. Больше никто уже ничего видел, кругом засуетились. «Садиться!» — «Поехали!» — «Такси едет впереди!» — «По порядку!»— слышалось со всех сторон. Наконец свадебный поезд тронулся. Малгожата выбежала из дома с мужниными ботинками — этот сумасшедший помчался к автобусу в опорках. Щепан бросил вожжи кому-то из парней — их к нему насело порядочно — и переобувался уже в пути.

Телег было девять, все семейные; кое-кому пришлось призанять лошадей, так как не пристало ехать к венцу на одной лошади. Только бедняга Щепан не успел припрячь взятую у Попёлеков кобылку. Ехали рысью, не отставая от такси, которое двигалось впереди, степенно умеряя ход, чтобы сопровождающим не пришлось мчаться галопом. Доски всех телег были покрашены в желтый, серый или коричневый цвет, колеса были на резиновых шинах, на каждой телеге сбоку дощечка с фамилией владельца и названием деревни, написанными черной краской. Совсем современные телеги, да и дорога была современная, потому что большая ее часть была вымощена. Только ясное небо, простершееся над едущим в молчании свадебным поездом, только земля, пламенеющая октябрьскими красками, были древними, извечными.

4

Деревня Сташувка, как и другие окрестные деревни, раскинулась отдельными хуторами на землях прежних шляхетских владений, лишь кое-где два-три двора теснятся друг к дружке; деревня существует не больше ста лет. Костел, тоже не очень старый, возвышается на пригорке, густо заросшем деревьями, среди сосен, грабов, березок и рябин. На солнце все это ярко пламенеет, но свадебные гости больше заняты тем, как бы пробраться к алтарю. В костеле тихо звучит орган и полно народу, у главного входа и у дверей ризницы тоже толпятся люди, которым не удалось пробраться внутрь.

Скрипач протиснулся первым. Он ведь должен играть на хорах, поэтому с решимостью посланца, которому предстоит выполнить высокую миссию, он прорезал толпу своей длинной, узкой фигурой («как нож тесто», — смеялись свадебные гости). Перед ним расступались, дивясь этой необычайно длинной, тощей и рыжей фигуре, и он пёр прямо в риз-

ницу, а оттуда по лесенке на хоры. Вслед за скрипачом двинулись жених с невестой; они прошли невредимо: при виде белого платья, венка и фаты люди потеснились, сжались, едва не расплющились. За женихом и невестой проскользнула девочка, которая должна была подавать кольца, — красивое дитя из семейства Руцинских, тоже вся в белом. За ней шел Щепан Яснота, никого и ничего не видя, вперив глаза в искусственный флердоранж и веточки аспарагуса в венке дочери, шел с лицом мокрым от слез. Потом Анеля Павоняк ввела бабушку Ясноту. Остальные проталкивались по мере сил и возможности через оба входа.

Гжегож и Михал Богусские не стали пробираться в костел, а прошли на кладбище, расположенное прямо против ворот костела, по другую сторону дороги. Шли молча, шурша листвой, толстым слоем устилавшей кладбищенские дорожки, пока не остановились перед высоким дубовым крестом, который стоял на могиле их матери. Могила была облицована камнем, только сверху оставалась земля для цветов. На жестяной табличке виднелась надпись: «Блаженной памяти Марианна Богусская, ум. 10.1.1945 г.» Михал поднял веточку и смел с могилы опавшие листья, из-под них выглянули полузамерзшие, но еще цветущие мелколистые бегонии, которые посадила здесь весной Малгожата. Потом они долго стояли неподвижно, и у них обоих, немолодых уже мужиков, градом текли слезы. Сквозь эти слезы они видели мать, как живую, видели всю ее жизнь. Жалкая это была жизнь! Будто и хозяйка, а на самом деле батрачка, вечно гнущая спину на чужой земле, кулацкой или помещичьей; отец был человек болезненный, умер еще в первую мировую войну, и она осталась одна с крошечными ребятишками. Измученная, изнуренная, и все же крепкая, неутомимая, никогда и ни от чего не падавшая духом, она горячо любила детей, но воспитала их в строгих правилах. Они не помнят, чтобы она когда-нибудь прикрикнула на кого-нибудь из них, а между тем они слушались и боялись ее, так как не хотели ее огорчать. И до конца ее жизни они любили мать и теперь жалели, что она не дождалась лучшей доли, которой дождались все ее дети. Умирала мать, глядя на гнетущую бедность Малгожаты, но такой уж она была человек, что только у Малгожаты и хотела жить на старости, потому что здесь больше всего нуждались в помощи и ободрении. У других, более зажиточных детей она бывала только в гостях и опять возвращалась к суровой жизни у своей Малгоси, потому что, говорила она, «никто из вас день и ночь не работает, а моя Малгося по ночам шьет, чтобы не впасть в нищету, так пусть хоть утром поспит, а я за нее все сделаю». Как бы радовалась мать, если бы дожила до нынешнего дня!

Вернувшись, они подоспели к самому венчанию: пономарь как раз зажигал паникадила и жених с невестой подходили к аналою. Громко заиграл орган, мужской голос пропел «Veni Creator Spiritus», а затем зазвучала скрипка. Свадебные гости многозначительно переглянулись, а посторонние обернулись к хорам.

Когда полчаса спустя все рассаживались по телегам, длинноногий скрипач робко приблизился к степенной красивой Анеле Павоняк.

— Скажите, пожалуйста,— спросил он,— хоть немного-то было слышно, как я играл?

У Анели Павоняк было догадливое сердце.

— Да что вы,— сказала она, с приветливой улыбкой глядя на него снизу вверх.— Весь костел обернулся на хоры, когда вы заиграли. Вы прекрасно играли.

Скрипач всматривался в нее с недоверчивой благодарностью.

— Я, знаете, года два учился в музыкальном училище,— тихо сказал он.— Играю в ансамбле... Я с самого утра вас заметил. Вижу, серьез-

ная, интеллигентная женщина. Так и думал, что вы-то разберетесь... А то у этих деревенских вкуса нет...

— Я деревенская,— сказала Анеля Павоняк.— Я тут...— Но ей не дали окончить. Братья звали, пора было возвращаться.

— К маме на могилу не сходила?— спрашивает Михал.

— Да я старую Ясноту вела. Гондек пришлось ребенка кормить, все был тихий, а около костела раскричался. Сейчас к маме на могилу зайду. Подождите немножко, я с вами поеду.

Час спустя свадебному поезду пришлось остановиться в тени деревьев сада, около риги и на тропинке, ведущей к Попёлекам, потому что около хаты Яснотов было расставлено шесть взятых взаймы столов. Благодаря прекрасной теплой погоде места теперь хватало на всех: часть свадебных гостей могла пировать под открытым небом.

Леокадия и Паулина кончают расставлять на столах блюда и тарелки с колбасой, копченой грудинкой, сальцесоном, ливерной и кровяной колбасой, приготовленной с гречневой кашей; Малгожата раскладывает по тарелочкам нарезанный студень, расставляет между блюдами дыню и сливы в уксусе, маринованные грибы всех сортов, салат из собственных помидоров, которые хранили к свадьбе, хрен, горчицу и свеклу. Хлеб есть и покупной и домашний, сдобные булки поданы те же, что и утром, жженку сменили водка и домашнего приготовления настойки на терновых ягодах, просе, ржи и чернике. Тут и там небрежно разбросаны сероватые осенние груши бера и яблоки малиновка.

Самые молодые ринулись к столам, расставленным под открытым небом — здесь им свободней было дурачиться. Но порядочно молодежи ввалилось за старшими в хату, где за главным, поставленным поперек, столом сели новобрачные; рядом с ними, заменяя родителей, которые обслуживали гостей, уселись дяди Юзеф Яснота и Михал Богусский; остальные рассаживались как попало. За столами было весело, кричали, смеялись, отпускали шутки, так что Зузя даже заметила дяде Юзефу с блаженной улыбкой:

— Вот веселятся гости, вот веселятся, правда?

На что Юзеф Яснота, человек невеселый, ответил:

— А с меня довольно. Даже жизнь мне не мила. — Чему невеста чрезвычайно удивилась.

Усаженная неподалеку бабушка Яснота, которой молодежь налила рюмку водки, пела, точно подрядилась, а из-за бокового стола бодро вторила ей Катажина Гондек, сидевшая там со своей Бернадей у груди.

Беда, коль бурьяном поле заглушило,
Беда, коль невестку свекровь не взлюбила,
Хоть бы та невестка розы вышивала,
Свекруха ей скажет — день-деньской гуляла!

Какая-то статная девица с чудной завивкой, в плотно облегающей шелковой блузке павлиньего цвета, с отвращением взглянув на старуху, которая затянула тут во все горло какую-то немодную и грубую песню, подмигнула нескольким молодым людям, слонявшимся с рюмками возле стола.

— Мы,— громко крикнула она им,— не такие песни любим. Массовые!

И горловым металлическим голосом она затягивает другую песню: «Едут, едут гости к моему садочку...»; но путает слова и конец куплета бормочет вполголоса, зато громко, точно бьет молотком по железу, повторяет припев:

— Ну-ка ола, ола-ла! Ну-ка ола, ола-ла!

Кто-то из парней поправляет:

— Там не так!— И тенорком поет:

— Эх да ола, ола-ла! Эх да ола, ола-ла! — и притопывает ногой, восклицая: «Эх да».

Но особа в павлиньей блузке вызывающе смотрит на юношу и резким, как звон железа в кузнице, альтом упрямо повторяет:

— Ну-ка ола, ола-ла!

Так они препираются довольно долго; одна кричит: «Ну ка!», другой: «Эх да!» Раздраженно бросает через стол юноша:

— Это деревенская песня! Я-то хорошо знаю, как ее поют! И моя бабушка тоже ее знает, — он указывает на старую Ясноту. Девица не знает, что юноша, который спорит с нею, — сын Юзефа Ясноты, Владек, с виду мальчишка, а на самом деле женатый уже, работник варшавской пожарной охраны. Девице досадно, что молодой человек противоречит ей, потому что он сам хорош собой, как картинка, но тем более ей хочется победить его, и она кричит:

— Ну да, еще что скажете! Это же «Мазовше», ансамбль песни и пляски. Это во всем мире поют! В Китае, повсюду! В Париже!

Продолжение спора тонет в рукоплесканиях и крике — музыканты, до сих пор игравшие перед домом, вошли теперь в хату. Вскоре Толек-барабанщик с успехом выступает в своем излюбленном репертуаре; звонким баритоном он распевает всякие смешные песни, гримасничая при этом, топоча ногами и приплясывая. Гармонист и скрипач только тихонько подыгрывают ему, чтобы не заглушить его баритона и слов песни.

Новобрачные застыли в торжественном молчании, но по Зузе сразу видно, какая она заботливая, внимательная девушка. Кажется, что Зузя чинно сидит рядом с новобрачным, а на самом деле она следит за всем, и, чуть ей что не понравится, она, за невозможностью иначе выбраться из-за стола, ныряет под стол, выныривает в своем подвенечном наряде посреди хаты и хватает мать за локоть:

— Мама, подайте на дворе угощение музыкантам. Сейчас им незачем тут петь и играть. Гости и сами веселятся. Пусть музыканты не устают зря, им ведь еще всю ночь играть, а может, и завтрашний день.

— Да, да, — поддакивает полуобезумевшая Малгожата. — Матерь божия, столько народу, я так боюсь, как бы кого не забыть, не обидеть... Щепан, зови музыкантов к столу! Поля, приготовь им! Лодзя, сальцесон еще есть?

Зузя возвращается на свое место: как кукольная фигурка в вертепе, что просунули снизу сквозь щель, она появляется из-под стола и садится возле мужа: Юзеф Яснота начинает при этом мрачным голосом приговаривать:

— Горько! Горько! Горько!

И тотчас же все начинают тоже кричать: «Горько! Горько!» — пока новобрачные по обычаю не целуются в губы. Когда они целуются, конца нет рукоплесканиям, возгласам, здравицам и песенкам. Какая-то разбитная горожанка отличается, крикливо распевая куплетцы собственного сочинения на всех участников пира. Сидящий рядом с нею Михал Богусский совершенно счастлив, он любит остроумных женщин. А будучи уже немного под хмельком, он прижимает к себе ее руку и запевает:

И во Вроцлаве тоже есть влюбленные,
Что ходят рука об руку, как мы, всякий день,

Для них луна над Одером восходит ночкой темною,
Для них в Залесье всегда цветет сирень.

— Послушайте, почтеннейший, у меня есть жених, — смеется остроумная соседка. Михал тотчас отшучивается:

Прибыль никогда не помешает,
И женатый панне по сердцу бывает!

Малгожата собирает опорожненные блюда, чтобы подложить закусок, и вдруг, обернувшись, видит, что кто-то входит в хату.

— Лукаш, — говорит она вполголоса и спешит поздороваться со своим самым старшим братом.

Лукаш Богусский работает теперь в Варшаве; у них были какие-то трудности с выполнением месячного плана, и он предупредил, что ему, возможно, придется отказаться от воскресного отдыха, но, видно, дело уладилось, и он, хотя и поздно, все же приехал. Лукаш широкоплечий, коренастый мужчина, лицо у него красное — точно от своих кирпичей он и сам стал кирпичный. Волосы темные, с проседью, глаза светлые, — у всех Богусских светлые глаза, серые или голубые, такие глаза, что, как глянут, сразу вокруг все светлеет. Этими глазами он теперь незаметно подает знак Лодзе, что видит ее, то есть, что все хорошо. Михал не может заставить соседей сдвинуться с места и, несмотря на почтенный возраст, по примеру Зузи, пролезает под столом. Оба они с Гжегожем дольше всех не видели Лукаша.

— Здорово, брат! Почеломкаемся! — кричат они, а так как кто-то из гостей выходит во двор, то всем троим удается найти местечко с наружной стороны главного стола. Малгожата, подходя к Лукашу с тарелкой и рюмкой, слышит, как он говорит:

— Я теперь в деревне буду строить. У нас. Может, не сейчас еще, но скоро.

— Тут, в Павловицах? — спрашивает Гжегож. — А что ты будешь тут строить?

Лукаш выпивает, закусывает и немного погодя отвечает:

— Дома для павловицкого кооператива будем строить. Для этого вот самого земельного товарищества.

Гжегож хохочет во все горло.

— Что это тебе пришло в голову, Лука? Ты-то тут при чем?

— Я-то ни при чем! — Лукаш закусывает и отвечает не спеша. — Да ведь дело не во мне, а в кооперативе. Кооператив-то в нашей деревне.

— Ну и что? Хоть в твоей деревне, да не твое дело! А может, ты записался?

— Нет, не записался. Но раз в моей деревне, значит, мое дело. Я хороший каменщик и не люблю плохой работы. А наша деревня и так плохо построена. Раз будут ставить новые дома, так уж пускай будут хорошие. Кооператив ли, нет ли, главное — для людей строим. Это дело чести всей деревни.

Малгожата сияющими глазами смотрит на Лукаша, а затем вопросительно на Леокадию. Она не знает, хорошо ли показывать, что слова Лукаша ей нравятся, да и не знает, почему они ей нравятся. Лукаш до сих пор никогда таких мыслей не высказывал. Но по лицу Лодзи ничего не поймешь, она, может, и не слышит этого разговора, занятая гостями.

Михал хлопает брата по коленке.

— Правильно говоришь, — заявляет он. — И я, брат, к тому же пришел. Что для людей, то не пропадет, дело известное...

Из дальнего конца комнаты к ним пробивается мужчина лет сорока. Лицо у него худощавое, веселое, глаза, как голубые пуговки, руки подвижные, с длинными пальцами, вся фигура выражает праздничное благодушие.

— Как приятно слышать серьезный разговор, — говорит он, не слишком уверенно держась на ногах перед собеседниками. — Разрешите представиться, — обращается он к Лукашу, — моя фамилия Трачик, каменотес из Варки. Я вижу, вы относитесь положительно. Я тоже. Могу сказать, что мне по душе этот строй. Я, знаете, по натуре артист, хотел даже стать скульптором, а теперь уважают артистов. Хорошо вытесываю могильные памятники, какую угодно фигуру или надпись могу, если хотите, выдолбить, а нет, так выпуклую сделать. И знаете? Никогда я столько не зарабатывал, как сейчас. Две комнаты с кухней у меня сейчас с семьей, а раньше я жил в жалкой мазанке, да и то угол снимал. Наше время — хорошее время.

— Много зарабатываете, потому что больше народу помирает от этих хороших времен, — ехидно замечает Гжегож. — Даже в газетах пишут, что очень плохое давление крови в наше время. Сваливают на атомы, а оно плохое от этих огорчений, от этого планового беспорядка — вот из-за чего люди помирают.

— Однако, заметьте, — каменотес из Варки назидательно поднимает палец, — заметьте, сколько детей родится! Никогда еще такого не бывало! И не умирают! Понимаете! За последние пять лет мне не пришлось поставить ни одного детского памятника.

Тут появляется вдруг Анеля. Со свойственным ей благодушием она говорит:

— Гжесек, опомнись! Это ты-то ссылаешься на газеты? Забыл, сколько раз говорил, что в газетах одно вранье?

— Конечно, вранье. Но случается и слепой курице зерно найти. Когда такое напишут, что я по опыту знаю, что это правда, я ничего, согласен. О плохом давлении крови правду писали.

— Вижу, что и вы женщина политическая, — радуется каменотес Трачик из Варки. — Как это приятно! Видите ли, по профессии я каменотес, но по природе политик, да! И мне очень хочется знать, что вот вы, пан строитель, — он обращается к Лукашу, — думаете о третьей мировой войне. Потому что, я думаю, будет ли она или нет, а мы все равно того... победим. По душе мне этот строй, вот что я вам скажу.

— Я не политик, — говорит Лукаш, недоверчиво глядя на симпатичного, но неизвестного ему и вдобавок подвыпившего гостя. — И думаю, что за бутылкой водки не время говорить о политике.

— А почему? — задорно спрашивает сидящий рядом Владек Яснота, пожарный. — На мой взгляд, — прибавляет он, легонько икнув, — наоборот, всегда время. Все политика.

— Выпей воды! — придвигает ему стакан сидящая рядом пухленькая блондинка, его жена Кшися. Сейчас она почему-то дуется. Все семейство Яснотов плохо переносит водку. И отец, и сын, по мере того как пьют, становятся все угрюмей. Юзеф Яснота подливает себе водки и снова повторяет:

— Мне все надоело. Даже жизнь не мила. Моя мама живет уже восемьдесят шесть лет, и ей не надоело жить. А мне надоело.

— Отец! Отец! — уговаривает его Владек. Но сам он, как злой щенок, то и дело норовит подкусить жену. Видно, что они не поладили, но никто не знает из-за чего.

Манюсь Шатковский уже некоторое время прислушивается к разговору старших. Паренек, видно, позволил себе лишнее и теперь дробно

и часто пристукивает ногами, точно приплясывает. Он поддакивает Владеку Ясноте, с которым раньше не был знаком, — дескать о политике всегда время говорить. Но больше всего ему хочется завязать разговор с каменотесом.

— «Капитал» — знаете эту книгу? — спрашивает он заплетающимся языком. — Боже ты мой, какая там эксплуатация описана! Всякую эксплуатацию там можно найти! Великий, величайший человек был наш Ленин!

— Манек, успокойся, — снисходительно говорит Михал Богусский.— «Капитал» написал не Ленин, а Маркс.

— Я знаю! — обижается Манек. — Но товарищ Ленин всему положил начало, а когда его сослали, Маркс за него докончил.

Как из-под земли вырастает Фелек Павоняк. Его обычно кроткие, светлокарие глаза свирепо смотрят на Манека.

— Манек! Не валяй дурака! О чем ты говоришь в таком состоянии? В какое положение себя ставишь!

— В какое положение? в ин... интересное положение (сидящие поблизости девицы, закрыв лицо, фыркают).—Манек дрожащим пальцем указывает на Фелека. — Фелюсь поэт, — говорит он каменотесу, — он стихи пишет. Сам мне признался. А... а Мицкевич был друг Пушкина... величайшего мирового поэта... И потому... потому его произведения проникли под наши крестьянские стрехи!

— Под твою стреху даже ум еще не проник! — разгневанный Фелек ерошит искусную прическу Манюся.

— Не порть! — по-детски пищит Манюсь и бросается на Фелека с кулаками.

— Что вы? Что вы? — Малгожата вмиг очутилась между ними и растолкала их своими сильными руками, шепча в ужасе: — Так вот вы как? Хороша молодежь! Вам велят пример подавать, а вы... Я все боюсь, как бы кто на свадьбе не подрался, а вы... Посмейте только!

Подскочила и Паулина, хватая Манюся за руки. На лице ее было выражение горестного отчаяния.

— Так вот оно что! Так вот какую молодежь мы вырастили! Так вот из-за чего я день и ночь мучаюсь! Ах ты дрянь! — выругала она сына. — Говорила я тебе, не смей водки в рот брать.

Фелек, уже совершенно спокойный и пристыженный, извинялся перед обеими тетками.

— Манек ничего такого не сделал, — уверял он Паулину. — Это я виноват. Пожалуй, я тоже выпил лишнее. Но только все это не так... Все это не так... — угнетенно повторял он.

— Поди на воздух, поди на воздух, проспись где-нибудь в сарае. Чтоб у Руцинских ты мне был трезвый! — Паулина подталкивает сына к выходу. Манек позволяет вести себя, как ребенка.

В шуме и толкотне мало кто заметил это столкновение между ребятами. Только Михал еще немного поговорил с каменотесом о нынешней молодежи, да Гжегож несколько раз повторил, обращаясь к Лукашу: «Вот погляди, какой трухой набили головы этим молокососам! Строй, строй эти кооперативные дома». Да еще Агнешка, отозвав в сторонку мужа, напала на него. «И чего ты ввязываешься в такие разговоры? Ты что, знаешь здесь всех? Известно тебе, что тут за гости? И у тебя хватает ума разговаривать?»

Большинство приезжих гостей были заняты другим. Все спрашивали, кто такой этот никому не известный пожилой человек, который с самого начала пиршества сидит за одним из боковых столов, понемножку закусывает и выпивает, но ни с кем еще не сказал ни слова. Местные люди вскоре объяснили загадку.

— Да это же старый Руцинский. Отец жениха.

Теперь все понятно, и никто уже не допытывается, почему этот человек так молчалив. Старая же Руцинская, как и родители новобрачной, за стол не садилась. Она носилась на своей хромой ноге, как ветер, что-то еще налаживала для ночных танцев в своем доме, наконец, ворвалась к Яснотам и громовым голосом, от которого все смолкло вокруг, возгласила:

— Прошу нашему дому честь оказать — и погулять, и поплясать! Пожалуйте, старики! Спешите, стар и млад! Всякому на свадьбе поплясать надо!

5

Музыка у дверей сыграла короткий тущ, сигнал к тому, чтобы вставать из-за столов и отправляться на танцы. В визге гармоники, рокоте барабана, в частом граде его колотушки и оглушительном звоне медной тарелки еле слышен был слабенький писк скрипки. Люди, предводительствуемые без умолку наигрывающим гармонистом, помогали Толеку тащить его трехзвучный барабан и выходили парами, поодиночке и группами, сразу трезвея в свежей прохладе сумерек, освещенных темнозолотистой зарей. Но долговязый скрипач задержался в хате. Он держал подмышкой футляр со скрипкой и глазами, из которых каждый как бы самостоятельно смотрел в свою сторону, искал кого-то в потемках. И высмотрел — вот она, Анеля Павоняк, воспитанная особа, которая, по его мнению, разбирается в музыке. Он заходил то с одной, то с другой стороны, но она, подвязав передник, помогала сестрам и невесткам убирать со стола и мыть посуду, а его как будто и не замечала. Стремясь во что бы то ни стало обратить на себя ее внимание, скрипач вдруг запел, а голос у него был необыкновенный, густой, как патока, медовый бас:

Панна по лугу ходила,
Размотала мотовило,
Торопитесь, хлопцы, в сети,
Пока месяц свети-и-ит...

Это «и» прозвучало пронзительно, как свист бича.

Скрипач-певец добился своего. Анеля Павоняк подняла голову от тарелок и спросила:

— Так вы тоже из деревни? Мы в Павловицах пели, бывало, эту песенку...

— Нет, я не деревенский, я из Варшавы! — с отчаянием крикнул скрипач. — Я до войны в филармонии пел, в хоре! Я вам арию спою!

Кто-то из гостей, часть которых, как водится, осталась в избе, крикнул от стола, продолжая еще выпивать и закусывать:

— Что ты врешь, Бонек, будто ты не деревенский? Деревенский он, из-под Блоня. Славный мужик, этот Бонифаций Гайда! — объясняет он домашним. — И столяр славный, и в музыкальном ансамбле играет, как черт! И голос такой, что за церковный орган сойти может, он ведь и тонко спеть умеет!

Оказалось, что скрипач не всем здесь был чужой, но сам он, казалось, не был доволен объяснениями, касающимися его личности. Он промычал в ответ что-то недружелюбное, но в это мгновение за ним прибежали от Руцинских. Малгожата тоже подгоняла оставшихся гостей, чтобы шли на свадьбу, как вдруг Ядвися ворвалась с улицы, пронзительно крича:

«Ксендз приехал! Мамочка! Ксендз-настоятель на свадьбу приехал!»

— Матерь божия! Где Щепан? Зови отца! Постой! Зови, проси, пусть пани Руцинская, мать жениха, пусть придет! Анельця! Лодзя! Расчищайте место на столе! Поля, ты режешь колбасу? Хорошо! — волновалась Малгожата.

Ксендз вошел с Ядвисей и Щепаном, здороваясь, как пристало духовному лицу:

— Слава Иисусу Христу.

— Во веки веков, — ответили ему человека два, а кое-кто, считая это приветствие устаревшим, сказал: — Добрый вечер. — Среди них был Ян Шатковский, шорник, который из-за собраний и других общественных дел опоздал на свадьбу и сейчас еще подкреплялся остатками пиршества.

— А мы уж было думали, ваше преподобие, что вы и вовсе не придете, — гостеприимно приговаривала Малгожата. — Свет, свет зажгите! — потихоньку торопила она домашних.

— Как же? — неуверенным голосом говорил ксендз. — Родители звали, правда, я ждал, что после венчания новобрачные зайдут с приглашением. Такой был всегда обычай.

— Я им наказывала зайти. Может, не посмели? Не знали как? Молодо-зелено. Вы уж простите, ваше преподобие! — Малгожата, вспомнив о своем затрапезном платье, думает, узнал ли в ней ксендз хозяйку дома.

— Понимаю, — соглашается ксендз, озабоченный тем, прилично ли в наше время приходить к новобрачным. Может, они этого не хотели? Может, боялись, что это повредит им. Он никогда теперь не знал, как держаться, чтобы и пастырские обязанности выполнить и вместе с тем не навлечь неприятностей ни на других, ни на себя.

В слабом свете двух лампочек к ксендзу подходит худощавый мужчина с выпуклым лбом, острым носом, тонкими губами и впалыми щеками. Ах да, ксендз узнает его. Это Ян Шатковский, шорник, один из немногочисленных членов партии в деревне, больше известный тем, что удивительно похож на свою жену.

— Вы, может, не помните меня, ваше преподобие, — говорит Шатковский. — А может, ксендзу и не пристало со мной разговаривать. Но я, ваше преподобие, хотел бы воспользоваться случаем. У меня, видите ли, есть сомнения...

Ксендза мгновенно охватывает ужас.

— Сомнения? На это у вас есть свои священники, ну, эти... ваши власти. К ним и идите со своими сомнениями, — ксендз чувствует, что теряет почву под ногами.

— Но если дело касается церкви?.. Не объясните ли вы, как папа римский может в союзе с еретиками...

— Я этого не одобряю... — вырвалось у ксендза, и вдруг речь его осеклась. Он и в самом деле не понимает политики папы, всегда столь враждебного польскому народу, наиболее ему верному; в духовной среде об этом часто говорят; но нельзя же говорить о папе с врагами церкви. Ксендз пугается все больше, его даже бросает в холодный пот. Провокация! Нарочно тянут за язык, чтобы потом донести на него. Да нет, откуда! Шатковский хороший человек; ксендз с горькой обидой вспоминает, как когда-то венчал его, как исповедовал и причащал, как крестил его детей. Но неофиты, они всегда ретивей всех. Ксендз пытается спастись шуткой, он кладет руку на плечо своего бывшего прихожанина.

— Что это вы на свадьбе и вдруг с политикой? — добродушно говорит он. — Это уж все равно, что в нюхательный табак, ха-ха-ха... перцу подсыпать.

К счастью, в этот момент своими неизменными скачками приближается матушка Руцинская, а за ней и новобрачные; оба уже сняли свой свадебный наряд и пришли в обычном платье. Они приветствуют ксендза рукопожатием, благодарят за посещение. Чеслав вежливо предлагает ему руку: «Пожалуйте отведать нашего угощения». Это звучит так неуместно, что Малгожата даже чмокает с досады. Она хватает Зузю за руку и отнимает у нее бутылку.

— Водку неприлично, — шепчет она. — Подайте ксендзу вина.

Спустя несколько минут ксендз уже сидит перед накинутой на испещренную пятнами скатерть чистенькой салфеткой, на которой расставлены тарелочки со всякого рода закусками и сластями. Руцинская вырывает бутылку из рук Малгожаты, наливает рюмки, провозглашает тост за здоровье ксендза и за здоровье новобрачных, но ксендз выпивает одну рюмку. Он съедает кусочек колбаски, ломтик сдобной булочки, довольный, что не надо говорить, так как Руцинская сама держит речь. Подавленный ксендз мало что понимает в этой речи и вдруг слышит, что Руцинская заканчивает ее словами: «Марш, марш, Домбровский, из Италии в Польшу, чрез огонь и воду, нас веди к народу!» *. Окончательно перепуганный, ксендз встает, прощается и просит извинить, что забежал на одну минутку, у него еще столько дел... При выходе его обступает молодежь, видимо, бросившая танцы, чтобы увидеть ксендза. С ним здороваются, слышатся возгласы, самые, казалось бы, сердечные слова. Но то ли от колеблющегося света керосиновых лампочек, то ли от того, что вся братия под хмельком, ксендзу кажется, что молодые люди строят ему шутовские и издевательские рожи. Он осеняет дом святым крестом и с облегчением вздыхает, очутившись в вечернем мраке, садится в свою бричку и, тронув вожжей хребет лошади, погоняет ее: «Но-о, сивка!»

Ксендз не глуп и не зол, он только растерян и как бы раз навсегда напуган. Сын сапожника из маленького местечка, он знает крестьян, да в деревне у него есть и дальняя родня. Когда-то способный и довольно образованный, он мог бы добиться большего, чем место сельского священника; но он любил жить среди простых людей и желал им добра. Однако теперь он уже не чувствует себя хорошо среди своих прихожан. Как-то года два назад ночью на него снизошла благодать. И вот сейчас, в эту звездную ночь, трясясь в бричке, он вспоминает проповедь, которую произнес после той ночи. По откровению свыше он, казалось, должен был проповедовать, внемля голосу сердца, разума и совести. А задачу он себе поставил очень трудную. Ему хотелось втолковать людям, что они не должны враждебно относиться к своему времени. Он поднимался в этот день на амвон, словно несомый на крыльях; у него было самоотверженное и героическое чувство, что он идет помочь народу, а вместе с тем помочь новой, народной власти, которой никак не удается сердечно сговориться с народом и к которой он не питал неприязни, а лишь скорбел, что жизнь, основанную на социальной справедливости, она хочет строить без бога. Он говорил долго, и в костеле стояла мертвая тишина. Он говорил о том, что не только руками посвященных совершаются на свете благие дела и даже не только руками людей верующих и набожных; что переворот, происходящий в стране, это как бы чистилище, в котором душам предстоит закалиться и показать, что может совершить польский народ при самых тяжелых обстоятельствах; что все, что народ построит, соберет с полей, выработает в промышленности, все будет сделано для Польши, ибо правительства уходят, а земля, и на-

* Слова из польского национального гимна.

род, и плоды трудов его остаются; что тяжко грешат те, кто ожидает чего-то от третьей мировой войны, ибо война эта — сохрани нас бог от нее — принесла бы народам горшее рабство, если не окончательную гибель мира; что не надо идти против своего времени, ибо всякое время — это посев для будущих времен, и часто бывает, что хотя сеют в слезах и горе, среди трудностей и тяжких заблуждений, зато жатву пожинают в веселии духа.

После этой проповеди его вызвало управление государственной безопасности и запретило ему касаться в проповедях политических вопросов, потому что хотя он как будто и поддерживает существующий строй, но пользуется, как там выразились, «враждебной аргументацией». А времена тогда были еще такие, что ему дали это понять в не очень мягких выражениях. Вернувшись из управления государственной безопасности, он нашел дома два таинственных анонимных письма, в которых его предупреждали, что и ризы не спасут его от гнева и кары нации, раз он изменил польскому национальному делу и связался с коммунистами. Дня через два его вызвала епископская курия и потребовала объяснений, что же, собственно, он говорил в этой еретической проповеди. И лишь несколько крестьян, в том числе Лукаш Богусский из Павловиц, пришли поблагодарить его и сказали, что он многое разъяснил им и что впервые им по-человечески растолковали, какие это нынешние времена. Но этого было мало, чтобы поднять дух ксендза; слаб, видно, был этот дух. А ведь ему казалось, что он говорит так, как единственно и надо говорить, чтобы быть понятым прихожанами. Слова надо приспособлять к людям, как зерно к почве. А эти правительственные и партийные люди, даже и хорошие вещи, устно ли, или в газетных статьях, говорят такими словами, которые на народной, а уж тем более на крестьянской почве не принимаются, а то и гниют в ней. А ведь все дело в том, чтобы доброе зерно принялось. Но и зерно, посеянное ксендзом, не принялось, видно, почва была чересчур уж засорена. Или, быть может, он не заметил, что оно принялось? Очень уж он испугался тогда и, что еще хуже, ко всему потерял охоту. Теперь, когда некоторые говорят ему, что чувствуется благоприятное веяние, способствующее тому, о чем он, бывало, мечтал, ксендз уже не верит. «Дураков нет», — говорит он себе и хранит молчание. Но и это не дает ему душевного покоя. Тщетно убеждает он себя, что, мол, «бог мое прибежище» и что раз он честно исполняет свой пастырский долг, то и бояться ему нечего. Даже необходимость исполнять пастырский долг внушает ему страх. Достаточно сказать, что принимать исповедь стало для него пыткой. А вдруг там, за решеткой, стоит на коленях некто и вовсе не собирается каяться в грехах, а хочет поймать его на слове, а затем извратить это слово и донести куда следует, на его погибель? «Ксендз, — думает он, — уже тем самым, что он ксендз, всегда должен и может ожидать неприятностей». Правда, набожность как будто возросла, к церкви тянется столько народу, что даже костел, в два раза больший, чем в Сташувке, не вместил бы всех. Но что поделаешь! Ксендз не доверяет и этой набожности! Что в ней! Лучше люди не стали. Приехав на свадьбу, он тоже не получил удовлетворения, хотя ему оказывали достаточно почета. И зачем Руцинская вдруг выскочила с этим «Еще Польша не погибла», да еще обращаясь прямо к нему! Правда, его фамилия не Домбровский, а Домбровяк, но как бы еще всю эту болтовню не истолковали как манифестацию? И зачем он ездил на эту свадьбу? Чего ему там нужно было? Думая о том, как неприятна стала его жизнь, ксендз заплакал, трясясь ночью в своей бричке, запряженной сивой кобылкой.

6

Хата Яснотов опустела, все гуляют в доме жениха. Малгося, Поля и Лодзя, как неутомимые рабочие пчелки, проветривают помещение, подметают пол, месят и режут лапшу, готовятся к ночному приему. Уже после одиннадцати часов вечера домой заглянул Щепан. Он тяжело дышит, на желтых щеках проступили красные пятна.

— Ну и хорошо гуляют на свадьбе, — говорит он. — Хорошо гуляют, мать, — повторяет он, вдруг обнимает жену и целует ее в губы. Малгожате хочется прикрикнуть на мужа, но она сдерживается и, слегка отстранившись, говорит:

— Ступай уж, ступай, так через четверть часика проси к столу.

— Никто не подрался, мать, — сияет Щепан и вдруг начинает фальшиво напевать:

Если любишь хоть немного,
Не гляди на меня строго,
Улыбнись мне хоть украдкой,
Мне и это будет сладко...

— Ступай, Щепан, — сурово говорит Леокадия. — Малгося сказала тебе, проси к столу. Пока еще сойдутся...

В полночь гости собираются на свадебный обед. Кое-как все разместились, правда, никто не подрался, но многих сморил сон, приезжие улеглись в риге, местные, покачиваясь, добрели до своих домов.

Обед был, какой принят веками в таких случаях. На первое суп из говядины и курятины с лапшой, а Малгосина лапша славилась на всю деревню. Говядину и курятину гости ели в супе, не стоило раскладывать мясо по тарелкам. На второе жареные котлеты, грудинка и бигос. Потом сдобные булки, сласти и все время водка и вино. Алкоголь и молодых заставил вспомнить старые деревенские песенки, слышанные в детстве, но от свадебного разгула в голову больше лезли пьяные куплеты. Владек Яснота, пожарный, мрачнеющий от вина, уныло заводит:

Дайте водки, дайте горькой, с ног свалилися опорки,
А пускай и не опорки, дайте водки, дайте горькой!

Но когда ему наливают, не пьет, а злыми глазами смотрит на жену, которая сидит напротив и позволяет кому-то ухаживать за собой. Маню́сь Шатковский, который по приказанию матери выспался, поздно пошел на танцы и теперь совершенно трезв, из ребячества во что бы то ни стало хочет сойти за гуляку и, припрыгивая, распевает:

Не охота что-то денежки копить,
А охота что-то водочку мне пить!

Несколько человек молодежи, молодцевато щелкая себя по шее, тотчас подхватывают:

А я не на деток, а я не на женку,
А я прямо в глотку спущу те деньжонки!

Зузя в темноголубом платье улыбается совсем, как отец, взгляд у нее сейчас нежный, влажный.

— Вот хорошо гости веселятся, вот веселятся! — радостно повторяет она.

Михал Богусский отозвал в сторону Щепана.

— Послушай зятек, ты трезв? Я должен в пять утра уехать. Анеля с детьми могут остаться до ночного поезда, но мне надо выехать до рассвета.

— Михась... И не говори... Такая веселая свадьба!

— Щепан, я серьезно. Так получилось, что завтра у меня ночное дежурство, начинается ремонт трамвайных путей. Щепан, ты отвезешь

меня, или мне пешком идти? Тогда придется еще до четырех часов утра...

— Как можно пешком? Раз уж обязательно надо... — темнеет Щепан.

— Не проспишь? А то я хочу пойти поспать. В голове шумит...

— Чего это я просплю? Мы вовсе не будем ложиться. Да и все равно мне до пяти запрягать, мои родные тоже к утреннему автобусу хотят попасть. Только матушка остается, я ее как-нибудь на-днях отвезу.

Щепан в самом деле не проспал, потому что совсем не ложился. Зато Малгожата боялась, как бы не проспал Михал. И задолго до пяти часов пошла за ним к Яцекам. Она прошла уже несколько сот шагов, как вдруг вспомнила, что коровы опять с вечера не доены. Беда! Надо непременно сейчас же велеть кому-нибудь подоить, а то потом опять забудешь. Ее тоже заставили выпить несколько рюмок, и голова у нее, как в тумане. Она повернула назад, но, подходя к своей усадьбе, увидела, что из их дома вышла какая-то женщина, судя по движениям, молодая, и быстро направилась к дому Руцинских. Затем из дому выскочил мужчина, тоже, видно, молодой, быстрый, со стройной, ловкой фигурой.

— Кшиська! — кричал он вслед уходящей. — Кшиська! Вернись, черт тебя возьми! Вернись, по-хорошему говорю! Смотри, плакать будешь!

Но молодая женщина шла не оглядываясь; преследователь ускорил шаг и на ходу, отвернув полу пиджака, что-то делал с поясом. В редеющем уже ночном сумраке Малгожата с ужасом увидела, что он отстегнул ремень и, бегом догнав уходящую женщину, стал бить ее этим ремнем по чему попало. Ошеломленная Малгожата скорей слышала, чем видела, как они метались в драке. Затем молодой человек оставил свою жертву, и они разошлись в разные стороны. Мужчина возвращался медленно, застегивая пояс; он прошел мимо самой Малгожаты, и тут ей показалось, что это Владек Яснота. Она вспомнила, что его жену называли при ней Кшисей.

Подавленная, оцепенелая, забыв о коровах, она вошла во двор, обошла вокруг хаты; между ригой и амбаром какие-то люди негромко, но запальчиво спорили. Тут же был и Щепан, он запрягал лошадь, и рядом стоял — она сразу его разглядела — Юзеф Яснота; он держал за пиджак какого-то молодого человека, кажется, это был зять второй сестры Щепана, прибывший из Лукова. Парень со злобой говорил:

— Что это такое, ко всем чертям? Кто так поступает? Пойду вот, созову ребят и такую им б-бучу устроим, так морды набьем, что друг дружку не узнают!

— Что случилось, ради всего святого?! — испуганно вскрикнула Малгожата.

— А я тебе говорю, Болесь, успокойся! — увещевал рассердившегося парня Юзеф Яснота. — Иди к колодцу, вылей себе ведро воды на голову.

— Ну, скажите сами, — объяснял, покачиваясь, неведомый до сей поры Малгожате Болесь, — что это за подлость! Прибегает мать жениха, приносит бутылку водки: «Нате, — говорит, — к завтраку». Что это за обращение? Там у них еще литров восемь есть, так они их для своих гостей припрятали, а для невестиных гостей — что? Остатки, как собакам?

— А я тебе говорю, молчи, — унимал его угрюмо Юзеф Яснота. — Я тебе покажу, как хулиганить на приличной свадьбе.

— Это я хулиганю?! Это я-то? Дядюшка?! Я, что ли, спрятал водку?! — пискливо кричал и так уже накачавшийся Болесь.

— Тише, ти-ише! — молила в отчаянии Малгожата. — Из-за какой-то водки столько шуму! Руцинские поступили некрасиво, но Чесек уже пошел туда. Сейчас ее принесут, эту водку, а лучше без нее обойтись. Щепан, — обратилась она к мужу, — пусть кто-нибудь подоит коров. Не забудь, они с вечера не доены. Я иду за Михалом.

— Ступай, ступай, — тихонько сказал Щепан. — Я уж за всем присмотрю.

— Болесь, никаких скандалов! — говорил тем временем Юзеф Яснота. — А где Владек? Владек хотел со мной ехать. И Кшися. Куда они девались? Надоело мне все это, — вздыхает Юзеф Яснота.

— Владек? — с внезапным гневом сообщает Малгожата. — Только что его видела. Лупил ремнем свою жену.

— Это неправда, — ни минуты не колеблясь, опровергает Юзеф Яснота. — В Польше никого бить не разрешается.

Малгожата глянула на него, открыла было рот, точно хотела что-то сказать, но тут же стиснула зубы. Заговор молчания одержал верх над правдивым словом.

— А кто это делал, наказан, — мрачно добавил Юзеф Яснота. — Владек бил Кшисю! — крикнул он вдруг. — Это неправда!

— Может, мне в потемках показалось, — шепчет перепуганная Малгожата. — Верно, это был кто-то другой...

Разъяренный Болесь сделал несколько шагов к скамье, которая стояла у стены хаты, нащупал ее руками, сел и тотчас уснул.

Малгожата поспешила к Яцекам, но шагах в ста от дома встретила брата, уже готового в путь.

— Добрый день, Михал, отоспался хоть чуточку?

— Малгося? Боялась, что просплю? Как ты заботлива, моя милая. По правде сказать, поспал я не больше часа. Все время то телеги подъезжали, то так приходили со свадьбы. Будто бы отдохнуть или переодеться, потому что девушки свои вещи у Марыси пооставляли. А на самом деле выпивать приходили. У Яцека в доме запас пива и водки, вот они и угощались. Я и сам человек веселый и выпить люблю, но что-то мне кажется, они хватили через край.

— Да нет, все еще, слава богу, ничего, — сказала Малгожата со вздохом. — Никто не напился так, чтобы его рвало или чтобы на земле валялся. Никто, — неуверенно добавила она, — никого не побил.

— Так что ты довольна свадьбой?

— Довольна. Только жаль, Михась, что ты уже уезжаешь. Чужие разъедутся, останутся только свои. Я ведь и не поговорила с тобой. Помнишь, как бывало сойдемся мы все, братья и сестры, уж и посмеемся, и поболтаем, и подурачимся! А когда еще мама жива была... Весело было... Вот тут пройдем, Михась, около парка, я люблю парком ходить. Иной раз думается: будь у меня время, походить бы мне тут одной.

Чаща парка еще не горела красками, но белый тополь уже светлел в предрассветных сумерках.

— Я вот часто думаю, — тихонько начала Малгожата, — куда это доходы с помещичьих имений подевались? Ведь помещики, говорят, такие доходы получали с этих имений. Да, наверно, получали, вон ведь как красиво у них было, в какой роскоши жили. А теперь, говорят, правительству приходится еще докладывать. И людям там не очень хорошо живется...

— Не привыкли еще управлять ими, как своими, — сказал Михал и, помолчав, прибавил. — Работать, как на себя.

— Да ведь и раньше батраки не работали здесь, как на себя; и панов не любили, редко какого, а в имениях было лучше. Хотелось бы, чтобы все шло теперь хорошо, сердце болит у меня, когда дела плохи.

— А у тебя, дорогая, сразу все хорошо пошло, когда ты замуж вышла? Когда начинала новую жизнь? Тоже ведь и мучились и на судьбу жаловались, а ведь вот добились лучшей жизни! И сейчас, смотри, какую свадьбу справили!

— Михал, ты уже не тот, что раньше был? — говорит Малгожата, не то с любопытством, не то с сожалением. — Пока не уехал во Вроцлав, говорил то же, что другие, и не любил всего этого нового. Но я знаю, — говорит она мягко, — у тебя всегда был такой характер, ты во всем искал хорошего.

Они услышали скрип и шорох опавшей листвы. Со двора, мимо которого они проходили, вышла женщина с ведрами на скрипучем коромысле.

— Добрый день, — вежливо сказала она, не дивясь столь ранним прохожим.

— Добрый день, — ответили они, а Малгожата остановилась и оглянулась на женщину, которая прошла мимо них. — Андзя, — спросила она, — как у вас свиньи, перестали болеть?

— Как будто перестали, — ответила та. — Ветеринар приезжал, какие-то заграничные лекарства им впрыскивали.

— Я с ее мамой, — пояснила, помолчав, Малгожата, — в старое время работала в помещичьем саду. Жена Собчака, помнишь?

— Помню. Слушай, а вы этих, из кооператива, не приглашали на свадьбу? Никого?

— Никого, — коротко и отрывисто отвечает Малгожата.

— А Стемпень, ну, этот, из рыбоводческого хозяйства, так и не пришел?

— Не пришел. Я сразу сказала, что не придет. И кооперативные все равно не пришли бы. Такие уж они...

— Иной мир, — подсказывает Михал Богусский.

— Иной мир, — неуверенно соглашается Малгожата.

— А был ли когда мир одинаков? Всякий день он был иной, — говорит Михал. — Не все иное обязательно плохо.

— Я не о том, — жалуется Малгожата. — А вот времена какие-то недобрые. Все стали такие нервные, боязливые. И если бы это злые люди так боялись, так нет, злые люди ничего не боятся. Ведь сейчас так убивают, мучают, обманывают, крадут, как еще, пожалуй, никогда не бывало. Об этом даже в газетах приходится читать. А хорошие люди ходят такие несчастные или боятся. Люди людей сейчас боятся, а ведь должно было бы быть по-другому... И этих кооперативов тоже боятся, точно это зараза какая. И почему оно так, хоть бы мне кто-нибудь растолковал?

Михал Богусский вздохнул и сказал, подумав:

— Кооперативы... Жизнь, по-моему, она как дорога. Сколько прошел, это уж твое, этого уже не потеряешь. За это тебе бояться нечего. А вот то, что еще осталось пройти, это ты можешь потерять, за это ты должен бояться. Вдруг заблудишься, не дойдешь, прозеваешь. А куда ты по этой дороге жизни идешь? В будущее идешь. Вот и надо хорошенько следить за этой дорогой, чтобы не прозевать, не потерять будущего. Пойдем скорей, дорогая, мне нельзя опаздывать.

— Уже близко. А погода опять будет хорошая, — улыбнулась Малгожата.

Ночь уходила из мира. На бледном, чистом небе прямо над хатой Яснотов горела утренняя звезда.

Говард Фаст

Христос в Куэрнаваке

РАССКАЗ

Перевод с английского Е. Калашниковой

Прохладным ясным летним утром в Куэрнаваке, на улице Дуайта У. Морроу, что круто спускается к Старому рынку, мы с женой встретили человека, ехавшего верхом на маленьком ослике — burro, как их там называют, — и этот человек был вылитый Иисус Христос. Вы, конечно, можете возразить, что никому не известно, как выглядел Иисус Христос, но есть некий образ, сложившийся в веках, тысячекратно повторенный на полотне и в мраморе, и вот этот самый образ мы увидели перед собой.

Человек, ехавший на осле, был индеец. На нем было старое пончо * и шляпа с прямыми широкими полями, из-под которых свисали пряди волос, обрамляя удлиненное нервное лицо. Выражение этого лица было скорбным, как часто бывает у мексиканцев, и прекрасные темные глаза смотрели так, словно плечи этого человека придавило бремя ничуть не легче деревянного креста. Седло под ним было незатейливой домашней работы, по сторонам луки болтались два небольших молочных бидона, и плетеные из ремешков сандалии на ногах обличали в нем крестьянина, приехавшего в город продавать молоко своих нескольких коз. Он ехал медленно и, казалось, не видел и не замечал ничего вокруг, весь уйдя в себя, в собственные мысли и заботы.

Мы невольно уставились на него, позабыв о приличиях, и когда он проехал мимо, в изумлении переглянулись — не каждый день приходится встречать живое подобие Христа верхом на осле.

Разговаривая об этой удивительной встрече, мы пошли дальше, сделали необходимые покупки и, уложив купленную провизию в корзинку, зашли по дороге домой на plaza — городскую площадь, чтобы посидеть на солнышке и выпить по чашке чудесного мексиканского кофе.

За одним из столиков, расставленных перед кафе, сидел человек, которого мы привыкли мысленно называть Изгнанником; это обаятельный человек, остроумный, приятнейший собеседник, и мы с удовольствием подсели к его столу.

Вообще так уж издавна повелось, что в Куэрнаваке всегда много изгнанников всякого рода — были тут и республиканцы, бежавшие из франкистской Испании, и немецкие антифашисты, а еще раньше — политические эмигранты из разных стран Латинской Америки; и это понятно, потому что если уж приходится жить в изгнании, так можно ли найти другой такой прелестный, ласковый и уютный уголок, как Куэрнавака?

* Poncho *(исп.)* — широкий плащ.

Но лишь в последние годы стали появляться в Куэрнаваке эмигранты из Соединенных Штатов Америки — изгнанники и беженцы, политические заключенные, отбывшие свой срок и еще не успевшие позабыть все ужасы одиночества и тюремного режима, писатели, внесенные в черный список и всюду подвергающиеся преследованиям и травле, актеры, подписавшие какое-нибудь воззвание и теперь не находящие ангажемента, художники, которых затаскали по комиссиям конгресса, и просто люди, которым невмоготу стало от страха и отвращения ко всему тому, что творится в их родной стране. Не так давно эти эмигранты из Соединенных Штатов составляли довольно большую колонию, но постепенно они разъехались: одни в поисках благ городской цивилизации предпочли поселиться в Мехико, других тоска по родине или денежные затруднения заставили решить, будь что будет, и вернуться в Штаты. Так получилось, что в то лето, когда мы приехали в Куэрнаваку, наш Изгнанник был там один. Больше в городе американцев не осталось. У него было невесело на душе — слишком много мостов сжег он между собой и родным домом, и обратный путь превратился бы для него в непроходимый лабиринт; но он маскировал свое тяжелое настроение горьковатыми шутками и едкими сарказмами по собственному адресу. Он знал, что вызывает сострадание, и ему это было неприятно. Когда мы подошли, он приветствовал нас своим обычным язвительным юмором.

Мы заказали кофе, и моя жена сказала ему: — А мы сегодня встретили Иисуса Христа; он ехал на ослике на рынок.

— Что?

Я объяснил, неторопливо попивая кофе и обводя глазами белую с зеленым, залитую солнцем площадь, старый дворец Кортеса и кольцо неправдоподобно прекрасных гор вокруг.

— Это меня не удивляет, — сказал он, — в Мексике все возможно. Вспомните, что четыре сотни лет назад эта страна была распята на кресте испанскими христианами. Свист бича служил здесь национальным гимном. Почему же вы удивляетесь, встретив Христа на улице Дуайта У. Морроу? Самое подходящее для него место.

— Так на вас это не произвело впечатления?

— На меня теперь вообще мало что производит впечатление. Живя в изгнании, неизбежно становишься циником. Но любопытно слышать такие вещи от людей, считающих себя материалистами.

— А в том, что мы видели, нет ничего нематериального, — сказала моя жена. — Это был индеец верхом на осле.

— Правильно, на самом деле это был индеец, — возразил Изгнанник. — Но видели-то вы, по вашим же словам, Христа.

Разговор продолжался, Изгнанник добродушно поддразнивал нас, пока нам не стало неловко за наши домыслы; в конце концов мы, чуть ли не оправдываясь, признали, что все дело тут в игре воображения. Несколько дней прошло, и мы вообще об этом забыли. Потом как-то раз мы повстречали на улице доктора Арно Серенте; в разговоре я пожаловался на беспокоивший меня большой нарыв, и доктор предложил мне зайти к нему в амбулаторию, чтобы его вскрыть. Нарыв, казалось мне, дело пустяковое, пройдет и так, но я знал, что доктор Серенте любит поговорить о положении в Америке и вообще в мире, а собеседник он был очень интересный и своеобразный, и потому я пообещал, что приду в тот же день.

Когда-то он тоже приехал сюда изгнанником, но это было давно, так давно, что он сам как будто позабыл об этом; он сроднился с Куэрнавакой, а свою мечту вернуться когда-нибудь в родную, любимую Испанию спрятал, схоронил где-то в самых глубинах своего существа. Теперь его жизнь наполняло другое — маленький черный чемоданчик, хлопотли-

вая беготня по визитам, мексиканские бедняки, которых он лечил бесплатно, потому что им нечем было заплатить ему, и спившиеся американские толстосумы, с которых он брал втридорога и тем обеспечивал себе средства к существованию.

Он был капитаном в испанской республиканской армии, и под конец ему пришлось в числе тысяч других вместе с женой перейти Пиренеи. Его долгая Одиссея завершилась в Мексике, и все его имущество к этому времени составлял надетый на нем костюм, в карманах которого нельзя было обнаружить ни одного пенни, франка или сентаво. Но с тех пор прошло пятнадцать долгих лет, далеко позади осталось даже то время, когда он практиковал в глухих индейских деревушках, добираясь туда верхом на муле, потому что в тех краях нет ни шоссе, ни грунтовых дорог, ни хотя бы проселочных. За эти годы он, как принято считать, преуспел: теперь у него был уютный дом, своя амбулатория и медицинская сестра, помогавшая ему принимать больных, он ел три раза в день и узнал приятное ощущение полного кармана.

Испания жила в его памяти точно далекий сон, но, как во сне, образ ее туманился и расплывался; и мало-помалу Серенте свыкся и примирился с тем, что он здесь навсегда. В потаенном уголке души он бережно хранил заветное «Придет день, и я вернусь», но этот день не был обозначен на листках календаря.

Его амбулатория помещалась в кирпичном оштукатуренном домике тотчас же за рынком. Из темной, закопченной, обветшалой прихожей вела лестница на площадку второго этажа, заменявшую собой приемную. Здесь стояла длинная скамья и два стула, и стопка растрепанных американских и испанских журналов помогала вам ненадолго уединиться со своей бедой.

Я пришел сюда около трех часов пополудни. Какой-то человек сидел, пригорюнившись, в уголке приемной, и в этом человеке я узнал хозяина ослика, индейца с лицом Христа.

На этот раз я мог внимательно и подробно разглядеть его уже не в колдовском освещении утреннего солнца, и я убедился, что наше первое впечатление было верным: передо мной в старой, поношенной одежде индейца-труженика сидел живой Иисус Христос.

Когда проживешь некоторое время в Мексике, скорбное выражение лица, так часто встречающееся у мексиканцев, начинает казаться чем-то обычным, таким же обычным, каким оно является для них самих; однако некоторые утверждают, что нигде на свете не встретишь таких красивых лиц, как темные, изрезанные морщинами лица индейских обитателей этой злополучной страны, а потому и скорбь, написанная на этих лицах, — совсем особая скорбь. Она ощущается как что-то наносное, противоестественное, чуждое душе народа, созданного для солнечной, счастливой жизни, и кажется непостижимым, что отпечаток скорби может быть так глубок. Глубок был он и на этом лице, и мне так захотелось проникнуть в его тайну, что я обратился к индейцу и, безбожно коверкая испанский язык, спросил, ожидает ли он тоже приема у врача.

— Нет, я жду дочку, — ответил он и объяснил, что дочь его сейчас в кабинете вместе с матерью и что она очень больна. В нем чувствовалась та почти неправдоподобная кротость, которая свойственна многим простым людям Мексики, и он готов был доверчиво открыть свое сердце всякому, кто хоть с грехом пополам мог объясняться на его языке. Голос у него был звучный, приятный, — ласковый голос, и даже если бы он не сказал мне сразу, что его дочурка ему дороже всего на свете, не трудно было распознать в нем человека, который любит детей. Девочке двенадцатый год, рассказывал он, других детей у них с женой нет, и в этом

одновременно и счастье их и несчастье. Несчастье потому, что у кого нет сына того ждет печальная старость, особенно, если он — мелкий земледелец, все имущество которого составляет бревенчатая хижина, клочок земли да несколько коз и только усердным трудом удается извлечь из всего этого хоть маленький доход; но все-таки это и счастье тоже, потому что можно сосредоточить на единственной дочке всю свою любовь, а когда ребенок видит много любви и ласки, объяснял он мне, он растет, как одинокий цветок в плодородной долине, красивым и полным сил.

Не все в его речи было мне понятно, потому что я плохо знаю язык, но я сразу все понял, когда мать с дочерью вышли из кабинета Серенте: девочка была так хороша, что у меня дух захватило при взгляде на нее, да и мать еще не утратила красоты своих молодых и более счастливых дней. Обе были напуганы этим визитом к доктору, да и вообще обстановка врачебного кабинета внушала им страх, но ни этот страх, ни влажный блеск горя в глазах у матери не портили, скорее, напротив, еще подчеркивали их удивительную красоту. Они сели на скамью, дожидаясь, когда выйдет отец и глава семьи, которого Серенте попросил зайти к нему в кабинет. Я не решался заговорить с ними. Я только сидел и время от времени поглядывал на них; но вот вышел отец и, прежде чем уйти, унося в себе свое горе, выполнил долг вежливости, сказав мне:

— До свидания, сеньор, всего вам хорошего.

Они стали спускаться по лестнице, а меня Серенте вызвал в кабинет.

С нарывом скоро было покончено. — Послушайте, Арно, — сказал я. — Этот человек, который только что был у вас, никого вам не напоминает лицом?

— Лицом? Да нет, по-моему, индеец как индеец.

Я рассказал ему о нашей встрече на улице Дуайта У. Морроу и о том впечатлении, которое у нас возникло.

— Хорошо быть писателем — замечаешь то, чего нет на самом деле. Вероятно, это необходимо.

— Не более необходимо для писателя, чем для врача.

— Так, может быть, все дело было в ослике?

— Беда многих людей, не исключая и писателей, в том, что они вообще разучились что-либо замечать.

— Должно быть, вы в интересах своей профессии стараетесь замечать как можно больше; ну, а мы, ради спокойствия душевного — как можно меньше. Но довольно об этом. Жена просила узнать, свободны ли вы завтра — мы хотели бы пригласить вас к обеду. У нас будет один молодой профсоюзный лидер из Мехико, очень порядочный и галантный человек, который давно хотел с вами познакомиться.

— Что это у вас, у мексиканцев, за манера употреблять слово «галантный» совершенно не в том смысле, который ему соответствует? — спросил я довольно ворчливо.

— Во-первых, я, увы, не мексиканец, а испанец, а, во-вторых, в нашем языке это слово сохраняет свой исконный корневой смысл — «доблестный, отважный». Только при переводе оно его теряет — то ли потому, что у вас не находится такого слова, которое исчерпало бы все его значение, то ли потому, что понятия отваги и обходительности не сочетаются в представлении североамериканцев.

— Ладно, я не собираюсь вступать с вами в дискуссию по семантике. А обедать мы к вам придем с удовольствием, потому что у вас прелестная жена, чудесный сад и всегда все очень вкусно.

— Вы отличаетесь от других североамериканцев,— сказал он с улыбкой, — тем, что намеренно говорите обидные вещи, тогда как у них это получается непроизвольно. Словом, ждем вас завтра в семь часов.

Я пообещал, что мы придем, и стал прощаться. Но перед уходом

я спросил его, что с той девочкой, которую он осматривал до меня; надеюсь, сказал я, что ее болезнь не серьезна.

— К сожалению, очень серьезна, — сказал Серенте.

— О! Но ее, конечно, можно вылечить?

— К сожалению, едва ли, — невозмутимо возразил он.

— То есть как, — значит, она, по-вашему, безнадежна? Боже мой, Арно, но как же вы можете так спокойно говорить об этом?

— А как мне еще говорить? Ведь я врач и имею дело с больными не от случая к случаю, а двенадцать-пятнадцать часов в день. И многие из этих больных умирают. Здесь, в Мексике, больше, чем где бы то ни было.

— Вы хотите сказать, что эта девочка умрет?

— К сожалению, да.

— Нет, нет, это невозможно. Не может быть, чтобы такое юное и прекрасное существо было обречено на смерть.

— Дорогой мой североамериканский друг,— терпеливо ответил он,— при чем здесь юность и красота? Девочка очень серьезно больна.

— Ну, пусть даже так — но ведь теперь не средневековье. Мы живем в эпоху антибиотиков, в век чудодейственных лекарств и чудодейственных методов лечения. Неужели же ничего нельзя сделать?

— Да, ничего нельзя сделать, — сказал он угрюмо, складывая инструменты в автоклав. — Это вы там, у себя, живете в век антибиотиков и тому подобного. А здесь еще во многом царит средневековье. Вы попросту сентиментальничаете, и я даже не убежден, что это вполне искренне.

— Теперь *вы* решили говорить мне обидные вещи?

— Ничего подобного. Но я здесь живу и работаю. А вы расчувствовались, повстречав индейского пеона верхом на осле и увидев, что его больная дочка хороша собой — что, кстати сказать, не редкость среди мексиканок. И вы говорите так, словно я мог бы вылечить эту девочку, но не хочу.

— А вы можете? — настаивал я.

— Нет, не могу. Во-первых, у нее очень тяжелое заболевание почек. Одну почку необходимо удалить, и даже если бы это было сделано, еще вопрос, можно ли подлечить другую настолько, чтобы она справилась с двойной нагрузкой.

— Но, значит, есть все-таки шанс? Вот вы же сами сказали.

— Ничего подобного я не говорил. Не выдавайте, пожалуйста, своих мыслей за мои слова. Откуда ее родители возьмут деньги на операцию, когда им нечем даже заплатить мне за визит? С вас я беру пятьдесят песо, а для них и один песо — деньги, операция же должна стоить две тысячи — только операция, а ведь есть еще расходы на дорогу до Мехико и на жизнь там, не говоря уже о всяких дополнительных тратах — на больницу, на лекарства, на наркоз и черт его знает на что еще. Да и неизвестно, согласились ли бы они на операцию, тем более такую серьезную.

— Само собой разумеется, согласились бы. Ведь это может спасти жизнь их ребенку, которого они так любят. Отец мне говорил, что она у них единственная.

— Нет, это вовсе само собой не разумеется, — почти со злостью сказал Серенте. — То, что каждому нормальному человеку ясно, то gringo * непременно поставит с ног на голову. Не сердитесь, я не хочу говорить ничего обидного, я только зол на самого себя и на тот мир, в котором я живу. Я вас очень люблю и уважаю, но вам свойственны

---

* gringo *(исп.)* — обидное прозвище американцев в Мексике.

все худшие недостатки ваших соотечественников, а из этих недостатков едва ли не самый невыносимый — глубокое убеждение, что все на свете рассуждают так же, как рассуждаете вы. Вам пятьдесят лет внушают, что операции благодетельны даже тогда, когда они не являются необходимыми. Но для бедняков, для простых людей, которые и больницы-то никогда в глаза не видели, в операции есть нечто страшное и отпугивающее. А если больной после операции умирает, они воспринимают это как убийство. Да что говорить, это все равно исключено. У родителей девочки нет денег.

— Я бы мог дать им эти деньги...

— Вот как? Черт возьми, может быть, вы дадите денег еще сотне моих пациентов, которые не менее остро нуждаются в немедленной операции? Может быть, вы себя провозгласите господом богом и будете судить, кому жить, а кому погибнуть? Или, может быть, ваши соотечественники сделают из этого новую увлекательную игру вроде лотереи: определять, кто из мексиканцев заслуживает того, чтобы остаться в живых...

— Послушайте, Серенте, это уже ни к чему...

— Да, вы правы. Простите меня. Но неужели вы думаете, что я бесчувственный чурбан? Ведь я тоже видел этих людей — и отца, и мать, и девочку. Только, разумеется, я напрасно устроил эту сцену вам. Сам не знаю, как так получилось. Вы поймите, ведь мне с этим приходится сталкиваться изо дня в день, изо дня в день, и не только мне, но любому врачу здесь, в Мексике. Но я больше не буду вас мучить, и так уж довольно.

— Ничего вы меня не мучите. Я понимаю.

— Как вы можете понимать? Я прожил здесь пятнадцать лет и все-таки не понимаю, все-таки то и дело допускаю оплошности, потому что ведь я сам никогда не был крестьянином, который не знает, что значит жить, не страдая от голода, холода, болезней. Вчера утром пришел ко мне один пеон с женой и двумя детьми — мальчиком и девочкой. У обоих ребят уже несколько месяцев не прекращается кровавый понос, но чего стоило это решение собраться всей семьей и пуститься в путь за тридцать миль, в город, который так пугает! Но вот, наконец, они попали ко мне. Я выслушал их, осмотрел детей, но чтобы назначить лечение, мне нужно знать, с какими возбудителями я имею дело. Поэтому я даю отцу две картонные коробочки и велю принести мне испражнения детей. Он смотрит на меня глазами раненого животного, но я, проработавший здесь пятнадцать лет, — я не понимаю. Мне некогда. Меня ждут другие пациенты, и я ничего не замечаю. И, конечно, он ушел и не вернулся. Почему? А потому, что я для него все равно, что господь бог, и когда я велел ему принести мне испражнения в коробочках, он понял это как злую шутку, или издевательство, или просто что-то непонятное и страшное. Откуда ему знать, что существуют микробы — возбудители болезни? Ведь он никогда в жизни не видел микроскопа. И вот теперь эти двое детей наверняка умрут, а виноват в этом я, потому что я позабыл о страхах и страданиях, которыми полна жизнь простого человека. Ну, ладно. Завтра вы придете к обеду, и я в качестве гостеприимного хозяина буду занимать вас более приятными разговорами.

— Ведите такие разговоры, какие вам хочется вести, — ответил я.— Мы будем у вас.

По дороге домой я вспомнил, что мне надо зайти в мастерскую к плотнику. Моя жена давно уже мечтала заняться во время каникул скульптурой, и несколько дней назад я заказал в этой мастерской деревянный каркас, нужный ей для работы. Я объяснил плотнику, о чем идет речь: очень простая штука, небольшой чурбачок с укрепленной на нем

стойкой, которая послужит стержнем для будущей фигуры. Плотник сказал, что все понял, и просил зайти дня через два-три.

Когда я пришел, оказалось, что мой заказ уже готов. Переступив порог мастерской, я сразу почувствовал, как во мне оживают улегшиеся было настроения. Я словно перенесся в давно отошедшую пору истории человеческого труда: меня окружали прадедовские нехитрые инструменты: гнутые сверла, какие можно увидеть в орнаменте египетских гробниц, изготовленные вручную рубанки и пилы, тесла, ничуть не отличавшиеся от тех, что были завезены сюда испанскими конквистадорами четыре столетия тому назад; даже гвозди были старинные, четырехгранные, ручной поковки. Сонно притихнув в лучах предвечернего солнца, мастерская с ее низкими выбеленными стенами казалась деталью картины, написанной когда-то давным-давно, и словно с той же картины сошли два плотника в кожаных фартуках, с мозолистыми рабочими руками и точеными чертами смуглых бронзовых лиц; но было в них то удивительное и неповторимое, что всегда отличает плотников от рабочих людей всех других профессий — какое-то особое отношение к инструментам, к дереву, к людям, мягкое, благостное выражение лица, спокойная созерцательность в восприятии жизни, избыток душевного тепла и всепроникающее чувство общности с окружающим миром и его обитателями. Не думайте, что это моя фантазия; мне много приходилось работать с плотниками и наблюдать их в самых разных местах и обстоятельствах: в Европе и в Азии, в Мэне, Вермонте и Калифорнии, у себя дома, на работе и в тюрьме, и я неизменно встречал в них эти черты.

— Вот ваш каркас, сеньор, — сказал старший из двух плотников, и подал мне предмет, при виде которого у меня дух занялся от восхищения; это было настоящее чудо красоты и мастерства: подставка из красного дерева и высокая стойка, словно выраставшая из нее,—все было отделано и отполировано, как отделывается дорогая мебель. Он назвал цену: четыре песо, что составляет тридцать два цента на американские деньги. Очевидно, выражение моего лица смутило его, так как он тут же спросил, не слишком ли это дорого. Я ответил, что мне это, напротив, кажется слишком дешево, неслыханно дешево за такую превосходную работу и такой ценный материал. Нет, не цена меня удивила, сказал я, а то, что он столько усилий потратил, чтобы вещь вышла красивой.

— А почему ж ей не быть красивой, сеньор?

И на его вопрос мне нечего было ответить, потому что у этого человека отношение к красоте сложилось на основе тысячелетнего опыта мастерства, тысячелетней культуры, которую я знал мало, а понимал еще меньше. Мне только вспомнился в эту минуту нескончаемый поток крестьян и рабочих, совершающих далекие путешествия, чтобы взглянуть на древние стены, украшенные росписью, какой нигде, кроме Мексики, не увидишь. Я взял каркас, заплатил четыре песо и пошел домой...

На следующий день у меня был разговор со священником. Вышло это совершенно случайно; мы с женой и детьми забрели в куэрнавакский собор — просто так, посмотреть, что там есть интересного внутри, но детям скоро наскучила холодная и мрачная торжественность храма, и они убежали на улицу, к солнцу. Жена пошла за ними, и я один продолжал рассматривать бесчисленные статуи святых в осыпанных драгоценностями уборах, старинные фрески, золотые и серебряные подсвечники, шелка, шпалеры, жемчуга и самоцветы — все, что хранилось здесь в пропитанном сыростью полумраке, высокими стенами отгороженное от яркого мексиканского солнца и душераздирающей мексиканской нищеты. Вероятно, я очень увлекся осмотром, потому что не заметил, как подошел священник, и даже вздрогнул от неожиданности, когда он вдруг обратился ко мне со словами:

— Вам нравится наш собор, сеньор?

— Нравится — это, пожалуй, не то слово. Он производит очень большое впечатление.

— Значит, сеньор не католик, — интонация была скорей утвердительной, чем вопросительной.

Меня удивило, что он так свободно говорит по-английски, и я сказал ему об этом.

— Да, я изучал английский язык в Испании.

— Но ведь вы мексиканец, не испанец? — Он был типичный мексиканец, плотный, упитанный человек лет пятидесяти, от которого так и веяло благополучием и здоровьем; есть такой тип священника.

— Я жил в Испании с 1935 до 1940 года. В то время у мексиканского правительства были серьезные несогласия с нашей матерью, церковью, и для меня лучше было находиться в Испании.

Но он ни словом не обмолвился о том, что происходило в Испании в эти самые годы, и мне это показалось странным. Может быть, именно потому, что это показалось мне странным, я рассказал ему коротко про человека с осликом, похожего на Христа, про его дочку и ее болезнь. Нельзя ли как-нибудь помочь им, спросил я.

— А почему вы обращаетесь с этим к священнику? — спросил он.

— Вероятно, оттого, что больше не к кому обратиться.

— Но ведь этот человек — мексиканец. Он обратится к господу богу.

— Возможно, но это не излечит его дочь.

— Вы так думаете, сеньор? Если господу угодно, чтобы девочка жила, она будет жить, а если господу угодно, чтобы она умерла, она умрет. Это предопределено свыше, и не нам с вами здесь что-нибудь изменить.

— Но не кажется ли вам, что такой подход, по меньшей мере, устарел? — спросил я, подбирая выражения с большой осторожностью. — Ведь существует медицинская наука, существуют больницы, врачи, антибиотики, и, я думаю, вы не станете отрицать, что многих людей удается спасти благодаря всему этому.

— Мы с вами говорим о разных вещах, сеньор, — улыбнулся священник, но в его улыбке не было ни тепла, ни участия. — Скажите, вы верите в бога?

— Может быть, не стоит нам касаться вопросов личного характера?

— А разве вы не касались вопросов личного характера, сеньор? Вы встречаете на улице человека, и вам кажется, будто он похож на нашего Спасителя. Истинному христианину и в голову не могло бы прийти что-либо подобное. Но вы, не задумываясь, высказываете эту кощунственную мысль мне. А когда я спрашиваю вас, верите ли вы в бога, вы обижаетесь, считая это вопросом личного характера. Нет, не антибиотиков не хватает мексиканцам, а твердой веры.

— Другими словами, — сказал я, не пытаясь больше скрывать свое негодование, — вас не тронула судьба людей, о которых я рассказывал, и вы не хотите ничего для них сделать.

— Напротив, меня это глубоко тронуло, и я сделаю для них гораздо больше, чем могли бы сделать вы.

— Нельзя ли узнать, что именно?

— Буду молиться о них, — сказал священник и, сложив на груди руки, повернулся и пошел прочь.

Обед у доктора Серенте всегда был настоящим праздником. Не только потому, что его жена, красивая и милая женщина, была на редкость гостеприимной хозяйкой и что там всегда можно было встретить интересных и занятных людей, но и потому, что, наверно, нигде в этом полушарии не подавали к столу таких вкусных блюд.

Дом Серенте был небольшой особняк в старомексиканском стиле. Жилые помещения в нем были вытянуты цепочкой, и фасад, обращенный к улице, представлял собой гладкую, ничем не примечательную стену, кое-где прорезанную зарешеченными окнами. Но как только вы через сводчатый проход попадали внутрь, в обнесенный высокой оградой прямоугольник, включавший в себя дом и сад, перед вами открывалось настоящее сказочное царство. Вдоль всего дома тянулась длинная веранда, сюда выходили двери всех комнат, здесь Серенте жили, ели, принимали гостей, и все время у них перед глазами был их чудесный сад. Как большинство садов в Мексике, он был не очень велик, но красоту его создавали необыкновенно яркая зелень тропической растительности, бесконечное разнообразие деревьев и кустарников и удивительная бархатистость травы. В сумерки, вот как сейчас, казалось, что находишься в каком-то заколдованном краю, где о нашем повседневном мире напоминали только шумные игры десятилетнего сынишки доктора и его товарищей.

Профсоюзный лидер, о котором говорил Серенте, пришел раньше нас; это был человек лет тридцати, коренастый, широкоплечий, с широким, приветливым лицом, черты которого говорили о его индейском происхождении. Вскоре явился Изгнанник и с ним его жена, худая, утомленная женщина с необыкновенно тоскливым выражением прекрасных темных глаз. Последний гость был чилиец, сенатор и представитель от чилийских трудящихся на профсоюзном съезде, недавно состоявшемся в Мехико. Перезнакомившись, мы расселись, и за бутылкой великолепного вина, которым угостил нас доктор, завязалась беседа, которая велась то по-испански, то по-английски, так что, казалось, мелодичный распев испанской речи смягчал и разнообразил чопорное звучание английской. Чилиец в годы Гражданской войны жил в Испании и встречался там с женой Серенте — она тогда была медсестрой; у них нашлись общие воспоминания, которым давность, память о поражении и вынужденная покорность судьбе придавали привкус горечи. Мексиканец-профсоюзник — его звали Диего Гомес — по молодости лет не мог помнить того, о чем шла речь, и Серенте, которому всегда были тяжелы разговоры об Испании, чтобы переменить тему, рассказал гостям о том, как я на улице Дуайта У. Морроу встретил Христа, ехавшего на осле. Рассказывал он в шутливом тоне, все время испытующе поглядывая на меня; когда он кончил, Изгнанник заметил, что это было бы прекрасным заголовком для рассказа: Христос на улице Дуайта У. Морроу. Можно ли изобрести что-нибудь более нелепое?

— Достаточно и самого названия улицы, — сказала миссис Серенте. — Улица Дуайта У. Морроу. Каждый раз, когда я слышу это, меня коробит.

— А я бы назвал рассказ «Христос в Куэрнаваке». Так, по-моему, лучше всего, — сказал по-испански Гомес. — Только едва ли. Я думаю, что если бы Христос вновь сошел на землю, Куэрнавака была бы последним местом, которое бы он пожелал покарать.

— А почему?

— Разве не ясно? — сказал Гомес. — Ведь за все грехи Мексики Куэрнавака несет двойную кару. Мои соотечественники, вообще питающие пристрастие к хлесткой фразе, говорят, что все наши беды оттого, что Мексика находится слишком далеко от бога и слишком близко к Соединенным Штатам. Так вот здесь, в Куэрнаваке, Северная Америка просто сидит у нас на плечах. Двойное бремя, можно сказать. Наши скромные салуны переполнены вашими замысловатыми алкогольными напитками, наши танцевальные залы —вашими гомосексуалистами, наши прекрасные улицы и площади — вашими тощими, жадными, бесполыми

женщинами. Вы настроили вилл на склонах всех наших гор, вы ослепляете нас блеском своего богатства. У моей свояченицы есть тетка, простая мексиканская крестьянка, она служит прислугой в доме у Томпсона, знаете, того, что был посланником в Аргентине. Она работает, не зная ни праздников, ни выходных, и получает сто пятьдесят песо в месяц. Так вот на прошлой неделе у Томпсонов был в гостях какой-то нефтяной магнат из Техаса. Он выпил лишнее и стал ухаживать за женой Томпсона. В качестве особого шика он давал ей закурить от двадцатидолларовой бумажки. Да, да, каждый раз, как она бралась за сигарету, он подносил ей огня, зажигая кредитный билет в двадцать долларов. Четыре сигареты — тысяча песо; а у этой женщины, у прислуги, в прошлом году умер ребенок, потому что она не могла заплатить двух песо за двести пятьдесят миллиграммов террамицина.

— Да, я знаю, — вмешалась моя жена. — Есть такие люди. Но ведь не все мы таковы. Нельзя же по Томпсонам судить о сташестидесятимиллионном народе.

— Кто я, чтобы судить? — улыбнулся Гомес. — Ведь мы говорили о Христе в Куэрнаваке.

— Ну и народ, эти мексиканцы, — добродушно сказал чилиец. — Во всем они должны быть первыми.

— У нас есть к тому основания, — сказал Гомес.

— У мексиканцев ко всему есть основания. Они желают иметь монополию даже на страдания человечества, даже на все напасти, включая засилье североамериканцев.

— Вы нам льстите.

— Беда в том,— сказал Изгнанник,— что ни один североамериканец не понимает и не может понять Мексику.

— За исключением вас, — вставил Серенте.

— Возможно. Думаю, что я понимаю Мексику — хотя бы отчасти.

— А я не понимаю,— чистосердечно признался чилиец.— И никогда не пойму. Я даже уже и не добиваюсь этого. Я здесь всего три недели, но я решил, что легче полюбить Мексику, чем стараться понять ее.

— Нас понять совсем нетрудно, — медленно произнес Гомес. — Мы простой и очень бедный народ, которому никак не удается распрямить спину, потому что кто-нибудь всегда сидит на этой спине — или испанцы, или священники, или североамериканцы. Что же тут непонятного? Не нужно только усложнять этот вопрос.

— А если вы все-таки распрямите спину?

— Тогда вы увидите, что такое Мексика,— тряхнул головой Гомес.— Она вся станет вот как этот сад.

— Но мы отвлеклись и забыли о больной девочке, — сказала моя жена. — Что же с ней будет?

— Она умрет, — тихо сказал Гомес.

— И мы должны примириться с этим?

— Не понимаю, что за фантазия у людей ездить на каникулы в Мексику, — заметил Серенте.

— Их интересуют наши соборы, — сказал Гомес, и тут я заметил, что как раз сегодня мы осматривали один собор и что я рассказал священнику про индейца и его дочку.

— По-испански? — фыркнул Серенте.

— Нет, священник прекрасно владеет английским языком. Он изучил его в Испании во время Гражданской войны.

— А что он там делал в это время?

— В Мексике ему тогда было жить небезопасно, вот он и уехал в Испанию. Что он там делал — об этом я его не спрашивал. Можно догадаться.

— Он вас выслушал внимательно?

— Даже очень.

— И что же он вам ответил?

— Сказал, что над жизнью и смертью девочки бог волен и упрекнул меня за мое вмешательство.

Изгнанник горько усмехнулся и сказал почти non sequitur *:— Когда я ездил в Индию — это было давно, Индия еще была тогда английской колонией, — мне однажды пришлось беседовать с районным организатором компартии в Бенгале, и я попросил его изложить мне свою программу. Он ответил, что эта программа очень большая и сложная, но, тем не менее, ее можно уместить в одной-единственной фразе. Наша задача — подготовить своих соотечественников к тому, чтобы они в один прекрасный день плюнули все разом, и тогда образуется такой мощный поток, который всех англичан смоет в море.

— Вот именно, все разом,— одобрительно кивнул Гомес. — Простое дело, но иногда требуются столетия, чтобы его совершить.

— Не нравится мне ваша усмешка, — сказала ему жена Серенте.— Она какая-то недобрая.

— А может быть, просто невеселая? Вам не кажется, что мы часто путаем одно с другим?

Чилиец обратился ко мне: — Но почему вы решили, что этот человек похож на Христа? Как вы можете это знать? — Он употребил непонятный мне испанский оборот, и Серенте пришлось служить переводчиком.

— Есть лицо, знакомое всем. То лицо, которое тысячи раз воспроизводилось в живописи и скульптуре.

— Так ли это, — задумчиво протянул чилиец. — Ведь столько споров идет о том, существовал ли вообще Христос. Рембрандт писал его с лицом еврея — если можно говорить об еврейском типе лица. Когда к нам в страну пришли испанцы, они привезли с собой своего, испанского Христа, но наши живописцы и скульпторы постепенно придали ему черты уроженца Чили, усталое и терпеливое выражение лица чилийского крестьянина или шахтера. И мне непонятно, как вы можете с такой уверенностью говорить о сходстве этого человека с Христом.

— Мне тоже непонятно, — сказал Серенте. — Тем более, что этот человек был моим пациентом и мне ничего подобного и в голову не приходило.

Его жена заметила: — Писателям приходит в голову много такого, что тебе не придет. На то они и писатели. А теперь прошу всех к столу. Обед сегодня хороший, но если он перестоится, все пропадет.

Это был не просто хороший обед, это был обед замечательный, единственный в своем роде. Тут были и горячие tortillas — маисовые лепешки, и телятина под соусом mole — необыкновенным шоколадным соусом, рецепт которого был разработан еще ацтеками тысячу лет назад, горячие frijoles — бобы, arroz — превосходный мексиканский рис в двух видах: с курятиной и с креветками, — и свежие помидоры, и огурцы, и холодное мексиканское пиво, которое по праву может считаться одним из лучших в мире.

Разговор за обедом перешел на другие предметы, к облегчению моему и моей жены. Говорили о мексиканском искусстве и о борьбе, которую с таким невероятным, неослабным упорством и настойчивостью ведут трудящиеся Чили, о разнице между испанскими и мексиканскими народными танцами, о том, почему среди бакалейных торговцев в Мексике так много испанцев — не из числа республиканцев, разумеется,— и об

* Вне всякой связи *(лат.)*.

автостраде Мехико—Куэрнавака, выстроенной пеонами, которым платили в день по шесть песо. Когда думаешь об этом, какой злой насмешкой кажется великолепная скульптура, изображающая группу рабочих, воздвигнутая на автостраде при въезде в Мехико, хотя Гомес заявил, что о ней можно сказать и другое: ведь скульптура изображает все же не святых, а рабочих! Разве не отразился в этом тот факт, что народ не верит больше старым богам? Потом Изгнанник заговорил об Университетском городке, об украшающих его мозаичных панно Диего Риверы — настоящем чуде искусства, а чилиец спросил, верно ли, что студенты не могут ездить на лекции в новый университет, потому что он построен очень далеко от города и проезд туда в автобусе обходится слишком дорого. И Гомес подтвердил это, сказав, что в Мексике самый богатый теперь в мире университет и самые бедные студенты. Потом речь зашла о Гватемале, которая только что сделалась жертвой предательства и насилия, о том, что вместо вопля ненависти и ужаса, от которого содрогнулся бы мир, Мексика откликнулась на это событие лишь скупыми слезами. Впрочем, слез пролилось все-таки больше, чем можно было предвидеть, сказал Серенте, вспомнив, как одна индианка плакала навзрыд у него в кабинете, сокрушаясь о прекрасной южной стране, с которой так жестоко поступили; а жена Серенте рассказала, что Ривера нарисовал на воротах своего дома гватемальский флаг, бросая этим гордый и смелый вызов миру.

Так проходил вечер, за вкусным обедом, в приятной беседе с приятными людьми. Испанская республика жила одно короткое мгновение, не дольше просуществовала и республика Гватемалы, но находятся другие, которые подхватывают выпавшее из рук знамя и несут его дальше, а потому в разговоре воспоминания и надежды переплетались. Никто из собеседников не принадлежал к разряду людей, живущих в безопасном убежище раздумий и рассуждений; все они душой и телом отдавались делу, в которое верили, и каждому пришлось испытать в жизни и победы и поражения. Но время шло, и пора было уходить. В небе, чисто промытом коротким вечерним дождем, взошла луна; мы стали прощаться. Доктор Серенте предложил отвезти нас домой на машине, но Гомес, остановившийся у своего дяди, неподалеку от нашего отеля, сказал, что в такую чудесную погоду он предпочитает идти пешком, и мы решили идти вместе с ним. Мы шли по темным улицам, почти не разговаривая, потому что после такого вечера, какой мы провели у Серенте, трудно завязывать новые нити беседы и даже приятно бывает помолчать. Мы пересекли пустынную площадь и пошли по улице Дуайта У. Морроу, потому что это был самый прямой и короткий путь, и когда мы уже были недалеко от Моралес, мы вдруг увидели под уличным фонарем одинокую человеческую фигуру.

— Смотрите! — сказала моя жена; одно только короткое слово, но мы оба поняли, о чем она подумала.

Это был монтер телефонной компании; вероятно, его вызвали срочно чинить какое-то повреждение. Он только что слез со столба и стоял, широко расставив ноги, упираясь кулаками в бока, с витком проволоки на одном плече и веревкой, перекинутой через другое, в тяжелых кожаных верхолазных сапогах и кожаном поясе, на котором висела сумка с инструментами. В ярком свете фонаря он казался чуть не великаном, крепкий, могучий, как скала, его мускулистое тело и лицо с тонкими чертами индейца казались выточенными из одного цельного куска, губы были тронуты легкой дружелюбной улыбкой, по какой в глухую ночную пору узнают друг друга те, у кого нет на уме ничего дурного. Гомес мягко и с достоинством приветствовал его, и он ответил на приветствие с тем же сдержанным достоинством. Ничего не было сказано по этому поводу,

да Гомесу и не нужно было ничего говорить. Мы простились с ним и пошли домой...

Дня два спустя моя жена, которой не давала покоя мысль о дочке индейца, пошла просить доктора Серенте, чтобы он взял у нас деньги и устроил девочку на операцию. Однако он и ее, как прежде меня, сумел убедить в том, что это неосуществимо. Прежде всего он даже не знает, где эти люди живут, сказал он; известно лишь, что у них есть клочок земли где-то в горах, но это еще не адрес, и, если только они не появятся опять в его амбулатории, у него нет никакой возможности их разыскать. Он гораздо лучше меня обрисовал непреодолимые препятствия, затрудняющие дело, которое сперва показалось нам таким простым, и при этом подчеркнул, что нет никакой уверенности в благоприятном исходе операции. — То, что вы предлагаете, это, по существу, благотворительность, — сказал он моей жене. — Вы предлагаете это потому, что вы добрый, хороший человек. Но чего стоит всякая благотворительность, вы, я думаю, и сами знаете. Это все равно, что стоять перед тысячей голодных с одной черствой коркой в руке. Может быть, мои слова вам покажутся жестокими, но я считаю благотворительность вредной потому, что она охлаждает гнев. А эту страну может спасти только гнев — и чем он будет грозней, тем лучше.

Неудача нашей попытки больно ударила по той жалостливой сострадательности, которой она была продиктована. В Мексике, где божественная сила доллара позволяет получить за него двенадцать с половиной песо, даже самый бедный американский турист подвержен мании величия и излечивается от нее, только оглянувшись на самого себя. Правда, большинство американских туристов никогда на себя не оглядывается, но с некоторыми это все же бывает, и тогда, как бы в мгновенном озарении, видишь себя таким, каким тебя видят другие...

Недели полторы мы с Серенте не виделись. В его врачебной практике были свои приливы и отливы. Когда где-нибудь в горах вспыхивала эпидемия дизентерии, вирусного гриппа или другой из многочисленных распространенных там болезней, в его амбулатории отбою не было от пациентов. Но и в обычное время она почти никогда не пустовала: хоть мексиканские бедняки знали, что Серенте испанец — а испанцев в Мексике не любят, потому что у мексиканцев хорошая память, — они знали также, что он никогда не отказывает больному в приеме в отличие от многих других врачей, которые и не взглянут на больного, пока не почувствуют денег у себя на ладони.

Но вот в один прекрасный день, часов около двух, он появился у нас в номере, бледный, даже как будто осунувшийся от усталости, и сказал:

— Если я не сбегу хоть на несколько часов, у меня ум за разум зайдет. Что вы делаете сегодня?

— То же, что и все дни, пока я здесь. Усиленно отдыхаю.

— Ах, черт! Почему я не турист!

— Темперамент не тот. А куда вы хотите меня везти?

— В одно изумительное по красоте и своеобразию место — древний город Хокалко на вершине горы. Это всего километров тридцать отсюда; мы там прекрасно отдохнем часок! Ваша жена вас отпустит?

— Надеюсь. Но ведь считается, что я больной человек, как же я буду карабкаться по горам?

— Карабкаться вы будете в основном на моей машине. И ничего, кроме пользы, это вам не принесет, говорю вам как врач.

Жена моя с ним согласилась, и очень скоро мы уже неслись в машине Серенте среди сверкающей зелени рисовых полей туда, где каменной стеной с запада и с юга подступают к Куэрнаваке горы. Немного спустя мы свернули с шоссе и поехали по боковой дороге, пересекавшей

широкую живописную долину, поразившую меня своим пустынным, необитаемым видом. Не видно было здесь ни тростниковых хижин, ни лоскутных крестьянских полей, нигде не пощипывал траву ослик, и привычный силуэт вола с деревянным плугом не появлялся на горизонте. Мы долго ехали молча, и, наконец, Серенте указал мне впереди нагромождение каких-то лиловатых глыб. — Вот и Хокалко, — сказал он.

Я заметил, что, по-моему, это очень высоко и едва ли машина может туда взобраться.

— Да, подъем трудный, но древние обитатели этих мест построили каменную дорогу; она частично сохранилась, а где не сохранилась, там теперь сделана грунтовая. Мексиканцы творили из камня чудеса; это великий народ, и многие из древностей, которыми мы восхищаемся в Европе, — безделки рядом с памятниками их мастерства. Мексиканцы очень горды, и, может быть, отчасти это объясняется тем, что они не забыли своего прошлого.

— В отличие от многих других.

— Да, в отличие от многих других.

Серенте был превосходным водителем. Мы скоро свернули на какую-то козью тропу, которая постепенно выравнялась, расширилась и, обогнув несколько полей, превратилась в довольно приличную проселочную дорогу. Она вилась по крутому склону, среди остатков искусных каменных креплений, упорно шла вверх, петляя и изгибаясь, и чем выше мы поднимались, тем шире расступались вершины, открывая взгляду долину, лежавшую внизу, под нами. Наконец мы доехали до такого места, дальше которого машина уже не могла пройти. Серенте поставил ее на небольшой прогалинке, и мы пешком одолели последние сотни футов подъема.

По описаниям Серенте, я ждал, что увижу необыкновенное зрелище, но при этом невольно представлял себе развалины вроде тех, которые мы уже повидали близ Мехико и на юге страны. Но там уже много лет трудились археологи, а здесь все было почти не тронуто — только вокруг одной пирамиды велись раскопки, и величие этих развалин грандиозность замысла, некогда здесь воплощенного, размах и мощь затмевали все, что я когда-либо прежде видел. У меня захватило дух. Я молчал, охваченный благоговейным трепетом, почти физически ощущая грозную неумолимость времени.

Мы вышли на большое покатое плато, во всю длину которого, на милю перед нами и на полмили позади нас, раскинулся огромный мертвый каменный город; он был мертв, и зеленый покров затянул его, но кое-где торчал из зелени то карниз, то угол, то выступ стены, и под густым покровом угадывались былые очертания и формы — стройные здания, высокие пирамиды, гигантские основания рухнувших колонн, искусно распланированные сады, где когда-то гуляли люди в пышных одеждах, фонтаны, в чьих струях сверкало всеми красками горячее мексиканское солнце. Пришельцы из другого века, мы прошли по этим пустынным просторам, осмотрели единственную пирамиду, с которой были сняты наслоения времени. Пирамида была необыкновенной формы, я таких никогда не видел раньше, но поражала совершенством и гармоничностью мастерства тех, кто ее создал. Я спросил у Серенте, что за люди жили некогда в этом городе. — Это еще не выяснено, — ответил он, — но как бы они себя ни называли, можно точно сказать, что они ничем не отличались от тех крестьян, которые и сейчас живут в этих краях. Люди, которые связаны с землей, не меняются. Они все могут выдержать и все переживают... — Я, однако, усомнился в этом. Ведь, по словам того же Серенте, считается, что в этом городе на гребне горы жило десять тысяч человек да еще несколько десятков тысяч должно было жить и трудить-

ся внизу, в долине, чтобы их прокормить. Между тем сейчас эта долина пуста и безлюдна. Я высказал свои соображения Серенте.

— Нет, она не пуста. Там есть жители, немного, но есть. Это живая память мучений. Я видел муки Испании, я их испытал на себе, но мучения Мексики — это совсем другое. Все, что есть гнусного и чудовищного в мире, все терзало Мексику. Сотни раз становилась она жертвой надругательства, вероломства, кровавых преступлений. Церковь и Северная Америка дали ей немало жестоких уроков, да и теперь дают, а свои, мексиканские богачи высасывают последние соки из ее обескровленного тела. И так продолжается целых четыреста лет. Какой другой народ мог бы выдержать это и сохранить столько силы, гордости и мужества? Да, сто тысяч человек жило, вероятно, когда-то в этой долине, и когда-нибудь там снова будут жить сто тысяч. Сейчас от людей, населявших эту долину, осталась только горсточка. Но они не исчезли с лица земли — нет, они не исчезли. Дети их будут возделывать землю, и земля расцветет.

Мы дошли до остатков обширного парка, служившего, должно быть, местом больших празднеств. Мы оглядывали развалины амфитеатра, где некогда, во времена древней индейской цивилизации, восседали вельможи и рыцари, и фантазия дорисовывала нам зрелище, полное блеска и красок; мы видели расписные стены и расписных идолов, развевающиеся стяги и сверкание золота. Вдруг перед нами вырос мальчик индеец; козы, которых он здесь пас, мирно щипали траву среди развалин.— Если сеньорам угодно, — сказал он, — я могу показать место, где жили жрецы. — Мы охотно согласились и дали ему песо; его смуглое красивое лицо на мгновение вспыхнуло от удовольствия, и, следуя за ним и его козами, мы спустились по извилистой тропке к широкому выступу горы, где стоял длинный ряд жилищ, как видно обнаруженных при раскопках. Сверху они были незаметны. — А кто тебе сказал, что это жилища жрецов? — спросил Серенте мальчика.

— Из Мехико приезжает сюда ученый археолог из музея, он мне все рассказывает и объясняет, — сказал мальчик. — Он говорит, что эти дома построены моими предками и что я должен хорошенько запомнить, какие они были, потому что когда-нибудь мы их отстроим заново. Когда я вырасту, я поступлю в университет и тоже стану археологом. Я уже и сейчас кое-что понимаю. Вот, посмотрите сюда, — он указал на верхнюю часть склона в конце плато. — Видите, между деревьями гладкое место, словно проплешина? Вот мне и пришло в голову, что, может быть, там под землей — каменная дорога; трава в этом месте выросла, а деревья не растут. Даже археолог из музея не догадался об этом, пока я ему не сказал. На следующей неделе мы там будем закладывать пробный шурф. Вы знаете, что такое шурф?

Мы сказали, что знаем, и он повел нас дальше. Мы еще долго ходили за ним и слушали его болтовню, полную своеобразной ребячьей мудрости. Прощаясь, он поклонился нам с той изысканной грацией, которой мексиканцев учить не приходится и которая многим из них свойственна от природы, и как гостеприимный хозяин пригласил нас побывать еще и привезти наших друзей. — Люди ведь не знают, что́ здесь, на этой горе. Вы им расскажите.

Мы молча вернулись к машине, молча проехали большую часть обратного пути. Только когда до Куэрнаваки оставалось уже совсем немного, я спросил Серенте:

— А что с той девочкой, вы ничего больше о ней не слыхали?

— Она умерла два дня тому назад, — без всякого выражения в голосе ответил Серенте. — Вчера я был в церкви, где ее отпевали. — Позднее я узнал, что это он дал денег на похороны, но в разговоре он об этом умолчал. — Красивая девочка была, — продолжал Серенте. — Мне очень

хотелось плакать. Я, кажется, становлюсь сентиментальным, как североамериканец, а надо вам сказать, что, за немногими исключениями, я так же ненавижу североамериканцев, как и сентиментальность. Вы — одно из этих немногих исключений, мой друг, и вы, надеюсь, уже научились не обижаться на то, что я иногда говорю. Считаю, между прочим, что девочку все равно нельзя было спасти, пусть это вам послужит утешением.

— Меня это ничуть не утешает, а кроме того, я уверен, что вы говорите неправду.

— Ну, допустим, я говорю неправду. Какая разница? Все дети красивы и хороши, будь то в Мексике или в Северной Америке. Здесь они гибнут от дизентерии и вирусного гриппа, а ваши соотечественники находят и другие способы расправляться с детством. Вот теперь у вас есть великолепная новая игрушка — водородная бомба, которая позволит вам сеять смерть с гораздо большей экономией и выгодой, чем здесь, в Мексике, где вы обходитесь такими старомодными средствами, как гнет, распространение невежества и монополия в производстве антибиотиков.

— По-моему, есть и мексиканские компании, которые занимаются производством антибиотиков и торгуют ими по ценам не ниже наших.

— Справедливое замечание, — вздохнул Серенте. — На меня нашло дурацкое настроение, и лучше мне вообще замолчать. А кроме того, я хотел бы вернуться к себе в амбулаторию до дождя.

Когда мы добрались до Куэрнаваки, небо все было обложено тучами. Серенте завез меня в отель, сердечно пожал мне руку и попросил прощения. Но на Серенте невозможно было сердиться, а потому и прощать его было не за что. Я поднялся к себе в номер и рассказал жене обо всем, что видел. Дети еще играли в саду, и жена предложила посидеть на террасе, выкурить по сигарете, а потом спуститься вниз в ресторан и выпить чего-нибудь перед обедом. Терраса в это время дня была нашим излюбленным местом; стояла пора дождей, и каждый вечер можно было наблюдать захватывающее, неповторимое зрелище. Обычно уже часам к пяти в небе собирались тучи. С нашей террасы открывался вид на рассекавшее горный склон ущелье, по которому бежала быстрая горная речка, и перед самым дождем в нем начинали клубиться густые лиловые и темнозеленые облака. Они заполняли все ущелье и, казалось, вот-вот вместе с речкой стремительно низвергнутся вниз, к подножию горы. Редкие косые лучи солнца, пробиваясь сквозь тучи, создавали какое-то странное, неестественное освещение, и вся картина, грозная и величественная, напоминала полотна Эль Греко, только жизни и красок в ней было во сто крат больше.

Пока все это происходило в природе, я рассказал жене, что узнал от Серенте о маленькой индианке. Жена промолчала, только печально кивнула в ответ. Полил дождь, мы встали и пошли в ресторан.

Директор ресторана был испанец, глава местной организации испанских республиканцев; его сердечная улыбка и столь же сердечное «Salud» вернули нас к действительности. Мы пригласили его выпить с нами — за жизнь, за Мадрид.

И еще мы выпили за Мексику, где, точно у доброй матери, находят приют все гонимые, угнетенные, голодные,— не за истерзанную, окровавленную Мексику, но за Мексику, сильную своим гневом, своей гневной памятью о стародавних, вековых обидах.

Когда мы вернулись в свой номер, дети уже были там; дождь загнал их в дом, и они затеяли какую-то шумную игру, стараясь доказать, что ничуть не боятся оглушительных раскатов грома и сверкающих изломов молнии в небе. Взглянув на наши лица, они бросились к нам с расспро-

сами: что случилось? Мы обняли их, прижали к себе, теплых, живых, успокаивая, уверяя, что ничего не случилось — все хорошо, только живите и вырастайте мужественными, гордыми, сильными!

Неделю спустя мы с женой шли по Геррара — узкой, людной и шумной улице, куда выходит куэрнавакский рынок, — и тут снова увидели его. Как и в первый раз, он ехал на осле. — Смотри, это он! — сказала мне жена, и, точно в ответ на ее слова, он поднял голову. Но как изменилось его лицо! Не было в нем больше ни кротости, ни покоя — гневом и ожесточением дышали теперь его черты, и в этом был залог и предвестие чего-то нового. Это уже не был лик Христа, знакомый по тысячам картин и изваяний; это было лицо мексиканского крестьянина, сердце которого переполнилось горем так, что готово разорваться, и мы прочли на нем тот грозный, вдохновенный гнев, которым мексиканский народ уже не раз удивлял мир и еще удивит в будущем.

Но, может быть, именно таким и было лицо человека, которого звали Христом.

Мухаммед Диб

БОЛЬШОЙ ДОМ

(РОМАН)

Перевод с французского Е. Гальпериной и Е. Фееpштейн

Дай кусочек!

Перед Рашидом Берри очутился Омар. Он был не один. Вырос целый лес протянутых рук, и каждая требовала свою долю. Рашид отломил кусочек хлеба и вложил его в ближайшую протянутую ладонь.

— И мне! И мне!

Просьбы и возгласы слились в общий крик. Рашид запротестовал. Все эти руки стремились вырвать у него ломоть.

— Мне! Мне!

— А мне, мне ты ничего не дал!

— Все досталось Халиму!

— Неправда!

Осаждаемый со всех сторон, малыш помчался во всю прыть, а орава мальчишек, крича, кинулась за ним. Омар отказался от погони: все равно ничего не добьешься.

Он направился в другую сторону. Здесь каждый из школьников тихонько грыз свою краюшку. Омар долго рыскал среди ребят. Потом, внезапно врезавшись в самую гущу, выхватил кусок хлеба у какого-то коротышки, помчался дальше, и его тут же всосала толпа игравших и кричавших мальчишек. Жертве ничего не оставалось, как реветь во все горло.

Некоторых школьников Омар обирал ежедневно. Он требовал свою долю, и если они тотчас же не подчинялись, им частенько доставались подзатыльники. Многие уже сами послушно делили свой завтрак на две половины и протягивали их Омару, чтобы он выбрал любую.

Иной малыш скрывался всю перемену, но все равно не мог выдержать характер до конца. На следующей перемене или после уроков он находил Омара и уже издали, завидев его, начинал хныкать. Малыш получал от Омара очередную взбучку, и тут волей-неволей приходилось отдавать весь свой завтрак.

Самые же хитрые уплетали свой хлеб в классе.

— Я сегодня ничего не принес, — заявлял такой хитрец и выворачивал карманы. Омар накладывал лапу на все, что там можно было найти.

— А, ты спрятал хлеб у кого-нибудь?

— Да нет же, честное слово!

— Не ври!

— Честное слово!

— Ну уж теперь не жди, чтобы я за тебя заступался.

— Вот честное слово, завтра я принесу тебе большущий кусок.

И мальчик жестом показывал, сколько он принесет хлеба. Омар срывал с него тюбетейку и топтал ее ногами, а виновный только повизгивал, как побитая собачонка.

Этот хлеб был заработком Омара: он вступался за малышей, которых изводили старшие ученики, и за это отбирал часть их завтрака. В свои десять лет он находился где-то посередине между парнями из старших классов, у которых уже пробивался пушок над губой, и соплями-приготовишками. Старшие в отместку нападали на него, но без толку: Омар никогда не приносил в школу хлеба... И он и его противники выходили из этих схваток с разбитыми носами, а их одежда и без того убогая, понемногу превращалась в лохмотья. Только и всего.

В Дар-Сбитаре Омар добывал себе хлеб и другим способом. Хорошенькая маленькая вдова Ямина каждое утро возвращалась с рынка, неся полную кошолку всякой снеди. Она часто давала Омару мелкие поручения. Он покупал для нее уголь, таскал ведра воды из городского фонтана, относил хлебы на выпечку... Ямина давала ему за это ломоть хлеба с артишоком или с жареным перцем, а иногда — кусочек мяса или сардинку. Иной раз после завтрака или обеда она звала Омара. Мальчик приподнимал занавеску — в час еды она у всех жильцов была опущена! — и Ямина впускала его. Она приносила тарелку, где всегда было что-нибудь вкусное, разламывала круглую белую булку и ставила все это перед Омаром.

— Ешь, малыш.

Она оставляла его и продолжала заниматься своими делами. Конечно, Ямина давала ему объедки, но они всегда были чистые. Самый большой привереда и то не мог бы придраться. Омару нравилось, что вдова не обращается с ним, как с собакой. Главное — не быть униженным. Внимание Ямины даже немного стесняло Омара, и ей каждый раз приходилось уговаривать его поесть.

Какой-то малыш, совсем крошка, с огромными, черными, как антрацит, глазами и бледным встревоженным личиком держался в стороне от всех. Омар следил за ним: малыш стоял во дворе, прислонившись к колонне, руки за спину, не принимая участия в играх. Обежав двор, Омар вынырнул из-за платана, уронил к ногам ребенка огрызок хлебной корки и, словно не заметив этого, побежал дальше, потом остановился и стал подсматривать: малыш глядел на корку и, наконец, украдкой схватил ее и стал грызть.

Он ел с жадностью, ничего уже не замечая вокруг. Его худенькое тельце было стянуто узкой серой рубашкой. Длинные не по росту штаны болтались на тонких, как палочки, ножках. Неземное блаженство озаряло его черты. Он отвернулся лицом к колонне.

Омар не мог понять, что с ним происходит, горло его судорожно сжалось. Он убежал подальше от всех и разразился рыданиями.

* * *

— Это завтрак?

Айни, мать Омара, чистила короткие и колючие алжирские артишоки.

— Конечно, завтрак.

— Когда же мы будем есть? Уже полдвенадцатого.

— Когда поспеет.

— Будь прокляты твои артишоки и все их предки!

И Омар повернулся, чтобы уйти.

— Иди! Мужчинам нечего делать дома.

Мать боялась Си Салаха, домовладельца, который терпеть не мог детей жильцов. Он запрещал им играть во дворе, а застав их там, пускал в ход кулаки и осыпал бранью и ребят и родителей. А у жильцов никогда не хватало храбрости ему ответить; завидев его, они принимали смиренный вид или прятались по своим углам. Домовладелец внушал им почтение, рожденное непреодолимым страхом. А когда не было Си Салаха, его жена, хитрая старая карга, то и дело набрасывалась на них, точно коршун.

Пребывание Омара дома в этот час было просто бедствием.

Но он все же остался.

— Совести у тебя нет!

Айни попыталась схватить его за руку. Напрасный труд! Он вырвался. Внезапно она запустила в него кухонным ножиком, которым чистила артишоки. Мальчик взвыл; на ходу он вытащил ножик, вонзившийся в ногу, и так, с ножом в руке, и выбежал наружу, преследуемый проклятиями Айни.

* * *

Огромные глаза Серой Рубашки глядели вопросительно и жадно, как глаза пугливого зверька. Омар читал в них тревогу, ожидание, робкую надежду. Но понемногу улыбка осветила это лицо, и у рта прорезались две глубокие морщинки.

Омар подошел к нему и вложил что-то в маленькую, узкую лапку. Малыш молча смотрел ему прямо в глаза.

— Закрой глаза и открой рот, — велел ему Омар.

Серая Рубашка доверчиво закрыл глаза и открыл рот. Омар быстро вынул руку из кармана и вложил ему в рот конфету.

И тут же исчез.

Никто из ребят, даже Омар, под страхом тяжких наказаний не смел тронуть учившихся в школе сыновей купцов, чиновников, домовладельцев. Обижать их было опасно: перед ними выслуживались и школьники и учителя.

Один из этих богачей, Дрис Бель Ходжа, глупый и хвастливый мальчишка, на каждой перемене вытаскивал из своей сумки не только хлеб (уже и это было много!), но и пирожки и сласти. Прислонясь к стене, окруженный своей свитой, он важно поедал все это. По временам то один, то другой наклонялся и подбирал упавшие крошки. Никто никогда не видал, чтобы Дрис угостил кого-нибудь. И нельзя было понять, почему же постоянно все толпятся вокруг него. Было ли это смутным почтением к тому, кто каждый день может есть вволю? Или их покоряла священная власть денег, воплощенная в этом рыхлом и глупом мальчишке?

У Дриса был приятель, который после уроков всегда нес его кожаную сумку, расшитую серебром и золотом. Другие заходили за ним и провожали его в школу. Они расставались с ним только, когда звенел звонок, ссорились из-за того, кто сядет с ним рядом или положит руку ему на плечо.

У Дриса даже деньги водились, и он обычно накупал торрайкосов и калентиков *. К часу дня на улице, переполненной школьниками, появлялись лоточники; Дрис покупал у них пять-шесть пакетиков торрайкосов и раздавал считанные зернышки своим спутникам. Если они позволяли себе жаловаться или усмехаться, он начинал хныкать: «Да-а, все вам отдать? А мне что останется?».

Каждое утро, наевшись до отвала, он непременно рассказывал, что

* Торрайкос — поджаренные турецкие бобы, калентики — пирожные из бобовой муки. — *Прим. автора.*

он ел вчера. А после обеда — что он ел сегодня. Тут были и поджаренные бараньи окорока, и цыплята, и кускус с маслом и сахаром, и миндальные и медовые пирожные с необыкновенными названиями. Врал ли он? Может, он, болван, и не преувеличивал... Дети слушали, как зачарованные, обомлев перед грудами всевозможной еды, которые он нагромождал в своих рассказах. А он все тянул, как бесконечную молитву, это невероятное перечисление отведанных им блюд.

Множество глаз испытующе глядело на него. Наконец кто-нибудь решался усомниться:

— И ты один съел такой кусок мяса?

— Да, вот такой кусок.

— И чернослив?

— И чернослив.

— И яичницу с картофелем?

— И яичницу с картофелем.

— И горошек с мясным соусом?

— И горошек с мясным соусом.

— И бананы?

— И бананы.

Что уж было спрашивать дальше...

Омар бродил по двору, заглядывая в каждый уголок, — где же Серая Рубашка? Здесь было много ребят; Омар проходил среди них, толкаясь и перебраниваясь; приятели окликали его. Но малыша нигде не было.

Вдруг Омару показалось, что он никогда больше не увидит Серую Рубашку. Обычно тот стоял во дворе у одной и той же колонны. Он всегда, точно отверженный, держался в стороне.

Скоро уже звонок — конец перемены. Бурное оживление во дворе достигло предела. Игры становились все неистовее, крики пронзительнее. Это были признаки того, что перемена кончается. Как и всякий школьник, Омар безошибочно чувствовал это.

Все вдруг представилось ему в трагическом свете.

Он не переставал искать Серую Рубашку. Эта смутная привязанность вдруг заполнила для него весь мир. Все кругом показалось чужим. Серой Рубашки нигде не было. Неужели Омар не найдет его?

Звонок. Омар стал в ряды школьников.

Он представлял себе Серую Рубашку дома; ему чудилось, что малыш ждет его; вот он сидит перед мейдой *, играет во дворе большого дома...

Учитель взмахнул своей тонкой оливковой указкой, и школьники парами двинулись в класс.

Омар смотрел прямо перед собой, губы его дрожали. Тоска его все росла, он уверял себя, что Серая Рубашка умер.

Но в ту минуту, как за Омаром закрылась дверь, хрупкая фигурка малыша торопливо перебежала через школьный двор.

* * *

Едва звонок распихал их по партам, раздался голос учителя, прозвучавший, как труба горниста:

— Урок морали!

Урок морали. Омар использует его, чтобы пожевать спрятанный в кармане хлеб, который он не успел отдать малышу в серой рубашке.

Учитель прошелся между партами. Шарканье подошв по полу, уда-

---

* Мейда — низкий круглый столик, за которым едят в мусульманских семьях.— *Прим. автора.*

ры ногами по скамьям, возгласы, смех, шепот — все стихло. Точно чудом воцарилась тишина: затаившие дыхание ученики прямо на глазах превратились в каких-то юных монахов. Но хотя все в них было неподвижность и внимание, в воздухе порхало легкое веселье, неуловимое, точно солнечный зайчик.

Удовлетворенный господин Гассан прошел к кафедре, полистал толстую тетрадь и провозгласил:

— «Родина».

Это было принято с полным равнодушием. Никто не понял. Брошенное слово повисло в воздухе.

— Кто из вас знает, что это значит: «Родина»?

Легкое движение прошло по классу. Указка застучала по парте, призывая к порядку. Ученики искали родину, озираясь по сторонам, оглядывая проход между партами, стены, окна, потолок, лицо учителя: было очевидно, что ее здесь нет. Родины в классе не было. Школьники посмотрели друг на друга. Другие, не желая ввязываться в это дело, благоразумно выжидали.

Брагим Бали поднял руку. Да неужели он знает? Похоже на то! Он опять поднял руку. Он явно знал, что это такое.

— Франция — наша Родина-мать! — объявил Бали.

Это было сказано тем же гнусавым голосом, каким школьники читали в классе. Тут все зашумели и тоже подняли руки, все сразу захотели говорить. И, не дожидаясь разрешения, они наперебой повторяли эту фразу.

Омар не разжимал губ: во рту у него был крохотный кусочек хлеба, и Омар сосал его. Франция, столица — Париж. Это он знал. Из этой страны приезжают французы, которых видишь на улице. Ехать туда надо через море, на пароходе... Море, Средиземное море. Он никогда не видел ни моря, ни парохода. Но он знал, что это бесконечная гладь соленой воды и что-то вроде мелькающей в ней щепки. Франция была для него еще разноцветной картой. Как же эта далекая страна может быть матерью? Его мать — Айни, она дома. А другой у него нет. Между Айни и Францией нет ничего общего. Итак, Омар обнаружил ложь. Родина она или нет, но Франция ему не мать. Он зубрил лживые слова, лишь бы избежать грозной оливковой указки. В этом-то и состояло ученье.

Например, вот тема сочинения: «Вечер у камина»... Чтобы облегчить школьникам задачу, г-н Гассан читал им отрывки о детях, которые сидят, прилежно склонившись над книгами. Стол освещен мирным светом лампы. Папа, сидя в глубоком кресле, читает газету, мама вышивает.

Что ж, Омару приходилось лгать, и он прибавлял сюда еще огонь, пылающий в камине, мерное тиканье часов, тишину и уют домашнего очага. Ах, как хорошо сидеть дома у огня, когда на улице темень, ветер, дождь. Или другая тема: «Загородная вилла, где вы проводите каникулы». Фасад, увитый плющом, рядом на лужайке лепечет ручеек. Воздух такой чистый, так хорошо, легко дышится. Или: «Пахарь». Как весело, с песней идет он за плугом, и жаворонки подпевают ему. Или: «Кухня»: ряды кастрюль так начищены и блестят, что в них можно глядеться, как в зеркало. Или, наконец, «Рождество». Разукрашенная елка, золотые и серебряные нити, разноцветные шары, подарки, которые находишь в своем башмачке. И сласти из Аид Сегира, свежая баранина из Аид Кебира... Так выглядит здесь жизнь!

Мальчики говорили: кто лучше всех, складнее всех умеет лгать — тот лучший ученик в классе.

Омар еще чувствовал во рту вкус хлеба. Рядом учитель требовал тишины. Переливающиеся жизнью силы детства снова и снова вступали в борьбу с застывшей, прямолинейной силой дисциплины.

Господин Гассан начал урок.

— Родина — это земля наших отцов. Страна, где жили поколения наших предков.

Он стал развивать и дополнять это. Дети, порывы которых были усмирены, записывали.

— Родина — это не только земля, на которой мы живем, но и все, что есть на этой земле, и все ее обитатели.

Невозможно все время думать о хлебе. Завтра Омар отдаст свою долю Серой Рубашке. А он тоже «Родина»? Ведь учитель говорит... Чудно, если и Серая Рубашка тоже... А мать, Ауйша, и Мерием, и все жильцы Дар-Сбитара? Они тоже «Родина»? И Хамид Сарадж?

— Когда приходят чужеземцы и заявляют, что они хозяева, тогда Родина в опасности. Эти чужеземцы — враги, от которых все население должно защищать свою Родину. Тогда начинается война. И жители должны защищать Родину, хотя бы ценой собственной жизни.

Что же такое Родина? Омар хотел бы, наконец, узнать это от учителя. Где же они, эти враги, объявляющие себя хозяевами? Кто они, враги его страны, его Родины? Омар не мог раскрыть рта, чтобы спросить — у него на языке еще сохранялся вкус хлеба.

— Те, кто особенно сильно любит свою Родину и действует для блага Родины, в ее интересах, — называются патриотами.

В голосе учителя послышались торжественные ноты, гулко отдававшиеся в классе.

Он ходил взад и вперед.

А сам господин Гассан патриот? А Хамид Сарадж? Как же они оба могут быть патриотами? Ведь учитель как-никак важная особа, а Хамида Сараджа часто разыскивает полиция. Кто же из них патриот? Вопрос оставался неясным.

Вдруг изумленный Омар услышал, что учитель говорит по-арабски. А ведь он всегда запрещал им это! Подумать только! Никогда этого не бывало! Омар, правда, знал, что учитель — мусульманин (его и звали господин Гассан), и даже знал, где он живет. Но он не мог и представить себе, что учитель умеет изъясняться по-арабски.

Глухим голосом, в котором слышалась странная настойчивость, учитель сказал:

— Не верьте, когда вам говорят, что ваша Родина — Франция.

Ну и ну! Омар уж и не знал, чему теперь верить.

Господин Гассан спохватился и умолк. Но еще несколько минут он оставался взволнованным. Казалось, он хотел сказать еще что-то. Но что? Может быть, ему мешала какая-то сила, еще более властная, чем он сам?

Так он и не сказал детям, что же такое их Родина.

* * *

В одиннадцать часов утра у самых ворот школы завязалась перестрелка камнями. Она продолжалась и на дороге, которая шла вдоль городской стены.

Эти ожесточенные стычки длились целыми днями; нередко доходило до кровопролития. В обеих враждебных армиях, куда входили мальчишки из разных кварталов города, насчитывалось немало метких стрелков. Ребята из лагеря Омара превосходили противников ловкостью, быстротой и отвагой. Их опасались больше всех, хотя их и была-то горсточка. Кто же не знал, что эти мальчишки с окраины — сущие дьяволята! Никто и не пытался их обуздать. Сколько раз, преследуя врага, они добирались до самого центра города, до большого бассейна, наполняя ужасом сердца мирных горожан!

Зимой они, как стая шакалов, набрасывались на дровяные склады, растаскивали и сжигали доски. Они раскладывали на пустырях большие костры и, собравшись вокруг все вместе — малыши и подростки, раздирали тишину дикими воплями.

Где же еще Омару было играть, если не на улице? Едва проснувшись, он мчался на улицу, и никто не мешал ему, меньше всех мать. Десятки раз семья Айни переезжала на новое место, но в любом квартале старого города среди узеньких, извилистых уличек находились еще незастроенные участки — и сюда сходились играть все окрестные ребята. Омар проводил там все свободное время, другими словами — весь день. Часто, решив, что в школе его не ждет ничего интересного, он присоединялся к другим мальчишкам. Его мать очень удивилась бы, если бы кто-нибудь сказал ей, что неразумно позволять ребенку бегать вот так невесть где: пожалуй, он еще собьется с пути, привыкнет к бродяжничеству и праздности. Как знать! Ведь он предоставлен не только своим прихотям, но и влиянию старших ребят, шумливых, развязных сорванцов и воришек, наводнявших эти кварталы. Возраст и кулаки позволяли им командовать Омаром. Эти негодники никого не боялись; они бродили по городу и не упускали случая для озорной проделки, для дерзкой выходки. В этом буйстве прорывалась жившая в них смутная тоска.

Особенно грубо и вызывающе держались они с добропорядочными, хорошо одетыми горожанами. А те, в свою очередь, смотрели на них косо — ведь от этих негодников всего можно ждать... Но мальчишкам наплевать было на косые взгляды!

Едва успевали они собраться, как тотчас же, словно одержимые, разбивались на два лагеря, и начиналось сражение. Чаще всего оно заканчивалось кровопролитием. Кому-нибудь камень уж непременно попадал прямо в лицо или в голову. Завидев кровь, мальчишки вражеского лагеря приходили в восторг от такой удачной «шутки» и, вопя и завывая в знак презрения к противнику, удирали со всех ног. Некоторые смущенно подходили к пострадавшим, руки их неловко висели вдоль тела. В кулаке у каждого еще зажат камень, карманы тоже набиты камнями. Заглянув в лицо раненым, они молча уходили. Они выбрасывали свои камни и заодно избавлялись от охвативших их было на мгновение угрызений совести. Они весело разбегались, а раненые поднимали отчаянный рев. Наиболее стойкие молча сжимали зубы и, уходя с поля битвы, забирали с собой все свои камни.

С того дня, как Омару раскроили висок, он начал побаиваться этих стычек.

Самых маленьких сгоняли силой на поле боя — подбирать с земли камни и подавать их бойцам. Мальчишки постарше, принимавшие участие в сражении, были ловки и быстры. Стоя лицом к врагу, они видели летевшие снаряды и во-время увертывались. Но малыши, которые, согнувшись, подбирали камни, оказывались беззащитными. И если камень попадал в кого-нибудь из них, старшие не обращали на это внимания, словно он ударился об стену.

Повсюду на улицах попадались обездоленные дети, такие же босые и озябшие, как Омар. Губы их почернели, тощие руки и ноги напоминали паучьи лапки, глаза лихорадочно блестели. Многие назойливо выпрашивали подаяние у ворот и на площадях. Во всех домах Тлемсена было полным-полно таких ребят; в ушах звенело от их крика.

* * *

Четверг. В этот день уроков нет. Айни не знает, как отделаться от Омара. Она поставила посреди комнаты жаровню, набитую угольной пылью, которая горит едва-едва. Казалось, уже конец холодам, но зима

внезапно вернулась и пронзает воздух миллионами острых колючек. Если в Тлемсене в феврале наступают холода, то уж наверняка пойдет снег.

Омар прижимает свои ледяные ноги к изразцам жаровни.

Ноги Айни голы до колен, из-под узкой, высоко подобранной туники видны холщевые шаровары, на плечах — изорванный платок. Она беспокойна, точно в лихорадке, и все ворчит:

— Омар, сиди тихо!

Мальчик готов влезть в жаровню. Он мешает золу, в которой еще тлеет несколько угольков. Он обжигает себе руки, распухшие, точно какие-то огромные перезрелые плоды; они постепенно белеют, и тогда он ладонями старается отогреть свои ноги. От яркокрасных изразцов болят глаза.

Жаровня догорала в темной и сырой комнате. Омар скорчился перед закрытой дверцей; ему удалось согреть только руки, в окоченевших ногах был мучительный зуд. Леденящий холод впивался в него острыми когтями.

Сжавшись в комок, как собака, упершись подбородком в колени, Омар вбирал в себя последнее тепло. Он неподвижно сидел на старой, вытертой овчине; ноги его совсем онемели. Наконец он задремал все с той же пронизывающей насквозь мыслью: нечего есть. У них ничего не осталось, кроме сухих корок, принесенных теткой. Серое утро ползло минута за минутой.

Вдруг по спине у Омара прошла дрожь. Он проснулся, по ногам бегали мурашки. Холод щипал его нестерпимо. Жаровня исчезла — Айни унесла ее.

Она сидела на полу на другом конце комнаты, грея жаровней поясницу, и глухо бормотала что-то.

— Твой отец, этот бездельник, оставил нас нищими! — закричала она, увидев, что Омар открыл глаза. — Он лежит под землей, а все беды свалились на мою голову. Несчастная моя судьба! Несчастная моя жизнь! Ему-то спокойно в могиле. Он и не подумал отложить хоть грош на черный день. А вы, вы присосались ко мне, как пиявки. Дура я! Мне надо было выбросить вас на улицу, а самой бежать куда глаза глядят.

Боже мой, кто ее теперь остановит? Ее черные глаза беспокойно блестели.

— Несчастная моя судьба... — бормотала она.

Омар молчал. Она явно обвиняла кого-то. Но кого? Ее гневные речи были направлены против каких-то призраков. Мальчик не мог понять, на кого обращен ее нарастающий гнев. Правда, здесь еще бабушка, но...

Бабушка лежала позади Омара. Они взяли ее сюда вчера, раньше она три месяца жила у сына. А теперь пришла очередь Айни взять ее на три месяца к себе. Бабушка лежала в параличе. Однако разум ее оставался ясным и голубые глаза сверкали прежним блеском, почти весело. Обычно они лучились добротой, но минутами взгляд их становился холодным и жестким. Ее лицо, милое, чистенькое, розовое лицо старушки было обрамлено белым пухом волос. За бабушкой надо было ходить, как за маленькой, кормить ее, переворачивать...

По телу Омара пробегала неприметная дрожь. Айни, поставив жаровню на пол, повернулась и посмотрела на бабушку.

— Что ж твой сын не оставил тебя у себя? Пока ты была им за служанку, ты была нужна. А теперь, когда тебя ноги не носят, выкинули вон, как мусор. Ни на что уж не годна, так что ли?

Айни приподнялась и, стоя на коленях, бросала матери в лицо злые слова.

Бабушка попыталась успокоить ее:

— Айни, дочь моя, голубушка! Да будет проклят дьявол, это он внушает тебе такие мысли.

— О, чтоб тебе! Почему ты согласилась перейти к нам?

— Но что же я могла поделать?

— Это его жена послала тебя сюда, ведь он у нее под башмаком. Она работает, а он только и знает, что шляться по кабакам. Этакий негодяй! Замолчи, я не хочу слышать твоего голоса. Замолчи, замолчи! Бог наслал вас на меня, и вы пожираете меня, точно черви.

Глаза бабушки умоляли. Омару хотелось выбежать во двор, закричать. Но мать была между ним и дверью. Он прижался к полу и замер. Он готов был кричать, выть — пусть услышат соседи, пускай прибегут и спасут его от безжалостной руки матери. Но она не тронула его. Он остался лежать на полу. И вдруг резким, пронзительным голосом Айни приказала:

— Вставай! Поди сюда!

Он встал и нехотя, медленно подошел к ней. Кивком головы она велела ему приподнять бабушку.

Они вдвоем подняли ее. Омар спрашивал себя, что будет дальше. Мать шагнула к выходу, и Омар с ужасом понял, что они выносят бабушку из комнаты. Испуганная бабушка умоляла:

— Айни, Айни, дочь моя!..

Но Айни увлекала их обоих за собой. Старуху пронесли через всю галерею до кухни, и там Айни опустила ее на каменный пол.

Омар весь дрожал. В жалобах бабушки слышалась бесконечная тоска, и перепуганному Омару тоже хотелось заплакать, закричать.

Кухня была большая, для всего этажа, с закопченными стенами и каменным полом, выложенным крупными плитками. Двери не было, и в кухню проникал робкий рассвет. Холод здесь был могильный.

Айни вытащила из груды наваленного повсюду хлама запыленное кресло и усадила в него бабушку.

— Идем! — бросила Айни сыну.

И старуха осталась одна. Лицо ее побледнело, глаза потухли. «Смерть, смерть», — говорил ее взгляд.

Омар закричал. Айни кинулась к нему:

— Ты с ума сошел,— со злостью зашептала она.— Знаешь, что тебе за это будет?

Омар опустил голову. И вдруг он крикнул:

— Наплевать!

И кинулся бежать, Айни — за ним. В два прыжка он проскочил через внутренний двор в парадное, чтобы выбраться на улицу. У входной двери Айни остановилась: без покрывала она не могла идти дальше. Она осыпала Омара проклятиями.

Он выругался в ответ и помчался прочь. В переулке Айни увидела прохожих. Когда они подошли ближе, она из-за двери попросила их вернуть ее сына. Но Омара и след простыл. Айни заперла дверь изнутри,— теперь мальчишка не сможет вернуться без ее ведома!

* * *

Он слонялся по улице, пока, по его расчетам, гнев матери не утих. Тогда он вернулся в Дар-Сбитар. Но когда он украдкой пробирался в комнату, Айни заметила его. Она тотчас же бросилась ему вслед. Омар увернулся.

— Проклятая! — закричал он.— Да будут прокляты твои отец и мать!

И он снова выскочил на улицу. В узком переулке дул ледяной ветер.

Омар стал искать, где укрыться. Он решил не возвращаться в Дар-Сбитар. Но мальчика бесило, что его взяли и выставили за дверь.

Вот какое-то парадное, он проскользнул туда и забился между полуоткрытой дверью и мусорным ящиком. Рана на ноге открылась и болела. Ветер свободно гулял здесь по всему дому. Что же теперь делать?

Холод лизал лицо. В такие минуты Омару хотелось вновь увидеть отца, отца, который давно умер. Но нет, отец никогда больше не придет, никто не может вернуть его! Эта мысль была невыносима.

Омар не собирался провести всю ночь на улице. Его не пугало, что дома его накажут. Не все ли равно? Пускай с ним делают, что хотят, он не станет сопротивляться. Он был как мертвый, ничто его больше не интересовало. Он не страдал, он больше не страдал: сердце его окаменело. Он решил, что пойдет домой; пускай его бьют, он даже не попытается избежать ударов — посмотрим, сколько он может выдержать. В нем зрел вызов. Посмотрим, кто скорее устанет: он — терпеть или другие — мучить его? Он был уверен в себе — он-то не сдастся, он будет держаться до конца.

Да, он должен вернуться, ничего другого ему не остается. Зачем скрываться от неизбежного?

Но почему бы не покончить с собой? Может быть, броситься с террасы? Омар огляделся — в коридоре ни души. Он свернулся в комочек и еще глубже забился в свой угол. Да, да, надо умереть. Кто пожалеет о нем? Немножко поохают, да и успокоятся. Мать уж больше его не разыщет. Да, это лучший способ отплатить ей.

Где-то рядом послышались размеренные шаги. Он испуганно подскочил. Уже ночь.

Как бы ему снова очутиться дома? А сердце у него так и колотилось, сердцу тесно было в груди... Если его найдут у этого мусорного ящика, то, пожалуй, примут за нищего. Нет! Если его заметят в этом доме, где живут французы, его могут принять только за воришку. На него напустят жильцов, весь квартал, весь Тлемсен...

Он выскользнул на улицу. Никто его не заметил. Теперь надо возвращаться. Все это было лишь игрой. И какие у матери причины задать ему взбучку? Она никогда и не думала его мучить...

Чем ближе Омар подходил к Дар-Сбитару, тем явственнее до него доносились пронзительные вопли. Он узнал голос и ускорил шаги. Он ничего не ел с утра и еле держался на ногах.

Это кричала его мать, стоя у ворот Дар-Сбитара.

— Омар! Омар! — надрывалась она.

Люди молча, равнодушно проходили мимо. Торопливо пробегали запоздавшие женщины; в своих белых покрывалах они казались призраками. Он подошел к дому, и Айни увидела его. Охваченный страхом, он остановился.

— Входи! — приказала она.

Омар не двинулся с места. Он прислонился к стене, силы оставляли его. Мать закричала еще пронзительнее:

— Негодяй! Собака!

Перед ним мелькнул образ бабушки, неподвижно сидевшей в кухне, с выражением ужаса в глазах. Жива ли она еще? Не поколотила ли мать и ее? Ему чудилось, что все вокруг рушится. Снова ему захотелось умереть. Он тихонько заплакал. Босые ноги матери и подол ее одежды метнулись к нему. И вот она уже рядом с ним; она без хаика * — но ведь уже ночь, темно.

Айни за руку перетащила его на другую сторону улочки, и они вошли в дом. Но не успели они дойти до лестницы, как Омар упал.

* Хаик — покрывало.

Мать подняла его. Он вопросительно взглянул в склоненное над ним лицо. Она отнесла мальчика в комнату и положила на овчину, поддерживая его голову рукой. Омар не двигался.

Мать отошла. Он молча лежал на своей овчине. Ему казалось, что он лежит здесь уже сотни лет. Когда шум голосов, еще звучавших в его ушах, утих, он почувствовал себя покинутым, одиноким, выброшенным из жизни. Совсем близко он опять услышал голоса. Как его знобит! Быть может, сейчас он умрет, погрузится в небытие. Он приоткрыл глаза.

Мать молилась; она долго стояла так, прямая, неподвижная. И вдруг словно переломилась надвое и распласталась на полу.

Омар не мог больше смотреть; у него болели глаза, у него даже не было сил держать их открытыми.

Ноги его дрожали. Он устал лежать, все тело болело и ныло. Когда же наконец ему дадут отдохнуть?

* * *

Пришел март. Второе воскресенье этого месяца сталось памятным днем для Дар-Сбитара.

Омар проснулся словно от толчка и вскочил на ноги. Дар-Сбитар гудел, точно улей. Шум заполнял все углы огромного дома, проникая в самые глухие закоулки, а у главного входа раздавались яростные, нетерпеливые удары.

Омар и обе его сестры выбежали из комнаты. Айни, еще сонная, спотыкаясь, бросилась к железным перилам, шедшим вдоль галереи. Пряди волос в беспорядке выбивались у нее из-под платка.

— Что случилось?

Она поправила волосы.

— Да что же там случилось?

Непонятная тревога охватила дом: жильцы один за другим выбегали из комнат и собирались во дворе. Шепот, внезапные вскрики, плач младенцев, топот босых ног — все это отдавалось во дворе, на галерее, в комнатах, как бы вырастая из густой и теплой утренней тишины. Появились первые проблески рассвета. Ночь рассеивалась, уходя незаметно, точно украдкой.

Под ударами колотушки, а потом и тяжелых сапог непрерывно сотрясалась массивная, обитая железом дверь. Но никто во дворе не хотел подойти и открыть. Все спрашивали друг друга:

— Что случилось? Люди добрые, что случилось?

Омар бросился вниз по лестнице и исчез прежде, чем мать успела удержать его.

— Омар! Омар! Вернись... Чтоб тебя черная оспа унесла!

Мальчик проскользнул в толпу женщин, собравшихся во дворе у входной двери.

— Тише, тише! — раздалось оттуда.

— Замолчи, Айни! — крикнула Зейнаб. — Дай же послушать, что там такое стряслось!

Но не так-то просто было заставить Айни замолчать. Она никого не слушала.

— Омар! Негодник! — кричала она. — Вернись или я разорву тебя на куски!

Но он, как всегда, не обращал внимания на ее угрозы.

Во дворе ширилась тревога. Что делать? Открывать или нет? Женщины перешептывались. Всех охватило беспокойство. Старая Айша, едва передвигавшая ноги, вышла во двор, прислонилась к стене и, подняв глаза к небу, тихо молилась;

— Боже, услышь меня, защити нас!

Она опустилась на колени. Губы ее чуть заметно шевелились.

Появились и мужчины; нерешительно сделав несколько шагов, они останавливались на пороге своих комнат. Некоторые затягивали пояса широких штанов. Одна из женщин, Сения, наконец решилась:

— Клянусь богом, я открою! Хоть узнаем, в чем дело.

Эта Сения ничего не боялась, она всегда делала что хотела.

— Конечно, это полиция! — выкрикнул кто-то. — Разве ты не слышишь, какой шум они подняли? Кто же еще так громко заявляет о себе?

Все согласились. Да, это могла быть только полиция.

Сения все же приоткрыла дверь: на улице и вправду стояли полицейские, человек десять. Сения невольно отшатнулась, но овладела собой и спросила, кого они здесь ищут. Храбрая была эта Сения!

— У нас тут нет ни воров, ни преступников, — сказала она. — Кого вы ищете?

— Кого надо, — ответил агент. — Дай пройти.

Полицейские ворвались в парадное. Среди них был маленький толстяк в штатском. Он все старался не запачкать своего светлого костюма.

Перепуганные женщины мигом рассеялись, точно стайка воробьев. От страха они потеряли голову и кидались в первую попавшуюся дверь.

Омар остался во дворе один. Кровь громко стучала у него в висках. Так это полиция? Сердце неистово билось — вот-вот выскочит! Он точно прирос к земле, у него даже не было сил позвать: мама! На лбу его выступил пот. Вдруг он заорал:

— Полиция! Полиция! Вот они!

В нем оставалась только одна мысль: мама, умоляю тебя, я больше не буду тебя мучить, только защити меня, защити меня!

Как он хотел, чтобы она была рядом, чтобы она защитила его своей всесильной властью матери, воздвигла вокруг него непреодолимую ограду. Он так боялся этих полицейских, так ненавидел их. Где же его мать, где небесные силы, охраняющие его дом? Он все кричал:

— Полиция, полиция!

И вдруг оцепенение прошло, и он со всех ног кинулся к соседке Лалле Зоре.

Полицейские занимали двор.

— Не бойтесь, —обратились они к жильцам, — ничего не бойтесь. Мы не сделаем вам ничего худого, мы только выполняем наш долг. Где здесь живет Хамид Сарадж?

Полицейский, говоривший раньше с Сенией, перешел теперь на арабский язык.

Ответом было молчание. Казалось, из Дар-Сбитара в одно мгновенье исчезли все его обитатели. А между тем весь дом словно насторожился.

— Итак, никто не знает?

С каждой минутой тишина становилась все более тяжкой, как перед грозой. Полиция почувствовала внезапную враждебность Дар-Сбитара. Дом как бы съежился, полный страха и отвращения. Они нарушили его сон, его покой — и Дар-Сбитар готов был показать зубы.

Тяжелые шаги полицейских по каменным плитам гулко отдавались во дворе. Эхо, казалось, увеличивало пустое пространство, отделявшее жителей дома от представителей власти.

Вдруг громко хлопнула дверь в подвале и появилась маленькая фигурка Фатимы. Полицейские всей оравой надвинулись на нее.

— Напрасно стараетесь,— сказала она им.— Моего брата здесь нет.

Двое полицейских стали по обе стороны Фатимы, но она даже бровью не повела. Остальные бросились в ее комнату.

Тогда мало-помалу женщины вернулись во двор.

Старая Айша бесстрашно заявила:

— А что он сделал, Хамид Сарадж? Он вырос у нас на глазах. Мы за ним ничего худого не знаем. Да он и мухи не обидит. Чем же он мог провиниться?

Понимали они, в чем дело, или нет? Посланцы государственной власти были невозмутимы. Их пустые глаза смотрели мимо людей.

Дом был как встревоженный улей, женщины говорили все сразу. Шум нарастал.

Полиция продолжала обыск, Фатиму увели в комнату.

В эту минуту рыдания раздались и в том темном убежище, куда забился Омар. Тут он вспомнил, что укрылся у Лаллы Зоры. Мальчик и сам не знал, почему он прибежал сюда, но был рад, что он здесь. Лалла Зора нравилась ему, она была хорошая. На ее лице было выражение кротости, какого он никогда не видел у других. И она всегда улыбалась.

Рыдания не смолкали. Это плакала больная Менуна. Она лежала здесь с тех пор, как муж отослал ее обратно к матери. Старая Лалла ухаживала за ней.

— Воздадим хвалу богу за его благодеяния, — сказала Лалла Зора, глядя на людей во дворе.

Менуна рыдала, повторяя:

— Никогда, никогда!

В ее голосе была такая безнадежность, что у Омара сжалось сердце. Казалось, что-то было бесповоротно решено, и мальчика охватило какое-то тягостное предчувствие.

Он посмотрел на лежавшую в углу Менуну. Лалла Зора, скрестив ноги, сидела возле больной и по временам обнимала взволнованную дочь, сжимала ее руки в своих.

— Ты поправишься, дорогая. Через месяц ты будешь здорова и вернешься к своим детям... Ведь доктор сказал тебе. Только будь умницей...

Она говорила с дочерью, как с ребенком.

Омару хотелось закричать, но он сдержался. Голос Менуны, полный печали, зазвучал сильнее:

— Я ведь знаю, мама, я скоро умру. Я не увижу тебя больше, я не увижу больше моих детей, никогда, никогда. — Она повторила тише: — Никогда, никогда. — И замолкла.

Но через несколько минут она запела вполголоса:

Когда уходит ночь,
Иду к вершинам гор.
Снимаю я одежды,
Как та, что встает на заре,
Чтобы славить воды ручья.
Чудесен мой край,
Я слышу дыханье
Стольких жизней вокруг,
И оливы шумят на ветру.
Я пою: О земля,
Опаленная, черная,
Мать моя, не оставь
В час, сжимающий сердце,
Одинокую дочь твою.
Услышь же мой голос,
Что звучит сквозь листву,
Заставляя реветь быков.

И вдруг Менуна заплакала. Ее мать хотела что-то сказать, но лишь покачала головой. Она посмотрела на Омара, потом огляделась кругом,

точно прося помощи. Менуна запела какую-то мрачную похоронную песнь, понятную лишь ей самой.

— Нет, дети мои,— сказала она,— вы не увидите больше свою мать.

Доброе лицо Лаллы Зоры казалось усталым, и мальчику ее печаль представилась вдруг лишь частицей какого-то огромного, всеобщего горя.

Когда первая минута ужаса прошла, женщины, вначале удерживавшие своих мужей в комнатах, осмелели и стали издеваться над полицией.

Появилась Фатима, ее подталкивал агент, который крепко держал ее за плечо. Она в отчаянии била себя по бедрам и непрерывно причитала. Ее пронзительные крики сверлили воздух, и весь Дар-Сбитар дрожал, потрясенный силой ее проклятий. Сердца и разум людей подчинялись власти этого пронзительного голоса. Во всех углах дома поднялся тревожный гул. Этот взрыв жалоб, ненависти и гнева возвещал несчастье, которое большими шагами входило в Дар-Сбитар.

Полицейские перебирали бумаги, оставленные Хамидом у сестры. Все в комнате было вверх дном.

Фатима перестала кричать, теперь она лишь негромко причитала:

— Бу, горе мне! Бу! Что станет с моим братом? Что с ним сделают? Бу, бу, о брат мой...

Ее тяжелое отчаяние никак не могло излиться в этих бесконечных, монотонных, усталых жалобах.

Наверху в своей комнате тихо бредила Менуна. Уже несколько дней все путалось в ее сознании. Она не понимала, что происходит вокруг, и все повторяла:

— Я больше не увижу вас, мои маленькие...

Снова раздалось ее нежное, раздирающее душу пение:

Летнее утро пришло
Тише тишины,
Будет дитя у меня,
О мать-земля.
Женщины в хижинах
Ждут, когда я закричу.

Она, без сомнения, и сама не понимала своих слов и все повторяла:

О мать-земля,
Женщины в хижинах
Ждут, когда я закричу.

Омар стоял в нерешительности, не зная, чем помочь. Огромный дом был полон полицейскими, повсюду раздавались их шаги, их голоса. Когда же они наконец уйдут?

И опять из темной глубины комнаты послышалось пение:

Почему, говорят, почему
Ты к чужим порогам идешь,
Как покинутая жена?
Почему ты блуждаешь одна,
Когда над холмами встает
Дыханье зари?

Тут из верхнего этажа дома тоже раздался вопль. Это кричала несчастная Аттика, припадочная. Ее резкий голос не смолкал ни на минуту, впиваясь в сердца измученных людей. Казалось, дрожит самый воздух Дар-Сбитара.

— Мы пришли с обыском, только и всего, — прохрипел маленький толстяк. — Больше нам тут ничего не надо.

Омар уже не мечтал о куске хлеба, смоченном водой из фонтана: когда на нас обрушиваются великие несчастья, этого довольно, чтобы обмануть голод. Омар не думал больше о том, что он голоден. Чувство голода притупилось, оставалась только смутная, непроходившая тошнота.

У него кружилась голова. Он все время глотал слюну, и от этого тошнота еще усиливалась. Внутри все было пусто и только поднималось воспоминание о том, что он ел вчера. Неужели при таком отвращении он все же смог бы поесть? Сможет ли он когда-нибудь отделаться от этого горького привкуса, от пепла этих долгих часов, когда у него во рту не было ни крошки?

Это я говорю, о Алжир!
Быть может, я лишь одна
Из тысяч твоих дочерей,
Но голос мой не устанет
Взывать среди гор и долин.
Я иду из Ореса,
Отворите же двери,
О жены Алжира,
Дайте мне свежей воды,
Белого хлеба и меда.

Пение не успело отзвучать, как в комнату ворвались полицейские. Они сразбегу остановились, не различая ничего в полутьме, но потом бросились вперед и стали перерывать все вещи.

Лалла Зора и ее дочь окаменели от ужаса. Полицейские стащили больную с постели так грубо и небрежно, что одежда ее сбилась выше колен, и обшарили тот угол, где она лежала.

Рыдания Менуны перешли в страстный вопль, прорезавший развороченную комнату. Этот горестный вопль, которым она точно хотела изгнать разъедавшую ее грудь болезнь, заглушил топот и крики полицейских. И внезапно вновь зазвучало ее пение:

Я пришла к вам опять
Принести счастье вам
И детям вашим.
Пусть младенцы ваши
Растут большими,
Пусть поля колосятся
И хлеб будет вкусен
И во всем у вас будет
Удача и счастье.

Сбитые с толку полицейские прервали обыск, вышли от Лаллы Зоры и снова спустились во двор.

Они запретили Фатиме входить в комнату. Окруженная своими детьми, она опустилась на землю и ждала. Полицейские перерыли все книги Хамида, забрали несколько томов, старые газеты, какие-то бумаги. Остальное разбросали по комнате и по двору.

Наконец они ушли, и Фатима смогла войти к себе.

Полиция бесчинствовала во всем квартале не ради одного Хамида Сараджа; она хватала молодых и стариков, и никто больше не видел их.

Блюстители порядка уже удалились, а в Дар-Сбитаре еще слышались гневные возгласы старого Бен-Сари:

— Я не хочу подчиняться закону! — восклицал он. — То, что они называют законом, — это лишь их закон. Он создан для того, чтобы за-

щищать их одних, чтобы дать им власть над нами, чтобы унижать и усмирять нас. Перед таким законом я всегда буду виновен. Он уже осудил меня раньше, чем я родился. Он осуждает нас без всякой нашей вины. Этот закон создан против нас, ибо он не для всех одинаков. Я не хочу ему подчиняться! Гнев отныне в наших сердцах. Не забудем о тюрьмах, где заключены наши братья. Наши слезы, наш гнев вопиют против вашего закона и скоро, скоро они восторжествуют. Я призываю всех — пора покончить с этим! Тяжелы наши слезы, и мы вправе кричать, кричать, пока не разбудим глухих ...если еще есть глухие на этой земле... если еще есть люди, которые не поняли. Вы-то поняли меня. Что же вы ответите?..

* * *

Айни вылила кипящий овощной суп с клецками в большую эмалированную миску. Больше ничего в доме не было, и хлеба не было.

— Это все? — воскликнул Омар. — Тарехта без хлеба?

При виде стоявшей на мейде миски, от которой шел острый запах красного перца, он остановился на пороге и с вызовом поглядел на мать и сестер.

— Это все? — повторил он, разочарованно и сердито.

— Хлеба больше нет, — сказала Айни. — Тот, который нам принесла Лалла, кончился еще вчера.

— Как же мы будем есть суп?

— Ложками.

Ложки погрузились в суп, и тотчас Омар опустился на пол рядом с Ауйшей и Мерием.

С почти механической размеренностью они молча хлебали обжигающий горло суп. Они вдыхали его, прежде чем проглотить. Приятная теплота разливалась по телу. До чего он хорош, этот зимний суп!

— Не спеши ты, девчонка!

Ауйша вздрогнула:

— Кто, я?

Лицо ее разгорелось от благодатной похлебки. Она уже задыхалась, но продолжала жадно глотать ложку за ложкой.

— Погляди-ка лучше на Мерием, — бросила она матери.

— Ты кажется собираешься съесть все одна, Мерием? — угрожающе сказала Айни.

— Не стесняйся, чего там, — прибавила Ауйша.

Мерием, младшая, подняла глаза. Все смотрели на нее в упор. Она опустила голову.

Кайеннский перец, которым Айни щедро приправляла похлебку, жег язык и вызывал жажду. Они все пили и пили, животы у них раздувались. Для этого Айни и готовила такую острую тарехту.

— Пейте, пейте! — говорила она детям.

Вскоре исчезли последние остатки супа. Ложки стучали уже по дну миски.

Только теперь, после острой похлебки, в них пробуждался настоящий голод.

Дети ожесточенно вырывали друг у друга миску, вылизывая последние капли супа. Но желудки оставались пусты, приходилось наполнять их водой. Рядом с Айни стояло ведро и, наклонившись над ним, они доканчивали свой обед.

— Так, так, ребятки, — приговаривала Айни.

Потом, оторвавшись от мейды, они расползлись по своим углам и один за другим улеглись на полу. Наступила тишина...

Айни сидела на овчине, вытянув ноги.

Прошло несколько минут. Точно очнувшись от забытья, она велела Ауйше убрать сейчас же мейду.

— Все я да я. Хоть бы умереть поскорей! Может, хоть там будет, наконец, покой!

И Ауйша в свою очередь велела Мериам помочь ей. Вдвоем они подняли мейду и направились к кухне, Мериам — пятясь задом, Ауйша подталкивая ее перед собой.

В этот час все жильцы дома расходились по своим комнатам. Дар-Сбитар отдыхал. Были первые дни марта, но жара стояла точно летом. Каждый у себя, люди замыкались в свои невеселые мысли. «Да, подвело нам животы», — думала Айни.

Они улеглись по углам, даже не взглянув друг на друга. До чего они тощие, настоящие скелеты! Даже смотреть противно!

В те дни, когда они знали, что уже совсем нечего есть и говорить тут не о чем, они растягивались на расстеленных овчинах, а то и просто на каменном полу и упрямо молчали. Они делали вид, будто и не замечают, что настал час обеда. Только Мериам иногда тихонько плакала...

В остальное время дня они были не так мрачны. Но когда приходил час еды, становилось ясно, что это самое главное в их жизни. Мериам и Омар прерывали тогда свои игры, и лица у них становились свирепыми.

Когда-то, когда они были совсем маленькие, Айни, чтобы успокоить их, пускалась на военную хитрость. Если в доме была хоть горсть угля она вечером ставила на огонь котелок; он вскипал. Дети терпеливо ждали еды, а мать изредка говорила:

— Теперь уже скоро!

Они глубоко вздыхали. Время шло.

— Еще минутку, и все готово!

Непобедимая усталость сковывала их, веки наливались свинцом. Их терпению приходил конец, и они засыпали. А в котелке была просто горячая вода.

Зулейка, жившая внизу, так же поступала со своими малышами; их было четверо, и они едва держались на слабеньких ножках. У них тоже часто не бывало хлеба.

— Что вам нужно от меня? — кричала тогда детям Зулейка. — О я несчастная, позорище вы мое! Откуда я возьму хлеба?

И она разбрасывала по комнате горсть бобов. Малыши кидались на пол, отыскивали закатившиеся повсюду зернышки и принимались грызть их. Они затихали, и мать получала минуту покоя.

— Вы уже позавтракали? — спросила соседка, появляясь на пороге.

—Ай, не будем говорить, дорогая Зейнаб, что мы позавтракали, — отозвалась Айни. — Скажем лучше, что мы обманывали голод. По крайней мере, старались его обмануть...

И Айни погрузилась в глубокое раздумье. Никогда прежде она так не говорила.

— Мы проводим всю свою жизнь, обманывая голод, — повторила она и тихо засмеялась.

— Да, мы только это и делаем, — согласилась соседка.

Она, конечно, хотела сказать, что и ей это не в новинку.

— А не плохо бы иметь к обеду что-нибудь посытнее,— продолжала Айни, которая как будто и не слышала слов соседки. — Мы не можем купить даже бобов или горошка, а ведь они сейчас гроши стоят.

— Кто ж их не захочет? — опять согласилась Зейнаб.

— Мой сын Хамади работает, — продолжала она. — Но, право, от этого нам не легче.

— А у нас, сестра моя, — возразила Айни, — из всей семьи только я одна работаю. Ай, чего только я не вынесла, чего только не вынесла!

Соседка Зейнаб и вообще-то была вежливая, а с Айни она держалась необыкновенно почтительно.

— Да, да, — сказала она. — Вот и я тоже...

И она уже хотела излить Айни всю свою душу. Но вдруг заколебалась и умолкла на полуслове. Она могла бы сказать многое, но, глядя на Айни с ее тремя ребятами, понимала, что они тоже могут предъявить свой длинный счет бед и горестей. Все же она заговорила:

— У нас в семье трое мужчин — мои сыновья. И три женщины — я и мои дочери. А зарабатывает только один — мой средний сын. Пусть он и здоров, и молод, но разве он может прокормить еще пятерых? Ведь и те, кто не работает, все равно хотят есть...

Вдруг Зейнаб стало как-то не по себе, выходило, будто она обвиняла своих. Она охотно бы вернула эти слова. Хоть бы кто-нибудь остановил ее! Сама она уже не в силах была остановиться.

— Прости меня, — возразила Айни (она старалась быть столь же вежливой, как Зейнаб). — Прости, но на твоем месте я бы так не говорила.

Дети лежали на полу, слушали молча, боясь шевельнуться. Только Ауйша приподнялась, посмотрела на обеих женщин и снова легла.

— Сколько ни говори, — ответила соседка, — все равно ничего не изменишь.

— Прости меня, — сказала Айни, — но я не скрываю своих мыслей. Я говорю все, что у меня на сердце. И я должна сказать тебе, что ты не права.

— Я поистине восхищаюсь тобой, — ответила соседка. — Ты такая труженица, ты должна быть гордостью всей семьи. Да, те, кто живет рядом с тобой, кто живет твоим трудом, должны тобой гордиться.

— Да, я работаю на них на всех. Вот, погляди на них. Когда их отец умер, даже старшая была еще совсем крошкой.

Айни обернулась и показала рукой на детей. Можно было подумать, что она показывает соседке величайшее чудо света. Это были ее дети, она их кормила и растила, и в глазах ее засветилась неподдельная гордость. Она выпрямилась и скромно улыбнулась.

— Да, я работаю на них, — продолжала она. — Я устаю, я надрываюсь, я убиваю себя. Но этот кусок хлеба принадлежит им. Они имеют право на него. И никто не смеет отнять его у них.

«Имеют ли они право и на те черствые корки хлеба, которые приносила им тетка Хасна? — спрашивал себя Омар и не находил ответа. — Наверно, все-таки имеют. Иначе, почему же Лалла, идя по четвергам на кладбище, заходила к ним, чтобы занести эти сухие корки?»

Зейнаб почтительно слушала.

— Вот почему я и говорю, — продолжала Айни, — что ты не совсем права. Ты и твоя семья имеете право на ваш кусок хлеба.

— Да, это так, — согласилась Зейнаб. — Просто иногда забываешь об этом.

— Но это все равно, что потерять последнюю надежду, — сказала Айни, и ее дети смутно ощутили гордость за мать.

— Да, я работаю для них, — повторила Айни. — В этом куске хлеба мои пот и кровь. Но он — наш.

— Не сомневаюсь. Я всегда говорю — ты храбрая женщина, труженица. Ты сама месишь тесто, готовишь, стираешь. Ты трудишься в поте лица ради детей. Но только, — добавила Зейнаб помолчав, — хоть мы и убиваем себя работой, а все равно никак не выберемся из нищеты.

Айни встала, перетащила овчину поближе к Зейнаб и уселась рядом с нею.

— Нам не выбраться, — продолжала Зейнаб, — у нас сил не хватает для этой игры.

— Как ты сказала? — не поняла Айни.

— Монета подвешена так высоко, что бедняку до нее не дотянуться. Сколько ни работай, сколько ни надрывайся — все равно ничего не добьешься. А уж если не работаешь... Поешь завтра — вот что тебе говорят. Вечно «завтра». А это «завтра» никогда не приходит.

— Да, правда, — согласилась Айни. Она делала явные усилия, чтобы додумать все до конца. Но это еще не удавалось ей.

— Если бы знать! — воскликнула она.

— Мой покойный муж знал, — сказала соседка, — и хотел объяснить другим. За это его и сажали в тюрьму. И не один раз.

— Только за это?

— Ну да.

— Разве человека могут бросить в тюрьму за то, что он говорит справедливые слова?

— А почему же явились к нам сегодня утром эти посланцы горя? Разве они не хотели забрать Хамида Сараджа?

— Да, это просто бич божий! —возмутилась Айни. — Будь они прокляты, будь проклят тот, кто их послал!

— Как будто Хамид — разбойник с большой дороги!

Айни молчала: что тут скажешь...

— Нет, — заявила Зейнаб, — в нынешние времена идти в тюрьму — это честь. И если этого человека бросят туда, слава тем, кто пойдет по его пути.

— Зейнаб, сестра моя!

— Клянусь, это истинная правда!

— Меня больше всего напугал тот маленький толстяк, — сказала Айни.

— Это был сам комиссар полиции. Ты заметила, какие у него глаза? Прямо зверь!

— Чего только не приходится выносить нашим мужьям, — прошептала Айни, и лицо у нее вдруг стало удивленное, как у маленькой девочки.

— Мой муж был такой же, как Хамид, — сказала Зейнаб. — О, Хамид наговорил им, верно, такого!..

Зейнаб тоже было чем гордиться, но она сидела в раздумье. Айни хотела, пользуясь этим, вернуться к прежней теме.

Но теперь они обе стали размышлять о Хамиде. Что будет с ним теперь, когда власти разыскивают его?

Сперва никто не замечал присутствия этого еще молодого человека, недавно поселившегося в Дар-Сбитаре. Он появился без всякого шума. Даже голоса его не было слышно. Его сдержанность сочли признаком превосходного воспитания. А это ведь не часто встречается. Он молчал, и никто не обращал на него внимания. Но когда стало известно, что он вернулся из Турции, взоры всех обратились на него, и все удивлялись, как это раньше не примечали такого человека.

Хамид Сарадж казался моложе своих тридцати лет. Но даже поверхностный наблюдатель мог бы за внешней наивной простоватостью угадать в нем человека много видевшего и, как говорили, много пережившего. Он был небольшого роста, коренастый, держался уверенно, но без всякой развязности. Голос у него был низкий, приятный, он говорил, немного растягивая слова.

Можно было ожидать от него быстрых жестов, свободной, легкой речи. Тем более удивляли его неторопливая походка, его угловатые движения, в которых, однако, чувствовалась сила, его сдержанная речь.

Окружающим казалось, что его жизнь полна тайн. Еще ребенком, пяти лет, он был увезен в Турцию; это было в годы первой мировой войны, когда множество людей бежало из Алжира, чтобы не отбывать воинской повинности.

Однако в пятнадцать лет Хамид неожиданно исчез из Турции и скрылся неведомо куда. Несколько лет о нем не было ни слуху ни духу. Ни его родные в Турции, ни его единственная сестра, оставшаяся в Алжире, не получали от него никаких вестей. Его семья приехала из Турции, ничего не зная о его судьбе.

В один прекрасный день он вернулся. Полиция следила за каждым его шагом.

Удивительнее всего был взгляд его светлых, зеленых глаз, которые словно пронизывали насквозь людей и вещи. Когда он говорил, его слова были точны и ясны, и казалось, что он читает их где-то очень далеко своими зоркими глазами... Его широкое лицо уже прорезывали морщины. Он рано начал лысеть, и его лоб казался непомерно высоким.

Карманы его широкого старого пальто всегда были набиты какими-то истрепанными книжками, они совсем рассыпались, однако он никогда не терял ни листочка. Это Хамид дал Омару книжку под названием «Горы и люди» *. Мальчик терпеливо осиливал страницу за страницей, он читал эту книгу целых четыре месяца.

Сначала соседки спрашивали:

—Где же Хамид выучился читать?

И заливались смехом. Фатима, сестра Хамида, отвечала:

— Он выучился сам. Не верите? Вот поглядите...

Они приближались к порогу комнаты, а самые любопытные заглядывали за занавеску, прикрывавшую вход, но, смутившись, тотчас же убегали. Хамид читал до поздней ночи при свете маленькой лампочки. Для него это было отдыхом, После восьми часов вечера возбуждение, в котором жил днем Дар-Сбитар, постепенно спадало. Тогда-то, наконец, можно было вздохнуть.

Женщины пытались вечерами следить за Хамидом. И всегда он читал. Точно испуганные птицы, они поспешно скрывались, громко шелестя платьями.

— Да, правда!

— Он все читает, мы сами видели!

Они смеялись. Теперь они уже не сомневались. Просто их удивляло, что человек читает книги. Из всех людей, которых они знали, это делал только Хамид. Неужели можно что-нибудь понять в этих толстых книгах, бесчисленные страницы которых испещрены рядами крошечных черных значков?

— Странный у тебя брат, — сказала Фатиме одна из женщин.— Он не похож на других мужчин. Почему это он такой? Может, он хочет стать ученым?

И снова взрыв хохота.

Но они стали относиться к Хамиду с небывалым почтением. Это было чувство, непонятное им самим, не только то почтение, которое они с детства привыкли питать ко всем мужчинам. Теперь им казалось, что Хамид обладает какой-то неведомой силой. И их уважение к нему росло не по дням, а по часам.

Их мужья тоже стали приветствовать его более почтительно. Ведь у нас так почитают науку, что порой этим пользуются иные лжеученые и лжепророки.

---

* Книга советского писателя М. Ильина.

Но Хамид не замечал уважения мужчин, как раньше — любопытства женщин. Надо сказать к чести этих простых людей, что с самого начала, удивленно и подчас насмешливо следя за Хамидом, они, однако, не бывали навязчивы. И уж конечно, их любопытство не было недружелюбным. Больше всего их занимало одно — почему Хамид так много читал? Вот этого они никак не могли понять.

— Да, мой муж был похож на Хамида Сараджа, — продолжала Зейнаб, не давая Айни вставить слово. Она все говорила и говорила, невольно уязвляя достоинство Айни.

— Да, он был совсем как Хамид, — повторила она. — Никогда он не знал покоя. Приходил домой, потом опять пропадал, ничего не замечая вокруг, — всегда он был такой.

Зейнаб нахмурилась. Глухой гнев разгорался в ней, но отступал, побежденный усталостью.

— Да, как и Хамид, он не знал ни сна, ни отдыха. Вся его жизнь была в собраниях, только о них он и думал. Он по целым дням, по целым неделям не приходил домой, его мы и не видели. И поговорить с ним нельзя было. Все молчит, словечка от него не услышишь. Страшно было сказать ему, что в доме нет хлеба. Ведь он и без того мучился. А то вдруг начнет говорить, и вот говорит, говорит... точно ручей течет по камням. Трудно было понять его. Что мы такое? — Бедные женщины. Разве нас чему-нибудь учили? Ничего мы не знаем. Он уходил неведомо куда и возвращался другим человеком. Какая-то мысль мучила его. А иногда глаза его сверкали торжеством. И нам было страшно. Бывало, у него вырвется: «Ну, теперь-то мы их одолели. Теперь уж они пойдут на уступки...» «Кого одолели?» — спросишь его. Но он не объяснял. Замолчит и опять все думает, думает... Я сперва боялась, что он запил, загулял — что только не приходило в голову! Право, уж лучше бы это, чем бесконечные споры невесть где, в каких-то кабачках, по углам; потом полиция стала расспрашивать о нем, и мы испугались. Но мы не смели ему перечить. Айни, сестра моя, что же можно было сказать ему? Разве он не видел, что мы помираем с голоду? Он все понимал, все. Ведь он указывал путь другим. И люди приходили к нему за советом. Но наших бед он будто не видел и не понимал. Он говорил: «Я хожу на собрания, пропадаю из дому, но это все для того, чтобы настала лучшая жизнь». Как же мешать ему? Ведь он хотел изменить жизнь бедняков, сделать их счастливыми. А как он сердился, когда я говорила, что он света белого не видит за этими своими делами! Он хотел перевернуть мир, если хватит сил... или умереть... уж не знаю... Что понимаем мы в этом, бедные женщины? Ну и замолчишь, оставишь его в покое. Но когда дети, весь день не евши, плачут от голода, можно с ума сойти. Теперь-то они уже большие, а тогда были мал-мала меньше. Что было делать? В доме ничего уже не оставалось, все было продано. Потом он уехал. Когда он умер, он не оставил ни гроша, нам в тот день даже не на что было поесть.

В голосе Зейнаб послышались торжественные ноты; заглушая ее неутихшую скорбь, они создавали в этой комнате непривычное ощущение ясного и строгого покоя.

— У моего мужа не было работы. Но он умел работать, он был сильный и не ленивый. Просто, он думал по-своему.

— Да, конечно, — подтвердила Айни, которая до сих пор слушала, не говоря ни слова. — Я и не сомневаюсь.

— Он думал по-своему. Но о нем нельзя сказать ничего дурного. Он хотел жить по-своему, но он всегда был честным и достойным человеком. Его ни в чем нельзя упрекнуть.

— Значит, это не его вина, — сказала Айни.

— Конечно, — подтвердила Зейнаб. — Кто же говорит, что он был виноват?

— А кто же виноват?

— Да, кто же виноват?

Поневоле они задавали себе этот вопрос, они не могли уйти от него — и не знали, как ответить.

Айни растянулась на полу, подложив руку под голову, и растерянно смотрела в потолок.

Соседка поднялась. Айни слегка пожала плечами:

— Поди-ка узнай, кто здесь виноват!

Зейнаб повернулась и, покачав головой, вышла из комнаты.

* * *

Со дня обыска никакое новое событие не нарушило хода жизни огромного дома. Хамид Сараджа часто вызывали в полицию, но к этому уже привыкли.

Незаметно наступила весна. Она высвободила первые хрупкие и трепетные листочки на виноградных лозах, которые, точно шапка спутанных волос, свисали над двором.

Даже сквозь древние серые стены Дар-Сбитара украдкой проскользнула терпкая истома и поселилась в сердцах людей. Правда, они не сразу признали ее. Но это была она, весна. Сначала как будто ничего и незаметно, а потом она внезапно поднимается, словно огромный, чудесный хлеб.

Но вот на смену вспыхнувшей весне пришел удушливый, раскаленный добела август.

Для Омара настали летние каникулы: три месяца можно было не ходить в школу.

Дар-Сбитар напоминал собой целый городок. Он был так велик, что невозможно было точно определить, сколько в нем жильцов. Когда город разросся, проложили широкие современного типа улицы, и новые здания заслонили собой старинные постройки, беспорядочно нагроможденные и так тесно лепившиеся друг к другу, что они словно составляли одно целое — старый город.

Дар-Сбитар, опутанный улочками, которые извивались, как лианы, был лишь частью этого старого города. Огромный, древний, он был предназначен для жильцов, придавленных нуждой. Несуразный фасад выходил на узкую улочку. За ним шла широкая, темная входная галерея; она проходила ниже уровня мостовой и, повернув под углом, для того чтобы скрыть женщин от взглядов прохожих, вела в старинный двор с водоемом посредине. На выходивших во двор стенах дома выложен был крупный орнамент из синих с белым изразцов. С одной стороны ряд колонн из серого камня поддерживал широкие галереи второго этажа.

Айни и ее дети, как и все здесь, жили в страшной тесноте. Дар-Сбитар был переполнен, как улей. Семья Айни не раз переезжала с места на место, но всякий раз оседала вот в таком же убогом доме, в такой же тесной комнатушке.

По четвергам их навещала тетка Хасна. Она приходила утром, одновременно с сестричкой Мансурией. Мансурию все называли сестричкой. Она заходила то к одним, то к другим. Ее приглашали к столу, и она ела то, что ей давали.

Бабушка же совсем осталась на попечении Айни. Три месяца, которые она должна была провести здесь, давно истекли. Но другие дочери и сын отказывались взять ее к себе. Когда пришло время забирать ее, они заявили, что неблагоразумно без конца перевозить бедную старуху с места на место. Она, мол, совсем ослабела, ей недолго осталось жить.

Пора ее пожалеть. Раз уж она у Айни,, лучше ей там и оставаться. А они о ней позаботятся, будут прибирать за нею, носить ей еду.

— Вот увидишь, она ни в чем не будет нуждаться, — говорили родные Айни. — Это все равно, как если бы она жила у нас. Она нисколько тебя не стеснит, и тебе совсем не придется на нее тратиться.

Так они говорили. Но с того дня, как бабушка окончательно поселилась у Айни, к трем голодным ртам прибавился еще один.

Иногда приходили сестры Айни. Большую часть времени они плакали, жаловались на проклятую жизнь и в конце концов уходили, ничего не сделав. Айни их жестоко отчитывала, и ее слова разрывали им сердце. Она их стыдила перед всеми женщинами. Сестры не знали, как ее унять; дрожа, они пытались ее успокоить.

— Бу! Бу! Стыд какой! Замолчи же, Айни. Соседки все слышат.

— А я для того и говорю, чтоб они слышали!

И она кричала еще громче.

Правда, это ничего не меняло, и Айни, без сомнения, понимала, что криком тут не поможешь, но надо же хоть немного отвести душу. Некоторое время после этого сестры у нее не показывались. Брат поступал еще проще: он никогда не заглядывал к ней.

Омар продолжал ходить во франко-арабскую школу; он то и дело пропускал уроки, и тогда ему доставалось от учителя указкой по ладоням, по ногам, по спине, да еще как больно!

В этот день первые лучи зари застали Омара в полусне. Ясный и чистый свет проникал в Дар-Сбитар; день едва занимался, дворы, комнаты, лестницы, галереи казались таинственным лабиринтом, полным странных звуков. В верхнем этаже хлопнула дверь, и снова стало тихо. Минута, другая... И опять тишина нарушена: кто-то резко дернул внизу входную дверь, так, что чуть не вырвал ее вместе с косяками из каменной стены. Дверь заскрипела, поддалась, распахнулась и захлопнулась с грохотом, отдавшимся в самых дальних углах дома.

Муле Али выходил первым. Он работал тормозным кондуктором на товарных поездах линии Тлемсен—Уджда. Он-то и подавал сигнал к подъему; застучали еще чьи-то одинокие шаги по каменным плитам двора; зазвучали приглушенные голоса. С этой минуты входная дверь беспрестанно открывалась и закрывалась. Немало людей выходило поутру из огромного дома. Ямина бен Снуси пошла в Сокаль-Гезель продавать два фунта шерсти, которую она напряла накануне. Ушла и ее дочь Амариа вместе с Салихой бен Неджар; они работали в ковровых мастерских. Пять или шесть парней отправились в прядильню Пепиньер.

Сон Дар-Сбитара был грубо прерван, и в жизнь людей вошел еще один скудный день. Женщинам не хотелось вставать, у них так ныли ноги!

Со всех сторон неслись возгласы, крик детей, плеск воды; завязались разговоры, посыпалась брань.

Как хорошо, если бы сон не покидал его. Омару так хотелось спать! И ему казалось, что он спит. Самые темные уголки комнаты, где всегда гнездилась ночь, тихонько вздрагивали. В застоявшемся, тяжелом и едком воздухе просыпаешься со стоном. Слишком поздно, уже нельзя беззаботно спать. День встал на часах у каждой двери.

Омар с удивлением услышал в комнате голос матери. Она тихо разговаривала с кем-то — наверно, с соседкой.

Айни говорила без умолку, и казалось, этому однообразному бормотанью не будет конца. Голос ее звучал сурово, и слова, казалось, доходили откуда-то издалека, точно из другого мира. Значение слов терялось. Они сливались в одну упрямую жалобу; может быть, это была молитва, и она неотступно преследовала Омара, не переставала его мучить даже в полудреме.

Но вот Айни замолчала, и в комнате сгустилась ничем не нарушаемая тишина. Нет, Омару больше не заснуть! Широко раскрытыми глазами он смотрел в темноту.

Веселое солнышко, заглянув со двора, растолкало полумрак. В свежем утреннем воздухе плавал запах кофе. Там, в глубине комнаты, сидела женщина. Или ему только почудилось? Омар думал, что она ушла. Может быть, это ему только снится? Айни продолжала говорить без остановки. Еще не стряхнув с себя сон, мальчик приподнялся. Он различил две неясные фигуры, тонувшие в полумраке комнаты. А на улице был уже яркий день.

Айни поправила платок на голове. Ее поседевшие волосы были ярко выкрашены хной. Перед нею сверкал поднос из желтой меди с расставленными на нем фаянсовыми чашечками. Там, где лежал Омар, в беспорядке валялись отброшенные одеяла, большое серое покрывало, овчины. Они еще хранили отпечаток лежавших на них тел.

Когда мальчик зашевелился, женщины на мгновение прервали свою беседу. Теперь они вновь заговорили, перебивая друг друга. Омар понял, что речь идет о свадьбе двоюродной сестры. Зейнаб, наклонившись к Айни, сказала ей несколько слов, и та взволновалась. Обе женщины замолчали и посмотрели в сторону Омара. Мальчик ничего не понимал.

Вдруг Айни воскликнула:

— Я не успокоюсь, пока всего не узнаю.

— Я тебе все расскажу.

В Омаре росла уверенность, что они говорят о его двоюродной сестре.

— Они думают, — говорила Зейнаб, — что никто ничего не видел. А ее видели. Мурад хотел ее убить, но только ранил. Дрянь! Такая дрянь!

И, отвернувшись, Зейнаб плюнула.

— Так это правда? — спросила Айни. — Я тоже слышала, но не хотела верить. Женщине даны глаза, чтобы смотреть лишь на одного мужчину. На своего мужа. А между девушкой и всем остальным миром должна быть стена.

Айни была искренне огорчена. Еще бы, после всего, что ей рассказали!.. Но не следует показывать этого соседке, подумала она. Омар продолжал смотреть на сидящих женщин. Он невольно наблюдал за ними. Он догадывался, что его двоюродная сестра тяжко заболела — может быть, телом, а может быть, и душой, и ей надо исцелиться во что бы то ни стало.

Он поднялся и направился к выходу. Мать тотчас же окликнула его:

— Куда ты?

— В уборную.

Айни снова начала что-то с жаром шептать соседке, вдове, жившей в смежной комнате.

Омар спустился во двор.

Чтобы попасть в уборную, надо было пройти через общую кухню. Едва Омар успел закрыть дверь, как за нею сейчас же встала, дожидаясь его, какая-то женщина. Никогда человека не оставят в покое! Одна дыра на всех! Просто поразительно! Омар погрузился в раздумье, стараясь забыть о женщине, караулившей у двери. Выходя, он столкнулся с нею.

— Полдня пройдет, пока тебя тут дождешься, — сердито бросила она.

— Не любишь ждать, так иди на улицу.

— Омар, Омар! — укоризненно воскликнула Ауйша, заходя в кухню.

— Поганый щенок! — пробормотала женщина и, находу задирая юбки, устремилась в уборную.

— Даже не видя тебя, можно догадаться, что ты там, — прибавила сестра Омара.

В воздухе стоял звон тарелок: в Дар-Сбитаре мыли посуду. Хедуиж была занята уборкой дома: она выплескивала полные ведра воды во двор и на стены, потом со слепой яростью принималась скрести веником.

Омар шел по галерее, направляясь к себе, и вдруг ему показалось, что кто-то сзади делает ему знаки. Он обернулся и увидел Зор. Она стояла в глубине своей комнаты, поглаживая голые руки. Она была дочерью Зейнаб, той маленькой женщины, которая только что беседовала с Айни. Девушка казалась смущенной и взволнованной. Омар решил идти своей дорогой; не выйдет же она на галерею? Зор хотела что-то сказать, но он уже направился к своей комнате. Все-таки он обернулся и посмотрел на девушку.

— Омар, — нежно проворковала она. — Ну поди сюда, пожалуйста.

Она трижды позвала его, и только тогда он послушался. Она подошла к мальчику. Он почувствовал, как ее теплое тело прижалось к нему. И вдруг она сильно ударила его коленом. Омар вскрикнул и с плачем повалился на пол.

Зор склонилась над ним и рукой зажала ему рот. Омар затих, иначе он задохнулся бы; он лежал неподвижно. Рука девушки легко заскользила вдоль его тела. По шороху одежды он понял, что она легла рядом с ним. Зор сдерживала дыхание, казалось, она спит. От нее исходил теплый, сладковатый запах зрелого, нетронутого плода. По ее телу внезапно прошла дрожь. Она снова и снова ласкала мальчика, но ей не удавалось вывести его из оцепенения. Тогда она приподнялась на локте и, склонившись над Омаром, увидела, что он пристально смотрит на нее. Мальчик чувствовал, что какая-то таинственная связь возникает между ним и этой девушкой. Сладостная волна поднялась в нем, затем уступила место растерянности. И вдруг им овладело странное чувство — какое-то особое спокойствие, прежде неведомое, и однако оно показалось Омару знакомым. То было странное ощущение, ибо оно тотчас сменилось беспокойством и тоской.

* * *

— Нет, нет! Не плачь, прошу тебя! Я не хотела тебя обидеть. Братик мой маленький...

Она снова прижалась к нему. Голос ее зазвучал глухо и хрипло. Зор начала ласкать его, как ласкают совсем маленьких детей. Ее слова успокаивали его, хотя он и не понимал их смысла.

— Ну, не плачь, не надо, я не нарочно... Братик мой...

Она убаюкивала его, казалось, она думала совсем о другом, мысли ее унеслись далеко-далеко. Глухая боль поднималась в ней. Отчего она стала такая печальная?

— Дай я тебя обниму, Омар. Ну перестань плакать, не надо сердиться.

Она придвинулась к нему, и ее грудь тесно прижалась к его плечу. Запах ее тела нравился ему, хотя и вызывал легкую тошноту. У него замирало сердце и щекотало в горле. Но больше всего ему нравилось просовывать руку в разрез рукава Зор и трогать черный пушок у нее подмышкой. Зор смеялась и отводила его руку. Но когда Омар тоже обнял ее, она растерялась и нахмурилась. Медленно, но решительно она оттолкнула его и поднялась.

— Встань, братик. Мне нужно поскорее все отсюда убрать. Уже полдня прошло.

Постель, поперек которой лежал Омар, занимала середину комнаты. Он поднялся и хотел было уйти, но она удержала его.

— Я иду в Бни-Бублен, — сказала она. — Мой зять Кара Али зайдет за мной. Он уже сговорился с моей мамой. У сестры сейчас много работы, и я должна помочь ей. Если хочешь, я возьму тебя с собой... Как в прошлый раз... Спросись у матери, может, она тебя отпустит.

— Сколько дней ты пробудешь в Бни-Бублене?

— Дня четыре... — ответила Зор.

* * *

Омар часто оставался наедине с Зор, и каждый раз его охватывал целый мир неизведанных чувств, наполнявших его тревогой. Он никому ничего не говорил. Чувство, овладевшее им, было такой редкостью в Дар-Сбитаре! И мальчик глубоко затаил его. Влечение Омара к Зор распускалось, словно цветок на дикой скале.

Внизу, на кухне, заскрипел блок, к которому было привязано ведро, и оно скользнуло в колодец; резкий удар, затем бульканье воды, и ведро подняли. Неясный шум наполнял весь дом. В этот день Айни пила кофе. Омару она дала кусок хлеба. Когда у матери водились деньги, она покупала кофе, но только для себя.

Ауйша и Мерием с увлечением болтали внизу с другими девушками. Айни их позвала раз, другой, третий, они откликнулись не сразу, но голос матери звучал все громче и громче, резкий, угрожающий, и, наконец, Ауйша и Мерием бросились наверх и поспешно принялись за работу.

Мужчины уходили рано, их редко можно было увидеть в Дар-Сбитаре. Дома оставались одни женщины — во дворе, под навесом из вьющегося винограда, их было полным-полно. Они сновали взад и вперед, толпились у входа. Они собирались вокруг колодца в огромной кухне, словно предназначенной для великанов, и без умолку болтали. По ночам в комнатах укрывалось несметное множество детишек; утром все они беспорядочно высыпали наружу, и весь дом кишел ими снизу доверху. Один за другим вылезали чумазые малыши. Те, кто еще не научился ходить, ползали, выпятив голые зады. Все они плакали и кричали. Ни их матери, ни другие женщины не обращали на них никакого внимания. Детишки ревели от голода или обиды, подчас перекрывая все другие голоса и шумы Дар-Сбитара, а иногда над всем взвивался чей-нибудь отчаянный вопль.

Все эти дети принадлежали улице.

* * *

Омар влетел в комнату как раз в ту минуту, когда Айни, прижав локти к туловищу, встала, чтобы приветствовать тетку Хасну. Женщины обнялись. Пробормотав обычные приветствия и пожелания здоровья, Айни на мгновение умолкла, не выпуская Хасну из объятий, и снова принялась шумно целовать ее. Затем она начала перебирать четки расспросов: «Как ты поживаешь? Как поживает такой-то? Как поживает такая-то? Как поживает...» И тут же получала неизменный ответ: «Очень хорошо, да хранит тебя бог».

Тетка Хасна никак не могла отдышаться после высокой лестницы, поэтому она и не пыталась, в свою очередь, приветствовать Айни. Тетка Хасна была неимоверно тучна. Под остроконечным головным убором, поверх которого были накинуты зеленые шелковые платки и розовая шаль, ее тяжелое мясистое лицо блестело, все покрытое каплями пота. Струйки пота стекали по морщинистой шее. Хасна горестно моргала, крупные слезы скатывались по ее разъеденным векам. Айни в первую же минуту кинулась ей навстречу и теперь суетилась вокруг нее. Лалла —

все, включая Айни, называли ее так — только пыхтела: видно, Айни все-таки встретила ее не столь почтительно, как бы следовало.

— Заходи. Да заходи же, садись.

Айни окинула взглядом комнату и взяла еще две овчины из груды, лежавшей в углу.

— Давай сюда, — потребовала Лалла. — Я не собираюсь засиживаться у тебя. Я с трудом взобралась. Ох! У меня нет сил добираться к тебе, сестра моя. Хватит, хватит. Мне здесь хорошо у двери. И как это вы тут живете?.. Уф! Уф!

И уже усаживаясь на полу, она добавила:

— Значит, ты решила больше не ходить на кладбище?

— Что я там стану делать, Лалла? У меня столько работы дома. Тот, кто лежит там в могиле, не оставил мне ни земли, ни домов, что уж оплакивать! Видно, такая его судьба.

— Ты права. Лучше тебе сидеть дома. Женщины там сходятся лишь затем, чтобы языки чесать. Незачем терять время с этими болтуньями. У тебя дети, заботься о них. А что муж твой умер, так это для него великое счастье. Ну, пойдешь ты, поглядишь на его могилу — что от этого изменится? Знаешь, что они там говорят? Я только спрашиваю себя, откуда они все это знают, дочери сатаны?! Они говорят: скоро многих мужчин арестуют.

— Ай-ай!

Завернувшись в необъятный хаик из белой шерсти, Лалла развалилась на овчине; от шнурка, служившего ей поясом, она отвязала платок и вытерла лицо, потом начала обмахиваться. Она была не в силах говорить.

Наконец, отдышавшись, она несколько раз повторила:

— Нет бога, кроме Аллаха!

От ее потного тела исходил сладковатый запах, он наполнял всю комнату; так пахнет в бане. Из складок своего покрывала тетка Хасна извлекла какой-то сверток и протянула его Айни.

— Говорят, во многих городах уже засадили по нескольку человек,— продолжала она. — Они занимались политикой и только сеяли смуту. А вот теперь их засадили, и туда им дорога, всем станет спокойнее.

— Ну что ты, Лалла!

— Подумать только, они бросают вызов французам! А есть у них оружие? Или, может, они ученые? Какое там! У них ничего нет за душой, одно безрассудство да нищета. Сидели бы лучше смирно. Разве они в силах бороться с французами?

— Мы ведь ничего не знаем.

— Ну, я-то знаю! Они просто глупы. Они одного добиваются — занять место французов. Да где им, разве они сумеют сами управлять?

И тетка Хасна презрительно зафыркала.

— А знаешь, — сказала Айни, — третьего дня полиция опять приходила за Хамидом.

— Он занимается политикой! — громовым голосом произнесла тетка Хасна, и при этом ее мясистое лицо затряслось.

— Чем терять попусту время, проповедуя всякий вздор, который доведет его до тюрьмы, — проворчала она, — лучше нашел бы себе работу, женился бы, обзавелся семьей... Что, не правду я говорю?

— Если б ты видела, Лалла, как полиция в первый раз нагрянула к нам... Теперь-то мы уже привыкаем.

— Зачем же, сестра моя, он причиняет зло и себе, и другим? У меня это просто в голове не укладывается. Такому человеку тюрьмы не миновать.

— Что ты говоришь, Лалла? Бу! Бу! Горе нам! Что будет тогда с его несчастной сестрой?

— Где девочки? — спросила Лалла, чтобы переменить разговор.

— Внизу.

— Лучше бы они помогали тебе, чем болтать там с безмозглыми девчонками.

— Омар мне немного помогает, а они заняты стиркой.

Омар и в самом деле сидел за швейной машинкой, скрестив ноги, как заправский портной. С ножницами в руках он заканчивал заготовки эспадрилий *, которые прострочила мать.

— А этот все отвиливает от учения? Он тебе и десяти су не наработает, дело известное. Разве это мужчина? Тьфу! Любая девчонка лучше его. Сидит сиднем дома. Бедная моя Айни! Ты — жертва своих бессердечных детей, они пьют твою кровь. С ними ты ничего не добьешься!

— Я хожу в школу, — вмешался Омар, который слушал тетку без малейшей почтительности. — И я учусь разным наукам. Я хочу быть образованным. Когда я вырасту, я буду зарабатывать много денег.

— Выбрось-ка все это из головы! — с досадой воскликнула Лалла.— Чтобы как-нибудь прожить, ты будешь работать, как верблюд. Потвоему, те, кто сроду не ходил в школу, умирают с голоду? Образование не для тебя, червяк несчастный. Чего захотел — образования! Да что ты о себе воображаешь? Этакая тля, а тоже вздумала взобраться повыше! Нет, уж ты молчи, семя пьяницы. Ты прах, вот что ты такое, грязь на подошвах порядочных людей. Да разве твой отец ходил в школу? А твой дед и все твои предки? И все родные, и все, кого мы знаем? Ты должен стать мужчиной, не то тебя раздавят. Люди жестоки, и ты умей все снести, и умей ответить ударом на удар. На счастье не надейся. Кто ты такой, а? Кто ты такой, чтоб надеяться на счастье? Не рассчитывай на спокойную жизнь, нет, не рассчитывай!

Казалось, мутный голубоватый студень вздрагивает в глубине ее глазниц. Резко очерченная челюсть и горькая складка у рта придавали ее лицу свирепое выражение.

— Слушай, что тебе говорят, — заметила мать, с почтением поглядывая на тетку Хасну.

---

* Эспадрильи — матерчатая обувь с подошвой из плетеной пеньки или дрока.

(Окончание следует)

Пабло Неруда

Ода радости

Перевод с испанского О. Савича

Радость —
зеленый листок,
залетевший в окно,
крошечный,
вот-вот родившийся
свет,
слона трубный зов,
самородок сияющий,
порою —
мгновенная вспышка,
но
вернее —
насущный наш хлеб,
свершенье надежд,
исполнение долга.
Радость, тебя презирал я.
Мне давали дурные советы.
Луна
уводила меня по дорогам своим.
Поэты прошедших времен
очки мне давали взаймы:
темным нимбом
я каждый предмет
оттенял,
черным венцом окружал я цветы,
и печален был мой поцелуй
на любимых губах.
Хотя еще рано,
позволь мне покаяться.
Я думал, что только
когда мое сердце
сжигала
горячая боль,
когда я стоял под дождем
в свинцовой долине скорбей,
когда не смотрел я
на розу
и раны касался рукой,
когда разделял я все горести,—
людям
я помогал.
Это было неверно.
Я сбился с дороги
и сегодня зову тебя, радость.

Как земля,
ты нужна.

Как огонь,
ты поддерживаешь очаги.

Как хлеб,
ты чиста.

Как речная вода,
ты звучна.

Как пчела,
опыляешь, летя.

Радость,
был юношей я молчалив
и считал, что вихры
неприличны твои.

Но узнал я, что это неправда,
когда в мою грудь
ворвался твой поток.
Радость, сегодня
тебя я встречаю на улице
далеко от всех книг, —
спутником будь мне!

С тобой
я хочу из квартиры в квартиру
ходить,

из селенья в селенье,
от знамени к знамени.
Не для меня одного ты на свете.
Мы придем к островам,
к океанам.
Мы на шахты придем
и в леса.
Лесоруб-одиночка,
и бедная прачка,
и взъерошенно-царственный
каменотес
не одни только примут меня,
если я им отдам твои гроздья,—
нас примут союзы рабочих,
союзы труда
и борьбы.

С тобой по свету!
С песней моею!
С летящей
звездою,
с ликующей
пеной морской!

Я всех наделю,
потому что обязан
я радостью — всем.

Так пусть не дивится никто,
что людям хочу я вручить
земные блага:
в борьбе я узнал,
что мой долг на земле —
агитатором радости быть.
И свой долг выполняю я песней.

Чжао Шу-ли

В деревне Саньливань

(РОМАН)*

Перевод с китайского В. Смирнова и А. Тишкова

Искусные недомолвки Мань-си, естественно, повлекли за собой расспросы, и тогда Мань-си, воспользовавшись случаем, подробно пересказал грязные намеки «Опасно тронуть» насчет «отца» и «матери» Лин-лик. Не успел он договорить, как среди женщин, жен воинов Народно-освободительной армии, — а их здесь собралось немало — поднялся ропот. — Отложить разбирательство сегодняшнего дела!..—раздались возгласы, обращенные к членам комиссии.—Надо сперва выяснить второе дело!.. Какие у нее доказательства?.. Если нет доказательств, то это ей даром не пройдет! Зачем наговаривать на человека!..

— Что было, то было, не стоит об этом поминать, — пытается успокоить женщин Дэн-гао, — вернемся к сегодняшнему делу!

Однако женщины не унимаются и упорно твердят, что этого нельзя так оставить и что Цзюй-ин не должна допускать, чтобы на нее пала хоть тень подозрения.

— Пусть говорит что ей угодно! — обращается к женщинам Цзюй-ин, которой не хочется, чтобы разбирательство ушло в сторону от вопроса о сегодняшнем обеде. — Кто же ей поверит!

— Я, жена военнослужащего и председатель женского комитета,— говорит Сяо-фын, — буду говорить от имени тех, чьи мужья служат в армии, и от имени членов женского комитета. Я также считаю, что тот, кто так говорит о жене воина народной армии, должен отвечать за свои слова, но раз Цзюй-ин не придает этому особого значения — на том и конец, а если это повторится, тогда мы уже будем добиваться того, чтобы она дала ответ перед судом.

— Довольно! Все ясно — дело прошлое, — говорит Дэн-гао. — А теперь, Мань-си, расскажи о том, что было сегодня.

— Ну нет! — отвечает Мань-си. — Она еще скажет, что я это все в отместку ей придумываю. Пусть сперва говорит Ю-и — он им свой человек.

— И то верно, — соглашается Дэн-гао. — Говори, Ю-и.

Не успел Ю-и и рта раскрыть, как «Всегда права» опережает его:

—Видел — говори: видел, не видел — говори: не видел! И не говори о том, чего не видел!

Ю-и смотрит сперва на мать, потом на Фань Дэн-гао и говорит:

— Я ничего не видел!

— Да как же, — возражает Мань-си, — ведь мы же проходили мимо и как раз встретились с ней — она выходила с котлом из дому! Как же ты не видел?

— Я не обратил внимания, — запинаясь, говорит Ю-и.

---

* Окончание. См. начало в номерах 3 и 4.

— Пусть так, — продолжает Мань-си, — положим, ты не видел. Ну, а сколько чашек лапши ты съел за обедом?

— Две.

— Была во второй лапша или нет?

Ю-и снова глядит на мать и запинаясь говорит:

— Было немного...

— Да ты отвечай толком! С лян * было?

Ю-и третий раз бросает взгляд в сторону матери, но тут Мань-си стал наседать на него:

— Ну, ну, не виляй, говори правду, как и полагается члену союза! Было с лян лапши или не было?

Ю-и стало совестно отпираться, и он сразу выкладывает начистоту:

— Не было!

Все присутствующие разразились громким смехом.

— А не так, что ли? — продолжает Ю-и. — Ну, не то чтобы так уж ни одной лапшинки не было — там и сям в отваре что-то попадалось, но на чашку самое большее — десять лапшинок. Не то что с лян, а, если не брать греха на душу, — и на грош лапши не было!

Все опять рассмеялись, а «Всегда права», с перекошенным от ярости лицом, тыча пальцем в Ю-и, завизжала:

— Ты, что ли, свиненок этакий, отвешивал мне лапшу?

— Так вот, значит, факт установлен, — говорит Дэн-гао. — Теперь сделаем перерыв, а мы тем временем подумаем, как все это уладить. Обе стороны также прошу обдумать, какие у них будут пожелания и претензии.

После этого весь состав комиссии удаляется на совещание. Мань-си останавливает Дэн-гао и спрашивает:

— В свидетелях есть еще надобность?

— Нет, ступайте по своим делам, — отвечает тот и спешит за остальными членами комиссии в боковую комнату, служащую канцелярией.

Чувствуя, что дело складывается не в ее пользу, «Всегда права» дергает «Опасно тронуть» за рукав, и они вместе покидают дом с флагштоками.

«Бестолочь» остается сидеть и молча ждет, покуривая трубку.

Группа женщин — жен военнослужащих, окружив Цзюй-ин, наперебой давали ей советы, что делать дальше. Мнение большинства склонялось к тому, чтобы она отделилась.

Время полуденного отдыха кончилось, пора было возвращаться в поле. Многие покинули комнату, не ушли лишь жены военнослужащих, хотевшие дождаться решения комиссии, несмотря на то, что их ждала работа.

А между тем в доме с флагштоками разгорелись страсти. Фань Дэн-гао склонен рассматривать все дело как нелепую случайность и считает, что нужно уговорить свекровь и невестку жить в мире и согласии. Больше скандалов не будет, говорит Дэн-гао, и все в порядке. Цинь Сяо-фын с ним не согласна.

— В этой семье, — говорит она, — отсталое берет верх над передовым, и если Цзюй-ин попрежнему останется у них на положении рабыни, то, я уверена, такие скандалы будут повторяться так же часто, как и сейчас. Нельзя допустить, чтобы молодая женщина, которая вполне может жить независимо, терпела надругательства со стороны отсталых людей.

---

* Лян — около 50 *г*.

— Как раз потому, — возражает ей Фань Дэн-гао, — что в их семье много отсталых, и надо, чтобы передовые вели среди них работу.

Эти слова Фань Дэн-гао не следует принимать за чистую монету. В действительности он, конечно, понимает, что Цзюй-ин не справится с этой ролью в семье Ма. Но понимает он и другое — если Цзюй-ин отделится, она непременно вступит в кооператив, а тогда, чего доброго, по ее примеру вступит в кооператив и «Бестолочь». Поэтому Фань Дэн-гао и ищет всевозможные предлоги для того, чтобы сохранить существующее положение вещей.

— Если мы хотим, чтобы Цзюй-ин вела какую-нибудь работу в этой семье, то и в этом случае самое лучшее для нее — отделиться, — настаивает Сяо-фын. — Раздел дает ей прежде всего самостоятельность в личной жизни, и тогда все ее отношения со свекровью будут строиться по принципу «прислушивайся, что говорят другие, но и своей головы не теряй». Если же ей продолжать жить с ними под одной крышей, то всякий раз, как она попытается проявить свою самостоятельность, она будет навлекать на себя неудовольствие свекрови.

Всем членам комиссии слова Сяо-фын показались убедительными, и видя, что один его довод опровергнут, Фань Дэн-гао прибегает к другому:

— А не будут ли нас ругать за то, что комиссия не только не смогла добром уладить дело, но и решила разделить семью?

— Ты что же, не слышал, как только что в разговоре с Цзюй-ин женщины на все лады твердили «раздел», «раздел»? — возражает ему Сяо-фын. — В том-то и дело, что большинство людей уже поняло, что не жить больше Цзюй-ин вместе со свекровью, и если не помочь ей отделиться — вот тогда-то народ и будет несогласен с нами!

— Если мы разобьем семью, — говорит Дэн-гао, еще раз выставляя уже отвергнутый довод, — то мы, партийные работники, должны будем выбросить из головы и мысль о том, чтобы подтянуть эту семью до уровня передовых!

— Если мы хотим сделать их передовыми, — возражает ему Чжан Юн-цин, — то должны прежде всего дать понять, что спуску самодурам не будет. А потакать людям с отсталыми взглядами — значит еще больше портить дело.

— Да неужели нет никакого другого выхода, кроме раздела? — упорствует Фань Дэн-гао.

— Есть! — отвечает Сяо-фын. — Пусть свекровь со старшей невесткой извинятся перед Цзюй-ин, признают свою вину и дадут обещание впредь обращаться с ней, как она того заслуживает, и пусть они сами попросят ее вернуться в их дом — это был бы самый лучший выход. Но вот как по-вашему, — это возможно?

Один из членов комиссии сказал, что такого не бывает и раз в тысячу лет, остальные поддержали его.

— Невозможно! — продолжает Сяо-фын. — Никто не может стать другим человеком за одно утро. Так вот, если мы их не разделим, то ведь Цзюй-ин сию же минуту должна будет вернуться к ним, не так ли? И вот представьте себе: Цзюй-ин осталась в семье, она возвращается сегодня вечером домой — и с какими глазами она сядет ужинать?! Свекровь рвет и мечет, старшая невестка по любому поводу пускает шпильку — и что же, Цзюй-ин должна держать себя тише воды, ниже травы? Или опять сцепиться с ними?

— Ну так что ж, — говорит Фань Дэн-гао, — пусть не слушает — только и всего! Конечно, после того как пошумят, несколько дней и смотреть друг на друга не захотят, а потом глядишь — и ничего!

— Неужели мы должны позволить издеваться над Цзюй-ин? — спрашивает Сяо-фын.

— Но ведь с разделом тоже за один день не управиться, — не сдается Дэн-гао, — ужинать-то все равно они вместе будут!

— Э, нет! — возражает Сяо-фын. — Если раздел, так Цзюй-ин к ним уж больше не вернется, пусть поживет пока где-нибудь на стороне. И пусть-ка они дают ей муки и риса до тех пор, пока раздел не будет закончен и она не переселится. Я полностью согласна с дядюшкой Юнцином — спуску самодурам не давать.

С мнением Сяо-фын все соглашаются, и Дэн-гао больше не настаивает на своем. Совещание на этом заканчивается, а заседание комиссии возобновляется, однако уже без второй стороны: «Всегда права» и «Опасно тронуть» ушли домой, и хотя за ними посылали человека, привести их не удалось. «Бестолочь» остался их представителем.

Фань Дэн-гао спрашивает Цзюй-ин, чего она хочет, та отвечает, что хочет раздела. Жены военнослужащих требуют, чтобы свекровь и старшая невестка были отданы под суд за клевету и надругательство. Фань Дэн-гао всеми правдами и неправдами старается выгородить их, соглашаясь на раздел, но возражая против преследования в судебном порядке. «Бестолочь» никак не ожидал, что встанет вопрос о разделе; увидев, что дело приняло именно такой оборот, он перепугался и растерянно спрашивает Дэн-гао:

— Неужели ничего другого нельзя придумать?

— Можно! — говорит одна из женщин, не дожидаясь, пока Дэн-гао ответит. — Пусть они обе придут сюда и во всем чистосердечно сознаются, пообещают исправиться и сами попросят Цзюй-ин вернуться домой.

«Ну и ну! — пронеслось у старика в голове. — Да раздел, пожалуй, сущие пустяки перед этакой-то напастью!»

— Каждый из братьев обзаводится своей семьей, — успокаивает его Дэн-гао, — так что рано или поздно, но раздела не миновать. Ведь жить порознь куда лучше, чем злобиться друг на друга, сбившись в кучу, не так ли? Одной обузой меньше — и ты себе крови портить не будешь.

Уговаривают старика и остальные члены комиссии, а люди постарше и прямо намекнули, что его жена не из тех, с кем можно иметь дело, и нельзя поручиться, что она не выкинет штуки еще похлеще этой.

Мысль о возможности новых скандалов и впрямь повергла старика в отчаяние. Не то чтобы он так уж и испугался жены, однако в вопросе отношений с невесткой она действительно может не посчитаться с ним. Если же, чего доброго, дело дойдет до смертоубийства, то тут уже и ему не сдобровать. Но как согласиться на раздел, если придется отдать часть земли?

— Если и делиться, — говорит он, наконец, припертый к стене, — то я могу отделить лишь невестку, а дитя родное отделять не могу, пока его нет дома.

— Дядюшка! — обращается к нему Сяо-фын. — Как же понимать такие слова? Хватит ли у тебя сердца написать сыну, что ты его разделил с женой? Да ведь тогда и Ю-си, чего доброго, подумает, будто Цзюй-ин сама не прочь сбежать из дому! А на деле свекровь и невестка виноваты перед ней!

И опять вся комиссия принялась усовещевать «Бестолочь», так что ему волей-неволей пришлось сдаться.

Разбор дела затянулся до вечера. Наконец приняли решение: в течение трех дней, начиная с завтрашнего 3 сентября, произвести полный раздел: часть уже собранного урожая выделить Цзюй-ин, урожай с еще не сжатых полос убирать каждой семье по отдельности; с самого

начала выдать Цзюй-ин ее долю риса и муки, чтобы она могла готовить себе у бабки с заднего двора, где она и остановится на время, а потом, когда раздел будет окончен, поселится на новом месте.

19. ДВА СОБРАНИЯ

Уязвленные своим провалом, с лицами кислее лимона возвратились домой свекровь и старшая невестка.

— Ну и удружил же нам твой сыночек показаниями!..— только и нашла что сказать «Опасно тронуть».

Вскоре домой явился и сам Ю-и — его прислали за мешками, и мать, задыхаясь от злобы, тотчас зовет его на расправу. С полчаса она ругает его на чем свет стоит, но, видимо, еще только входит во вкус, и по всему видно, что ее хватит надолго — часа на два, на три.

— На току дожидаются мешков! — улучив момент, перебивает ее Ю-и.

— Никуда ты не пойдешь! — заявляет старуха. — Не нужно мне вашего зерна с тока! А ты мне лучше скажи, в кого ты такой уродился? Мать, кажется, поила-кормила тебя по-человечески! Или ты помои жрал, как свинья? И что тебе союз — отец или мать, что ли?..

Так и не дождавшись Ю-и, Ю-юй сам пришел с тока за мешками. Он попытался было узнать у матери, какое решение вынесла комиссия, но старухе, уже разошедшейся вовсю, было недосуг отвечать на его вопросы, и, так как его ждали на току, ему оставалось лишь взять мешки и уйти, не вдаваясь в дальнейшие разговоры и не мешая матери отводить душу. Ю-и освободился лишь после того, как старуха, выбившись из сил, упала на кровать, колотя себя кулаками в грудь. Ю-и вышел из дому и также отправился на ток, где надо было собирать мякину.

«Опасно тронуть», как пришла, завалилась спать в своей комнате и встала готовить ужин лишь после того, как вернулся Ю-юй, нагруженный зерном, и выругал ее хорошенько.

Уже стемнело, когда домой вернулся «Бестолочь», скрепя сердце давший согласие на раздел и оттого мрачный, как туча. Он тотчас позвал к себе Ю-юя и сообщил ему о решении комиссии.

— Десяти му нет как нет! — с сожалением качает головой Ю-юй.

— Вот то-то и оно, — отвечает «Бестолочь», беспомощно разводя руками. — Умницы вы у меня! — продолжает он, обращаясь к жене, — на обеде экономили, а десять му кошке под хвост выбросили!

На это «Всегда права» действительно не знает, что ответить, и лишь за ужином опять ругательски ругает Ю-и, а заодно и Мань-си.

Как раз, когда она опять разошлась вовсю, к Ю-и приходят из союза молодежи звать его на собрание.

— Не пущу! — кричит «Всегда права». — Не связывался бы ты с ними, не подвел бы меня, как сегодня!

— Пусти его, — говорит Ю-юй, опасаясь, что мать, чего доброго, задохнется от злобы. — Пора уж тебе успокоиться.

— Пусть идет, — вмешивается в разговор «Бестолочь». — Этак, что ж, мы перед всей деревней кругом виноваты будем?

Старуха, понимая, что переусердствовала, не смеет больше настаивать, и Ю-и, пользуясь передышкой, спешит скрыться с глаз долой.

Ю-и идет к дому с флагштоками, где должно происходить совместное собрание членов партии и союза молодежи. Он входит в северную комнату, где набралось уже довольно много народу.

Все собрались у большой акварельной картины, прислоненной к стене. Около нее стоит и сам художник, товарищ Лян. Картину многие хвалят.

— Да это же Саньливань! — восклицает Ю-и, пробираясь к картине.— Огороды Лао-у, Песчаный овраг,— взглянув на нее вблизи, перечисляет он. — Тридцать му, Рукоятка ножа, Загривок дракона... как настоящие!

— Стать чуть поодаль, — замечает кто-то, — и чудится, словно вот-вот войдешь в нее!

— Похвалили и хватит, — говорит Лян, — а что вам не нравится в картине?

Однако замечаний ни с чьей стороны нет.

— Товарищ Лян! — обращается к нему Юй-шэн. — А вы сможете нарисовать то, чего сейчас еще нет?

— Где нет — в Саньливани или вообще на земле?

— Ну, скажем, в Саньливань провели оросительный канал, — объясняет Юй-шэн. — Когда земли к северу и к югу от Песчаного оврага будут орошены, урожаи станут выше, чем теперь. Вот такую Саньливань сможете нарисовать?

— Конечно, смогу! Вы это здорово придумали! Так сказать, усовершенствованная Саньливань или Саньливань завтрашнего дня!

— Товарищ Лян, — говорит Цзинь-шэн, — мы должны убедить народ вступить в кооператив и провести канал. Вы могли бы здорово помочь нам, если бы согласились нарисовать картину, о которой говорил сейчас Юй-шэн.

— Могу! — отвечает Лян.

— И ещу одну картину можно было бы нарисовать, — говорит подумав Цзинь-шэн. — Со временем мы обзаведемся тракторами — вот вид-то будет!

— Что верно, то верно! Где трактор, там и грузовик!

— И шоссе, конечно!

— И лес на Западной горе подрастет!

— Да и дома непременно другие станут! — поддерживает Цзинь-шэна сразу несколько человек.

— Я как-то тоже говорил о зданиях-дворцах с электричеством и телефоном, — останавливает их Чжан Юн-цин, — да секретарь уездного комитета сказал мне, что сейчас еще не время для такой агитации. А вы и не заметили, как договорились до того же!

— Ну, секретарь уездного комитета не говорил, что всего этого не будет, — возражает Цзинь-шэн. — Он только говорил, что не надо слишком легко обещать такие вещи, а то некоторые слишком горячие люди сегодня вступят в кооператив, а завтра потребуют с тебя и электричество, и телефон. А вот если мы расскажем людям о таких вещах и подчеркнем, что все это может прийти только в результате упорного труда, — вот это будет правильно.

Но вот Цзинь-шэн приглашает всех присутствующих занять места и объявляет собрание открытым. Он сообщает о решении расширить кооператив и прорыть канал, принятом на вчерашнем вечернем совещании партийных работников кооператива.

— ...Самое важное, — говорит он, — выиграть время. Согласно нашему плану, проведение канала должно быть осуществлено на паях, силами и средствами как членов кооператива, так и крестьян, не входящих в него. При этом кооператив выступает как одно лицо, вне кооператива пайщиком является каждый двор. Поэтому перед началом работ следует прежде всего позаботиться о расширении кооператива. Пока окончательно не выяснится, кто же, в конце концов, вступает в кооператив, кто нет, начинать прорытие канала было бы очень трудно. Но после уборки урожая до морозов останется меньше месяца, и приниматься за канал уже не будет смысла. Мы обсуждали этот вопрос в первичной

парторганизации, обсуждали на совещании партийных работников кооператива, и нам кажется, что мы должны заняться расширением кооператива сейчас, еще во время уборки. Мы решили так: до десятого числа этого месяца наши партийцы, члены союза молодежи и агитаторы проведут подготовительную кампанию каждый на своем участке работы, чтобы узнать мнение крестьян. Десятого утром созовем общее собрание от имени всех общественных организаций. После этого начнется запись желающих вступить в кооператив. К двадцатому мы уже будем знать приблизительно общее число членов, и тогда мы приступим к прорытию канала. Если мы не потеряем впустую ни одного дня, можно поручиться, что работы по прорытию канала мы начнем сразу же после Октябрьского праздника * и успеем закончить их до морозов. Однако здесь есть и одно маленькое «но» — мы еще пока не сумели договориться с семьей Ма, а канал должен пройти по их земле. Этот вопрос надо решить до конца месяца...

— Теперь это легко уладить, — говорит Чжан Юн-цин.

— Ну и чудесно! Итак, за этот месяц наши партийцы, члены союза молодежи и агитаторы должны развернуть широкую кампанию за вступление в кооператив, должны помочь своим близким освободиться от устарелых и косных взглядов и должны сами показывать во всем пример.

Затем слово берет Чжан Юн-цин.

— Начиная с сегодняшнего дня и до десятого числа,— говорит он,— каждый из нас будет вести агитационную работу среди определенной группы крестьян. Мы должны объяснить, что стать членом кооператива — значит пойти по славному пути социализма; должны рассказать об успехах кооператива за эти два года, о тех выгодах, которые принесет прорытие канала, показать, что вести хозяйство и вводить улучшения коллективно намного легче, чем единолично, наконец, растолковать, какую огромную пользу принесет механизация. Пусть наши крестьяне хорошенько обдумают все это. О всех жалобах и недоразумениях следует немедленно сообщать в комитет партии или союза молодежи, чтобы можно было немедленно принять необходимые меры. После десятого числа мы должны будем помочь крестьянам принять то или иное решение. Двери кооператива мы не закроем и после того, как закончится запись желающих, а будем охотно принимать всех, кто захочет вступить во время рытья канала, и даже после того, как он будет прорыт, словом — в любое время до начала весенней пахоты. Однако мы должны будем предупредить крестьян, что чем позднее они вступят, тем меньше наработают и, конечно, тем меньше получат при распределении доходов. Надо всячески убеждать их, чтобы вступали в кооператив как можно скорее.

На вопрос о том, как будет улажено дело с семьей Ма, Чжан Юн-цин ответил, что этот вопрос на комитете еще не обсуждался и будет решен после. На этом он и закончил свое выступление.

Затем Цзинь-шэн огласил состав временных агитбригад, каждая бригада выбрала себе бригадира, и собрание было объявлено закрытым.

После собрания Чжан Юэ-и с товарищем Хэ уединились в боковой комнате для обсуждения хозяйственных вопросов. Чжан Юн-цин с Цзинь-шэном в восточной комнате занялись вопросом об участках семьи Ма на Рукоятке ножа, в северной же комнате Вэй Чжань-куй, задержав членов комитета союза молодежи, устроил заседание.

Ма Ю-и, получив жестокий нагоняй от матери, только и уповал на то, что после собрания сможет поделиться с Лин-чжи своими горестями,

---

* Октябрьский праздник — 1 октября. В этот день в 1949 г. была провозглашена Китайская Народная Республика.

а потому пропустил мимо ушей большую часть выступления секретаря парткома и члена агиткома. Однако Лин-чжи задержалась на заседании комитета союза, и, оставшись ни с чем, приунывший Ю-и, понурив голову, вместе со всеми двинулся к выходу. Выйдя на улицу, он вдруг пожалел о том, что собрание кончилось так рано — мать еще не спит и снова начнет браниться, если он придет домой. Ю-и остановился в нерешительности, но тут из окна северной комнаты высовывается Вэй Чжань-куй и спрашивает:

— Что Ма Ю-и уже ушел?

Ю-и откликается и возвращается в комнату.

— Подожди минутку в западной комнате,— говорит ему Вэй Чжань-куй, — надо поговорить с тобой по одному делу.

В западной комнате полно ополченцев. Большая часть из них спит на столах, пока другие стоят на посту. В углу за столиком, на котором горит керосиновая лампа, сидит командир отделения. Отыскав свободную скамейку, Ма Ю-и подсаживается к нему. Чтобы не потревожить спящих, командир отделения при появлении Ю-и молча здоровается с ним, и Ю-и тоже не заводит с ним разговора. В полутемной комнате только тихо, размеренно тикают часы; Ю-и сидит не двигаясь, и две мысли неотступно занимают его: зачем его задержал Вэй Чжань-куй и удастся ли ему поговорить с Лин-чжи.

Время тянется бесконечно долго, когда человек праздно сидит в ожидании. Стрелки часов, словно проржавев, упорно не хотят двигаться, и за те полчаса, пока шло заседание в северной комнате, Ю-и чуть ли не сто раз обращал к ним свой взгляд. Наконец до него доносится топот множества ног; затем из этого топота выделяются шаги, приближающиеся к западной комнате, а топот замирает в направлении главного входа. По звуку шагов Ю-и чувствует, что это она, Лин-чжи, и его уже начавшие было слипаться глаза широко раскрываются. Оказывается, не впустую просидел он здесь эти полчаса. Дверь приоткрывается, и в щели появляется женское лицо — ну, конечно, это Лин-чжи, ее брови нахмурены, словно она только что с кем-то поссорилась, и она не хочет входить — лишь поманила Ю-и рукой. Он тотчас же выходит к ней, и они вдвоем направляются в северную комнату.

— На кого это ты сердита? — спрашивает Ю-и, видя, что Лин-чжи не в духе.

«На тебя!» — чуть было не ответила Лин-чжи, но во-время спохватилась, внезапно сообразив, что у них с Ю-и не такие отношения, чтобы она могла себе это позволить.

В сущности, отношение Лин-чжи к Ю-и можно определить следующими словами: не так чтоб очень дорог, а вроде и расставаться жаль. Однако мысль о том, чем же это все-таки кончится, доставляла ей немало огорчений.

Первым условием при выборе друга Лин-чжи, согласно собственному ошибочному представлению, считает образованность. Из всех молодых парней Саньливани, когда-либо учившихся в школе, не женат один Ю-и. От своих бывших школьных товарищей Лин-чжи оторвана, и все свои надежды она волей-неволей возлагает на Ю-и. Однако она все медлит и медлит с положительным ответом, выжидая, когда Ю-и станет человеком более передовых взглядов, но месяц проходит за месяцем, а она не видит в Ю-и и тени перемены. Часто про себя она сравнивала Ю-и с колосьями, побитыми градом: оставить их — вырастет ни то ни се, выдернуть — и того не будет.

Так и не получив ответа на свой вопрос и не зная, что и подумать, Ю-и должен лишь следовать за Лин-чжи, пока они не входят в северную комнату. Там они садятся друг против друга за председательский стол.

Они одни. На фитиле керосиновой лампы, светившей двум собраниям, скопился нагар, и пламя ее тускло освещает лицо Лин-чжи: брови по-прежнему нахмурены, обычное выражение мягкости бесследно исчезло. Ю-и посмотрел, посмотрел в это лицо, оглядел пустую комнату, и ему вдруг стало жутко.

— Комитет союза поручил мне передать тебе, — наконец ледяным тоном начинает Лин-чжи, сохраняя все то же каменное выражение лица, — что член парткома Цинь Сяо-фын сообщила в комитет союза о твоем недостойном поведении при разборе дела Цзюй-ин. Комитет союза постановил, что для начала ты должен в письменном виде заявить об осуждении своего поступка, после чего комитет примет окончательное решение. Можешь идти!

С этими словами она встает и поворачивается к двери.

— Понимаешь ли... — взволнованно начинает Ю-и.

— И понимать ничего не хочу!

— Послушай! — умоляюще говорит Ю-и, видя, что она и слушать его не хочет. — Ведь в конце концов я же сказал правду!

— Если бы ты в конце концов не сказал правды, то в комитете и разговаривать бы с тобой не стали.

Не прибавив больше ни слова, Лин-чжи выходит из комнаты.

Ю-и попросту ошеломлен. Насколько ему известно, до сих пор никто из членов комитета ни с кем не говорил таким тоном и еще не было случая, чтобы Лин-чжи так разговаривала с членами союза от имени комитета. Должно быть, Лин-чжи за что-то сердита на него и хочет дать ему понять, что отныне между ними все кончено. При этой мысли Ю-и уронил голову на стол и расплакался. Когда он немного успокоился и, вытерев слезы, собрался уходить, он вспомнил, что дома мать наверняка встретит его бранью, и слезы опять текут из его глаз.

В это время дверь боковой комнаты открывается и оттуда выходят товарищ Хэ и Чжан Юэ-и. «Хэ живет у нас,— думает Ю-и,— а за ним я как за каменной стеной». Он быстро задувает догорающую лампу и подходит к товарищу Хэ. — Ты что же, все еще не ушел? — спрашивает его Хэ. — Да вот, вас тут поджидал, — отвечает Ю-и, и они вдвоем отправляются домой.

20. БОЛЬШОЙ В БРИГАДЕ МАЛЕНЬКИХ

После ледяного приема, оказанного ему Лин-чжи, Ю-и места себе не находил: мысль, что теперь Лин-чжи порвет с ним, приводила его в отчаяние.

Он ложится в постель, но, не в силах заснуть, опять встает, зажигает лампу и садится писать объяснительную записку. Он составляет записку, надеясь, что Лин-чжи прочтет ее, и поэтому делает это с особенным старанием. Однако он заботится не о том, чтобы дать объяснение своему проступку; его лишь беспокоит, как бы и лицо спасти и доверие Лин-чжи сохранить. В первом варианте записки он еще написал несколько правдивых фраз, вроде: «...для того, чтобы выгородить мать, бросил тень на товарища...» Однако, написав это, он решает: «Не годится! Ну на что это похоже?» Но ни на что не похожее дело представить на что-либо похожим нелегко. Он откладывает исписанный лист в сторону и сосредоточенно думает. Но как ни верти, как ни прячься за туманные словеса вроде «говорил недостаточно ясно», «колебался», «не находил в себе достаточно мужества», «недостаточно подумал», «вдруг нашло какое-то затмение», «недостаточная идеологическая подготовка», — все равно получается не очень-то гладко. Так, просидев до

самого рассвета, он и не смог написать ничего, что хоть в какой-то мере могло удовлетворить его самого.

Уже рассвело, когда он услышал, что чей-то звонкий женский голос из-за ворот зовет его. Как будто Лин-чжи, жаль только — последних слов нельзя разобрать из-за собаки, залившейся лаем. Ю-и поспешно выхватывает из кучи исписанных листков тот вариант, который кажется ему наиболее сносным, кладет листок на стол, а остальные запихивает под цыновку. Лишь после этого он открывает дверь своей каморки и выходит во двор.

Подойдя к воротам, он отгоняет собаку, спрашивает «кто там?» и лишь по откликнувшемуся голосу узнает, что это Юй-мэй. Он уже выбил подпорку и хочет взяться за засов, как из северной комнаты его окликает мать.

— Сейчас, — отвечает он, — вот только открою ворота.

— Иди скорей! — торопит мать.

— Не открывай, не стоит, — кричит с улицы Юй-мэй. — У вас уж больно злющая собака! Парторганизация срочно собирает нашу агитбригаду на совещание. Место сбора у бабки с заднего двора. Ну, я пошла, а ты тоже приходи сейчас же!

— Погоди, пойдем вместе! — кричит ей Ю-и.

— Мне еще надо известить старосту,— отвечает Юй-мэй и уходит.

«Всегда права» не переставая зовет Ю-и, и ему ничего больше не остается, как бежать в северную комнату. Он толкает дверь, но не может открыть ее; тогда он подходит к окну и спрашивает мать, в чем дело. Сначала «Всегда права» высказывает ему свое неудовольствие — не сразу пришел на зов, затем приказывает:

— Сходи в Линьхэчжэнь, попроси дядю прийти.

— Да мне сейчас на собрание надо! — отвечает Ю-и.

— Если бы вы с Цзюй-ин не сидели все время на собраниях, глядишь, семья бы и не развалилась, — говорит «Всегда права». — Если пойдешь еще на собрание, не сын ты мне больше!

— Ю-и!— раздается голос «Бестолочи».— Я не запрещаю тебе ходить на собрания, но ведь всегда можно отпроситься, если дома есть важное дело. Комиссия велела, чтобы мы в три дня разделились с третьей невесткой. Иди и отпросись поскорее, а потом бери осла и отправляйся в Линьхэчжэнь за дядей. Не то он уйдет на рынок со своей скотиной. Надо пораньше добраться до места. Так что не мешкай!

Ю-и отправляется к дому с флагштоками.

Известив Ю-и о предстоящем собрании, Юй-мэй бежит к дому Фань Дэн-гао; во дворе под навесом Лин-чжи кормит ослов. Юй-мэй спрашивает, встал ли уже Фань Дэн-гао. Лин-чжи подбрасывает ослам еще травы, а затем ведет Юй-мэй в комнаты. Мать Лин-чжи, расчесывавшая волосы перед зеркалом, увидя вошедшую Юй-мэй, предлагает ей сесть, но та спрашивает, где Фань Дэн-гао.

— Пришел вчера какой-то хмурый,— отвечает мать Лин-чжи,— стали спрашивать, толком ничего не отвечает, задул лампу, но не лег сразу, а все сидел на кровати и выкурил целую пачку сигарет. Так и не ложился до первых петухов.

Затем, указывая на спущенные занавески боковой комнаты, она продолжает:

— Только недавно и заснул-то. Уж мы с Лин-чжи и тревожить его не стали.

Фань Дэн-гао спал беспокойным сном и проснулся от звука голосов за занавеской. Сперва он было подумал, что это жена и дочь гадают о том, что же с ним случилось вчера вечером, потом, однако, установил, что разговаривают они с кем-то посторонним. Его охватывает беспокой-

ство, и он окликает Лин-чжи. Услышав, что муж проснулся, его жена замолкает.

— Проснулся! — шепотом говорит Лин-чжи, обращаясь к Юй-мэй.— Скажи мне, зачем пришла, уж я заодно и передам ему!

— Партком срочно собирает нашу агитбригаду на совещание, — отвечает Юй-мэй, — надо обсудить одно важное дело. Он в нашей бригаде, вот я и пришла сказать ему.

Лин-чжи идет к отцу и передает ему слова Юй-мэй.

— П-п-партком? — запинаясь переспрашивает Дэн-гао, и глаза его округляются. Затем, задумавшись на мгновение, говорит:

— Позови сюда Юй-мэй!

Всякий раз, как Цзинь-шэн выступает от лица парткома, Дэн-гао испытывает чувство досады. В самом начале, когда они только начинали работать вместе, секретарем парткома был он, Дэн-гао, а Цзинь-шэн — всего лишь ополченцем. За последние несколько лет, отдавая все свободное время торговым комбинациям, Дэн-гао как-то отошел от товарищей, а они, в свою очередь, также отошли от него. Поэтому всякий раз при переизбрании секретаря парткома его кандидатура проваливалась. В его, Дэн-гао, глазах Цзинь-шэн — «человек не без способностей», но, конечно, какое же может быть сравнение с ним самим. По его мнению, Цзинь-шэн лишь потому так болеет душой за кооператив и хлопочет о проведении канала, что хочет вылезти вперед. Он же, Дэн-гао, считает, что без всех этих штук жить было бы гораздо спокойнее. Особенно беспокоит его то обстоятельство, что теперь партком взялся за расширение кооператива. В этом он усматривает угрозу собственному благополучию и нарушение принципа «добровольности». Хотя еще никто от имени парткома не уговаривал его вступить в кооператив, однако включение его, Дэн-гао, в агитбригаду обязывает его агитировать других, и он рассматривает это как ловкий ход Цзинь-шэна, придуманный для того, чтобы оказывать на него, Дэн-гао, нажим. Конечно, кооператив зарится на двух его мулов; а включили его в одну агитбригаду с Юй-мэй, Цзюй-ин и Ю-и потому, что хотят, нарочно собрав вокруг него желторотых юнцов, сделать из него посмешище. Его хотели выбрать бригадиром, но он заявил, что на это у него не хватит времени. На деле же, отказываясь от этой должности, он думал совсем другое: «К лицу ли мне начальствовать над такими младенцами?» Однако, когда выбрали Юй-мэй, он снова был недоволен: «Еще чего! Юй-мэй будет командовать мною?!» В общем все вчерашнее собрание — не иначе как ловушка, подстроенная Цзинь-шэном и всеми ими на погибель ему, Дэн-гао. А поскольку это так, то, естественно, он примет все меры, чтобы выскочить из ловушки. Вот почему ему было не до сна, когда он вернулся с собрания,— надо же принять какие-то ответные меры. Первой его мыслью было опять пустить в ход довод о «добровольности», однако он тут же вспомнил, что это не пройдет — ведь секретарь уездного комитета партии Лю один раз уже опроверг этот довод, заявив, что принцип «добровольности» вовсе не означает «самотека» и агитацию за вступление в кооператив вести надо. Второй его мыслью было отправить мулов куда-нибудь на сторону на эти десять дней. Однако его брало опасение, что Ван Сяо-цзюй, воспользовавшись этим, найдет себе другое занятие и не согласится больше гонять ему мулов... Прикидывая в уме и так и этак, он выкурил целую пачку сигарет, но к окончательному решению так и не пришел. Спать лег с первыми петухами, но спал неспокойно, просыпаясь от малейшего шороха или движения в доме.

Когда Лин-чжи сказала ему, что Юй-мэй пришла сообщить о совещании, созываемом парткомом, Фань Дэн-гао подумал: «При чем тут партком? Не иначе как опять проделки Цзинь-шэна! А Юй-мэй, глядишь,

и впрямь взялась бригадирствовать надо мной! Все ближе и ближе подступаются ко мне!»

Он уже хотел было передать через Лин-чжи, что у него нет времени, потом, однако, подумал, что если он отошлет Юй-мэй ни с чем, это обязательно дойдет до товарища Лю и пойдут разговоры о его «неорганизованности», и поэтому только велел Лин-чжи позвать к нему Юй-мэй.

Юй-мэй входит, и Дэн-гао, прикинувшись больным, говорит:

— Юй-мэй, твой дядя простыл вчера вечером, голова болит, просто не могу пошевельнуться. Вы провели бы совещание одни — сил моих нет подняться с постели!

Юй-мэй ничего больше не остается, как посоветовать больному позвать врача и возвратиться в дом с флагштоками.

Представлять партком на этом совещании уполномочен Чжан Юн-цин. Узнав от Юй-мэй, что Дэн-гао не придет, он обращается к членам бригады:

— Ну что ж, раз его не будет, начнем обсуждение. Но если он думает увильнуть от участия в нем, то это ему не удастся — дело касается его самого. После того как все обсудим, я схожу за ним сам.

— Итак, начнем! — говорит Юй-мэй.

— Отец хочет, чтобы я отпросился и пошел за дядей, — перебивает ее Ю-и. — Как же быть-то?

— Не обращать внимания на старого дурня! — отвечает ему Чжан Юн-цин. — Мало ли какую чертовщину он еще выдумает, старый негодник! Мы не можем допустить, чтобы твой дядя опять придумал за него, как обидеть Цзюй-ин!

— Но он настаивает, чтобы я шел! — возражает Ю-и.

— Дорогой мой, — отвечает ему Юй-мэй, — да ты и впрямь безнадежен. Он что, съест тебя, что ли, если ты не пойдешь?

— А каково мне будет возвращаться домой? — говорит Ю-и.

— Раз отец знает, что ты должен отпрашиваться, — отвечает Юй-мэй, — ты можешь сказать ему, что тебя не отпустили. Ведь может же быть такое?

Ю-и чувствует, что Юй-мэй права, и не находит, что ответить.

— Ладно, — говорит Юн-цин. — Давайте приступим к делу!

«А может, и правда не пойти? — думает Ю-и. — Все-таки лучше было бы дать мне время самому решить». Но Юн-цин не хочет ждать, и Ю-и остается.

— Уже известно, — начинает Юн-цин, — что трасса нашего канала определена и достигнута полная договоренность с большей частью хозяев, по чьим участкам пройдет канал. Не удалось пока получить согласие лишь от отца Ю-и, участок которого находится на Рукоятке ножа, и, видимо, Ма До-шоу намерен тянуть волынку до бесконечности. Сейчас Цзюй-ин отделяется от семьи Ма. Вчера мы обсуждали этот вопрос на парткоме и решили, что лучше всего, если эту землю возьмет Цзюй-ин, и тогда мы избежали бы возни со стариком Ма. Теперь подумай, Цзюй-ин, и скажи, согласна ли ты с этим планом? Если ты заберешь эту землю в свои руки и вступишь на будущий год в кооператив, то твоя доля дохода будет устанавливаться по производительности земли. Если же ты не пожелаешь вступить в кооператив, то тебе обменяют эту землю на хорошую...

— Конечно, пожелаю, лишь бы отделиться, — говорит Цзюй-ин.

— Мы на это и рассчитывали, — отвечает Юн-цин.

— А как мы предложим это семье Ма? — спрашивает Юй-мэй.

— Попытаемся получить землю таким образом: Цзюй-ин сама подаст им эту мысль, а вы поддержите ее, — отвечает Юн-цин. — Ведь раздел коснется всех членов семьи Ма, и комиссия должна будет обязать

их всех соответствующим решением. Ю-и — один из членов их семьи, Дэн-гао — председатель комиссии, Цзюй-ин — сторона в деле; таким образом, из четырех членов вашей бригады трое имеют непосредственное отношение к этому делу, и если вы будете действовать дружно, то сумеете его провернуть.

— А если старик Ма определит мой надел, не спрашивая меня, как быть тогда? — спрашивает Цзюй-ин.

— Прямо сказать ему, чего хочешь! Без обиняков скажи, что в будущем году вступаешь в кооператив и хочешь помочь кооперативу и деревне в трудном деле. И еще скажи раз вы не уступали этой земли потому, что боялись, как бы вам не дали взамен плохой, позвольте теперь мне взять этот убыток на себя! Все поддержат тебя в этом, у него уж не будет оснований для отказа, а если он все же не согласится, тогда уж ясно будет, что он умышленно тянет канитель. Итак, не теряя времени, обсудите это дело — и действуйте! А я схожу сейчас к Фань Дэн-гао и поговорю с ним с глазу на глаз.

Юн-цин встает и идет к выходу.

— А если старик все же пошлет за этим спекулянтом и попытается обойти комиссию? — кричит ему вдогонку Цзюй-ин.

— Если в выделенном тебе наделе не окажется участка, о котором мы говорим, ты можешь заявить, что они произвели раздел неправильно, и выскажешь свое мнение на комиссии.

— Ах, да, — смеется Цзюй-ин, — я и забыла, что сама сторона в этом деле!

— Вот именно! Раз ты понимаешь это — все в порядке, — говорит Чжан Юн-цин и выходит из комнаты.

Цзюй-ин, подумав, объясняет Юй-мэй и Ю-и, как она намерена говорить со стариком, и спрашивает их совета. Ю-и не произносит ни слова: ему не дает покоя мысль, что он не пошел за дядей и теперь надо будет оправдываться перед отцом.

Совещание, занявшее всего несколько минут, на этом и окончилось. Цзюй-ин осталась у бабки с заднего двора, а Юй-мэй и Ю-и вместе вышли во двор дома с флагштоками. Ю-и прикидывает: совещание прошло быстро и заняло почти столько же времени, сколько потребовалось бы на то, чтобы отпроситься; он может вернуться домой и сказать, что его отпустили. Однако из того, что говорилось на совещании, ясно, что ходить за дядей не следует. Вчера он совершил проступок и теперь должен в письменном виде заявить о том, что осуждает собственное поведение. Оставшись на совещании, он как бы отказался идти за дядей. Если же он все-таки пойдет, не будет ли это опять проступком с его стороны? Дело тут вовсе не в том, что он сам не хочет идти, но он понимает, что уж на этот-то раз его наверняка выгонят из союза, а пуще всего он боится уронить себя в глазах Лин-чжи и Юй-мэй. Если бы удалось заручиться согласием Юй-мэй, то потом он мог бы, прикрываясь ее авторитетом, придать видимость законности своему поступку.

— Если я вернусь домой, — говорит он, — отец опять станет посылать меня за дядей, что мне сказать ему?

Он надеется, что Юй-мэй ответит: «Если он так велит, тебе придется пойти», но Юй-мэй отвечает совсем другое:

— Нет уж, — говорит она. — Твоя третья невестка уже стала самостоятельным человеком. Когда же и ты станешь самостоятельным? Уж тебе самому придется подумать, что нужно сказать в таком случае! Мне за тебя решать не приходится!

И она отправляется восвояси, а Ю-и один-одинешенек остается у ворот дома с флагштоками.

Услышав ответ Юй-мэй, Ю-и стал в тупик: вернуться домой — не миновать идти за дядей, другого выхода он не видит. Пойти к Лин-чжи — он и заикнуться об этом перед ней не посмеет, раз уж даже Юй-мэй считает его размазней, да к тому же и объяснительная записка еще не представлена... Ю-и крутился-крутился в воротах дома с флагштоками, а решить так ничего и не мог. Вдруг вдали ему почудилось мелькание какой-то красной точки, и, приглядевшись хорошенько, он увидел, что это на своей рыжей лошади уезжает товарищ Хэ. Пока Хэ жил у них, мать еще как-то стеснялась уж слишком тиранить сына; теперь же, когда и этой защиты не стало, ему придется еще хуже. Но вот перед глазами Ю-и промелькнуло еще одно пятно, на этот раз пестрое. Как оказалось, это было пестрое одеяло, притороченное к седлу осла, которого погонял его старший брат «Железная лапа». Ю-и поспешно юркнул в ворота и притворил их за собой. Сквозь щель он видел, как брат направился в сторону Нижней отмели. Значит, отец не дождался его и послал за дядей старшего брата. У Ю-и словно гора с плеч свалилась, и когда брат скрылся из виду, он зашагал к дому, заранее зная, что его там встретят бранью.

Юн-цин действительно отправился к Фань Дэн-гао и стал рассказывать ему, каким способом они решили приобрести участок на Рукоятке ножа; Дэн-гао слушал его со злобой и ворчал про себя: «Только расширение кооператива и рытье канала у них на уме, и неужто, кроме этого, нечем заняться?» Не успел Чжан Юн-цин договорить, как он начал возражать:

— Как член партии заявляю комитету, что, во-первых, не дело партии производить раздел земли и, во-вторых, Ма До-шоу непременно растрезвонит, что коммунисты для того и подбили его невестку на раздел, чтобы оттягать у нее кус земли. А это может пойти только во вред партии!

Выпалив это, Фань Дэн-гао самодовольно умолк, полагая, что Юн-цин не найдет, что возразить ему. Однако Юн-цин не замедлил ответить на его выпад.

— Разве партия, а не Цзюй-ин требует с него часть земли? — спрашивает он.— Вчера вечером все, кто присутствовал на разборе дела, советовали Цзюй-ин разделиться — где же тут подстрекательство со стороны партии? По-твоему, крестьяне считают, что канал нужен не им, а только коммунистам? Я тоже скажу как член партии: какие бы решения ни принимались нашим партийным комитетом, не было еще случая, чтобы ты не возражал! И не было случая, чтобы ты активно проводил их в жизнь! Это нарушение партийной дисциплины!

— Против какого именно решения я выступал? — сердито кричит Дэн-гао. — А не соглашаться с решением и все же проводить его — это другое дело, это разрешается! А возражаю я потому, что вижу то, чего не видите вы! Если же вы не хотите считаться с моим мнением — не надо, а все-таки вы должны обсудить его, а не поучать меня!

Так слово за слово дело дошло до того, что и Чжан Юн-цин, словно из пушки, грохнул в старосту:

— Довольно! Довольно! Обсудим в свое время вопросы, по которым не посчитались с твоим мнением. А наше последнее постановление будешь выполнять или нет?

— А вы примете во внимание мои возражения раньше, чем выполнять его? — спрашивает Дэн-гао.

— Я уже ответил тебе! Твои доводы совершенно несостоятельны, нечего их и во внимание принимать! И вообще ты ведешь себя вельможей, генералом — на собрания не являешься, и члены парткома, вот как

я сейчас, должны обо всем извещать тебя на дому! Поэтому о выполнении задания прошу доложить бригадиру вашей агитбригады Юй-мэй.

С этими словами Юн-цин пошел к выходу. Жена Фань Дэн-гао и Лин-чжи проводили его до ворот.

21. БЕЗ НЕГО НЕ ОБОЙТИСЬ

После утреннего совещания Цзюй-ин осталась у бабки с заднего двора ждать дальнейших известий о ходе дела. Тщетно прождав до полудня, она, наконец, решила расспросить людей и узнала, что Ю-юй уже привез дядю — барышника; однако за ней послано не было. Цзюй-ин рассудила, что если она явится сейчас в дом Ма одна, без представителей комиссии, то, чего доброго, дело не обойдется без стычки с «Всегда права», и тогда может выйти такое, что потом не скоро и разберешь, кто прав, кто виноват; уж лучше ей запастись терпением и ждать, пока «Бестолочь» сам не позовет ее. Поэтому, разузнав все как следует, она опять возвратилась на задний двор дома с флагштоками. «Бестолочь», повидимому, запасся не меньшим терпением, чем Цзюй-ин: уже стемнело, а за ней еще никто не приходил. Цзюй-ин поужинала, препоручила Линлин бабке с заднего двора, а сама пошла искать председателя комиссии Фань Дэн-гао.

Вскоре после того, как она вышла из дому, к ней пришла Юй-мэй. Вместе с бригадой взаимопомощи она весь день жала хлеб на участке Хуан Да-няня. От Ю-и она уже знала, что его дядя прибыл в полдень и вместе с отцом и старшим братом Ю-и обсуждал вопрос о разделе. Самого Ю-и участвовать в обсуждении не допустили: ему велели идти в поле работать вместе с бригадой. Юй-мэй, конечно, еще и еще раз назвала Ю-и «безнадежным», но более точных сведений от него так и не добилась. А так как ответственность за участок на Рукоятке ножа лежала на ее временной агитбригаде, то она, наскоро поужинав, побежала к Цзюй-ин в надежде что-нибудь узнать от нее.

Услышав от бабки с заднего двора, что Цзюй-ин пошла искать Фань Дэн-гао, Юй-мэй тотчас поворачивает обратно. Едва она выходит в первый двор дома с флагштоками, как до нее долетает голос Фань Дэн-гао— он с кем-то разговаривает в восточной комнате, где помещается отделение кредитной кооперации. Она тотчас направляется в восточную комнату. Там между Фань Дэн-гао и одним из служащих отделения идет ожесточенный спор, и Юй-мэй, видя, что спорщики все равно не дадут ей и слова сказать, решает подождать конца.

— Раз не даете ссуды — можете вернуть мне все, что я внес?— спрашивает Фань Дэн-гао.

— По истечении срока, разумеется, вы будете вольны изъять свой вклад.

— Я не верю, что у вас нет текущих ассигнований!

— Из текущих ассигнований я ссуду выдать не могу.

— Это же сельская местность! Отделение кредитной кооперации. Это же не банк! Нельзя же так формально подходить к делу!

— Мы ведем дело согласно установленному порядку.

— Это бюрократизм!

— Бюрократизм это или нет — во всяком случае он исходит не от низового кооператива. Если у вас есть возражения — обратитесь в уезд!

— Ну, с вами не договоришься! Позовите заведующего!

— Заведующий уехал в уезд на собрание. Если хотите, сходите за ним сами!

Как горожанин, родившийся в уездном центре, сотрудник кредитного отделения намного бойчее на язык, чем Фань Дэн-гао. Он остав-

ляет без ответа ни одного его выпада, так что в конце концов Фань Дэн-гао не находит больше доводов для продолжения спора, да их у него в действительности и нет. Дэн-гао видит, что своего противника ему не одолеть, однако и на попятный идти уже поздно — он оказывается в глупом положении, и тут ему на помощь приходит Юй-мэй.

— Дядюшка!— начинает она, не дожидаясь, пока он снова заговорит.— Тебя дома Цзюй-ин дожидается.

— Ладно уж,— говорит Дэн-гао,— не даете ссуды — что с вас взять!

С этими словами он выходит вместе с Юй-мэй.

— А у меня, может быть, и поболе вашего дел!— посылает ему вдогонку сотрудник кредитного отделения.

Зачем Фань Дэн-гао нужна ссуда? Дело в том, что второго утром Ван Сяо-цзюй, погонщик его мулов, отправился снимать свой урожай и вернуться должен был во второй половине дня третьего числа, чтобы уйти с мулами четвертого утром.

Сегодня во второй половине дня Сяо-цзюй действительно вернулся. Однако дело сложилось так, что закупленные Фань Дэн-гао в прошлый раз вязаные кофты продать не удалось, потому что и потребительский кооператив закупил партию точно такого же товара; другие товары хотя и были частично сбыты, но опять-таки большей частью в рассрочку—осенний урожай еще только начали убирать, и наличных денег у людей было мало. Вот почему Фань Дэн-гао и не мог сразу закупить новую партию товара. В свое время, когда у него завелись деньжонки и ему не на что было их истратить, Дэн-гао сделал срочный вклад в кредитный отдел при потребительском кооперативе, и наличных денег у него не осталось. Теперь он хотел получить в кредитном отделе ссуду и снова отправить Ван Сяо-цзюя за товаром; взятые деньги он вернет потом из выручки. И вот, словно на зло ему, осенью этого года в уезде решили упорядочить работу кредитных отделений. Согласно новому порядку, временные ссуды отныне разрешалось выдавать только в трех случаях: в случае использования ссуды как капиталовложение в сельское хозяйство, в случае вступления в брак или смерти родственника и в случае стихийного бедствия. Дэн-гао же деньги нужны для поддержания его торговли, и совершенно естественно, что давать ему ссуду нет никаких оснований. Дэн-гао попросту хотел получить поблажку, рассчитывая на свое положение старосты. Работник кредитного отделения отказал ему, Дэн-гао это не понравилось; и вот тут-то он завел разговор о своем срочном вкладе.

Хотя Юй-мэй и избавила Фань Дэн-гао от неприятного разговора, однако одной мысли о том, что Юй-мэй и Цзюй-ин ищут его, достаточно, чтобы испортить ему настроение. С переходом участка «Бестолочи» на Рукоятке ножа в руки Цзюй-ин устраняется последнее препятствие для прорытия канала. А это означает, что канал пройдет по его земле к северу от Песчаного оврага — раз; водоналивные колеса на земле «Бестолочи» потеряют всю свою притягательную силу для Мань-си и Хуан Даняня — два; Мань-си и Хуан Да-нянь оба вступят в кооператив, и тогда оставаться вне кооператива для Фань Дэн-гао будет совсем уж неудобно.

Мало того, что он не может открыто возражать против такого невыгодного для него дела, так нет же, он еще должен и сам приложить к нему руку. Разве это не все равно, что сознательно вступить на гибельный путь? С такими мыслями и подошел Фань Дэн-гао вместе с Юй-мэй к своему дому.

Дома его уже дожидаются Сяо-цзюй и Цзюй-ин. Едва он успевает переступить порог, как погонщик встречает его вопросом:

— Ну что, идти мне завтра?

— Завтра ничего не выйдет. Хотел бы кой-чего закупить, да не при

деньгах. Ты два дня отдыхал — отдохни и третий: можно походить по должникам, собрать старые должки.

— Дядюшка,—обращается к нему Цзюй-ин,—с разделом-то сегодня, слыхать, и не пошевелились — как быть-то?

— Раз от них никого не было,— отвечает Дэн-гао,— мне самому тоже не с руки в чужие-то дела встревать. Я так понимаю, что когда все подготовят, тогда и пришлют за мной.

В комнату торопливо входит Ма Ю-юй.

— А, и невестушка здесь! — восклицает он, увидев Цзюй-ин.— Как кстати! Не придется больше бегать... Дядюшка Дэн-гао,— продолжает он, обращаясь уже к Дэн-гао,— отец просит вас пожаловать утром к нам пораньше — у нас и позавтракаете. И невестушка завтра пусть не трудится готовить,— опять обращается он к Цзюй-ин,— дома тебя накормят! Просим дядюшку Дэн-гао вместе с нашим дядей в посредники — сперва тихо и мирно поговорим, как разделиться, а там с Цзюй-ин и соседями в одном дворе станем! Если невестушка чем и обижена — все беру на себя... Вот так! — обращаясь уже к обоим, заканчивает Ю-юй.— Дома гость, мне надо идти. Завтра утром еще раз зайду к вам.

После того как Ю-юй в полдень привез дядю из Линьхэчжэня, Ю-юй, дядя и старик Ма заперлись и просовещались до самого вечера. Первый вопрос, который они обсуждают,— по какому принципу делить землю. В семье Ма всего четырнадцать человек, на всех приходится шестьдесят восемь му земли. Если делить землю по числу едоков, Цзюй-ин причитается более чем четырнадцать му четыре фэня*. Если же, отделив некоторую часть земли старикам в виде надела на обеспечение старости, остальное разделить поровну между четырьмя сыновьями, тогда Цзюй-ин получит земли поменьше и, кроме того, под видом стариковского надела можно удержать земли и побольше, и получше. На стариковский надел сперва хотели было отвести целых двадцать му, но в конце концов, из опасения, что Цзюй-ин на это не согласится и потребует раздела по числу едоков, решают отвести всего шестнадцать. Исходя из такого расчета, Цзюй-ин получает тринадцать му — на один с лишним му меньше, чем она получила бы при разделе по числу едоков.

И тут старый барышник вспоминает одно стародавнее дело.

— А ведь мне сдается,— говорит он,— что на стариковский надел мы отвели шестнадцать му еще тогда, когда устраивали тот раздел для видимости. Если у вас еще сохранился договор, это избавит нас от лишних хлопот.

— Но борьба за снижение арендной платы в тот раз меня не затронула,— говорит «Бестолочь»,— и мне так и не пришлось показывать договор людям.

— А это даже лучше,— отвечает барышник,— потому что теперь ты сможешь сказать: детей у меня много, и я заранее знал, что рано или поздно будем делиться, а потому и позаботился обо всем заранее. Так ты докажешь свою прозорливость — раз, докажешь, что не Цзюй-ин тебя вынудила к разделу, а ты сам это сделал справедливо и бескорыстно— два, и избавишься от лишних хлопот — три.

Второй вопрос, который обсуждают Ма с дядюшкой из Линьхэчжэня, это вопрос об участке на Рукоятке ножа. Они понимают, что кооператив, видимо, попытается получить эту землю через Цзюй-ин, и «Бестолочь» первым делом просит старого барышника справиться в договоре, не записан ли участок на Рукоятке ножа как стариковский надел. Выясняется, что он, хотя и не входит в стариковский надел, но все же записан на Ма Ю-фу, второго сына Ма До-шоу.

---

* Фэнь — мера площади, равная 61,44 кв. метра.

— Хоть это и не стариковский надел, — говорит «Бестолочь», — лишь бы не был записан на третьего или четвертого сына.

Третий вопрос, который они обсуждают, это вопрос о том, сможет ли комиссия по разбору жалоб доказать недействительность договора и настоять на вторичном разделе.

— Не сможет! — заявляет «Бестолочь».— Председатель комиссии — Фань Дэн-гао. Правда, он староста и партийный к тому же и на словах куда какой толковый, да только ни канал рыть, ни в кооператив вступать не хочет. Нам бы только объяснить все потолковее да поскладнее, и тогда он устроит все, как мы захотим.

— Так нам надо заранее сговориться с ним,— говорит старый барышник.

— Ни-ни! Он и так решит, как нам надо! А если мы возьмем и прямо выложим ему, чего хотим, тогда он взять нашу сторону не посмеет, потому что побоится, как бы другие партийные не вывели его на чистую воду.

Затем они переходят к обсуждению четвертого вопроса: будет ли им выгодно вступить в кооператив, если, паче чаяния, они все же потеряют участок на Рукоятке ножа? Ведь тогда Да-нянь и Мань-си вступят в кооператив и их бригада взаимопомощи распадется; к тому же не будет с ними и Цзюй-ин.

— Если землю на Рукоятке ножа у нас все же заберут,— говорит «Бестолочь»,— попробуем еще год поработать единолично. Вся беда в том, что многие уже в кооперативе, и теперь не очень-то найдешь людей для работы.

Наконец, последним они обсуждают вопрос о том, как вести себя по отношению к Цзюй-ин во время переговоров. Все трое единодушны в мнении, что надо взять миролюбием и поставить Цзюй-ин в такое положение, чтобы ей стало неудобно препираться с ними. Кроме того, во имя общих интересов надо заставить на время притихнуть «Всегда права» и «Опасно тронуть».

Вот почему Ю-юй так церемонно обошелся с Цзюй-ин у Фань Дэн-гао.

После прихода Ю-юя Фань Дэн-гао вновь обретает уверенность, что он попрежнему находится в расцвете своего могущества.

— Мой расчет был правилен, — самодовольно говорит он Цзюй-ин и Юй-мэй.— Я знал, что без меня им не обойтись!

22. СОБРАНИЕ АГИТАТОРОВ

Весь следующий день, четвертое сентября, Фань Дэн-гао потратил на переговоры с семьей Ма относительно раздела, долгов не собрал и вечером пришел домой в скверном расположении духа. Лин-чжи, которой не терпится узнать, чем окончилось дело, спрашивает его о результатах переговоров и в ответ слышит целый поток слов, в которых звучат раздражение и досада.

— С этими молодыми просто нельзя иметь дела! — говорит Дэн-гао. — Уж если требовать, так должны же быть какие-то основания. Цзюй-ин невесть чего хочет, и попробуй докажи, что она права!

С этими словами он вытаскивает из кармана какие-то бумаги и бросает их на стол.

— У людей еще десять лет тому назад подписан договор о разделе, а она заявляет, что он фальшивый — ну, возможно ли это?

— Как же можно было заключить договор о разделе десять лет назад, если все дело началось только вчера? — спрашивает Лин-чжи.

— Посмотри сама! — отвечает Дэн-гао, указывая на бумаги.

Лин-чжи развертывает их и внимательно разглядывает первый лист.

Он начинается вступительной частью, составленной в весьма темном стиле, затем следует фраза: «Ма Ю-юю отходит имущество, как указано ниже», — и далее две колонки мелких иероглифов — названия передаваемых Ю-юю помещений и земельных участков с указанием их местоположения, цифры. Лин-чжи переходит ко второму листу, потом к третьему. Вступительная часть каждого из них повторяет вступительную часть первого листа, только на втором листе — имя Ю-фу, на третьем — Ю-и; нет лишь листа Ю-си.

— А где же лист Ю-си? — спрашивает Лин-чжи.

— Его взяла посмотреть Цзюй-ин, уж не знаю, что она там высмотрит.

Лин-чжи полистала-полистала страницы договора, и видит, что участок на Рукоятке ножа записан на имя Ю-фу, второго сына Ма До-шоу.

— Как же так? — спрашивает она.— Выходит, Цзюй-ин не получит участка на Рукоятке ножа?

— Пусть партком делает со мной что хочет,—с напускным отчаянием говорит Дэн-гао,— но выполнить их глупое решение просто не в моих силах.

Лин-чжи хочет подробно расспросить его обо всем, но тут в комнату входит Ван Сяо-цзюй.

— Собрал долги? — спрашивает он.

— Некогда было,— отвечает Фань Дэн-гао.

— Так как же мне, идти или не идти завтра за товаром?

— Там видно будет! Я еще не решил...

После некоторого раздумья Фань Дэн-гао говорит:

— Вот что: я сам пойду завтра с мулами. Захвачу с собой весь товар, что у нас есть, часть верну, часть обменяю на новый, а если из этого ничего не выйдет, тогда придумаю еще что-нибудь.

Здесь в разговор вмешивается Лин-чжи, удивленная тем, что отец сам хочет пойти завтра с мулами.

— Но ведь с разделом еще не покончено? — спрашивает она.

— В комиссии и без меня хватит людей,— отвечает Дэн-гао.

— Да ты же не выполнил поручения парткома!

— Откровенно говоря, я бы и не пошел с мулами, если бы не этот раздел. Пусть они попробуют найти кого другого, кто выполнит их решение! Если им это удастся, то я согласен на любое строжайшее взыскание. А если они так и не выполнят его, то станет ясно, что они нарочно изводят меня, прикрываясь авторитетом партии. Тогда взыскивать придется с них, а не с меня!

В это время с улицы кто-то зовет Лин-чжи на совещание бригадиров агитбригад, она тотчас откликается и выбегает из комнаты.

— Смотри, не болтай лишнего при людях! — строго напутствовал ее Дэн-гао.

Когда Лин-чжи приходит в дом Цзинь-шэна, где будет происходить собрание, она видит там Юй-шэна и старика Бао-цюаня — они заняты испытанием нового черпака, сделанного ими за два дня, которым в один прием можно насыпать полный мешок зерна. В числе зрителей, наблюдающих за ними, помимо всех членов семьи Цзинь-шэна, находятся несколько человек от парткома и комитета союза молодежи, а также бригадиры временных агитбригад.

— На собрание, на собрание! — торопит Цзинь-шэн.

Все расходятся. Юй-шэн и старик Бао-цюань убирают свое изобретение, жена Цзинь-шэна вместе со свекровью сгребает рассыпанное по двору зерно. «Какая интересная жизнь у людей в этом доме! — думает Лин-чжи. — А у нас? Отец превратил дом в лавочку розничной торговли, ругается с погонщиком мулов, всеми правдами и неправдами ищет, где

бы раздобыть денег, и корчит из себя человека, пользующегося властью... И сравнивать-то нельзя». Как жаль, что она родилась не в этой семье! Засмотревшись на эту мирную сцену семейной жизни, поглощенная думами о своей собственной судьбе, Лин-чжи и не заметила, как двор опустел. Лишь когда Вэй Чжань-куй окликнул ее из южной комнаты, она заметила, что осталась одна, и поспешила присоединиться к остальным.

После того как Юй-шэн разошелся с Сяо-цзюнь, южная комната свободна, и в ней очень удобно устраивать собрания. Когда Лин-чжи входит в нее, почти все места уже заняты. Высмотрев все же свободное местечко на одной из длинных скамей, она садится, но в то же мгновение подскакивает на месте. При этом она ударяется плечом еще о какую-то штуку. При внимательном рассмотрении оказывается, что села она на какой-то шпенек, торчащий из скамьи, которую Юй-шэн приспособил под верстак. Многие до нее уже точно таким же образом садились на этот шпенек, потому-то это место и остается незанятым. А стукнулась она, оказывается, о висящую на стене маленькую пилу, которая при этом упала на пол, так как потолок в этом помещении сводчатый, вещи, висящие высоко, стены не касаются.

— Осторожнее! — говорит кто-то из молодых ребят.— Тут у Юй-шэна повсюду техника!

Лин-чжи окидывает взглядом комнату и видит, что действительно здесь везде — на стенах, на столах, в углах, на подоконниках — различные инструменты, шаблоны, заготовки,— не сразу и разберешься во всем этом. Она вешает сбитую ею пилу на место, и сидящие на краю кана люди теснятся, чтобы дать ей сесть.

Цзин-шэн объявляет собрание открытым, и несколько минут все в комнате молчат. Правда, момент всеобщего молчания часто сопутствует открытию того или иного заседания, но совершенно иным образом обстоит дело с отчетными собраниями бригадиров агитбригад, и их молчание в данном случае более чем странно. Наконец один из них берет слово.

— У меня вот что: Юань Тянь-чэн, как известно, оставил за собой слишком много земли в личном пользовании, и это плохо влияет на остальных крестьян. Мне, например, довелось слышать такое:«Землю-то он оставлял на имя брата, а зерно с нее забирает себе», и кто-то тут же добавил: «Вот она, социалистическая-то идеология! Разве у коммуниста может быть какая другая?» А третий говорит: «Ну, раз коммунист дает нам пример, я на будущий год сделаю то же самое — оставлю часть земли за женой, часть, за детишками, часть — за внуками...» И еще говорят: «В кооператив вступать — себе дороже! Иначе почему же коммунисты не хотят отдавать туда свою землю?» Как скажут такое, нам и ответить людям нечего. Это первое, о чем я хотел сказать. Есть и еще кое-что, но пусть сейчас выступит кто-нибудь другой, я еще не совсем готов.

Однако словно у всех языки поотнимались, опять наступает молчание.

Лин-чжи пришла на собрание лишь для того, чтобы самой как члену комитета союза молодежи послушать, что скажут другие. Видя, что никто не хочет выступать, она решает взять слово.

— Я не бригадир агитбригады,— говорит она,— но все же могу сообщить кое-что о положении наших дел. Я хочу сказать, что наш план получить участок на Рукоятке ножа, кажется, уже сорван, и вина за это, по моему мнению, лежит на моем отце. Ма представили договор о разделе, составленный десять лет назад, а в этом договоре участок на Рукоятке ножа записан на второго сына Ма. Цзюй-ин с этим не согласна, а мой отец не поддержал ее. По-моему, отец не хочет ни в кооператив вступать, ни дать деревне прорыть канал: всякий раз, как с ним заводишь разговор об этом, он начинает сердиться. Он сказал мне, что он сам...

— И Цзюй-ин говорит, что он слова путного не сказал ей в под-

держку,— перебивает ее Юй-мэй.— Цзюй-ин подозревает, что весь этот договор фальшивый. Она взяла у них один лист и передала мне, чтобы я отдала его Юн-цину для изучения.

С этими словами Юй-мэй вытаскивает из кармана лист договора. Все бригадиры наперебой требуют слова, чтобы рассказать, как думают о Фань Дэн-гао в народе.

Оказывается, во всех бригадах происходит одно и то же — едва агитаторы успели приступить к работе, как стало ясно, что почти все крестьяне осуждают Фань Дэн-гао. «Нечего нас агитировать,— говорят они,— идите-ка лучше сагитируйте одного коммуниста!» Есть такие, которые уже давно подумывали о вступлении в кооператив и лишь пользуются случаем поддеть Фань Дэн-гао; а есть другие — о вступлении в кооператив они и не помышляют, ссылаются на Фань Дэн-гао лишь для того, чтобы оправдать собственное нежелание вступать в кооператив. Однако смысл высказываний и тех и других сводился к тому, что «вот, мол, какой пример подают члены партии». И получилось так, что агитаторам нечего было возразить людям и оставалось только сидеть сложа руки. Именно об этом они и докладывали в первую голову при отчетах своим бригадирам, и именно об этом бригадиры хотели прежде всего заявить на собрании. Однако, увидев Лин-чжи, они не решились высказаться, полагая, что такой разговор надо бы заводить без нее. Лин-чжи, со своей стороны, ни о чем подобном и не подозревала. Она выступила лишь потому, что мысли и поступки ее отца казались ей несовместимыми со званием члена партии — если так будет продолжаться и далее, они станут прямым препятствием во всей работе на деревне, проводимой партийной организацией и союзом молодежи. Лин-чжи когда-то сказала, что хочет исцелить своего отца. Однако его болезнь все осложнялась и осложнялась, и, видя, что ее авторитет как врача в глазах отца невысок, она решила объявить во всеуслышание об этой болезни, чтобы теперь уже партия полечила его. Лин-чжи первой сказала о том, что у всех вертелось на языке, и вот почему бригадиры, отбросив все сомнения, заговорили хором, перебивая друг друга.

Но Цзин-шэн говорит, что надо дать Лин-чжи высказаться до конца, и тогда Лин-чжи продолжает:

— Он сказал мне, что сам уйдет завтра с мулами, и пусть другие занимаются делом Цзюй-ин. Мне кажется, у него нездоровые взгляды, и парторганизация должна полечить его!

— Будто мы его не лечили! — говорит Чжан Юн-цин.— Уж сколько раз беседовали с ним на партсобраниях, только вот перемены к лучшему что-то не заметно!

— Если нет перемены к лучшему, это не значит, что надо бросить лечение,—говорит Цзинь-шэн.—Еще будем лечить, но сперва давайте обсудим все конкретно.

— Как-то раз в бригаде взаимопомощи,— говорит один из бригадиров,— я объяснял людям, почему и как надо идти социалистическим, а не капиталистическим путем, а меня спрашивают: «Купить двух мулов и нанять к ним погонщика — это социалистический путь или нет?» Что я мог ответить на такой вопрос?

— А что ты ответил? — спрашивает Цзинь-шэн.

— Ну, я сказал, что это, мол, особый случай.

— И что тебе на это сказали?

— Меня спросили: «Значит, по-партийному выходит, что рядовые члены партии идут по социалистическому пути, а старые кадровики — по капиталистическому?»

— Вот мерзавцы! — восклицает Чжан Юн-цин.— Это же поклеп на партию! Кто это говорил?

— Ну, зачем же на людей-то сердиться, — вздохнув, говорит Цзинь-шэн,— раз наши партийцы подают им такой пример.

О том, как идет агитработа на их участках, сообщают и другие бригадиры, и у всех не сходят с языка имена Фань Дэн-гао и Юань Тянь-чэна.

— На мой взгляд, с делом Дэн-гао и Тянь-чэна тянуть больше нельзя! — говорит Цзинь-шэн.

Затем в дополнение к сказанному Лин-чжи Юй-мэй докладывает о том, что рассказала ей Цзюй-ин о разделе, и передает Чжан Юн-цину страницу договора, полученную ею от Цзюй-ин. Чжан Юн-цин человек довольно образованный, но и он смотрел, смотрел на вступительную часть договора, а в чем там дело — так объяснить толком и не может.

— Я малограмотный,— говорит он и сует бумагу в руки Лин-чжи.— Может, ты объяснишь вместо меня.

— Уже смотрела,— отвечает Лин-чжи,— и тоже не все понимаю: уж больно хитро там закручено. Я прочту вслух, а вы все послушайте.

«Слыхивал я,— читает она,— о междоусобицах братьев под одной крышей,— каждый из-за гроша делается одержимым. Потрясают копьями в одном доме, часто не ладят из-за имущества. Хочу вырвать корень раздора, отвести беду, пока она не стряслась. Нет лучше, как во благовремении разделить имущество и права. Для сего нарочито призвал двоюродного брата Юй Хун-вэня купно со свояком Ли Линь-ху, и по справедливости постановили: разбить мое имущество на четыре доли, отдать каждую во владение сыновьям. Как они дальше будут жить — оставляю на благоусмотрение братьев, сам остаюсь в стороне и препятствий чинить не буду. В случае несогласия друг с другом могут каждый удержать за собой надел. Из каждой доли изымаю четыре му земли на обеспечение старости, чтобы скрасить остаток жизни своей и жены. По достижении мною столетнего возраста каждому возвращается его четыре му. В удостоверение совершенного составил сей договор и наказал сыновьям хранить его. Третьему сыну Ю-си отходит имущество, как сказано ниже...»

Лин-чжи читает, где и сколько земли, где и какие помещения отходят Ю-си, затем заканчивает:

«5 марта 1942 года документ о разделе имущества составлен Ма До-шоу. Свидетели Юй Хун-вэнь, Ли Линь-ху. За Ма До-шоу записал Юй Хун-вэнь».

— Заковыристо сделано, ничего не скажешь, — говорит Чжан Юн-цин. — Даже и не знаю, когда этот старый негодник мог написать такое!

Кто помоложе, спрашивают Юн-цина, что это за человек, этот Юй Хун-вэнь.

— Один старый сюцай * из Линьхэчжэня,— отвечает Чжан Юн-цин.— Мастак был на мошеннические писульки или по части судебных кляуз. Умер лет семь-восемь назад.

— Ну, тогда и говорить нечего — в общем все понятно.

— По всей видимости,— говорит Цзинь-шэн,— соглашение-то не подельное. Как я полагаю, в те времена старый До-шоу, возможно, боялся, что его начнут донимать со снижением арендной платы, и поэтому приготовился к фиктивному разделу с детьми. Ну, а потом, когда видит, что до него дело не дошло, и не стал никому показывать этой штуки. Кому же по договору отошел участок на Рукоятке ножа?

— Второму сыну,— отвечает Лин-чжи.

— Неважно, действительный он там или фиктивный,— говорит

* Сюцай — низшая ученая степень в старом Китае.

Цзинь-шэн, подумав,— но вреда бы им не было, если бы эту землю все же отдали Цзюй-ин. Как по-вашему?

— Я тоже так думаю,— отвечает Цинь Сяо-фын,— только бы Ма согласились поступить по справедливости. Ведь мы, жены бойцов, вовсе не хотим поживиться за чей-то счет.

— И все же этой земли у нас еще нет,— говорит Чжан Юн-цин.

— Да, насчет этого мы должны будем придумать что-то другое,— замечает Цзинь-шэн.

Совещание заканчивается. Цзинь-шэн просит членов партии остаться, остальные расходятся по домам.

Когда Лин-чжи приходит домой, ее мать давно уже легла и лишь отец одиноко сидит в комнате, освещенной керосиновой лампой. Дэн-гао спрашивает Лин-чжи, что за собрание у них было сегодня. Если сказать прямо, думает Лин-чжи, отец непременно начнет допытываться, что и как; лучше ответить неопределенно, и она говорит, что было собрание членов союза. Однако Дэн-гао весьма занимает вопрос, заходила ли сегодня речь о разделе в семье Ма, и он спрашивает, что же обсуждали сегодня члены союза. Лин-чжи догадывается, что именно волнует отца, и в ней растет еще большая уверенность, что правды она говорить не должна. И вот для того, чтобы предотвратить дальнейшие расспросы с его стороны, она выбирает то, что его меньше всего интересует, и отвечает:

— Говорили о капиталистическом и социалистическом пути развития.

Она угадала: отец больше ни о чем не допытывается.

Лин-чжи легла спать, и снова во всем доме не спит лишь один Фань Дэн-гао. Он попрежнему сидит в комнате, освещенной керосиновой лампой, и слушает шум дождя у себя над головой. Ему кажется, что даже погода ополчилась против него, не позволяя ему уйти завтра с мулами. Каждый раз, как шум дождя чуть затихает, он уверяет себя, что дождь перестал. Однако прислушавшись повнимательнее, он снова теряет надежду. Наконец, Дэн-гао вышел во двор и взглянул на небо — оно затянуто черными тучами, и кажется, что дождь будет лить еще неделю, и месяц, и год. Внезапно раздается стук в ворота. Дэн-гао спрашивает, кто там, и ему отвечает голос Чжан Юн-цина — вот уж кого он меньше всего хотел бы сейчас видеть! Дэн-гао открывает ворота, и Юн-цин входит. Ему нужны остальные листы договора о разделе — члены парткома хотят ознакомиться с ними.

— Разделом ведь занимается комиссия,— говорит Дэн-гао,— почему партком этим интересуется?

— Одна из сторон — член союза молодежи, должна же партийная организация разобраться в этом деле! — отвечает Чжан Юн-цин.

— Ну, хорошо,— говорит Дэн-гао,— оно даже и лучше, если вы сами доведете его до конца.

Он отдал остальные листы договора Чжан Юн-цину, и тот ушел.

Проводив Юн-цина, Дэн-гао запер ворота, возвратился в комнату, задул лампу и, откинувшись к спинке стула, задумался над тем, к каким выводам могут прийти члены парткома, ознакомившись с договором, и как быть, если завтра так и не удастся уйти с мулами... как быть, если партком признает договор фиктивным, и опять как быть, если его признают действительным... как быть, если семья Ма так и не удержит за собой участка на Рукоятке ножа. Он все думал и думал, и мыслям его, казалось, не будет конца. Но вот снова раздается стук в ворота. Фань Дэн-гао выбегает к воротам и спрашивает, что нужно. Оказалось, что пришел один из партийцев.

— Не стоит открывать! — говорит он из-за ворот.— Цзин-шэн велел передать тебе, что если дождь не перестанет, завтра с утра созывается

партийное собрание. Если же дождя не будет, то собрание состоится вечером.

Голос умолкает, и Дэн-гао слышит удаляющиеся шаги.

— Постой! — кричит он из-за ворот.— Если завтра не будет дождя, мне надо бы отпроситься.

— Велено быть всем, член уездного комитета сделает важное сообщение!

«Вот попался!» — думает Фань Дэн-гао, возвращаясь в дом. Лампу он уже давно задул, и в комнате полный мрак. Он ощупью добирается до стула, в изнеможении опускается на него и бормочет себе под нос:

— Ну маята!

23. НЕ УВИЛЬНУЛ-ТАКИ ОТ ПАРТСОБРАНИЯ

Встревоженный думами о том, что ему завтра предстоит, ночь с четвертого на пятое Фань Дэн-гао спал плохо. Дождь с рассветом не прекратился. Едва Дэн-гао встал с постели, как приходит Ма Ю-юй и снова просит его пожаловать к ним. Фань Дэн-гао уже думал о том, чтобы под предлогом участия в переговорах с семьей Ма увильнуть от партсобрания. Раз парторганизация решила ознакомиться с договором о разделе, то вопрос о том, насколько договор действителен, разрешится не раньше, чем через несколько дней, а партсобрание пройдет сегодня утром, и вся недолга. Вчера вечером Фань Дэн-гао сетовал, что и погода против него, однако сегодня он чувствует, что дождь ему на руку — из-за дождя партсобрание проведут утром, как раз в то время, когда должны состояться переговоры в семье Ма о разделе. Дэн-гао весьма рад приходу Ю-юя. Наспех умывшись, он выходит вместе с ним из дому.

— Если после завтрака погода разгуляется, идти мне с мулами или нет? — кричит ему вдогонку Сяо-цзюй, который страх как боится, как бы ему не пришлось идти к себе домой.

— Там видно будет! — отвечает Дэн-гао.

Дать мулам денек передохнуть, переждать партсобрание и снова отправить их за товаром — Фань Дэн-гао и над этим уже подумал, и поэтому не хочет отпускать Сяо-цзюя.

Когда Дэн-гао приходит в дом Ма, Цзюй-ин уже там — ее привел Ю-и. Ма До-шоу-«Бестолочь», Ю-юй-«Железная лапа», барышник Ли Линь-ху и Фань Дэн-гао с важным видом рассаживаются по местам.

— Изучила ты договор? — обращаясь к Цзюй-ин, спрашивает Фань Дэн-гао тоном, каким взрослые разговаривают с детьми.

— Изучила.

— Признала его действительным?

— Признала.

— А? Что?

Такой поворот для Фань Дэн-гао полнейшая неожиданность, и он никак не может уразуметь, к чему клонит Цзюй-ин.

— Признала, — повторяет Цзюй-ин, видя недоуменное лицо Дэн-гао.

— Что ты имеешь еще добавить?

— Ничего! На мой взгляд, все справедливо.

— Умница, детка! — говорит Ли Линь-ху.— Вот это дельный разговор! Дядюшке и твоему отцу не пристало в их летах обманывать тебя. Все дети нам свои, кровные, и уж нам, старикам, не приходится выделять никого среди них. Значит, если ты согласна с тем, как поделена земля и дом, то мы сегодня же поделим и остальную мелочь, утварь и обстановку.

Как делить утварь и обстановку, тоже уже все давно рассчитано — «Бестолочь» и «Железная лапа» провозились вчера до полуночи, состав-

ляя опись вещей, подлежащих разделу. Ма Ю-юй берет список и сперва зачитывает вслух, что и сколько всего надо делить, затем читает, кому что отходит. Читает он так быстро, что никто ничего не успевает запомнить. Конечно, у них и тут все хитро подстроено; например, некоторые лари, шкафы и стулья, перешедшие к ним по наследству от предков, у них стали приданым «Всегда права» и «Опасно тронуть», а вещи помельче, не сразу заметные для глаза, и вовсе не внесены в опись. После того как Ю-юй закончил чтение, Цзюй-ин спрашивают, есть ли у нее возражения. Цзюй-ин хочет только как можно скорее уйти от всей той грязи, которую она видела, живя в этой семье, и не желает пускаться в мелочные расчеты.

— Было бы с чем устроиться для начала — и ладно,— говорит она,— а чуть меньше или побольше — не велика важность! Крестьянин живет своим трудом, а на то, что тебе оставили по наследству, всю жизнь не проживешь! Сколько дадите, столько и возьму. Согласна на все.

— Ну и ладно,— говорит Ли Линь-ху.— Мы очень рады слышать это.

И Ма Ю-юй тотчас же передает Цзюй-ин опись вещей, которые ей причитаются.

«Ну и дела! — подумал Дэн-гао.— Я-то готовился к многодневному бою, а все, глядишь, разрешилось в какие-нибудь полчаса!» Итак, порученное ему дело завершилось, придется идти на собрание. Последнее время ему решительно не везет!

Почему же Цзюй-ин вдруг оказалась такой покладистой? Дело в том, что сегодня еще чуть свет Цзинь-шэн сообщил Юй-мэй, к каким выводам пришел партком, ознакомившись вчера вечером с договором, и велел известить об этом всю агитбригаду. Мнение парткома было таково: если договор справедливый, с ним следует согласиться независимо от того, фиктивный он или действительный; если же договор несправедливый, тогда соглашаться с ним не следует, опять-таки независимо от того, фиктивный он или действительный. Все члены парткома сошлись на том, что этот договор о разделе, составленный еще до ссоры с Цзюй-ин, более или менее справедлив. Если же поднять вопрос о вторичном разделе, то еще не известно, окажется ли в нем и эта доля справедливости. Что же касается участка на Рукоятке ножа, то был придуман новый способ уладить это дело, на этот раз без посредства Цзюй-ин. Юй-мэй прибежала в дом с флагштоками, как раз когда там уже был Ю-и, пришедший за Цзюй-ин. Юй-мэй рассказала им о решении парткома и сразу побежала к Фань Дэн-гао, но тот к тому времени уже ушел вместе с Ю-юем. Вот почему и случилось, что Цзюй-ин уже знала обо всем этом, а Фань Дэн-гао не знал.

Окончив переговоры о разделе, семейство Ма пригласило Фань Дэн-гао позавтракать, а после завтрака Ли Линь-ху стал помогать Ма Ю-юю отбирать для Цзюй-ин домашнюю утварь. Видя, что ему здесь больше нечего делать, Фань Дэн-гао попрощался с «Бестолочью» и покинул дом Ма. Едва он успел выйти за ворота, как ему встретилось несколько партийцев, идущих на собрание к дому с флагштоками. Они окликнули его и предложили присоединиться к ним, и Фань Дэн-гао, которому уже нечем было отговориться, осталось лишь, ни слова не говоря, примкнуть к ним.

Собрание, как и всегда, происходит в северной комнате первого двора дома с флагштоками. Вначале несколько слов о целях собрания сказал Цзинь-шэн.

— Мы собрались сюда для того, чтобы немного заняться укреплением наших партийных рядов,— говорит Цзинь-шэн.— Возможно, мы не кончим и в течение одного-двух дней, так что прошу запастись терпением!

Правда, в уезде было решено подождать с этим делом до зимнего затишья в сельскохозяйственных работах, но мы уже теперь столкнулись с тем, что неправильные взгляды некоторых наших товарищей мешают нам успешно работать. Поэтому вчера вечером мы вместе с заместителем секретаря уездного комитета Лю и решили, что сейчас поправим лишь тех товарищей, чьи взгляды особенно мешают нам в работе, а зимой своим чередом проведем всестороннюю проверку взглядов наших партийцев. Слово предоставляется товарищу Лю.

Лю начинает издалека — с «капиталистического и социалистического пути развития». «Этого еще не хватало,— думает Дэн-гао,— теперь-то уж наверняка без головной боли не обойдется». А раз так, он и не хочет слушать, о чем говорит товарищ Лю — все, о чем бы он там ни говорил, думает Фань Дэн-гао, способно лишь вызвать головную боль. Но, видимо, слова товарища Лю способны оказать весьма сильное действие — помимо своей воли Фань Дэн-гао слышит: «...таковы, например, взгляды и поведение Фань Дэн-гао и Юань Тянь-чэна». Дэн-гао и не слышал, о каких взглядах и поведении говорил товарищ Лю, однако он догадывается, что вряд ли там могла идти речь о каких-либо хороших взглядах и поведении. Услышав, что назвали его имя, он настораживается и уж не пропускает больше ни слова из того, что говорит Лю.

— Коммунистическая партия,— продолжает Лю,— ведет народ по социалистическому пути. Что это за коммунист, если он не хочет идти по этому пути? Каждый коммунист должен дать ясный ответ: хочет ли он идти по этому пути и подавать пример беспартийным? Делал ли он это в прошлом и как делал? Каким путем он намеревается идти в дальнейшем? И прежде всего должны ответить на эти вопросы люди, допустившие серьезные идеологические ошибки и чье поведение не соответствует званию члена партии. Вопрос стоит так: быть или не быть им в партии? Чтобы не было никаких сомнений на этот счет! Надеюсь, товарищи поймут это и со всей серьезностью отнесутся к самопроверке.

— Объявляю перерыв,— говорит Цзинь-шэн после того, как товарищ Лю закончил свое выступление,— а затем откроем прения. Если бы погода и разгулялась, земля все равно так размокла, что работать в поле нельзя, так что приготовьтесь к тому, что собрание продлится весь день. Если и завтра будет дождь, продолжим днем, а если дождя не будет, днем поработаем в поле и вновь соберемся вечером.

После перерыва Фань Дэн-гао уже ко всему готов. Поскольку заместитель секретаря уездного комитета упомянул в своей речи его имя, ему ничего не остается, как выступить первым. Однако такой уж он человек — когда ему угрожает какая-нибудь неприятность, он всегда пытается отвлечь от себя внимание придирками и нападками на других.

— Зачем ходить вокруг да около!— говорит он.— Видимо, это собрание только из-за меня и устроено!

Это явный выпад против парткома, секретаря парторганизации и заместителя секретаря уездного комитета. Услышав эти слова, товарищ Лю говорит:

— Разрешите перебить! Сегодняшнее собрание и собрано главным образом для того, чтобы товарищам Фань Дэн-гао и Юань Тянь-чэну в первую очередь дать возможность самим осудить свои ошибочные буржуазные взгляды. А что потом выступят с самокритикой и остальные товарищи — это дело второе. Я же очень ясно сказал об этом в своем выступлении, а вовсе не ходил вокруг да около! Прошу не передергивать! Продолжайте, товарищ Дэн-гао.

Фань Дэн-гао было решил, что одного зайца он уже убьет таким началом, а потому приготовил про запас совсем иные речи, нежели те, которых ждет от него собрание. Он вовсе не собирался серьезно говорить

о своих ошибках, и теперь, когда товарищ Лю ясно подтвердил, чего от него хотят, Дэн-гао смешался и не вдруг нашелся, что ответить. Немного подумав и сообразив, как, примерно, надо говорить, он продолжает:

— Когда мы только начинали работать на селе...

— А ты покороче!— встает тут с места один из старых членов партии.— Были у тебя заслуги, когда мы только что начинали работать на селе,— знаю! Только сейчас ты здесь не для того, чтобы хвастать заслугами, а от тебя требуют, чтобы ты осудил свои буржуазные взгляды!

— Но вы должны все же дать мне слово сказать!— уже не чувствуя в себе былой самоуверенности, почти умоляюще просит Дэн-гао.

— Хорошо!— говорит председатель собрания Цзинь-шэн.— Прошу не перебивать, пусть говорит, как может.

— Начинал я так, — продолжает Дэн-гао, ободренный: — партия хотела, чтобы я вел работу по сведению счетов с помещиками, — я вел работу по сведению счетов с помещиками. В те времена еще мало кто осмеливался брать землю, отнятую у помещиков, партия захотела, чтобы я первым взял такую землю — и я первым взял ее. Потом стали говорить, что земли мне выделили слишком много, партия захотела, чтобы я вернул часть земли, — и я вернул. Прошла земельная реформа, партия захотела, чтобы я отдал все силы производству, — и я отдал все силы производству. Теперь я получаю больше доходов, чем другие, и опять стали говорить, будто я заражен буржуазными взглядами. Образования у меня почти никакого, и о чем идет речь, я никак не пойму. Поэтому лучше всего спросить у партии: чего она опять хочет от меня?

Многим уже давно стало тошно смотреть, как ломается Дэн-гао, и когда он умолкает, чуть ли не десять человек вскакивают сразу со своих мест и требуют слова, даже не интересуясь, кончил он говорить или нет. Видя, что в их числе находится и председатель кооператива Чжан Юэ-и, Цзинь-шэн решает, что он, как человек с большим партийным стажем, сможет, пожалуй, хорошо одернуть Фань Дэн-гао.

— Ладно,— указывает на Чжан Юэ-и Цзинь-шэн,— говори первый!

— Я вот что скажу тебе, — говорит старик Юэ-и: — уж больно ты сердит на партию, а не ее надо винить в этом! Партия ни в чем не виновата перед тобой, и если ты вздумал порыться в прошлом, то я помогу тебе. Старых партийцев, начинавших работу на деревне, в этой комнате тоже немало — не на тебе свет клином сошелся! Помещика Лю Лао-у скинули всей деревней, в том числе и остальные партийцы, а не ты один. Тех, кто не хотел брать помещичьей земли, было меньшинство, а не большинство. После того как Лю Лао-у расстреляли и стали делить землю, большую часть земли тебе отвели на Верхней отмели. Ты тогда все плакался, что тебя эксплуатировали больше других, а потому и должен получить больше других, так что пришлось дать меньше людям, что живут на Песчаном овраге,— а ведь два поколения их гнули спину на помещиков Лю. Уж сколько я ни ругался тогда с тобой, все равно осталось по-твоему. А как ты вел себя во время укрепления партийных рядов, когда подходила к концу аграрная реформа? Тебе предложили вернуть часть земли, а ты прикинулся больным, лег в постель и отказывался от всякой работы! И отдал в конце концов всего несколько му песка на Песчаном овраге! Ты говоришь, после аграрной реформы все силы отдавал производству, — ну а другие-то спали в это время, что ли? В том то и дело, что землю ты взял себе получше, чем у других, оказался в лучшем, чем другие, положении, а дальше и пошло: завел себе мула, землю дал обрабатывать Хуан Да-няню и Ван Мань-си, сам стал гонять мула и приторговывать на стороне. Потом вместо одного мула стало два, ты нанял в погонщики Сяо-цзюя, а сам, глядишь, и хозяином стал! Подумай сам, на что это похоже. Раньше ты гонял мулов у Лю Лао-у, я пахал и сеял

для него — мы оба были батраками и наперечет знали, у кого сколько грошей за душой! А сравни себя теперь с любым из нас — не ты ли получил больше всех при освобождении? И еще сравни себя с любым из нас — не ты ли один недоволен партией? А почему недоволен? Да потому что, с позволения сказать, нахватал слишком много и наживаешься за счет других, а наживаться за счет других — это и есть буржуазная идеология. Раньше ты гонял мулов для Лю Лао-у, а теперь Сяо-цзюй гоняет мулов для тебя — вот и выходит, что ты пошел по дорожке Лю Лао-у! Партия запрещает тебе это, отсюда и твое недовольство партией. Ты мой товарищ, был мне вместо брата родного, мы дружим с тобой уже больше двадцати лет, и как твой товарищ и друг я не хочу спокойно смотреть, как ты становишься вторым Лю Лао-у! Для того ли мы убрали Лю Лао-у, чтобы позволить тебе в качестве нового Лю Лао-у хозяйничать в Саньливани? Прошу тебя крепко подумать над тем, по какому же пути ты пойдешь.

После Чжан Юэ-и высказывают свое мнение о Фань Дэн-гао и еще несколько товарищей. Затем Фань Дэн-гао просит слова еще раз, но Цзинь-шэн советует ему обдумать все хорошенько и выступить во второй половине дня, а затем предоставляет слово Юань Тянь-чэну.

Юань Тянь-чэн, видя, что все настроены весьма серьезно и попытки увильнуть от прямого ответа были бы неуместны, решает взвалить все свои грехи на свою жену «Проныру». Он говорит, что в этом году при вступлении в кооператив сам он наравне со всеми собирался оставить в личном пользовании только двадцать процентов земли; однако «Проныра» подала ему мысль оставить за собой половину под тем предлогом, что эта земля принадлежит его младшему брату, служащему в армии. А ему не хватает духу обидеть жену отказом, вот почему и на этот раз он послушался ее. В ответ на это собрание требует, чтобы Тянь-чэн прямо сказал, чье руководство в дальнейшем он намерен признавать — партии или жены.

— Конечно, партии,— отвечает Тянь-чэн,— только иногда я все же буду советоваться с женой.

Однако собрание считает, что дать такое обещание — все равно, что не дать никакого.

Уже полдень. Цзинь-шэн объявляет перерыв, с тем чтобы после обеда собраться снова.

24. УДИВИТЕЛЬНЫЕ СОВПАДЕНИЯ

Возвратившись домой, Дэн-гао не сказал ни слова домашним и не позволил Лин-чжи подать себе обед: он молча сам наполнил свою чашку и отошел есть к воротам.

Съев всего лишь чашку риса, Дэн-гао отодвигает пустую чашку, встает и закуривает. Лин-чжи хочет узнать, все ли еще отец упорствует в своих заблуждениях, и спрашивает с невинным видом:

— О чем же говорили сегодня на собрании?

— Читали прописи!— бурчит в ответ Дэн-гао.

— Какие прописи?

— Душеспасительные прописи!

«Нет,— думает Лин-чжи,— еще не вылечился!»

К Дэн-гао с чашкой в руках подходит Ван Сяо-цзюи.

— Погодка-то разгулялась!— говорит Сяо-цзюй, которого занимает лишь один вопрос: идти ему с мулами или нет.— Кто завтра пойдет с мулами — ты или я?

— Никто. Я продаю мулов.

— Почему?

— Хватит с меня! Капитализм, вишь, развел.

Не дожидаясь дальнейших расспросов Сяо-цзюя, Дэн-гао уходит, дымя папиросой.

Жена Дэн-гао теряется в догадках, и Лин-чжи, притворяясь, что ничего не знает, вынуждена отвечать на вопросы матери первое, что ей взбредет в голову. Так они переговариваются некоторое время, пока, наконец, за Лин-чжи не приходит Ли Ши-цзе, и она не уходит вместе с ним.

Когда Лин-чжи и Ли Ши-цзе приходят в дом с флагштоками, в северной комнате уже снова полным ходом идет партсобрание. Лин-чжи должна составить общий список доходов, подлежащих распределению, и вовсе не намерена слушать, о чем говорят люди в северной комнате. Однако, хочет она этого или не хочет, некоторые слова из северной комнаты все же доносятся до нее. Так, она слышит, как ее отец громко говорит: «Но зачем уже пришивать человеку обвинения? Разве я когда-нибудь был против социализма? Пока существует система частной собственности, вы не имеете оснований возражать против того, что я единолично веду свое хозяйство. А может быть, я отдам свою собственность в один прекрасный день, когда мы вступим в социализм!» Лин-чжи чувствует, что в самой основе своей этот довод неверен, но сказать, в чем именно состоит его ошибочность, так и не может. Она уже давно подумывала о том, как бы при удобном случае затеять с отцом спор о двух путях развития — капиталистическом и социалистическом, и теперь ей становится ясно, что убедить отца вовсе не так просто, как это ей казалось. Лин-чжи задумалась было о том, как теоретически можно возразить отцу, но тут до нее доносится голос Чжан Юн-цина: «Значит, коммунист может спокойненько развивать у себя капиталистическое производство, а после того, как народ построит ему социализм, отдаст свою собственность! Как только тебе не стыдно! Это что же получается — партия руководит массами или массы — партией?» Затем голос Цзинь-шэна: «Именно массы — но массы, руководимые партией — строят социализм, а не то что сперва дождемся, пока другие построят нам социализм, а потом отдадим свою собственность. Если все разведут у себя капитализм, кто же будет строить социализм!»— «Нечего молоть чепуху, Дэн-гао!— говорит кто-то третий.— Говори ясно: хочешь или не хочешь идти по пути социализма?»— «Разве я говорил, что не хочу?»— «Тогда почему не вступаешь в кооператив?»— «ЦК указывал на необходимость соблюдения принципа добровольности, вы не имеете права принуждать!»— «Соблюдать принцип добровольности» значит «дождаться, пока массы станут сознательными». Ты кто, в конце-то концов, коммунист или несознательный крестьянин? Если ты хочешь быть несознательным крестьянином, то партия может подождать, пока ты станешь сознательным, а вот дать тебе прикрываться званием члена партии — этого партия уже не может!» Ответа отца Лин-чжи уже не слушает — она понимает, что ему-таки вправили мозги, и в душе восхищается умом людей, которые это сделали. Затем ее мысли мало-помалу возвращаются к списку доходов, который является предметом ее забот. Составлять такой список совсем не то, что работать в поле мотыгой или жать хлеб — здесь надо сосредоточенно думать. Одновременно и писать, и слушать не очень-то легко. Лин-чжи много раз сбивается и делает ошибки, но все же они с Ли Ши-цзе кончают работу раньше, чем закрывается партсобрание.

Еще до захода солнца Лин-чжи выходит из дома с флагштоками и вдруг вспоминает, что Ю-и так до сих пор и не представил объяснительной записки комитету союза молодежи. Она тотчас поворачивает к дому семьи Ма. Во дворе Лин-чжи видит Цзюй-ин — она перетаскивает вещи в восточную комнату.

— Ю-и дома? — шепотом спрашивает Лин-чжи у Цзюй-ин.

— Дома,— отвечает Цзюй-ин, показывая рукой на юго-восточную комнатушку.

Лин-чжи подходит к окну комнатушки и стучит два раза в оконную раму. Ю-и сразу откликается и просит ее войти.

В комнатушке так сумрачно, что когда Лин-чжи входит, она не сразу видит и самого Ю-и; она замечает его лишь некоторое время спустя — он лежит на кровати, стоящей у южной стены комнаты. Эта маленькая комнатка имеет одну дверь и всего лишь одно маленькое окошко, выходящие на север, да и то прямо перед ним высится стена восточной части дома. Правда, раньше в стене, у которой стоит кровать Ю-и, было еще два окна, выходившие в поле, однако из страха, что таким путем воры могут забраться к нему в дом, «Бестолочь» давно уже забил эти окна досками и заделал кирпичом. Комната заставлена какими-то вещами, едва различимыми в полумраке: вот кровать, придвинутая к стене амбара, рядом с изголовьем — несколько чанов, на чанах громоздятся какие-то ящики, а на них, в свою очередь, — плетеные бамбуковые корзины; остальную мелочь просто не разглядеть.

— Ты что же, среди дня — и в постели? — спрашивает Лин-чжи.

— Пропади все пропадом!

— Это что же, из-за записки?

— Какое там записка — хуже!.. Мой дядюшка...

Но тут, откинув дверные занавески, в комнату входит «Всегда права».

— Иди скорей, отец зовет тебя!— говорит она, сделав Ю-и знак рукой.

Ю-и поднимается с кровати.

— Подожди минутку,— говорит он Лин-чжи,— я мигом обернусь!

— Там серьезное дело,— говорит «Всегда права»,— мигом-то, пожалуй, не выйдет. Давай скорей!

— Тогда я пойду,— только и остается сказать Лин-чжи после грубого замечания «Всегда права»; тем более, что Ю-и, как обычно, и не пытается возражать матери.— Когда напишешь записку, передай прямо в комитет.

С этими словами она покидает комнату вслед за Ю-и и одна выходит за ворота. Лицо «Всегда права» за ее спиной искажается от злобы; кажется, еще немного, и вдогонку Лин-чжи раздастся свирепая брань!

Лин-чжи, придя домой, застает во дворе Ван Сяо-цзюя и Ли Линь-ху — они осматривают мулов Дэн-гао; немного погодя подходит и сам Фань Дэн-гао, вернувшийся с собрания.

— Что стоит пара таких мулов, как по-твоему?— спрашивает Фань Дэн-гао у Ли Линь-ху.

— Сколько б ни стоили, ведь все равно не продашь,— отвечает Ли Линь-ху.

— Продам, честное слово, продам!

— Ну, я все равно не при деньгах. А вот покупателя на них найти могу, если ты и вправду продаешь их.

— Так ты уж постарайся!

Ли Линь-ху, поговорив еще немного для приличия, прощается и уходит.

Выше уже упоминалось, что Сяо-цзюй тоже был когда-то перекупщиком. Услышав сегодня утром от Фань Дэн-гао, что тот собирается продать своих мулов, Сяо-цзюй хотя и не поверил, что хозяин говорит это всерьез, но все же подумал, что если, паче чаяния, Дэн-гао и впрямь захочет продать мулов, то упускать такой случай поднажиться не следует. Так как Фань Дэн-гао был хозяином, а он — его работником, то взять на себя роль посредника и получить за это деньги ему было не вполне удобно, и тогда в качестве посредника Сяо-цзюй решил привлечь

Ли Линь-ху. Они договорились, что надо будет воспользоваться моментом, когда Фань Дэн-гао вернется с собрания, чтобы полушутя-полусерьезно завести разговор о продаже мулов и узнать истинные намерения Фань Дэн-гао, а затем уже заняться делом всерьез. Вот почему Ли Линь-ху и пришел смотреть мулов Фань Дэн-гао как раз в то время, когда тот должен был вернуться с собрания.

После ухода Ли Линь-ху Лин-чжи зовет отца в дом и спрашивает:

— Папа, зачем ты хочешь продавать мулов?

— Люди говорят, что, держа у себя мулов, я развожу капитализм, не лучше ли побыстрей продать их и вступить на социалистический путь?

— Как будто нельзя идти по пути социализма, не продавая мулов!

— Это как же — не продавая?

— Вступить в кооператив!

— Кто же тогда будет мне гонять мулов?

— Да и мулов туда же!

— Уж больно ты расщедрилась! У них там как вступали? Кто внес дрянного осла, кто и того не внес, а мне вступать — так отдай им сразу двух мулов! Если хотят, чтобы я внес мулов, пусть все вносят мулов! А чтоб я один внес — нет уж!

— Но не все же сумели...

— Не все сумели так ловчить после освобождения! Не все сумели получить такую, как у меня, возможность разводить у себя капитализм! Это ты хочешь сказать? Люди уже попрекали меня этим — теперь ты взялась попрекать! Так, что ли?

— Ну, как тебе сказать?— помолчав, говорит Лин-чжи.— Ведь по какой дорожке ты пошел!..

Как ни хочется Дэн-гао отвести душу, но он так и не находит маломальски разумных доводов, чтобы возразить дочери. А Лин-чжи тем временем продолжает убеждать его:

— Папа! Ну, раз ты сам уже согласен на то, чтобы вступить в кооператив, неужели тебе жалко расстаться с мулами? К тому же и кооператив вовсе не берет твоих мулов за здорово живешь! Там их справедливо оценят и будут платить тебе десять процентов в год — ведь это почти одно и то же, что продать их, а деньги положить в банк.

— Поработала в кооперативе всего три дня,— не зная, сердиться ему или смеяться, говорит Дэн-гао,— а уже ведешь себя как представитель от кооператива. Ну, точь-в-точь разговариваешь со мной, как члены кооператива!

Жена Дэн-гао видит, что морщины на лбу Дэн-гао заметно разгладились, и у нее сразу отлегло от сердца.

— Кто тебя дергал за язык, когда соглашался отдать ее в кооператив?— спрашивает она в надежде хоть немного развеселить Дэн-гао.— Раз отдал — пиши пропало, не наша уже Лин-чжи!

— Раз папа согласен вступить в кооператив,— говорит Лин-чжи,— то теперь кооператив и мы — одно целое. Поэтому я и за кооператив ратую, и на папу рассчитываю. В последние дни мы только тем и занимаемся в агитбригаде, что во избежание всяких недоразумений разъясняем крестьянам: если они придут в кооператив со скотом, то никакого убытку на этом не понесут. А если отец, коммунист, перед вступлением в кооператив продает мулов — как тут не быть недоразумениям? И если по примеру отца начнут продавать скот все, кто намерен вступить в кооператив, то тут уж он восстановит против себя и всю парторганизацию, и союз молодежи, и весь кооператив!

— Я продаю мулов вовсе не потому, что боюсь не получить за них возмещения в кооперативе,— говорит Дэн-гао.

— Но как же тогда объяснишь это людям?— спрашивает Лин-чжи.—

Если к тому же ты не боишься убытка, зачем ты это делаешь? Этого я никак в толк не возьму.

— Я тоже сбился с толка от всего шума, который подняли вокруг меня,— отвечает Дэн-гао.— Я-то вначале что хотел? Продать мулов и положить деньги на текущий счет. А если действительно вступать в кооператив — на что они мне, эти деньги?

— Так не продавай мулов, а?— говорит Лин-чжи.

— У меня сейчас ум за разум заходит,— отвечает Дэн-гао,— дай мне хорошенько подумать, тогда и поговорим. А ты пока не донимай меня, ладно?

Из этих слов отца Лин-чжи догадывается, что хотя отец уже колеблется, он еще не решил окончательно вступать в кооператив.

— Ответь еще только на один вопрос, — говорит она. — Партсобрание закончилось или нет?

— Почему ты об этом спрашиваешь?— говорит Дэн-гао.— Не бойся, меня еще уморят до смерти!

Теперь Лин-чжи знает, что собрание еще не закончилось. Она улыбается и больше ничего не говорит. «Если только собрание будет продолжено,— думает Лин-чжи,— то уж будет кому донять тебя!»

Время уже позднее. Лин-чжи ложится спать, но никак не может заснуть. Три мысли особенно не дают ей покоя: список, составленный ею сегодня, еще далеко не свободен от недочетов; отец еще не выздоровел окончательно; о чем хотел сказать Ю-и, когда вошла его мать и прервала их разговор?

Наконец, Лин-чжи все же заснула, но сон ее неглубок, и просыпается она еще до того, как начинает светать. Она одевается и выходит во двор — надо взглянуть на часы, которые стоят на столике в прихожей возле двери в комнату отца. Она уже протягивает руку, чтобы раздвинуть занавески, но вдруг отдергивает ее. Эти часы куплены отцом на деньги, вырученные от торговли. Если отец уже проснулся, думает Лин-чжи, он непременно спросит: «Если бы я не разводил у себя капитализм, по каким бы часам ты узнавала время?» «Ну и ладно,— говорит себе Лин-чжи,— и не буду смотреть по твоим. Вот построим социализм — тогда у каждого будут свои! А сейчас дойду до дома с флагштоками и там посмотрю на часы!»

Когда Лин-чжи входит в первый двор дома с флагштоками, она видит, что в окнах восточной и западной комнат горит свет. «Неужели Ли Ши-цзе уже здесь?»—недоумевает она. Едва она успевает так подумать, как из восточной комнаты раздается возглас: «Кто идет?» и затем — щелканье ружейного затвора. «Свои, свои», — поспешно отзывается Лин-чжи и входит в комнату. Там за конторкой с винтовкой наперевес стоит Юй-шэн. При виде Лин-чжи он опускает винтовку. Лин-чжи подходит к конторке, на которой стоят часы: всего двадцать минут пятого. Возле часов лежит записная книжка, на ней — угольник.

— Ты что это встала в такую рань?— спрашивает Юй-шэн.

Юй-шэн только в четыре часа проводил в дозор последнее отделение ополченцев и никак не предполагал, что кто-нибудь может появиться здесь в такое время. Поэтому он, естественно, и насторожился, услышав, что во двор кто-то зашел.

— Составляла вчера список,— говорит Лин-чжи,— вот и пришла кое-что подправить. Часов у меня нет — откуда мне знать, что сейчас только пятый час?.. А ты почему дежуришь в этой комнате?

— Да вот хотел заодно разобраться кое в чем по книжке,— отвечает Ю-шэн,— а начнешь возиться в ополченской — чего доброго, всех разбудишь.

Только теперь Лин-чжи замечает, что на одной из страниц раскры-

той книжки нарисованы какие-то шестерни и окружности, а в угольнике, лежащем на ней, имеются отверстия, в одно из которых пропущена игла. Лин-чжи слышала разговоры о том, что причиной развода Юй-шэна и Сяо-цзюнь была ссора из-за какого-то угольника с отверстиями, и теперь Лин-чжи догадывается, что это наверняка и есть тот самый угольник. Она снимает угольник с книжки и начинает рассматривать чертеж.

— Не смейся,— говорит Юй-шэн.— Конечно, нам далеко до вас, образованных, по части всяких тонкостей!

Лин-чжи поглядела-поглядела и видит, что чертеж сделан хотя и грубовато, но вовсе не без смысла.

— Изобретаешь машину?— спрашивает она.

— Какую там машину,— отвечает Юй-шэн,— когда я и в тех, что увижу, толком разобраться не могу! Я только хочу немножко переделать наши водоналивные колеса. Ведь мы роем канал, верно? После того как мы его проведем, колеса на Нижней отмели станут не нужны и мы сможем перенести их оттуда на Верхнюю отмель, чтобы качать воду уже из канала. Там глубина будет меньше, а чем меньше глубина, тем меньше и легче должно быть колесо.

Лин-чжи спрашивает, над чем именно он сейчас ломает голову, и тогда Юй-шэн, переворачивая страницу за страницей, начинает объяснять ей свои чертежи. Лин-чжи видит, что зубцы нарисованных им шестерен, пожалуй, длинноваты, и говорит:

— Нельзя делать зубцы такой длины!

— В действительности-то они у меня короче,— объясняет Юй-шэн,— это все потому, что отверстия в линейке расположены так, что зубцы нельзя начертить короче.

Лин-чжи думает про себя, что Юй-шэн и вправду голова, каких мало; и если бы не его необразованность, он и впрямь был бы парень хоть куда. Она берет в руки угольник и рассматривает его — действительно, эта штука очень хороша для приблизительных измерений, если работать без карандаша и бумаги, но как чертежное приспособление она невозможно груба. Лин-чжи приходит на ум, что, поскольку Юй-шэн старается для кооператива, было бы хорошо отдать ему на время чертежные инструменты, которыми она пользовалась во время обучения в школе.

— Этот наугольник не совсем подходит для того, чтобы делать чертежи,— говорит она,— для этого я могу одолжить тебе свои чертежные инструменты.

С этими словами она уходит домой за инструментами.

Вернувшись, она объясняет Юй-шэну назначение каждого инструмента.

— Спасибо!— говорит Юй-шэн.— Это для меня просто находка.

К этому времени уже совсем рассвело. Охрана помещения снимается, и Юй-шэн уходит домой отдыхать. Лин-чжи садится за конторку переправлять свой список.

25. ТРИ КАРТИНЫ

Десятое сентября — день отдыха. Утром этого дня молодежь, состоящая в кооперативе, оборудует сцену во дворе дома с флагштоками. Устраивается эта сцена очень просто — для этого надо только вынести все столы народной школы, составить их, накрыть цыновками, а сзади повесить занавес, скрывающий дверь северной комнаты,— и сцена готова. Такая сцена ставится почти каждые десять дней — иногда для нужд очередного собрания, а иной раз и в качестве театральной. Дело это привычное и занимает не больше десяти минут. На этот раз, кроме обыч-

ного оборудования, на сцене установлены три большие картины, написанные товарищем Ляном. Это новшество сразу привлекает внимание Цин-мяо, Ши-чэна, Ли-мина, Лин-лин и прочей детворы: едва успели соорудить сцену, а они уж тут как тут, рассматривают картины. Кто постарше, сразу поняли, что нарисована Саньливань и, оживленно жестикулируя, стали объяснять маленьким. После этого все побежали в деревню, наперебой рассказывая каждому встречному и поперечному, что вот, мол, «на сцене стоят три картины, на всех нарисована Саньливань, на одной Саньливань с водой, на другой — с машинами!»

После завтрака к дому с флагштоками мало-помалу начал сходиться народ — одни шли, потому что предстояло собрание, других притащили дети. Пока в северной комнате шло предварительное совещание членов партии, все собрались у картин на первом дворе.

Из жителей деревни никому еще не приходилось видеть Саньливань на полотне, и теперь, глядя на свою деревню, изображенную Ляном еще более прекрасной, чем в жизни, все наперебой хвалят картины. Первая картина, которую Лян показывал еще второго числа вечером на собрании членов партии и союза молодежи, повешена слева у западного края сцены. На картине, висящей в центре, изображен пейзаж ранней осени: пышные нивы, большой оросительный канал, идущий от Верхней отмели наискось к деревне, а затем от моста через Песчаный овраг, поворачивающий к югу вдоль подножия горы у Нижней отмели. На канале, там, где он проходит по северной части Верхней отмели, установлено семь водоналивных колес. Русло канала в той его части, которая проходит по землям Нижней отмели, слегка приподнято над прилегающей к нему местностью — вода течет между подножием горы — с одной стороны и искусственной земляной насыпью — с другой. На третьей картине, висящей справа, изображен летний пейзаж: горы и Песчаный овраг поросли густым лесом, мимо деревни с севера на юг по невысокой седловине горы протянулось шоссе, по шоссе бегут машины, вдоль шоссе выстроились столбы электропередачи. И вокруг деревни, и в самой деревне — всюду разросся лес, сквозь листву деревьев, что пониже, там и сам виднеются крыши новых домов. Вся земля возделана по строго определенному порядку — половина Нижней отмели занята спелыми хлебами, остальная земля разбита на две части; одна отведена под озимые, другая под огороды. На полях Нижней отмели видны уборочные машины, на Верхней отмели травопольные машины пропалывают посевы, совсем как в новых государственных хозяйствах. Картины снабжены надписями: «Саньливань сегодня», «Саньливань на будущий год», «Социалистическая Саньливань».

Вторая картина, повидимому, вызывает у зрителей особый интерес. «С такой уймой воды,— замечает кто-то,— и засуха вовек не страшна!»— «Если в этом году пророю канал, — говорит второй, — так уже в будущем году все так и получится!»—«А что урожаи вдвое больше будут, — откликается третий, — и сомневаться нечего...» Женщины же, указывая на канал в том его месте, где он проходит мимо деревни, переговариваются: «Здесь можно будет мыть овощи.» — «А здесь, пониже, и белье полоскать».—«А мне и за водой ходить не придется — вот она, у самых ворот». Загадывают на будущее и ребятишки: «Здесь купаться...»—«Здесь лягушек ловить...»— «А здесь — рыбу».

Во двор входит сторож на огородах Ван Син. Так как огороды ни на день нельзя оставлять без присмотра, старику приходится отдыхать поочередно с одним из сторожей, через выходной; поэтому из толпы зрителей тотчас раздаются голоса:

— Старику не всегда может так повезти — увидеть такое! Пустите его посмотреть все хорошенько!

Все просят Ван Сина пройти в передние ряды.

— Эту я уже видел,— говорит Ван Син, указывая на левую картину,— видел раньше всех вас! Это та самая, которую рисовали на моем огороде.

— Так-таки на твоем?— поддразнивает старика кто-то из зрителей.

— Я и сам дивлюсь,— рассмеявшись, отвечает Ван Син,— только мне все время сдается, будто он — мой! Ну, словно мое дите! Товарищ Лян,— продолжает он, взглянув на вторую картину,— куда же ты дел водоналивные колеса с моего огорода?

— Да на что они теперь, раз вода пошла по каналу?— говорит Лян.

— Ах, вот что,— опять смеется старик,— тут все нарисовано так, словно канал уже прорыт. Канала-то я и не заметил!

— Тебе бы только в свой огород глядеть!— опять поддразнивает кто-то старика.

Старик взглянул на третью картину, видит, что на месте его огорода растет пшеница, а огород передвинут чуть восточнее входа в Песчаный овраг, и опять говорит Ляну:

— Так, однако, никуда не годится! Если передвинуть огород, покупателям из других мест будет очень неудобно ходить за овощами.

— А разве ты не видишь этой автодороги, что ведет к реке? — спрашивает Лян, указывая на нижний край картины. — Если бы я чуть раздвинул рамки картины, здесь как раз была бы река, а к тому времени через нее уже смогли бы построить мост.

— Уж больно много канители — каждому ходить всякий раз на огороды! Куда лучше, если бы кто-нибудь один объезжал все дворы с ручной тележкой,— говорит кто-то.

— Да бросьте вы говорить о таких мелочах!— откликается другой.— Уж будьте покойны — к тому времени, конечно, что-нибудь придумают.

Наконец предварительное совещание в северной комнате заканчивается, и его участники — партийцы, ведущие работу на селе и в кооперативе, заместитель секретаря уездного комитета партии Лю и приглашенные товарищи — выходят из-за занавеса, спускаются со сцены и располагаются возле нее. На сцене в качестве председательствующего остается лишь Цзинь-шэн. Он объявляет собрание открытым и предоставляет слово Чжан Юн-цину: тот обращается к крестьянам с призывом вступать в кооператив и участвовать в сооружении канала. Говорить Чжан Юн-цин умеет не хуже любого актера, и во время его выступления, уж будьте спокойны, никто не заснет. Он начинает с двух путей развития и убедительно доказывает, что только социалистический путь является столбовой дорогой славы, затем по картинам товарища Ляна объясняет, как надо идти к социализму, и, наконец, переходит к очередной задаче дня — еще более организованно развивать производство, то есть расширить кооператив и прорыть канал. В своей речи Чжан Юн-цин часто вступает в прямую беседу со своими слушателями и этим делает свое выступление еще живее. «Верите вы в это?» — спрашивает он. «Верим!»— отвечают ему.— «Возьмемся за дело?»— «Возьмемся!» Если бы кто-либо захотел взглянуть, как держат себя люди, упорно заявлявшие о своем нежелании вступать в кооператив или рыть канал, он обнаружил бы среди прочих зрителей где-то в задних рядах притихшего Ма Ю-юя и перехватил бы его взгляд, обращенный, однако, не на Чжан Юн-цина, а на поднятые в знак согласия с его словами кулаки Хуан Даняня и Ван Мань-си. После того как Чжан Юн-цин кончил, поднимается со своего места Цзинь-шэн.

— Мы все время твердим, что буржуазные взгляды, проявляющиеся в стремлении обогащаться без зазрения совести, мешают нам идти к социализму. Но у нас редко бывает так, чтобы мы сами задумывались над

тем, числится ли такой грех за нами самими. Недостаточно часто думают об этом не только беспартийные, но даже наши члены партии, и в результате отдельные товарищи подпали под влияние буржуазной идеологии. Я говорю о таких наших старых товарищах, как Фань Дэн-гао и Юань Тянь-чэн. За последние дни наша парторганизация помогла им осознать свои ошибки и было решено, что на этом собрании они выступят перед всеми с самокритикой. Так вот, сейчас они и выступят перед нами. Кто из вас первый?— уже обращаясь к Фань Дэн-гао и Юань Тянь-чэну, спрашивает Цзинь-шэн.

— Давайте сперва я,— отвечает Фань Дэн-гао и всходит на сцену.

Еще не так давно — в период борьбы за снижение арендной платы за землю и ссудного процента — Фань Дэн-гао, если он начинал говорить, слушали даже с большей охотой, чем Чжан Юн-цина. Однако в последние годы, когда он поднимался на трибуну, никто и слушать его не хотел: он так изменился за это время, что уже ни на что не был способен, кроме неискренних назидательных речей. Вот почему, услышав, что Дэн-гао выступает с самокритикой, мало кто поверил, будто он и на сей раз не будет выставлять себя старым партийцем-кадровиком, безупречным во всех отношениях. Сомневается в отце и Лин-чжи — что если он не признается во всем чистосердечно и все будут вынуждены махнуть на него рукой? Но вот Дэн-гао начинает:

— За последнее время я наделал ошибок и сейчас хочу поговорить с вами об этом!

Едва Дэн-гао успел раскрыть рот, как по рядам прошел шопот: «Смотрите! Опять корчит из себя учителя!».

— Я шел по капиталистическому пути,— продолжает Фань Дэн-гао, — занимался только своим собственным хозяйством, не вел массы по социалистическому пути. Теперь я все осознал! Коммунист не должен заводить капиталистические порядки. Я сейчас же исправлю свою ошибку. Отныне я сам буду подавать пример, как надо идти к социализму. Ведь наш кооператив расширяется, не так ли? Я сейчас же первым записываюсь в кооператив. Я уже отпустил погонщика мулов. Я первым добровольно сдаю обоих мулов в кооператив. Я не из тех, которые бросают слова на ветер. Вот обо всем этом я и хотел сказать вам! Я кончил!

После того как Дэн-гао объявляет «я кончил», кто-то внизу — он даже не сумел разглядеть, кто именно — хлопает два раза в ладоши, но тут же осекается. Помедлив еще мгновение и видя, что человек, который начал было хлопать, продолжать дальше не собирается, а другие и не подумали поддержать его, Дэн-гао медленно спускается со сцены.

Выступление Дэн-гао ставит Цзинь-шэна в затруднительное положение. Последние дни на партийных собраниях, когда Дэн-гао ругали за ошибки его старые товарищи, он выступал с куда более честными признаниями. Однако сегодня перед всем народом Дэн-гао опять разыграл из себя невесть какого руководителя масс и старого партийца, и все остались этим очень недовольны. Цзинь-шэн понимает, что именно кто-нибудь из партийцев должен от лица партии осудить такого рода признание ошибок одним из ее членов, и что это надо сделать до того, как выступит кто-либо из беспартийных и укажет Дэн-гао его настоящее место. Сам он выступать не хочет: если бы у Фань Дэн-гао только и было грехов, что он повел свое хозяйство по капиталистическому пути, Цзинь-шэн бы не колебался; но ведь Дэн-гао не шутя считает себя выдающейся личностью, героем, призванным вести темные массы по пути исторического развития, и потому уверен, что Цзинь-шэн только о том и думает, как бы перехватить у него первенство в деле руководства массами. Выступи сейчас Цзинь-шэн с критикой по его адресу, Дэн-гао непременно сочтет это подстрекательством масс к бунту против него, а тогда уж нечего и думать

о том, что кто-либо другой сможет помочь Дэн-гао освободиться от его заблуждений. Вот почему, когда Дэн-гао уже спустился со сцены, Цзинь-шэн нерешительно встает с председательского места и не говорит ни слова.

Заместителю секретаря уездного комитета партии известно об отношениях между Цзинь-шэном и Дэн-гао. Понимая положение Цзинь-шэна, товарищ Лю поднимается и говорит:

— Товарищ председатель! Позвольте сказать несколько слов!

Цзинь-шэн просит его на сцену, и Лю говорит:

— Товарищ Фань Дэн-гао признал свои ошибки, выразил свою решимость исправить их, и это заслуживает всяческого одобрения. Но тон, которым он сейчас говорил, тон барина, снисходительно беседующего с народом, здесь совершенно неуместен! Сам товарищ Дэн-гао уже давно отстал от масс, и тем более странно звучат его слова о том, что он кого-то куда-то поведет, будет подавать пример, как надо идти к социализму! Если крестьяне вступили в производственный кооператив, это и значит, что они пошли по социалистическому пути. Сколько крестьян Саньливани вступило на этот путь уже два года тому назад — а вы, Дэн-гао, и до сих пор не вступили! Кого и куда вы собираетесь вести? Не «вести» должны вы сказать, а «следовать примеру других». Выйдет ли это у вас — зависит от вас самих и от контроля масс за вами. Прежде всего вам нужно догнать остальных, а там видно будет: если признают, что вы еще можете «вести», вот тогда и поведете! А сейчас — нет! Сейчас вам нужно начать с того, чтобы сбавить тон. Почему вы сейчас не сказали ни слова о наложенном на вас партвзыскании? Не хотели сбавить тона? Так я вам помогу. Взгляды и поступки Фань Дэн-гао перестали соответствовать званию члена партии, и после того, как он признал свои ошибки, на него наложено партвзыскание — оставить в партии с испытательным сроком. Просьба ко всем, как партийным, так и беспартийным товарищам, проверять его. Посмотрим, сможет ли он остаться в партии. Это относится не только к Фань Дэн-гао, но и к остальным членам партии — если только кто-нибудь, будь он партийный или беспартийный, заметит, что тот или иной член партии ведет себя не так, как его обязывает это звание, просим в порядке помощи сообщить об этом в парторганизацию!

После выступления товарища Лю Цзинь-шэн предлагает собранию высказаться по делу Фань Дэн-гао. Люди выступают один за другим, и большинство из них говорит о том же, о чем уже было говорено на партийных собраниях. Сам Фань Дэн-гао кое о чем забыл упомянуть, вот и пришлось напомнить ему об этом. Последним берет слово бригадир «Горцев» Ню Сы-ван:

— Мне не очень понравилось, как Фань Дэн-гао заявил: «сдаю обоих мулов в кооператив» — словно он нас облагодетельствовал! Мало ли лесу мы насадили за эти два года в кооперативе? Мало ввели улучшений на полях? И мы не собираемся попрекать этим новых членов кооператива, лишь бы они вступали на новый путь. А если Дэн-гао отдаст своих мулов — где же тут благодеяние? Все знают его кличку «Ловкач». И если бы мы ловчили так же, как он, не было бы у каждого из нас по паре мулов? Если в кооператив принимают кого со скотом, так ему платят за это проценты — какое же тут благодеяние? Хочет вступать — его дело, не хочет — пусть остается как есть, разводит там свой капитализм! А мы пойдем в банк и возьмем ссуду — нам ли ломать голову над тем, как бы купить пару мулов? Слушал я его выступление, и сдавалось мне, что все еще несерьезно говорит он о своих ошибках. И не очень-то я уверен, что он будет добросовестно работать в кооперативе!

— Хорошо сказано!— вставляет товарищ Лю со своего места около сцены.— Вот, товарищ Дэн-гао, полюбуйтесь: кто более сознателен — вы или массы? Подумайте, сможет ли такой партиец, как вы, остаться в партии, если он не будет серьезно работать над собой?

Время уже около двенадцати, когда очередь признать свои ошибки доходит, наконец, до Юань Тянь-чэна. У него дело куда проще: внял наущениям своей жены «Проныры» и, записав участок на имя брата, удержал в личном пользовании больше земли, чем полагается. Он выкладывает все начистоту, заявляет о своем желании исправить ошибку — и все тут. Все соглашаются, что, хотя ему и вправду трудно совладать со своей женой, тем не менее подчиняться отсталой жене — тоже не дело, за это он должен отвечать сам.

На этом прения заканчиваются. Цзинь-шэн выражает надежду, что все обсудят у себя в бригадах речь Чжан Юн-цина, и объявляет собрание закрытым.

Люди расходятся, в доме с флагштоками остаются лишь культработники, которые должны подготовиться к вечернему представлению.

26. ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩАЕТСЯ

Десятого числа во второй половине дня Ма Ю-юй сообщил «Бестолочи» обо всем, что говорилось на собрании, а также совещался с ним по вопросу, стоит ли идти на вечернее обсуждение речи Чжан Юн-цина в бригаде взаимопомощи. Результат совещания был таков: пойти на обсуждение Ма Ю-юй пойдет, чтоб послушать, что и как, а выступать не будет.

Вечером, в одиннадцатом часу, Ма Ю-юй возвратился с обсуждения и долго стучался в ворота, так как никто не выходил открыть ему. Прежде обязанность открывать ворота лежала на Цзюй-ин, но теперь Цзюй-ин отделилась и этим делом больше не занимается. «Всегда права» уже легла и вовсе не собирается вылезать из постели. «Бестолочь» хотя и не спит, все думая о своих делах, однако ввиду преклонного возраста не считает нужным пробираться в потемках до ворот, набивая себе шишки о встречные предметы. Поэтому, когда раздается стук в ворота, он кличет со своего кана Ю-и. «Опасно тронуть»— женщина себе на уме; услышав, что «Бестолочь» зовет Ю-и, она вполне резонно полагает, что ее это не касается. Ю-и хотя и не спит, однако последние несколько дней он дуется на мать, а поэтому нарочно не желает выходить на стук.

Почему же Ю-и дуется на мать?

Чтобы узнать это, надо вернуться к тому, что произошло пятого числа под вечер, когда к Ю-и приходила Лин-чжи и Ю-и хотел о чем-то рассказать ей, но его прервала мать, едва он успел промолвить «мой дядюшка». Дело в том, что утром того дня тетка Ю-и «Проныра» просила его дядюшку просватать за него Сяо-цзюнь, и дядюшка с матерью тогда же обо всем и договорились, даже не спросив предварительно мнения Ю-и. А когда Ю-и проявил слабые признаки недовольства, мать и дядюшка принялись обрабатывать его в соответствии с принципом распределения труда, одна — бранью, другой — уговорами, и в одно утро обработали так, что у него за обедом кусок поперек горла становился, а всю вторую половину дня он пролежал в постели с отчаянной головной болью. Когда к нему пришла Лин-чжи, мать, испугавшись, что та может испортить ей всю музыку, сломя голову бросилась в комнату Ю-и и отослала его к отцу. С тех пор мать не отходила от него ни на шаг, чтобы не дать сыну видеться с Лин-чжи или Юй-мэй.

Если бы у Ю-и хватило духа пойти матери наперекор и заявить всем, что он не согласен на этот заочный сговор, все разрешилось бы

очень просто. Однако Ю-и не воспользовался таким простым средством. Если бы он так поступил, то, во-первых, мать никогда бы не простила ему этого, во-вторых, впредь ему было бы совестно и на глаза показаться тетке и дядюшке; уж лучше, если он подуется несколько дней на мать в домашнем кругу — авось та по собственному почину и раздумает оженить его. Но у его матери и в мыслях такого не было. После того как дядюшка уехал, она одна взялась за дело: попеременно то ругая, то уговаривая сына, «Всегда права» ни минуты не давала ему покоя.

Сам «Бестолочь» отнесся к этой затее не очень одобрительно — для него не секрет, что Сяо-цзюнь, которая прошла школу у «Проныры», теперь еще более опасно тронуть, чем самое «Опасно тронуть». Однако, не имея охоты препираться с женой и «Пронырой», он знай себе отмалчивается.

Ю-и дуется вот уже пять дней, и, по всем признакам, это кончится не скоро.

«Бестолочь» звал, звал Ю-и, но видя, что тот ни откликаться, ни выходить не хочет, сам пошел было открывать Ю-юю. Однако, как только Ю-и услышал, что отец уже открыл дверь северной комнаты, он забеспокоился, чтобы тот, чего доброго, не упал, споткнувшись в темном дворе, и в конце концов сам вышел к воротам. «Бестолочь» уводит Ю-юя в северную комнату и спрашивает, что нового.

— Дела не блестящи! — отвечает Ю-юй. — Мань-си и Да-нянь хотят записаться в кооператив. Юань Дин-вэй тоже не сказал, что не хочет, только выждет немного, так что из всей нашей бригады взаимопомощи только один наш двор не собирается вступать в кооператив!

Услышав, что надежды на Мань-си и Да-няня как на рабочую силу нет, «Бестолочь» тоже понимает, что дела и впрямь не блестящи. Но как спасти положение, он не знает. Помолчав немного, он спрашивает, что с каналом.

— И того хуже, — отвечает Ю-юй. — Только заговорили о Рукоятке ножа, тут меня все обступили и давай толковать со мной по-хорошему. Настаивают, чтобы я уломал мать! А Мань-си еще и говорит: «Если только ты сможешь договориться с тетушкой, я охотно сменяю вам свои три му, что у колодца. Вы собираете с трех му на Рукоятке ножа шесть даней девять доу, мои три му у колодца дают девять даней, да к тому же вся ваша земля будет в одном месте! Подумай только, какой вам расчет! У меня только и есть, что эти три му хорошей земли, но убытку я не боюсь — как только буду в кооперативе, вся хорошая земля будет моя!»

— Ох уж этот «Ветер» Мань-си — говорит, сам не зная что! Если он и вправду хочет сменять нам свои три му, то это нам как раз подходяще! Когда мы вместе покупали водоналивные колеса, он с Да-нянем всего и дал паю-то дань риса, и если им теперь вступать в кооператив, то уж без колес — отдадим им дань рису и выкупим пай. Вот так-то оно и выйдет, что и земля хорошая наша, и колеса наши. Но кто поручится, что на слова Мань-си можно положиться?

— Он, однако, говорил очень решительно. Кто-то возьми и скажи ему в шутку: «А вдруг выйдешь из кооператива — кто тебе вернет землю?» А он отвечает: «Ну, я бы и не вступал, если бы уже заранее думал, что может так случиться. Кто же пойдет на попятный, если хочет идти социалистическим путем?» По моему разумению, на Мань-си нужно смотреть так: на словах горяч, а башка упрямая, слово свое сдержит даже себе в убыток!

— Менять землю расчет есть, дело только за рабочими руками! — говорит «Бестолочь» и, подумав немного, добавляет:

— Вот что: Ю-и не будет больше учителем в вечерней школе, пусть годик поработает в поле — вот тебе и рабочие руки!

Бросив взгляд в сторону «Всегда права» и уверившись, что она уже заснула, «Бестолочь» шепотом говорит Ю-юю:

— По-моему, силком заставлять Ю-и брать в жены Сяо-цзюнь не стоит! Уж раз он путается там с Юй-мэй, пусть ее и берет — вот тебе и еще рабочие руки, верно?

— Как бы не так! — после некоторого раздумья отвечает Ю-юй. — Юй-мэй уже привыкла к кооперативу, так она и согласится работать на тебя! Смотри еще, не только сама работать не станет, а и Ю-и сманит в кооператив!

— И то верно, — соглашается «Бестолочь». — Ну, тогда пусть берет Сяо-цзюнь. Раньше-то я сомневался, уж не слишком ли Сяо-цзюнь норовиста, а как теперь погляжу, оно и лучше — хоть немного приструнит Ю-и.

— Но ведь Сяо-цзюнь подбила Юй-шэна на раздел со старшим братом, а тут еще пример Цзюй-ин перед глазами! Кто поручится, что она и у нас не выкинет такой же штуки?

— Ну, этого нечего бояться! Твоя мать приходится ей теткой, уж как-нибудь сумеет угомонить ее. Жаль только, я во-время не сообразил всего этого и не помог матери уговорить Ю-и. Теперь с этим мешкать нельзя. Купи завтра в кооперативе материи, — о цене договорятся между собой мать и тетка. Так мы уже дадим кое-какой намек, чтобы Лин-чжи с Юй-мэй и думать о Ю-и забыли, а к тому же и Ю-и поймет, что я это дело уже решил и ему лучше и не артачиться.

— А что как накупим всего, а Ю-и не согласится?

— Этого не может быть, — подумав, говорит «Бестолочь». —Правда, Ю-и иной раз и покапризничает, когда что-нибудь ему не по нраву, но если взрослые будут стоять на своем, он через два дня и слова не скажет!

На следующий день «Бестолочь» действительно послал Ю-юя в кооперативную лавку, тот возвратился с несколькими штуками тонкой и грубой материи, матерчатыми тапочками, полотенцами, носками и разной другой мелочью. Увидев все это, Ю-и понял, что «Бестолочь» уже одобрил намерение «Всегда права» женить его на Сяо-цзюнь, так как все денежные затраты делаются в семье только с ведома старика. Если Ю-и не предпримет сейчас решительных действий, дело будет сделано и расхлебывать не им сваренную кашу будет поздно.

— Отец! — говорит он «Бестолочи». — Скажи старшему брату, чтобы он поскорее возвратил все эти вещи. Я в жизни своей не пойду на такое дело! Мать не понимает, что теперь совсем другие времена, ну и пусть ее ругается, а вот ты-то зачем согласился с ней?

— Стерпится — слюбится, сынок! — отвечает «Бестолочь». — Ты же знаешь норов своей матери: как что не по ней, так сразу кататься по полу от ярости. У матери с теткой уже все обговорено, а сказанного не воротишь. Если опять сделать не по ней, и она, чего доброго, захворает, хлопот не оберешься. К тому же и Сяо-цзюнь не плешива, не толста, не слепа и не проста и, по моему разумению, невестка хоть куда. Я и сам подумывал было, что не надо тебя приневоливать, но как вспомню гневный нрав твоей матушки — чувствую, не надо идти ей наперекор. Если не послушаться ее, плохо нам с тобой придется: и отец будет виноват, и сын виноват... Стерпится — слюбится, сынок! Всякое дело с разных концов видится!

Услышав такой ответ от отца, Ю-и ничего больше не говорит и возвращается в свою темную комнатушку. Ему понятно, что если он будет сопротивляться, большого семейного скандала не избежать; а если он уступит родителям, то вынужден будет пожертвовать своим чувством.

«Никогда раньше не верил я в судьбу, — думает Ю-и, — но что это, если не судьба?» При этой мысли он расплакался навзрыд. «Всегда права», услышав всхлипывания, вбегает в комнату и начинает уговаривать его:

— Сынок, не надо! Радоваться нужно, а не плакать!

— Над своей судьбой плачу! — отвечает Ю-и.

— Да разве это плохая судьба?

— Судьба! Ха-ха-ха!.. Судьба, да? Ха-ха-ха...

— Увидев, что Ю-и и плачет и смеется, «Всегда права» решает, что на него нашло наваждение.

Уже легкая головная боль считается в семье Ма признаком наваждения, а если человек и плачет и смеется одновременно, — то и говорить нечего. А на случай, если на человека находит наваждение, в семье Ма предусмотрена особая процедура: сперва возжечь благовония перед изображением бога домашнего очага и табличками с именами предков, затем взять три листа хуанбяо * и провести ими по телу больного, сжечь их за воротами, а вверху ворот повесить красный лоскут; пока человек не исцелится, никто из посторонних во двор не допускается. Все это и было проделано над Ю-и его матерью.

С этого дня во двор дома Ма посторонним вход воспрещается.

27. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

После подготовительного собрания, проведенного утром десятого числа, началась запись желающих вступить в кооператив. В свободные от работы на току часы часто бывала в доме с флагштоками и Лин-чжи, помогавшая составлять опись земельных участков, скота, сельскохозяйственного инвентаря и прочего имущества, вносимого в качестве вступительного пая новыми членами кооператива. Приблизительно через неделю уже стало ясно, кто пожелал вступить в кооператив и кто решил не вступать; открытым остался вопрос лишь об отдельных крестьянах, вроде Юань Дин-вэя, которые все никак не могли решить, вступить им или не вступать.

Вечером восемнадцатого в восточной комнате дома с флагштоками Лин-чжи помогает работникам кооператива составлять итоговый перечень всех земельных участков, скота и инзентаря новых членов кооператива. Работа уже близится к концу, когда в комнату входит Юй-шэн.

— Ты кого-нибудь ищешь, Юй-шэн? — спрашивает его председатель кооператива Чжан Юэ-и.

— Нет, никого не ищу, — отвечает Юй-шэн. — Пришел только взглянуть, кончили ли вы.

Лин-чжи знает, что Юй-шэн всегда занимается в этой комнате, когда его назначают дежурным по охране, и она говорит ему:

— Значит, ты сегодня опять дежуришь! Так приходи и располагайся, мы уже кончили!

Лин-чжи уже хочет выйти из комнаты вместе с другими работниками кооператива, но Юй-шэн окликает ее:

— Лин-чжи, а Лин-чжи! Позволь мне побеспокоить тебя — мне надо сделать один расчет.

С тех пор, как Лин-чжи отдала ему свои чертежные инструменты, Юй-шэн часто обращается к ней за помощью. Лин-чжи убедилась, что сметлив он необыкновенно — зачастую Юй-шэн схватывает суть дела буквально с полуслова. Поэтому она охотно помогает ему, и за эти несколько дней Юй-шэн успел приобрести кое-какие знания по математике.

---

* Хуанбяо — желтая бумага, употребляющаяся в Китае для религиозных обрядов.

Когда Лин-чжи подходит к нему, он протягивает ей рисунок. Рисунок изображает нечто вроде весов, плечи которых имеют разную длину. Указывая на размеры, проставленные на плечах весов, Юй-шэн спрашивает:

— Какой величины груз поднимет один человек при таких размерах плеч?

— Что ты хочешь этим поднимать? — спрашивает Лин-чжи, поняв из рисунка, что он замышляет что-то вроде простейшего подъемного механизма.

— Землю, когда будем рыть канал.

Объяснив Юй-шэну, что сила, с какой действует рычаг, зависит от его длины, Лин-чжи приступает к подсчетам.

— Я понял, — говорит ей Юй-шэн, — дай я сделаю все сам. Извини, что я так донимаю тебя.

— Ну, что там! — говорит Лин-чжи и уходит.

Дома она застает отца и мать в прихожей; они сидят у дверей своей комнаты и вяжут початки кукурузы — с каждого початка обдирают кожицу, оставляя лишь узенькую полоску, а затем связывают вместе шесть или восемь початков. Лин-чжи сразу же присоединяется к ним.

Лин-чжи довольна поведением своего отца за последнее время. Отпустив погонщика мулов, Дэн-гао сразу же, чтобы не думать больше о корме для них, сдал обоих мулов в пользование и на попечение кооператива, десятого вечером подал заявление с просьбой о приеме, а весь оставшийся у него товар по закупочной цене передал потребительской кооперации. С тех пор он не ругался с Сяо-цзюем, не устраивал у себя дома лавочку розничной торговли, не метался, как угорелый, в поисках ссуд, не просиживал до полуночи со счетами в руках — словом, перестал заниматься всем тем, что Лин-чжи было очень и очень противным. Лин-чжи часто хотелось сказать ему: «Вот это отец, как отец!», однако она никогда не осмеливалась на такое и лишь весело улыбалась ему, как бы высказывая ему этим свое одобрение.

Порядок распределения кооперативных доходов в основном уже определился, запись новых членов в кооператив, а также дело исцеления ее отца успешно завершились — теперь, казалось бы, можно и вздохнуть с облегчением. Но сегодня вечером мысли о ее собственных сердечных делах снова осаждают Лин-чжи.

Когда Лин-чжи узнала, что Ма Ю-юй приходил в лавку делать закупки и по деревне пошли слухи о помолвке Ю-и и Сяо-цзюнь, она была страшно возмущена. Правда, Лин-чжи допускала возможность, что Ю-и не сразу согласился на это, однако она не видела, чтобы Ю-и хотя бы попытался открыто возражать против такого брака. С того дня, когда она приходила к Ю-и за объяснительной запиской и была так сурово встречена его матерью, Ю-и, кажется, так ни разу и не выходил из дому; от товарищей по союзу молодежи Лин-чжи слыхала, что объяснительной записки Ю-и так и не представил, а когда Ю-и приходили извещать о предстоящем собрании, во двор вместо Ю-и неизменно выходила «Всегда права» и на все вопросы отвечала, что Ю-и болен и видеть его нельзя. Последнюю же неделю в доме Ма вообще затеяли какую-то чертовщину — вывесили на воротах красный лоскут и начисто отказываются пустить кого-либо во двор. Лин-чжи полагает, что, стало быть, так оно и случилось: Ю-и сразу не согласился, и «Всегда права» силой вынудила его к сдаче — это более всего похоже на Ю-и. Сама Лин-чжи раз как-то даже думала о том, чтобы прорваться в дом Ма на помощь Ю-и, однако так и не сделала этого: во-первых, была слишком занята работой, во-вторых, ей не очень-то улыбалось опять лицезреть физиономию «Всегда права», и в-третьих, чувствовала, что трудно ручаться за успех,

имея дело с таким размазней, как Ю-и. Независимо от того, согласился ли сам Ю-и на этот брак или нет, люди уже считали его помолвленным с Сяо-цзюнь. «Неужели ты такой бескостый? — думает Лин-чжи. — Ну, хоть бы слово сказал!». Однако все прошлое Ю-и подтверждает, что он именно такой и есть, и Лин-чжи лишь остается со вздохом признать это. И вот, думается Лин-чжи, есть же такой член нашей организации: из-за боязни обидеть маму отказался честно выступить в защиту своего товарища, тоже члена союза молодежи; организация потребовала, чтобы он осудил свой поступок, а он до сих пор и этого не сделал, и опять-таки из-за боязни обидеть маму начисто отказался от всякого участия в жизни организации. «Что же я, член комитета, должна сказать о таком члене союза? — думает Лин-чжи. — Тьфу! На черта он мне нужен!» К счастью, она оказалась достаточно благоразумной — она ничего не обещала этой размазне и не имеет перед ним никаких обязательств. Но где лучшее? — вот старый вопрос, который так и остается пока неразрешенным для нее. Внезапно Лин-чжи обнаруживает, что один из початков кукурузы, которые она держит в руках, содержит зерна двух цветов — желтые и черные. Ей приходит в голову мысль, что вот так же и Ю-и: вырасти он вроде и вырос, да нечист. Лин-чжи прекращает работу и начинает вертеть початок в руках.

— Лин-чжи, — говорит ей мать, думая, что дочь устала, — ложись спать. Время позднее, и нам с отцом пора.

С этими словами мать бросает работу, а за ней встает, потягиваясь, и сам Дэн-гао. Лин-чжи с початком кукурузы в руках уходит в свою комнату.

Она зажигает лампу и, продолжая думать все об одном и том же, подсаживается к столу и снова берет в руки початок; кукурузные зерна одно за другим падают из-под ее пальцев на пол. Если она порвет с Ю-и, в Саньливани больше не найдешь человека, сколько-нибудь достойного того, чтобы о нем и подумать. Перед ней неожиданно возникает образ Юй-шэна, но она сразу же говорит «нет»: «Этот парень честен, добросовестен, бескорыстен, умен, работящ, красив! Но — необразован!» От Юй-шэна ее мысли переходят к другим парням Саньливани, однако через некоторое время снова возвращаются к нему — и так много и много раз подряд. Хотя с той ночи первого числа, когда она помогала Юй-шэну рассчитывать каток, Лин-чжи виделась с ним всего лишь несколько раз, и то всякий раз не более получаса, однако она не забыла ни одной из этих встреч, словно они запечатлелись в ее мозгу, как на кинопленке.

«Разве это не значит, что я уже люблю Юй-шэна?» — подумала Лин-чжи. Сердцем — да, она не может этого отрицать. «Так скоро? — сомневается Лин-чжи. — Почему же столько встреч с Ю-и оказались ничем по сравнению с этими несколькими часами?» Здесь ей пришла в голову мысль сравнить Ю-и с Юй-шэном, и Ю-и потерпел полный провал. Ведь Юй-шэн думает только о том, чем он может помочь в строительстве социализма, Ю-и же думает только о том, как бы ублажить свою мать-феодалку. «Так выбери же Юй-шэна!» — словно подсказывает ей кто-то. Лин-чжи уже почти готова принять окончательное решение, как вдруг ей опять вспоминается, что Юй-шэн необразован. А что же дало образование Ю-и? И ей самой? Задумавшись над этим, Лин-чжи обнаруживает, что, пожалуй, она сильно ошибалась, возводя образованность в наивысшее достоинство, каким только может обладать человек. «Образованный человек, — думает Лин-чжи, — собственно говоря, должен бы и делать больше, чем необразованный, но если взять Ю-и и Юй-шэна? И что сделала я сама, не говоря уже о Ю-и? Только прошла обучение в средней школе, да и то до сих пор не знаю, что мне делать с приобретенными

знаниями. А стоило мне хоть самую малость поделиться с Юй-шэном этими знаниями, так он сразу же применил их к настоящему делу. Не видно ли из этого, кто из них действительно чего-нибудь да стоит? Зачем же так свысока смотреть на него! Насколько я сама-то образована? Допустим даже, что я окончила бы институт, все равно и тогда мне было бы далеко до Юй-шэна, если бы я не смогла применить своих знаний к настоящему делу». Но может ли она окончательно порвать с Ю-и? Ведь как-никак все-таки они дружили, да и нельзя сказать, чтобы он был совсем уж безразличен ей. Лин-чжи набрала горсть зерен, вылущенных ею из початка кукурузы, и, загадав про себя, что желтые — это Юй-шэн, а черные — Ю-и, с закрытыми глазами взяла зернышко. Оно оказалось черным, и тогда она решила загадать еще раз. Во второй раз опять попалось черное, и она снова решила взять еще одно. Лин-чжи уже протягивает руку за третьим, как вдруг останавливается и говорит сама себе: «Бесстыдница! И ты можешь шутя решать такое дело? Если бы ты вправду хотела выбрать Ю-и, не стала бы дальше гадать! Решение принято: Юй-шэн!»

Итак, решение принято, и Лин-чжи ложится спать. Перед тем как уснуть, она мысленно сравнивает между собой семьи Юй-шэна и Ю-и: у Юй-шэна работяга отец, добрейшая мать, старший брат коммунист и жена брата трудолюбивая и незлобивая женщина, у Ю-и же отец «Бестолочь», мать — «Всегда права», старший брат — «Железная лапа», жена брата — «Опасно тронуть». В комнате Юй-шэна повсюду разбросаны заготовки, шаблоны, инструменты, и скамья, оказавшая ей такой любезный прием, и пила, стукнувшая ее по голове; в комнате Ю-и — одно подслеповатое окошечко, чаны, ящики и корзины. В доме Юй-шэна постоянно бывает кто-нибудь из партийного руководства, руководящие работники союза молодежи, кадровики-партийцы из управленческого аппарата и массовых организаций; то и дело там либо обсуждают перспективный план работы кооператива, либо проводят собрание, либо испытывают какую-нибудь модель — очередную выдумку Юй-шэна и Баоцюаня. В доме же Ю-и постоянно бывают его тетка «Проныра», старый дядя-барышник, а ворота закрывают наглухо перед посторонними, спускают с цепи рыжего пса, вешают на воротах какие-то красные тряпки, душат все передовое, сводят мелочные счеты, помыкают невестками, запирают детей... «Хватит! Хватит! — думает Лин-чжи. Уже одного этого достаточно, чтобы предпочесть Юй-шэна Ю-и!»

Зачастую и большая радость не дает спать человеку. В этот день Лин-чжи также проснулась еще до рассвета Проснувшись, она не сразу встала с постели, а еще раз перебрала в своей памяти все, о чем думала накануне вечером, и убедилась, что ее решение правильно. Тогда только она оделась и зажгла лампу. Лин-чжи знает, что в это время Юй-шэн, как обычно, сидит в восточной комнате дома с флагштоками и, наверно, что-нибудь чертит. Она и хочет пойти поговорить обо всем с Юй-шэном, и в то же время чувствует, что что-то уж слишком скоро разворачиваются события. Лин-чжи мучает вопрос: «Можно ли решать дело, от которого зависит вся жизнь, еще и двадцати дней не зная человека?» — «Почему нельзя? — отвечает сама себе Лин-чжи, подумав. — Никто не пробовал устанавливать кратчайший срок, в который можно влюбиться. К тому же Юй-шэн — мой односельчанин, из одной и той же организации союза молодежи, давно уже знает, кто я и что я». Ободренная этой мыслью, Лин-чжи направляется к дому с флагштоками.

Когда она входит во двор дома, Юй-шэн, как обычно, спрашивает: «кто идет?», как обычно, берет винтовку наперевес; Лин-чжи, как обычно, отвечает «свои», как обычно, проходит в восточную комнату.

Как она и предполагала, Юй-шэн на своем обычном месте — за кон-

торкой, однако на этот раз он не чертит, а делает модель своей подъемной машины: на конторке разложены инструменты — перочинный нож, стамеска, молоток, буравчик, а также проволока, бечевка, гвоздики, обрезки жести и почти готовые части модели. Так как уже все это едва умещается на конторке, Юй-шэн переставил часы на подоконник. Взглянув на часы, Лин-чжи видит, что сейчас опять, как в тот раз, двадцать минут пятого.

Юй-шэн, конечно, и не подозревает, зачем в действительности пришла Лин-чжи. Будучи уверен, что она хочет лишь узнать время, он говорит ей, указывая на разложенные перед ним предметы:

— Погоди, не уходи. Мне надо посоветоваться с тобой. Посмотри-ка: все бы ничего, вот только что-то не ладится с поворотом уже после того, как земля поднята.

Он снял часть модели, и Лин-чжи, разобравшись в чем дело, говорит, что надо уменьшить силу трения при повороте дисков. Повозившись с диском, Юй-шэн ставит его на место. Однако, хотя теперь подъемник работает немного лучше, чем прежде, это все-таки не совсем то, что хотелось бы.

— Обойдемся совсем без диска! — говорит вдруг Юй-шэн, видимо, что-то придумав. — Вверху к вертикальному шесту прикрепим квадратный ящик, а к ящику толстой веревкой привяжем поперечный шест. Будет вращаться по полуокружности — и достаточно! Без всякого трения! Пожалуй, можно и не испытывать — все готово.

Взглянув на часы, стоящие на подоконнике, Лин-чжи видит, что уже шестой час. «Если не заговорить с ним сейчас, — думает Лин-чжи, — то будет поздно: вернутся из караула ополченцы».

Лин-чжи помогает Юй-шэну прибрать все с конторки, садится на стул, стоящий напротив, и, глядя в лицо Юй-шэна, которое так и сияет после одержанной победы, говорит:

— Я тоже задам тебе один вопрос. Какого ты мнения обо мне?

«С чего бы это ей спрашивать такое? — думает Юй-шэн. — Член комитета союза молодежи, прошла курс обучения в средней школе, счетовод в кооперативе, умна, работяща, красива — придраться не к чему. Но зачем же все-таки ей понадобилось знать мое мнение о ней? Не влюбилась же она в меня!» Задумавшись, Юй-шэн совсем забыл, что он так ничего и не ответил Лин-чжи.

— Что же ты молчишь? — спрашивает Лин-чжи.

Застигнутый врасплох, Юй-шэн не сумел сразу подобрать подходящих слов для ответа и неопределенно отвечает:

— Я вижу в тебе только одно хорошее!

Хотя Юй-шэн отвечает очень неопределенно, однако Лин-чжи замечает его восхищенный взгляд, устремленный на нее, и быстро говорит:

— Я хочу тебя спросить... ты любишь меня?

— Ты смеешься надо мной?

— Нет, ни капельки не смеюсь.

— Я не смел и думать об этом.

— Почему?

— Потому что ты училась в школе.

«Если б и я не рассуждала так, — думает Лин-чжи, — я уже давно полюбила бы тебя!» При этой мысли она едва заметно улыбнулась, а затем, не выдержав, рассмеялась.

— Если раньше ты об этом не думал,— говорит она,— то подумай теперь, ладно?

— Лин-чжи, если тебе ничего, что я необразован, мне и думать-то не о чем!

Юй-шэн протянул ей руки, и она вложила в его руки свои. Глядя друг другу в глаза, они думали каждый про себя, как неожиданно все это случилось.

28. Ю-И СОВЕРШАЕТ РЕВОЛЮЦИЮ

На рассвете, когда вернулись ополченцы, Юй-шэн и Лин-чжи пришли на задний двор дома с флагштоками просить заместителя начальника района Чжан Синя быть их свидетелем при заключении брака. Было решено, что на следующий день (двадцатого, в выходной) во второй половине дня они пойдут регистрироваться в район. За завтраком они рассказали обо всем своим домашним. Скоро об этом узнали соседи и разнесли по деревне весть о предстоящем браке Юй-шэна и Лин-чжи.

Сегодня в кооперативе убирают кукурузу, и Лин-чжи помогает перебрачивать и сушить на току початки, одновременно ведя учет количеству корзин с початками кукурузы, прибывающих на ток. Оба эти занятия даже в общей сложности не требуют непрерывной затраты труда в течение всего рабочего времени; и вот в один из перерывов в работе Лин-чжи вспоминает, что она еще должна внести полную ясность в свои отношения с Ю-и. Ее отец вместе с бригадой взаимопомощи, в которой состоит и семья Ма, сейчас убирает кукурузу на участке Хуан Да-няня; и отцу и Юй-мэй уже известно, что они с Юй-шэном решили пожениться, значит, не позднее полудня об их браке узнает и Ю-и. Если она первой не скажет Ю-и об этом, то он, считая себя обманутым, при встрече с ней, чего доброго, сгоряча наплетет ей какого-нибудь вздору — оскорбит или поставит ее в такое положение, что она будет вынуждена сама идти оправдываться перед ним, а ни то, ни другое ее не прельщает. Как же ей теперь поступить? Когда она училась в школе в уездном городе, Лин-чжи часто бывала свидетелем того, как школьные учителя или ее старшие товарищи, женившись, приглашали своих друзей отведать конфет. Приходилось есть свадебные конфеты и самой Лин-чжи и Ю-и. Что если она до обеда сходит в лавку за конфетами и как друга известит Ю-и о том, что она выходит замуж за Юй-шэна? Конечно, Лин-чжи понимает, что каким бы способом она ни известила Ю-и, его это вовсе не обрадует; однако, если она первая расскажет ему, он все же будет злиться на нее меньше, чем если бы он услышал об этом от людей.

Незадолго до обеда Лин-чжи просит разрешения у председателя кооператива Чжан Юэ-и, который ворошит солому за током, уйти сегодня чуть пораньше, а также просит его, чтобы он вместо нее принял последнюю партию корзин с початками кукурузы, которая прибудет до обеда. Затем, купив в лавке конфет, она идет к дому Ма. На воротах попрежнему висит красный лоскут, в подворотне разлегся большой рыжий пес. Полуденное солнце ярким светом заливает все вокруг, и лица подходящих к дому людей должны быть хорошо видны псу. Он приподымает голову, тявкает и, узнав Лин-чжи, остается неподвижным. Лин-чжи перешагивает через пса, проходит в ворота и поворачивает к юго-восточной комнатушке дома.

Ю-и глазам своим не верит, когда перед ним появляется Лин-чжи.

— Как они пустили тебя? — шепотом спрашивает он.

— Вот взяла и вошла, — отвечает Лин-чжи.

— Мне нужно о многом поговорить с тобой. Мой дядя...

— Не стоит об этом — я уже все знаю! Твой дядя просватал за тебя Сяо-цзюнь, уже сделаны свадебные подарки — не об этом ли ты хотел рассказать?

— Кто тебе сказал?

— Об этом вся деревня знает.

— Но я же не согласился!

— Об этом что-то ничего не слышно.

— Не проходит дня, чтобы я не спорил с ними!

— Я еще не слышала, чтобы люди говорили об этом.

— Конечно, ты не могла слышать это от людей, потому что я еще никуда не выходил все эти дни.

— Почему ты не хочешь выйти?

— Они не позволяют.

— Конечно, они и не могут позволить тебе сделать по-своему.

— Кто у нас в доме? К нам нельзя входить посторонним! Что за нахальство! — раздаются во дворе вопли «Всегда права».

— Ой, беда, твоя мама идет! — говорит Лин-чжи. — Давай скорее о деле: я выхожу за Юй-шэна и пришла просить тебя откушать конфет!

С этими словами она вытаскивает из кармана сверток и кладет его на кровать. Ю-и чувствует себя так, словно его оглушило взрывом, и никак не может сообразить, что же ему ответить. В эту минуту «Всегда права» откидывает дверные занавески и входит в комнату.

— Лин-чжи! — говорит она. — На что это похоже — не сказавшись, пройти в дом! К нам нельзя входить посторонним! Ты что, не видела красного лоскута над воротами?

«На этот раз, однако, ты подоспела весьма кстати! — думает Лин-чжи. — Я уже сказала все, что хотела».

— Простите меня! — отвечает Лин-чжи. — Я и не знала, что значит красный лоскут.

— Когда вывешивают красный лоскут, это значит, что чужим входить в дом запрещено. Ю-и болен!

— Ну, раз так, то я уйду. До свиданья, Ю-и! Когда поправишься, я опять приду навестить тебя.

С этими словами Лин-чжи поднимается и выходит из комнаты. Забыв о том, что мать может помешать ему, Ю-и уже бросился было вслед за Лин-чжи, но тут же спохватывается. «Что проку догонять, когда она угощает меня конфетами?» С убитым видом он добирается до кровати и разражается громкими рыданиями. «Всегда права», не понимая, в чем дело, приходит к заключению, что это Лин-чжи принесла с собой порчу.

Пока Ю-и рыдает, сбитая с толку «Всегда права» пытается, как может, утешить его. Так проходит некоторое время, пока Ю-и не успокаивается. Он перестает плакать, садится в кровати и задумывается над своим положением. Ему вспоминаются слова, только что сказанные Лин-чжи: «Конечно, они и не могут позволить тебе сделать по-своему». События последних дней говорят о том, что родители и вправду не намерены отступиться от него. «Как же быть? — думает Ю-и. — Лин-чжи я уже прозевал, и если Юй-мэй, чего доброго, тоже успела найти кого-нибудь другого, неужто мне так и жениться на какой-нибудь Сяоцзюнь, чтобы она день-деньской изводила меня своим притворством? Вот, — сердито подумал он про отца и мать, — даже не соизволили спросить моего согласия и растрезвонили по всей деревне!» При этой мысли он невольно метнул злобный взгляд в сторону матери. Заметив что-то необычное в выражении глаз сына, «Всегда права» решила, что он сошел с ума. От испуга она едва не задохлась.

— Ю-и, что ты хочешь делать! — кричит она.

Ю-и слезает с постели и говорит:

— Я хочу выйти из дому!

— Нельзя! Нельзя!

«Всегда права» уже протягивает руки, чтобы удержать его, но рез-

ким движением Ю-и ускользает от нее. Видя, что ей не удастся схватить сына, «Всегда права» бросается к двери и, раскинув руки, преграждает ему путь. Ю-и стаскивает с ящиков корзину, наполовину набитую табачной крошкой, и толкает ею «Всегда права». Так как корзина почти одинаковой ширины с дверным проемом, то мать Ю-и не может схватить его. Если бы Ю-и действительно сильно толкнул мать, она, конечно, полетела бы вверх тормашками во двор. Однако Ю-и и не думал сходить с ума: напирая корзиной на «Всегда права», он шаг за шагом вытесняет ее во двор. Очутившись во дворе, «Всегда права» соображает, что теперь ей одной ни за что не удержать Ю-и, и кричит «Бестолочи»:

— Отец, скорее! Он сошел с ума!

Услышав ее вопль, «Бестолочь» опрометью выбегает во двор. Опасаясь, что они все-таки удержат его, Ю-и, обхватив корзину обеими руками, начинает быстро вертеться с ней то вправо, то влево, постепенно приближаясь к воротам. При виде такого зрелища большой рыжий пес, поджав от страха хвост, отбегает далеко в сторону. Так, размахивая корзиной, Ю-и выбегает за ворота, и отец с матерью пускаются за ним вдогонку. Сейчас как раз время, когда крестьяне, возвращаясь с полей, расходятся по домам на обед. Те, чей путь лежит мимо дома Ма, останавливаются и пытаются понять, что здесь происходит. На шум из домов выбегают женщины и дети, и скоро проулок, ведущий от дома Ма в поле, оказывается битком набитым народом. Кое-кто хочет разнять дерущихся, но табачная крошка, разлетающаяся во все стороны от корзины Ю-и, попадает им в глаза. Наконец «Бестолочь», улучив мгновение, обеими руками вцепляется в край корзины; тогда Ю-и оставляет отцу корзину, а сам ныряет в толпу.

— Да держите же его! — вопит «Всегда права».— Он сумасшедший!

Несколько человек хватают Ю-и.

— Прошу не горячиться! — говорит Ю-и. — Я нисколько не сумасшедший. Все дело лишь в том, что я не согласен на брак, который они навязывают мне, а они держат меня взаперти! Заявляю всем: я не признаю брака, который они заключили помимо моей воли! Если кто из вас увидит Сяо-цзюнь, прошу передать ей: пусть она ищет свой предмет где-нибудь в другом месте!

Люди, схватившие Ю-и, слыша от него вполне вразумительные речи, отпускают его, и Ю-и начинает снова протискиваться сквозь толпу. Не переставая вопить «держите его!», за ним вдогонку протискивается и «Всегда права».

— Вернулись бы лучше домой, почтенная! — уговаривают ее люди.— Разве можно держать взаперти такого взрослого ребенка!

Не в пример своей жене «Бестолочь» чувствует, что в этом люди правы, но попрежнему, словно остолбенев, стоит с корзиной в охапку, не зная, чем помочь делу.

— Ю-и совершил революцию! — восклицает насмешник Юань Сяо-дань.

Ю-и решил найти Юй-мэй, но где она сейчас — он не знает. От домашних Ю-и слышал, что сегодня их бригада взаимопомощи убирает кукурузу Хуан Да-няню, значит, надо идти на разведку к Тридцати му, где находится его участок. Выбежав за деревню, Ю-и идет по дороге в поле.

До участка Хуан Да-няня уже недалеко, но вот навстречу идут его старший брат, Фань Дэн-гао и Ван Мань-си с корзинами кукурузы на плечах. «Железная лапа», увидев Ю-и, сразу чует недоброе и, остановившись, кричит:

— А ну, ступай домой! Ты почему вышел?

— Я вовсе не болен, — отвечает Ю-и. — Это все ваши фокусы!

— Он спятил! Сейчас же домой!

— Иди своей дорогой! И не вздумай удерживать меня!

Жена Да-няня и Юй-мэй, которые набивают корзины початками кукурузы, бросив работу, издали наблюдают за братьями Ма. Испугавшись, что Ю-и того и гляди выскажет сейчас все, что у него на душе, и опозорит его при всем честном народе, Ю-юй убегает со своей ношей. Когда Ю-и приходит на участок, он застает там только Хуан Да-няня с женой и Юй-мэй.

— Не верьте чепухе, которую несет мой брат! — говорит Ю-и. — Я вовсе не болен.

Помогая Да-няню набивать корзины, он рассказывает о том, как отец, мать, брат, дядя-барышник и «Проныра» решили посадить его под замок, чтобы он стал покладистее. Когда все собираются уходить, Ю-и говорит Да-няню и его жене:

— Вы идите вперед! Мне еще надо поговорить с Юй-мэй.

Хуан Да-нянь с женой, сразу смекнув, в чем дело, уходят первыми.

Оставшись наедине с Юй-мэй, Ю-и долго таращит на нее глаза и не говорит ни слова. Наконец, Юй-мэй пугается его застывшего взгляда и спрашивает:

— Что с тобой? Ведь ты только сейчас говорил, что не болен.

— Я и не болен, — отвечает Ю-и. — Я только задам тебе один вопрос: говори начистоту, ты хотела бы выйти за меня замуж?

— Да ты и вправду спятил! Разве можно решать такое дело с бухты-барахты!

— Можно! Если не хочешь, так скажи сразу. А то чего же вертеться туда-сюда, а потом оставить человека с пустыми руками!

Юй-мэй догадывается, что известие о помолвке Лин-чжи и Юй-шэна уже дошло до Ю-и и обозлило его. Юй-мэй никогда еще серьезно не задумывалась над вопросом, который задал ей Ю-и, так как ей казалось, что отношения Ю-и с Лин-чжи гораздо более близкие, чем с ней самой. Но теперь Лин-чжи выходит за другого, и это меняет дело. Однако вот так, сразу ответить на его вопрос вовсе не легко. Ясно, что Ю-и все еще гневается на Лин-чжи, а гнев — плохой советчик.

— Давай так, — говорит Юй-мэй: — будем считать, что вопрос ты поставил. Теперь дай мне срок подумать над ответом — идет?

— Нет, нет! — говорит Ю-и. — Это отговорка! Ты не первый день меня знаешь, и я не верю, чтобы ты никогда не задумывалась над этим. Не хочешь — так прямо и скажи.

— Вот что, учитель мой, — отвечает Юй-мэй. — Я отвечу тебе твоими же словами: «Ты не первый день меня знаешь», а задумывался ли ты когда-нибудь над этим сам? Говори честно, без обману!

Ю-и смущается и уже не смеет настаивать на немедленном ответе. Юй-мэй пользуется этим и выставляет встречные требования.

— Ты правильно отгадал, — говорит она. — Не то чтобы я никогда не думала об этом, но я боялась что-нибудь решить.

— Почему?

— Потому что многое мне в тебе нравится, а многое — нет.

— Что же нравится и что не нравится?

— Ты мой учитель, но ты и игрушка в руках своей матери. Я согласна учиться у тебя, но не согласна быть невесткой под началом такой свекрови. Потом еще твоя старшая невестка — «Опасно тронуть», из-за которой и отделилась Цзюй-ин: неужели ты думаешь, я захочу войти в твой дом, чтобы ежедневно скандалить с ней? Еще важнее то, что я состою в кооперативе, а твоя семья и не думает вступать туда: неужели ты думаешь, я оставлю путь к социализму и вернусь на капи-

талистической путь? Вот из-за этих «но» я и не могу сразу решиться на то, что ты мне предлагаешь.

От этих слов Ю-и даже весь похолодел.

— Так бы и сказала, что не хочешь! — говорит он чуть не плача.

— Нет! — отвечает Юй-мэй. — Не в этом дело. Хочу я или не хочу — это зависит от того, изменится ли что-нибудь в будущем.

«Вот так-то учитель, прошедший школу всякой премудрости!— думает она. — Конечно, у тебя тоже, как и у Лин-чжи, есть сокровище в волшебной бутыли из тыквы, но я еще посмотрю, сумеешь ли ты воспользоваться им и изменить к лучшему все, с чем я не согласна».

Юй-мэй чувствует себя победительницей, но, бросив взгляд на дорогу, ведущую в деревню, она замечает на ней приближающуюся к ним фигуру старой женщины: это «Всегда права».

— Уходи скорее! — говорит Юй-мэй. — Твоя мать пришла за тобой!

— Пойдем вместе!

— Но она же...

— Я уже не боюсь ее!

— Все равно иди первым! У меня нет охоты связываться с ней.

Ю-и уходит.

«Не хочет быть под началом у матери, — думает Ю-и на ходу. — Не хочет скандалить с «Опасно тронуть», не хочет выходить из кооператива... Пожалуй, кроме раздела, тут ничем больше помочь нельзя. Ладно! Будем делиться!» Погруженный в свои думы, Ю-и забывает обо всем на свете и вдруг оказывается лицом к лицу с матерью. Она с громкими проклятьями по адресу Юй-мэй бросается к нему, но он ускользает от нее и бегом пускается домой. «Всегда права», конечно, неотступно следует за ним.

Добежав до дому, Ю-и идет не в свою комнату, а в северную — к отцу.

В это время его отец вместе с Ю-юем обсуждали вопрос о том, как им вести себя дальше с Ю-и. Они догадались, что Лин-чжи приходила сказать Ю-и о своем решении выйти за Юй-шэна и что это-то и вывело Ю-и из себя. Услышав же от Ю-юя, что Ю-и пришел к ним в бригаду искать Юй-мэй, «Бестолочь» говорит:

— Пусть его, если он ни в какую не хочет жениться на Сяо-цзюй. Хватит с нас и того, что он уже выкинул.

Тут в комнату входит Ю-и, а за ним вбегает и сама «Всегда права». Тыча пальцем под нос Ю-и, она начинает:

— Сколько раз тебе говорить одно и то же! Только и думает, что об этих девках...

— Не во гнев тебе будь сказано, — перебил ее «Бестолочь», — но что толку от твоей болтовни? Ю-и, — обращается он к сыну, — все будет по-твоему, ты только не поднимай шуму, ладно?

— Отец! — говорит Ю-и. — Если только ты исполнишь одну мою просьбу, я обещаю тебе: никакого шуму больше не будет.

— Ну, говори!

— Отдай мне мой лист договора, я буду сам устраивать свою жизнь.

«Парень, точно бестолковый слуга в чайной, — из всех чайников хватает тот, что не про гостей! — думает «Бестолочь». — Я только о том и стараюсь, как бы он не отделился, а он тут как тут! И что мне сказать ему? Только что пообещал, что все будет так, как он захочет, и вдруг отказать в первой же просьбе? А ну как он опять убежит из дому и подымет шум на всю деревню?»

Чтобы выиграть время, старик отвечает уклончиво:

— Ну, что ж, о разделе тоже можно подумать, к чему так волноваться?

— Вот и хорошо! Тогда дай мне мой лист договора. Как только он будет у меня в руках, я и перестану волноваться.

— Я бы сейчас же и отдал его тебе, да только Дэн-гао как взял тогда договор, так с тех пор и не отдавал. Пошел бы ты сейчас поел, а после отдохнул бы у себя. Мы тоже все вздремнем, а потом, когда ты встанешь, и переговорим обо всем. Хорошо?

— Хорошо! — говорит Ю-и и выходит из комнаты.

После его ухода «Бестолочь» шепотом говорит жене:

— Так ты больше не ругай его, ладно? А то чем ближе подступаешься к нему, тем дальше он отходит.

— А как быть, если он и впрямь захочет делиться? — спрашивает Ю-юй.

— Тогда дело плохо! — отвечает «Бестолочь». — Это все твой дядюшка виноват: если бы он не вытащил на свет этот договор, который нам тогда так и не пригодился, мы бы составили договор с Цзюй-ин — и руки свободны. А о какой свободе может быть речь теперь, когда мы заявили, что договор настоящий? Давай на всякий случай сделаем так: ты не дожидайся, пока Ю-и проспится, а беги-ка к нему в комнату и попробуй урезонить его. Скажи ему, что я, мол, гневаюсь. Скажи ему, что я обижен таким его бессовестным поведением — из-за жены он готов забыть и отца и мать. Скажи ему, что если он и впрямь вздумает отделиться, то не сын он мне больше.

— Согласен,— говорит Ю-юй,— только пойдемте раньше пообедаем.

Когда они пришли на кухню, то видят, что котел как был накрыт крышкой, так и стоит, а заглянув в котел, обнаружили, что половник там побывать еще не успел.

— Что, Ю-и не приходил обедать? — спрашивает «Всегда права» у «Опасно тронуть».

Та отвечает, что она еще не видела его, и тогда «Всегда права» бросается в юго-восточную комнатушку. Не застав там Ю-и, она расквохталась на весь двор:

— Почему Ю-и нет дома? Ю-и! Ю-и! Куда ты убежал, даже не пообедав?

— Беда! — говорит сыну «Бестолочь», заслышав голос жены. — Он мог пойти к Фань Дэн-гао за договором. Беги скорее туда, посмотри, там ли он!

Так, даже не пообедав, Ю-юй вынужден бежать к Дэн-гао.

Когда Ю-и прибежал к Фань Дэн-гао, тот сказал ему, что договор он отдал Чжан Юн-цину. Ю-и бежит на дом к Юн-цину, и тот ведет его к дому с флагштоками. Они входят в северную комнату первого двора, Юн-цин отпирает боковушку, входит, выдвигает ящик письменного стола и вытаскивает оттуда два листа договора. Посмотрев, который из них на имя Ю-и, он отдает ему его лист, а другой кладет обратно в ящик.

— А тот? — спрашивает Ю-и.

— Хватит с тебя и твоего, — отвечает ему Чжан Юн-цин. — Тот лист — твоего старшего брата.

— А где же лист второго брата?

— Его взяли для ознакомления и еще не вернули.

Юн-цин запирает ящик. Едва они собрались уходить, как в комнату входит Ю-юй. Он проделал тот же путь, что и Ю-и — сперва на дом к Фань Дэн-Гао, затем на дом к Юн-цину и наконец сюда.

— Что ты здесь делаешь? — спрашивает Ю-юй у Ю-и.

— Пришел за договором.

— Получил?

— Получил!

Узнав, что договор уже у Ю-и, Ю-юй не смог придумать ничего дру-

гого, как выйти вместе с Ю-и и Юн-цином. Во дворе они сталкиваются с почтальоном. Тот передает Юн-цину газеты и письма, присланные в адрес кооператива и общественных организаций, а затем, протягивая еще одно письмо, спрашивает:

— Где живет Ма До-шоу?

— Из Хунани!— говорит Юн-цин Ю-юю, поглядев на конверт.— Наверняка от твоего второго брата. Вот сын До-шоу,— говорит он, обращаясь к почтальону, — можно передать и ему.

Юн-цин возвращается в боковушу просмотреть полученную почту, а Ю-юй, захватив письмо, вместе с Ю-и возвращается домой.

Радуясь победе, Ю-и наполняет свою чашку и уходит обедать к себе в комнатушку.

Вернувшись ни с чем, Ю-юй идет в северную комнату доложить отцу и матери о результатах своей прогулки. Выслушав доклад Ю-юя, «Бестолочь» сперва отряжает жену к Ю-и, поручив ей выманить у него договор, а затем просит Ю-юя прочесть ему письмо от второго сына.

«Всегда права» и лаской и угрозами пытается получить от сына договор, но Ю-и стоит на своем и почти не слушает ее. Когда же она пытается обыскать его, он выбегает во двор. «Всегда права» начинает гоняться за ним по двору, но тут Ю-юй раздвигает дверные занавеси северной комнаты и окликает ее:

— Матушка, оставь его! Второй сын прислал письмо: еще беда на нашу голову!

29. ТЯНЬ-ЧЭН СОВЕРШАЕТ РЕВОЛЮЦИЮ

Весть о том, что Линь-чжи выходит замуж, и весть о революции Ю-и в обед облетела всю деревню, и уж, конечно, эти события не могут не коснуться семьи Юань Тянь-чэна.

Сегодня с утра старик Тянь-чэн вместе со своим тринадцатилетним сыном обмолачивал пшеницу с самой худосочной полосы — зерно поздней спелости, собранное с трех му. Уже одного упоминания об этом зерне достаточно для того, чтобы вывести Юань Тянь-чэна из себя. В горячие посевные дни он не смог во-время управиться с севом. Когда дошла очередь до этих трех му, земля уже начала сохнуть, но Тянь-чэн, не посчитавшись с этим, все же засеял участок. Всходы дала едва одна треть семян, и, дождавшись первого же дождя, он засеял участок вторично. К началу осени то, что посеяли раньше, уже давно созрело и было начисто склевано воробьями, а остальное все еще оставалось зеленым, так что Тянь-чэн убрал свой хлеб лишь к тому времени, когда другие уже убрали кукурузу. Подсчитав же собранное, он обнаружил, что собрал вдвое меньше, чем обычно собирал с этого участка. И вот сегодня утром, обмолачивая эту злосчастную пшеницу и проклиная свою судьбу, Юань Тянь-чэн услышал, как на соседних токах люди переговариваются друг с другом о том, что Лин-чжи выходит замуж за Юй-шэна, а Ю-и отказался взять за себя Сяо-цзюнь, и это лишь еще больше бесит его. Как он ненавидит сейчас свою жену «Проныру»! Ненавидит ее за то, что она подала ему мысль оставить себе так много земли, ненавидит за то, что она не хочет браться ни за какую работу, считая, что он один должен все везти на себе, как старый вол, ненавидит за то, что она подбила Сяо-цзюнь развестись с Юй-шэном, ненавидит за то, что, устраивая вместе с «Всегда права» заочные браки, она в конце-концов осрамила их перед всей деревней. Занятый своими мыслями, Тянь-чэн незаметно для самого себя обмолотил весь хлеб, и перед ним встает вопрос: кто поможет ему провеять его? Пока сын распрягает скотину, Тянь-чэн,

уставясь в небо, думает о том, кто бы все-таки мог ему помочь, и, наконец, говорит:

— После того как распряжешь, дойди-ка до Мань-си и скажи ему: «Братец Мань-си! Отец велел передать, что если у тебя есть время, он просит помочь ему на току». Согласится он или нет — ты все равно возвращайся поскорей, чтобы я мог во-время позвать кого-нибудь другого, если он откажется.

Мальчик уходит, а Юань Тянь-чэн принимается ворошить вилами солому, поджидая возвращения сына. На его счастье, тот появился скоро, ведя за собой Мань-си с вилами на плече.

Переворошив солому и собрав зерно в кучи, они уже было приступили к провеиванию, когда на ток прибежала «Проныра». Выхватив из рук мужа лопату, она кричит:

— Погоди, сперва скажи, зачем ты порочишь меня в глазах людей?

— Да что я такое сделал? — спрашивает Юань Тянь-чэн.

Когда до ушей «Проныры» дошло, что Ю-и сорвал ее план оженить его на Сяо-цзюнь, она так переполошилась, что, как муравей по горячему железу, забегала по своему дому, и хоть и побаивалась встречи с Ю-и, все же решила идти к сестре. Но как только она выходит за ворота, к ее дому стекаются и стар и млад. Ей остается только юркнуть во двор, запереть за собой ворота и, приложив к ним ухо, ловить отрывки разговоров, доносящихся с улицы: «...В этот раз «Проныру» здорово щелкнули по носу...» — «...для всех Юй-шэн человек как человек, для одной Сяо-цзюнь не человек...» — «...один не тужил, что расстался, другой сам от нее отказался — и Юй-шэн нашел свой предмет, и Ю-и она не нужна...» — «...Правильно говорил на собрании старик Тянь-чэн — «Проныра» одна во всем виновата...» Что Юань Тянь-чэн на собрании признал свои ошибки и заявил, что во всем виновата жена, деревня давно уже знала, однако в присутствии «Проныры» люди избегали касаться этого вопроса, и теперь для нее это явилось новостью. Дальше она и слушать не стала и, собравшись с духом, выскочила из ворот.

Юань Тянь-чэн никак не может понять, зачем жена прибежала на ток и накинулась на него. Обычно в таких случаях он лишь опускал голову и отмалчивался, ожидая, пока «Проныра» устанет ругаться и сама отвяжется от него, а затем продолжал делать свое дело. На этот раз, однако, Тянь-чэн сам зол на все и вся не меньше жены, а потому и спрашивает ее холодно:

— Что же я такое сделал?

— И он еще спрашивает, что он сделал! — негодует «Проныра». — Уж кому-кому, а тебе виднее, чем ты занимаешься. Отвечай сейчас же!

— Отойди-ка! — отвечает Тянь-чэн, отталкивая жену и отбирая у нее лопату. — Если я сделал что дурное, можешь подать на меня в суд. Нечего приставать ко мне, у меня и без того мороки хватает.

«С чего бы это старик так расходился? — думает «Проныра». — Этого еще недоставало!» Она снова хватается за лопату и говорит:

— Не хочешь мороки, так чего же чернишь других? Какие там еще суды — говори начистоту, так просто от меня не отделаешься!

— На, возьми! — говорит Юань Тянь-чэн, отдавая ей лопату.— Я-то давно уже сыт по горло. Кончилось мое батрачество!

— Ну, полно, полно! — начинает уговаривать их Мань-си. — Ступайте домой, тетушка. Делу — время, потехе — час, сейчас нам надо дело делать.

— Нет! — отвечает Тянь-чэн, — иди отдохни и ты, Мань-си. Работать я больше не стану. Что из того, будет убрано это зерно или нет? Тут его и всего-то кот наплакал.

— У-у, проклятущий! — кричит «Проныра». — А кто тебе мешает

собрать больше! Хлеб не уродился — тоже моя вина? Плевать я хотела, уберешь ты его или нет! Лишь бы не уморил с голоду меня с дочерью, а там хоть выбрось его совсем!

— Не о том мечтаешь! — отвечает ей Тянь-чэн. — Кончилось мое батрачество! Тут на днях и разделы были, и разводы были, и мы не хуже других прочих. Вот посмотрю, к кому ты пойдешь с голодным-то брюхом!

С этими словами, даже не обернувшись, Юань Тянь-чэн вышел с тока и зашагал по направлению к дому с флагштоками.

— Что бы ты ни задумал — все равно ты сперва должен пристроить куда-нибудь меня и дочь! — кричит «Проныра» и бежит догонять мужа.

— За тем и иду! — говорит Тянь-чэн. — Оно и к лучшему, что ты пришла сюда — не надо будет посылать за тобой.

Чтобы Юань Тянь-чэн осмелился так разговаривать с женой, для Саньливани — дело неслыханное. Все крестьяне на токах побросали работу и, застыв на месте, наблюдали за ними, однако ни один не прибежал усовещать их. «Пусть «Проныра» получит урок», — думают все.

Мань-си упрекает себя за то, что сделал слишком слабую попытку примирить супругов, и нехотя идет за ними.

— Вот и старик Тянь-чэн совершил революцию, — говорит насмешник Юань Сяо-дань.

Юань Тянь-чэн широко шагает, «Проныра» семенит за ним, а Мань-си кричит им вдогонку:

— Стойте! Не надо поднимать шуму! Не велика беда — поругался муж с женою!

Однако ходу Мань-си не прибавляет. Тянь-чэн входит в дом с флагштоками. «Проныра», не дойдя до ворот, усаживается на камень у дороги.

Когда дело доходит до скандала, «Проныра» всегда скандалит с выдержкой, отдавая себе ясный отчет в том, что ей на пользу, а что нет. Так и сейчас: «Проныра» уже давно подумывала об отступлении. Сколько раз на пути до дома с флагштоками она украдкой оглядывалась на Мань-си и сколько раз ругала его в душе за то, что он знай лишь кричит свое вместо того, чтобы догнать их. Когда Тянь-чэн входит в дом с флагштоками, «Проныра» чувствует, что возможность примирения уже упущена: остается лишь слабая надежда на то, что вместо нее Мань-си уговорит старика вернуться. Поэтому она и садится на придорожный камень. Однако Мань-си, негодник, повидимому уже разгадал тайный умысел «Проныры». Он и не думает продолжать погоню, а, взяв «Проныру» под локоть, говорит:

— Тетушка, полноте! Вернитесь домой. И не надо больше ссориться с дядюшкой — он человек серьезный!

— Не к чему меня-то удерживать, Мань-си, — шопотом говорит «Проныра», — пошел бы лучше дядюшку удержал.

Мань-си, посмеиваясь про себя, идет к дому с флагштоками.

Войдя в первый двор, Юань Тянь-чэн видит, что дверь северной комнаты закрыта. Однако оттуда доносится гул голосов. Он открывает дверь и входит в комнату: там в полном составе собрались партком, комитет союза молодежи, присутствуют также председатель кооператива и его заместитель. По стремительности, с какой Тянь-чэн вошел, Цзинь-шэн догадывается, что произошло что-то серьезное, и спрашивает его, в чем дело.

— Хочу развода с «Пронырой»! — отвечает Юань Тянь-чэн. — Прошу комиссию по разбору жалоб дать мне свидетельство для оформления развода в районе.

— Ну, хорошо! — улыбается в ответ Цзинь-шэн. — Тебе придется

немного подождать, пока Юн-цин разберет ваше дело. А пока ступай, здесь идет очень важное совещание.

— А нельзя ли освободить кого-нибудь?

— Нельзя. Очень важное совещание.

Юань Тянь-чэн выходит во двор и сталкивается лицом к лицу с Мань-си, который только что вошел.

— Дядюшка! — говорит Мань-си. — Не надо поднимать шуму! Тетушка сказала, что согласна на мир.

— Ну нет! — отвечает Тянь-чэн. — Не нужно мне ее согласия. Вот кончится заседание, и сразу же изложу свою жалобу. — С этими словами Тянь-чэн направляется к воротам.

Мань-си в общем-то человек доброй души. Если раньше он всегда осуждал «Проныру» и всячески желал ей осечься на каком-нибудь деле, то на этот раз, когда она первой пошла на мировую, он от чистого сердца взялся улаживать ссору. Следуя за Тянь-чэном по пятам, он уговаривает его не доводить дело до комиссии. Едва они выходят из ворот, как «Проныра», не дожидаясь, пока они подойдут к ней, сворачивает знамена и, понурив голову, отправляется домой. Однако как Мань-си ни убеждает Юань Тянь-чэна оставить свою затею и вернуться сейчас вместе с ним домолачивать зерно, тот упрямо твердит:

— Нет, нет, нет! Прошу тебя, иди домой! Мне не до зерна. На этот раз уступишь — а столько еще жизни впереди!

После ухода матери Сяо-цзюнь последовала ее примеру и, притаившись у закрытых ворот, стала слушать, о чем говорят люди. Слушает она до тех пор, пока мать не возвращается и не стучит в ворота. Немного погодя подходит и Мань-си с Юань Тянь-чэном.

Заметив покрасневшие веки Сяо-цзюнь, Мань-си, не подумав, говорит: «Вы что это, невестушка...» и сразу спохватывается, вспомнив, что она разведенная. К тому же и Сяо-цзюнь сразу заливается краской до самых ушей.

— Простите, — поспешно поправляется Мань-си, — и как это я так сговорился!

Сяо-цзюнь, опустив голову и не говоря ни слова, уходит. Мань-си постеснялся еще раз взглянуть ей в лицо, но ему показалось, что она плачет.

В дом входит, не говоря ни слова, «Проныра». Входит, не говоря ни слова, Юань Тянь-чэн. Входит, не говоря больше ни слова, и Мань-си.

«Разве отец не был на току? — с удивлением думает Сяо-цзюнь. — Почему же он вернулся с пустыми руками? И мать — она раньше никогда не работала на току, а тут вдруг возвращается вместе с отцом. Если они поссорились, то почему мать нисколько не сердита? И зачем пришел Мань-си, да еще с таким серьезным лицом?»

Теряясь в догадках, Сяо-цзюнь напрасно ломает голову до тех пор, пока, размазывая слезы по щекам, не прибегает и ее тринадцатилетний брат. Расспросив его, Сяо-цзюнь начинает понимать, что произошло на току. О том, что было в доме с флагштоками, мальчик ничего не знает.

Сяо-цзюнь, обняв брата, горько плачет. Из всего, что она слышала, притаясь у ворот, особенно обидны для нее слова поговорки: «Один не тужил, что расстался, а другой сам отказался». После развода Сяо-цзюнь часто не без сожаления вспоминала Юй-шэна, только никому не говорила об этом. Она стала сомневаться в правильности всего того, чему учила ее мать, так что иногда даже вступала в пререкания с ней. Мать догадалась, что происходит в душе дочери, и, воспользовавшись тем, что ее дядюшка приехал в деревню помогать Ма при разделе, решила выдать дочь за Ю-и. Сяо-цзюнь охотно согласилась: она надеялась этим браком хоть как-то отомстить Юй-шэну за все и не ожидала, что это мо-

жет кончиться так плачевно, и не она выйдет за «образованного», а, наоборот, Юй-шэн найдет себе образованную девушку. Если бы еще дело обошлось без огласки, но теперь, когда свадебные подарки уже приняты и их придется возвращать, она не знает, куда деваться от стыда. А тут еще брат говорит, что отец не на шутку разгневан и хочет разводиться с матерью! Что же с ними тогда будет? Сяо-цзюнь еще пуще заливается слезами, но вдруг слышит из дома громкий голос отца. Она хватает брата за руку и бежит с ним в дом.

Пока Сяо-цзюнь сетовала у ворот на свою судьбу, Юань Тянь-чэн и «Проныра» уже начали переговоры под наблюдением Мань-си. Мань-си предложил каждой стороне точно определить, чего она хочет от противной стороны в будущем, чтобы тем самым заложить прочную основу соглашения. Первой выдвигает свое требование «Проныра» — она требует, чтобы отныне Тянь-чэн больше не порочил ее доброго имени. Едва она успела это сказать, как Тянь-чэн вскипел:

— И ты еще смеешь заикаться о своем добром имени! Это я-то опорочил твое доброе имя? Мое доброе имя ты уже давно опорочила, дальше некуда, кому мне прикажешь жаловаться? Вот что — брось ты свои дурацкие фокусы, по-серьезному разберись, в чем ты неправа, — и тогда мы с тобой будем говорить, а если будешь еще валять дурака, тогда мы с тобой распростимся!

Именно этого «распростимся» и боится больше всего «Проныра». Как только Тянь-чэн произнес это слово, всю ее спесь как рукой сняло.

— Хорошо, — отвечает она, — раз ты считаешь, что я неправа, то и говори первым, идет?

— Скажу первым: послушавшись твоего чертова совета, я оставил за собой так много земли, что за весь год наработал в кооперативе всего пятьдесят трудодней и все равно запустил свой участок, от усталости едва таскаю ноги, стал плохо работать и ко всему заклеймен как носитель буржуазных взглядов. Посуди сама, ну, не обидно ли мне? Ты же и сама не хочешь ничего делать, и Сяо-цзюнь не допускаешь к работе, один лишь я, как старый вол, тащу на себе весь воз, а в страдную пору приходится еще и к людям бегать за помощью. Продрала бы ты свои глазищи да сходила бы посмотрела, что сейчас делается на токах да на полях! Посмотрела бы, кто еще из женщин сидит дома, как вы обе? У других женщин то собрание, то учеба, ты же и сама не ходишь, и Сяо-цзюнь не пускаешь, моришь ее целыми днями на кане, да учишь ее разным мерзостям, как легче нарушить семейный покой! Уж на что был хорош Юй-шэн, так нет же, надо было подбить Сяо-цзюнь на развод! Он вот женился на Лин-чжи, а какое гнездо свила себе твоя ученица?

Эти слова задевают самое больное место Сяо-цзюнь. Ей уже все равно, будет ли смеяться над ней Мань-си или нет, и она разражается громкими рыданиями. Не обращая на это внимания, Тянь-чэн продолжает:

— Ты все еще ничего не хочешь понять, и с твоей сестрицей вы взялись обделывать брак ваших детей самыми гнусными способами, которые вот уже тридцать лет как вышли из моды. Вы только полюбуйтесь — сговор сделали, подарки преподнесли, молву распустили, а Ю-и взял да и дал вам щелчок по носу! Хотел бы я посмотреть, в какую крысиную нору сунешь ты теперь свое старое лицо!

— Отец ты мой, — перебивает его «Проныра». — Если можно, уж кое о чем помолчи! Зачем говорить все это при посторонних?

— И ты все еще думаешь о том, чтобы все было шито-крыто? — отвечает Тянь-чэн.—«Если не хочешь, чтобы о твоих делах прознали люди, не делай их». Мань-си лучше нас с тобой знает обо всем.

— Ну полно, полно,— говорит Мань-си.— Сказал, что хотел сказать, и хватит. Человек прежде ошибался, а теперь исправится. Давайте-ка отдохнем немного, а потом все же пойдем уберем зерно.

— Ну нет! — отвечает Тянь-чэн. — Это еще не все!

— Никто не мешал тебе говорить все, что угодно, — обращается к мужу «Проныра». — Я ни словом не перебила тебя. Разве ты еще не все сказал? Отец ты мой! Что же ты еще хочешь сказать?

— Что еще? Слушай! С будущего года оставляем за собой земли столько, сколько положено по уставу, остальное передаем в кооператив. Вы с Сяо-цзюнь с сегодняшнего же дня начинаете работать так же, как и я, — сперва пройдете такое вот «трудовое перевоспитание», а потом наравне с другими женщинами займетесь какой-нибудь работой в кооперативе. Если будете ходить на собрания женщин и в кружок ликвидации неграмотности, то, глядишь, и на людей станете похожи. И чтоб не было больше скандалов, ругани, семейных дрязг, капризов и прочей чертовщины, понятно? Согласна на все без оговорок — на том и делу конец, хоть с чем-нибудь не согласна — живи по-своему!

«Вот тебе на! — думает про себя «Проныра». — Старик и впрямь коечему научился с тех пор, как вступил в партию. Кладет слова — словно кирпичи в стену, так что и податься некуда. Я-то всю жизнь вертела им, как хотела, и не думала не гадала, что придет день, когда он вот так прижмет меня! Если теперь уступить ему во всем, то конец моей былой власти над ним, и уж больше не держать мне его в руках. Если же затеять новый скандал, он, неровен час, и вправду не побоится развестись и разделиться со мной, потому что, видать, все это уже давно накипело у него на душе и он решился положить этому конец...» Пока она прикидывает, какие прибытки и убытки сулит ей все это, приходит посыльный от комиссии по разбору жалоб.

Посыльный говорит, что совещание в северной комнате уже закончилось, и члены комиссии, оставшиеся после совещания в доме с флагштоками, готовы выслушать дело Тянь-чэна и его жены.

— Вернитесь и скажите членам комиссии, чтобы их не ждали, — говорит Мань-си, — они уже уладили все между собой.

— Погодите минутку, — просит посыльного Тянь-чэн. — Так давай яснее! — обращается он к жене. — Если согласна со всем тем, что я сказал, тогда не будем задерживать человека. А если думаешь еще торговаться, идем сейчас же в дом с флагштоками!

«Угораздило же меня сегодня идти на ток!» — думает «Проныра» и отвечает:

— Хорошо! Пусть все будет по-твоему.

— Найди себе поручителя.

— Дело-то свое, семейное, зачем же еще и поручителя?

— Как будто ты сама себя не знаешь: завтра же обо всем забудешь.

«Проныра» посмотрела, посмотрела на Мань-си и говорит:

— Мань-си, поручись за меня, а?

Когда речь шла лишь о том, чтобы помирить супругов, Мань-си еще был способен на подлинный энтузиазм. Но когда речь зашла о том, чтобы стать поручителем «Проныры», он заколебался: уж кто-кто, а он-то знает, что на обещания «Проныры» особенно полагаться нельзя.

— Мань-си! — вмешивается в разговор Сяо-цзюнь. — Сделай милость, поручись за матушку!

— Вот оно каково твое доброе имя! — говорит Тянь-чэн, взглянув на «Проныру». — Соглашайся, Мань-си, не бойся, — продолжает он. — Я вовсе не требую, чтобы кто-нибудь серьезно поручился за нее, а лишь хочу иметь свидетеля, который мог бы рассказать, о чем я толковал

с ней сегодня. И если она вздумает сделать что не так, я сейчас же разведусь с ней, — понимаешь?

— Ладно, — говорит Мань-си, — ручаюсь за вас, тетушка!

— Вернитесь и скажите членам комиссии, чтобы нас не ждали, — говорит Тянь-чэн посыльному. — Передайте им, что Мань-си помог нам уладить дело.

— Ну что ж, — говорит Мань-си, — время дневного сна прошло, а я еще должен убирать кукурузу на участке Да-няня.

30. И ТО СКАЗАТЬ, СЛАВА

День двадцатого сентября, накануне которого произошли события, всколыхнувшие всю Саньливань, опять выходной, и сегодня утром на первом дворе дома с флагштоками опять оборудуется сцена для предстоящего собрания.

После завтрака люди мало-помалу собираются в доме с флагштоками; партийцы, как обычно, проводят предварительное совещание в северной комнате.

Делать последние приготовления к собранию сегодня поручено Лин-чжи. Она уже не впервые работает по заданию кооператива, но на этот раз делает все с каким-то особенным чувством. До этого Лин-чжи чувствовала себя в кооперативе всего лишь временным работником на месте Юй-мэй, в помощи которого постоянной нужды нет; теперь же дело иное: сейчас, когда отец уже вступил в кооператив, а сама она вышла замуж за Юй-шэна, семья которого тоже состоит в кооперативе, она уже чувствует себя здесь хозяином.

В середине занавеса, расположенного в задней части сцены, повешена одна из трех картин Ляна, где изображена Саньливань после прорытия канала, и таблица с показателями роста кооператива за последние десять дней. Картина предназначена для того, чтобы пользоваться ею как картой при обсуждении вопроса о прорытии канала. Таблица, сделанная самой Лин-чжи, содержит лишь несколько колонок крупных иероглифов — чтобы в ней можно было разобраться даже издали, — дающих представление о том, сколько дворов, земли, скота и т. д. было в кооперативе раньше и сколько стало теперь.

Во дворе стоит неумолчный гул голосов; люди, пришедшие первыми, в ожидании начала собрания толпятся у таблицы: «...было пятьдесят дворов, прибавилось семьдесят один, всего — сто двадцать один... было семьсот двадцать му, прибавилось тысяча двести пятнадцать, всего — тысяча девятьсот тридцать пять... было пятьдесят восемь голов, прибавилось...»

Но вот почти все в сборе, люди начинают спрашивать Лин-чжи, почему медлят с открытием, и Лин-чжи объясняет, что задержка произошла из-за Вэй Чжань-куя, который ушел в уезд за одной очень важной вещью и еще не возвращался. Затем она спрашивает, все ли музыканты в сборе, и ей отвечают, что нет лишь одного барабанщика. Так как барабанщик не кто иной, как старик Ван Шэнь, прозванный «Негоже», Лин-чжи спрашивает у его сына Цзе-си, что с отцом.

— Ему что-то нездоровится, — отвечает Цзе-си, — и он не может прийти.

— Чего там «нездоровится»! — говорит кто-то, видимо, знающий больше других. — Идеологический вывих, и все тут!

— Как же так? — недоумевает Лин-чжи. — Вступил же он в кооператив!

— Вот из-за этого самого все и получилось! — добавляет еще кто-то.

Ни о чем больше не спрашивая, Лин-чжи идет в северную комнату,

где совещаются партийцы, и рассказывает про Ван Шэня. После этого Цзинь-шэн и Чжан Юн-цин поспешно выходят на сцену и, как следует порасспросив людей, узнают, что виноват во всем этом Чжан Юн-цин.

Как известно, после десятого числа во всех бригадах взаимопомощи с участием представителей от парторганизации обсуждался вопрос о расширении кооператива. В бригаду, где работал Ван Шэнь, таким представителем был назначен Чжан Юн-цин. И вот как-то старик Ван Шэнь сказал, что ему не нравится работать, смешавшись в одну кучу с другими, а Чжан Юн-цин ответил ему: «Организованно идти по пути к социализму — к этому нас призывает председатель Мао. Не откликнутся на этот призыв лишь те, кто задумал идти по пути Чан Кай-ши». Когда началась запись желающих вступить в кооператив, старик Ван Шэнь хотя и записался, однако после этого говорил людям: «Я по собственному желанию записался в кооператив, не думайте, что это Чжан Юн-цин вразумил меня! Если бы так, как он, говорили все члены кооператива, я бы в жизнь свою не пошел туда. Нашел тоже, с кем меня равнять,— с ублюдком Чан Кай-ши!»

— Ты чего это опять взялся палить в людей, как из пушки? — негодующе спрашивает Цзинь-шэн Чжан Юн-цина. — Говори: палил еще в кого, кроме старика Ван Шэня?

— Ни в кого он больше не палил, — опережая Чжан Юн-цина, отвечают люди из одной с Ван Шэнем бригады взаимопомощи, — другие уже раньше заявили о своем желании вступить в кооператив!

— Мне и в голову не приходило, что может так получиться! — говорит Чжан Юн-цин. — А если я виноват перед человеком, не иначе как я должен и идти за ним.

— Тебе нельзя, — говорит Цзинь-шэн, видя, что он уже собирается слезть со сцены. Нам еще предстоит разговор по серьезному делу. Лучше я пошлю вместо тебя кого-нибудь другого, а когда Ван Шэнь придет, ты извинишься перед ним. Что, не видать здесь моего отца? — спрашивает он людей, собравшихся перед сценой.

— Здесь я! — откликается старик Бао-цюань, отделяясь от группы стариков, попыхивающих трубками.

Цзинь-шэн просит отца сходить за Ван Шэнем и привести его. Поддерживают Цзинь-шэна и другие, говоря, что если за Ван Шэнем пойдет Бао-цюань, то уж наверняка приведет его. Старик Бао-цюань соглашается и уходит.

Цзинь-шэн и Юн-цин уже хотели было возвратиться в северную комнату, как вдруг со своего места поднимается Ю-и и спрашивает:

— Скажите, сейчас еще не поздно записаться в кооператив?

— Конечно, нет! — отвечает Цзинь-шэн. — Что, ваша семья тоже надумала?

— Нет, только один я! Хочу отделиться от своих.

Оглядев собравшихся и увидев среди них и Ю-юя, Цзинь-шэн спрашивает его:

— Как, вы уже решились на раздел?

— А что там!.. — растерянно взглянув на Ю-и, отвечает Ю-юй. — Раздел так раздел! Теперь что ни день, то какая-нибудь новость на голову валится!

— Хотя причины нового раздела в вашей семье мне не совсем ясны, — говорит Цзинь-шэн, — тем не менее, объяснить вам наши условия приема я могу: до начала весенней пахоты двери кооператива раскрыты для любого, кто пожелает вступить в него.

— И я хочу записаться! — встает со своего места «Маленький наоборот» Юань Дин-вэй. — **И я теперь стал сознательным!**

Едва Цзинь-шэн успел сказать, что и это можно, как Мань-си выкрикивает:

— Не нужны нам такие!

— Почему не нужны? — спрашивает Цзинь-шэн. — Наоборот, надо сказать «Добро пожаловать»!

— Он продал вчера своего осла! — отвечает Мань-си.

— Тогда и вправду ничего не выйдет, — вставляет Чжан Юн-цин.

— Ведь всем говорили,— обращается Цзинь-шэн к Юань Дин-вэю,— что для кооператива все равно, тратить ли на покупку скотины ссуды, полученные в банке, или постепенно выплачивать определенный процент ее стоимости членам, которые пришли в кооператив со скотиной. Твой же поступок доказывает, что ты не доверяешь кооперативу, и если теперь принять тебя, то какой прок будет кооперативу от человека, который не доверяет ему? Придется подождать, пока ты действительно станешь сознательным, а там уж и поговорим!

— Нет, так тоже не годится! — говорит кто-то. — Хочет вступать в кооператив — пусть выкупает осла обратно.

— Или может внести деньгами, что выручил за него! — подхватывает второй.

— Ну что ж, можно и деньгами, — соглашается Юань Дин-вэй. — Миллион юаней, что я выручил за осла, целехонек, за вычетом того, что уплачено по налогу за продажу скотины.

— Миллион? — недоверчиво спрашивает Фань Дэн-гао. — Да его бы за полтора с руками оторвали!

— Нет, честное слово, миллион, — говорит Юань Дин-вэй, — у меня даже и свидетельство об уплате налога при себе!

—Уж, конечно, нашлись охотники,— вставляет Мань-си,— раз ты отдавал осла задаром!

— Кому продал-то? — спрашивает Дэн-гао.

— Покупателя я и сам не знаю — подыскал кого-то дядюшка Ю-юя.

— Что ж, и старому барышнику жить надо! — говорит кто-то.

— Ну, вот что, — обращается Цзинь-шэн к Юань Дин-вэю, — если ты действительно стал сознательным, то и внесешь этот миллион, раз продал за миллион. Какую сумму внесешь, с той тебе и будут платить проценты!

«Маленький наоборот», подняв глаза к небу, молчит.

— Уж теперь думай не думай, — говорит ему Мань-си, — полмиллиона как кошке под хвост выбросил. Если вступить в кооператив, не доберешь процентов, что причитались бы тебе за лишние полмиллиона. Не захочешь вступать — хоть и добавить полмиллиона, а такого осла все равно не выкупишь.

Но вот, наконец, в дом с флагштоками приходит Вэй Чжань-куй.

— Принес? — спрашивает его Чжан Юн-цин.

— Принес! — отвечает тот.

— Так насчет кооператива ты еще подумай хорошенько, — говорит Цзинь-шэн «Маленькому наоборот», — а там поговорим. Торопиться некуда — до весенней пахоты еще далеко.

Цзинь-шэн вместе с Чжан Юн-цином и Вэй Чжань-куем направляются в северную комнату.

— Надо бы и Ю-юя позвать, а? — на ходу говорит Цзинь-шэн Чжан Юн-цину.

— Можно! — отвечает тот.

Обернувшись, Цзинь-шэн приглашает Ю-юя присоединиться к ним, и Ю-юй уходит вместе с ними.

Всем уже давно прискучило ждать открытия собрания, и чтобы хоть немного развлечься, молодежь берется за музыкальные инструменты. Но

из-за отсутствия барабанщика Ван Шэня и трубача Чжан Юн-цина музыка не ладится. Несмотря на то, что состав оркестра то и дело обновляется, добиться сколько-нибудь сносного звучания не удается.

Через некоторое время из-за занавеса появляется Ма Ю-юй. Понурив голову, он медленными шагами направляется к краю сцены, спрыгивает с нее и, вместо того чтобы возвратиться на свое место, идет к воротам.

— Ты что ж это, уходишь? — спрашивают его.

— Есть дело! — отвечает Ю-юй. — Надо сходить домой.

К Лин-чжи, держа в руках красную шелковую материю, скатанную в узкую трубочку, подходит заместитель председателя кооператива Цинь Сяо-фын. Показывая на дверь северной комнаты, она спрашивает: «Они все еще там?» Лин-чжи утвердительно кивает головой, и Цинь Сяо-фын, взобравшись на сцену, исчезает за занавесом. Красная шелковая материя, которую она держит в руках, — это флажок, только что сделанный ею. В северной комнате она развертывает и показывает его собравшимся. Со двора попрежнему доносится оглушительная какофония барабанов и гонгов, и все в один голос заявляют, что это безобразие надо прекратить.

— Ну, это еще не так плохо! — говорит им Чжан Юн-цин. — Слышите барабан? Это бьет Цзе-си. Конечно, ему еще далеко до отца, но все же слушать можно.

Едва он успел договорить, как барабан вдруг зазвучал по-новому.

— Ван Шэнь пришел! — радостно восклицает Чжан Юн-цин.— Пойду просить у него прощения!

С этими словами он убегает.

— Ну, у нас все готово, — говорит Цзинь-шэн. — Давайте во двор, пора начинать.

Наконец собрание открыто, и первым выступает с докладом Цзинь-шэн. Сперва он вкратце рассказывает о том, как прошла кампания за расширение кооператива, а затем переходит к проекту плана дальнейшей работы. От имени парторганизации он предлагает перенести выходной день с тридцатого сентября на первое октября — день национального праздника, а за оставшиеся до праздника десять дней закончить уборку урожая и осеннюю пахоту и на полях кооператива, и на полях единоличников, а кроме того, закончить подготовку к прорытию канала. К прорытию канала приступить сразу же после праздника и работать до тех пор, пока земля не промерзнет. Одновременно с этим надо будет определить урожайность участков новых членов кооператива, стоимость рабочего скота и сельскохозяйственного инвентаря, передаваемых ими кооперативу, а также разработать производственный план на будущий год. После этого Цзинь-шэн подробно рассказывает о том, каким именно образом собирается парторганизация осуществить всю эту работу, и заканчивает свой доклад следующими словами:

— Таков первоначальный проект плана, предлагаемый парторганизацией. Надеюсь, обсудив его сегодня вечером у себя в бригадах, вы внесете свои дополнения и поправки.

Следующий пункт повестки дня — избрание ответственных за осуществление работ на канале, и Цзинь-шэн предлагает собравшимся рассмотреть список кандидатов.

— Плановая комиссия, — говорит он, — предлагает для удобства разбить всю трассу канала на пять рабочих участков. Первый из них, — продолжает он, показывая участки по картине Ляна, — это весь Загривок дракона, включая и Рукоятку ножа. Второй — между Тридцатью му и окраиной деревни. Третий — у Песчаного оврага. Четвертый и пя-

тый — южная и северная части подножия горы, к которой прилегает Нижняя отмель.

Затем Цзинь-шэн оглашает список кандидатов, и после обсуждения кандидатур начинается раздача бюллетеней для голосования.

Во время подсчета голосов появляется Ма Ю-юй и с ним старик Ма До-шоу. Старик Ма, никогда ранее не бывавший на собраниях, сразу же приковывает к себе все взоры.

— «Бестолочь», ты случаем не ошибся дорогой? — спрашивает его один из стариков, постоянно подтрунивающий над ним.

— Добро пожаловать! — обращается к «Бестолочи» Цзинь-шэн. — Проходите вперед, дедушка!

Все расступаются перед Ма До-шоу, а люди, сидящие в переднем ряду, теснятся, чтобы дать ему место.

— Я, упрямая башка, тоже стал сознательным! — заявляет «Бестолочь» Цзинь-шэну, прежде чем сесть. — Я тоже хочу записаться в кооператив.

Гром рукоплесканий, которыми оглашается двор, не дает Цзинь-шэну ответить. Когда аплодисменты стихают, тот же старик-насмешник встает и, взглянув на небо, говорит:

— Уж не с запада ли взошло сегодня солнце?

— Шутки в сторону! — встает со своего места другой старик. — Мы от всей души должны сказать ему: «Добро пожаловать!»

Опять раздаются аплодисменты; старик продолжает:

— Раз человек вступил в кооператив и стал нашим товарищем, предлагаю больше не звать его «Бестолочью»!

— Верно! — кричит весь двор.

— Очень хорошее предложение! — говорит Цзинь-шэн. — И мы со всей серьезностью отнесемся к нему.

«И то дело! — думает про себя Ма До-шоу. — Хоть от дурацкого колпака отделался!»

Но вот подсчет голосов окончен, результаты голосования оглашаются: список кандидатов, предложенных Цзинь-шэном от имени парторганизации, полностью одобрен.

— В заключение, — говорит Цзинь-шэн, — должен сообщить вам радостное известие: второй брат Ю-и Ма Ю-фу безвозмездно передает кооперативу тринадцать му земли, полученной им при разделе семьи, включая и три му на Рукоятке ножа!

Снова гром аплодисментов.

— Дело было так, — продолжает Цзинь-шэн. — Когда отделялась Цзюй-ин, выяснилось, что Рукоятка ножа записана в договоре о разделе на имя Ю-фу. Тогда мы, коммунисты кооператива, обсудили это дело и написали Ю-фу такое вот письмо. — Цзинь-шэн вытаскивает из кармана пачку бумаг, находит среди них черновик письма и читает вслух:— «Товарищ Ю-фу! Наш кооператив на паях с единоличными хозяйствами всей деревни хочет прорыть канал, который должен был бы пройти по участку в три му на Рукоятке ножа, принадлежащему Вашей семье. По договору о разделе, составленному десять лет тому назад в вашей семье, этот участок принадлежит Вам. Хотя некоторые говорят, что договор недействителен, на наш взгляд это не так, и мы посылаем Вам вместе с письмом Ваш лист договора, чтобы Вы могли высказать свое мнение. Обращаемся к Вам с просьбой уступить нам этот участок: либо обменять землю на землю, либо продать ее — и тогда мы вышлем деньги почтой, — либо сдать нам ее в аренду. Просим ответить письмом, какое из этих предложений Вам более всего подходит. Смеем надеяться, Вы не откажетесь пойти нам навстречу в деле укрепления производственной базы нашей деревни и кооператива. С приветом! Саньливань, сельскохо-

зяйственный производственный кооператив. Шестого сентября тысяча девятьсот пятьдесят второго года». Вчера, — продолжает он, окончив читать, — пришло и ответное письмо от Ю-фу; вот послушайте, что он пишет:

«Дорогие товарищи — члены кооператива и все односельчане! Меня очень радует весть о том, что вы сообща укрепляете производственную базу, идете социалистическим путем. В настоящее время я работаю начальником отделения по делам бригад взаимопомощи и кооперативов при уездном комитете партии. Мне самому что ни день приходится сталкиваться с подобными вопросами, поэтому прошу вас отныне в порядке обмена передовым опытом почаще писать мне о том, как идут у вас дела в образцовой деревне. Что касается договора, то он составлен моим двоюродным дядей и, несомненно, действителен.

Я — партиец на службе революции, работник аппарата, и решил посвятить этой работе всю свою жизнь, так что вряд ли мне еще когда-либо придется пахать землю в Саньливани. Поэтому передаю свою землю в безвозмездное пользование кооператива. Посылаю свой лист договора обратно с этим же письмом, чтобы вы могли получить в уезде свидетельство на право владения землей. Помещения же, отводимые мне по договору, пусть поделят между собой братья — в комнатах, которые они сейчас занимают, им тесновато. Кроме этого письма, посылаю еще отдельно письмо отцу с объяснением всех обстоятельств дела, прошу вас связаться с ним. По получении этого письма прошу еще раз написать мне. С приветом! Ма Ю-фу. Тринадцатого сентября».

После того как письмо прочтено, опять раздаются аплодисменты, а Цзинь-шэн, поднимая над головой какую-то бумагу, говорит:

— А вот и свидетельство на право владения землей — его принес из уезда Вэй Чжань-куй.

Все снова хлопают в ладоши.

Оказывается, именно о Рукоятке ножа шла речь в письме, которое вчера почтальон принес в дом с флагштоками, и именно по этому делу было созвано срочное совещание членов парткома и комитета союза молодежи совместно с председателем кооператива и его заместителем.

На этом совещании Цзинь-шэн настаивал на том, что надо тотчас же связаться с Ма. Другие, однако, опасаясь, что Ма так просто не сдадутся, считали, что прежде чем начинать с ними переговоры, нужно сходить за свидетельством на право владения землей.

Хотя Цзинь-шэн и чувствовал, что поступить так с Ма будет не вполне вежливо, но в конце концов рассудив, что вопрос не имеет большого принципиального значения, спорить больше не стал.

Ма До-шоу, получив письмо, также просовещался с Ю-юем всю вторую половину дня. Наконец они решили, что подождут, пока за ними придет человек от кооператива, а там выпустят на него «Всегда права», предварительно уполномочив ее отказаться от каких бы то ни было переговоров. Но вот сегодня перед собранием, лишь после того, как Вэй Чжань-куй вернулся из уезда со свидетельством, на переговоры вызвали самого Ю-юя. Ему объяснили что и как, сказали к тому же, что их семье дается красный флажок почета, и отпустили с наказом привести Ма До-шоу на собрание.

С первых же слов Ю-юя Ма До-шоу понял, что теперь его игра окончательно проиграна.

— Пропади они пропадом, их флажки! — сказала «Всегда права». — Пусть только дадут — здесь же порву на месте!

— Ну, хватит, хватит! — остановил ее Ма До-шоу.— Тогда ни земли тебе, ни славы!

Потом старик и Ю-юй сделали подсчет. Если они вступят в коопе-

ратив, то за одну только землю — стариковский надел плюс надел Ю-юя, всего двадцать девять му — получат при распределении доходов двадцать два даня четыре доу зерна при условии, что каждый му их земли будет давать два даня. Далее: они с Ю-юем в общем могут нарабатывать по полтора трудодня в день, и если наработают триста трудодней в год, то получат на них еще сорок пять даней, а в общей сложности будут иметь шестьдесят семь даней четыре доу в год. Если не вступят, то будут получать всего лишь пятьдесят восемь даней, то есть на девять даней и четыре доу меньше.

— Коли слава — так больше славы! — сказал Ма До-шоу. — Вступаем!

Показав собранию свидетельство на право владения землей, Цзинь-шэн продолжает:

— Ма Ю-фу безвозмездно отдал свою землю кооперативу и этим прославил всю свою семью. Если к тому же и старик Ма записывается в кооператив, всей семье — двойная слава. Мы тут за ночь сделали флажок почета, и давайте теперь торжественно вручим его Ма — идет?

Все выражают свое согласие дружными аплодисментами. Старик Ван Шэнь берет свою колотушку, Чжан Юн-цин, спрыгнув со сцены, берется за трубу, остальные музыканты также разбирают свои инструменты. Грянула музыка, и все собравшиеся (Цинь Сяо-фын с красным флажком впереди) выходят со двора дома с флагштоками и направляются к дому Ма. Большой рыжий пес, оглушенный громом оркестра, в страхе забивается под кровать.

У Ма уже заранее было куплено вино, приготовлена закуска, и они во всеоружии приняли гостей.

— Тетушка, — говорит Чжан Юн-цин жене Ма До-шоу за угощением. — Я обидел тебя когда-то, и сегодня моя труба возвестила о том, что я иду к тебе с повинной. Твоя жалоба на меня в уездном суде не возымела действия: сказали, что этим еще раз должна заняться наша комиссия по разбору жалоб, а они начнут разбирательство лишь в случае, если ей не удастся уладить дело. Через день-два я думаю снова пригласить тебя в комиссию на разговор по этому делу.

— Ну, что там! — отвечает ему жена До-шоу, — есть о чем говорить!

31. ЛУЧШЕ ВСЕ-ТАКИ ОТДЕЛИТЬСЯ

Вечером 21 числа Цинь Сяо-фын созвала общее собрание женщин с целью привлечь их к строительству канала; после собрания она отправилась с докладом к Цзинь-шэну.

Дети уже заснули, Юй-мэй помогала старшей невестке шить одежду ее сынишке Да-шэну, сам Цзинь-шэн тоже только что вернулся с заседания, на котором подсчитывали мужскую рабочую силу.

— Если сумеем разрешить вопрос о присмотре за детьми и вопрос питания, — говорит Сяо-фын, — то можно будет привлечь восемьдесят женщин, а не разрешим — только сорок две. Вопрос о детях сдвинулся с мертвой точки: решили временно организовать детские ясли — у бабки с заднего двора и у жены Хуан Да-няня; обе они согласились, нашлось еще несколько помощниц, так что это дело более или менее улажено. По второму вопросу — о питании — предложили открыть столовую, чтобы все время, пока строится канал, там могли питаться те молодые женщины и их мужья, которым никто не приготовит еду. Но для этого нужно найти помещение, инвентарь, продукты, подыскать повара — одним женщинам с этим не справиться.

— Об этом я завтра потолкую в парткоме, — говорит Цзинь-шэн, — возможно, что-нибудь придумаем. Что еще?

— С каналом — все, но мне был задан один удивительный вопрос, на который я сразу и не ответила. Сегодня пришли те, кто никогда не ходил на собрания, — жена До-шоу, жена Ю-юя, жена Тянь-чэна и Сяо-цзюнь. Сяо-цзюнь тоже хочет принять участие в строительстве канала. А жена До-шоу потребовала, чтобы мы навели порядок в их семье. Как ей нужно было ответить?

— Она все еще думает, что Цзюй-ин вернется?

— Об этом она не говорила, но Ю-и хочет отделиться.

— Их семья вступила в кооператив, а Ю-и все же хочет отделиться?

— Вот именно!

Жена Цзинь-шэна поглядывает на золовку и говорит:

— Юй-мэй! Это ты, наверно, виновата?

— Я-то ни в чем не виновата, как бы они передо мной не провинились!

Цзинь-шэн уже знал, что Ю-и, уйдя из дома, искал в поле Юй-мэй.

— Юй-мэй, — говорит он, — ты неправа! Их семья уже вступила в кооператив, что же тебе еще нужно?

— Вступление в кооператив — одно, — отвечает Юй-мэй, — а домашние дела — другое. Я не уживусь с «Всегда права» и «Опасно тронуть».

— Хватит уж прозвищ! Люди могут меняться, стоит только вступить на правильный путь, а там — чем дальше, тем быстрее люди меняются к лучшему.

— А как я буду с ними ладить до того, как они начнут изменяться к лучшему? У них так заведено: в год каждому вместо одежды дают пять цзиней хлопка, а я ткать не умею, как же мне быть? Мне нужно много есть, иначе я не смогу работать, а раз еду придется получать из их рук, значит, всегда будешь голодная. Я тружусь изо всех сил и с какой стати отдавать им все, что я заработаю, да еще терпеть их феодальные порядки?

— А откуда ты знаешь, что они будут жить по-старому? —спрашивает Цзинь-шэн.

— А кто может поручиться, что они быстро изменятся к лучшему? Разве можно перед тем, как я войду в их семью, обговорить эти условия. А если я войду в их семью, а они не захотят меняться к лучшему? Вот и начнутся ссоры.

— Если они не захотят меняться, то вы, молодежь, должны бороться с этим, убеждать их. Или вы умеете только ссориться?

— Брат, ты же умеешь вникать во всякие вопросы, а на этот раз что-то туго соображаешь, — смеется Юй-мэй.

— Почему туго соображаю?

— Ты подумай. Цзюй-ин отделилась от них, отделится Ю-и, останутся только старик со старухой да старший сын с женой. Старший сын да его родители — одного поля ягода, а невестушку никто не тронет, побоятся; тогда кого они будут тиранить? Стоит только разделиться, и старые порядки станут не нужны, не нужно будет ни бороться, ни уговаривать, ни ссориться. Разве это не лучше, чем дать им сначала волю, а потом бороться с ними, убеждать?

— Мне кажется, что Юй-мэй права, — замечает Сяо-фын, — ведь дней десять тому назад комиссия разрешила Цзюй-ин отделиться, и по той же причине. Теперь старики уже не могут срывать на ней свою злобу. Феодальные порядки, царящие в этой семье, ее больше не затрагивают.

— Обдумаем это хорошенько, — говорит Цзинь-шэн. — Обстановка в их семье после раздела с Цзюй-ин резко изменилась. Раньше они не только не думали о вступлении на социалистический путь, но и всячески мешали другим идти этим путем; сейчас же они добровольно вступили

в кооператив, и это для них большой шаг вперед. Если сейчас Ю-и будет настаивать на разделе, он выкажет тем самым недоверие к своим родным! Разве это не будет ударом для Ма До-шоу?

— О каком недоверии ты говоришь? — возражает Юй-мэй. — Ведь раздел не причинит им вреда, какой же тут удар? Разве у нас в кооперативе не заведен порядок, при котором кто больше работает, тот больше и получает? А если Ю-и не отделится и я войду в их семью, то все плоды моего труда перейдут к ним, мне же придется спрашивать разрешения решительно на все, какой же интерес тогда хорошо работать? А отделившись, мы все будем работать в кооперативе, все будем идти по социалистическому пути. Ведь если не отделиться и дать им возможность сохранить это феодальное гнездо, то молодежь в кооперативе будет идти по социалистическому пути, а вернувшись домой, будет жить в феодальных условиях. Разве это разумно?

— Тебя послушать, так выходит, что и Сяо-цзюнь поступала правильно, когда скандалила у нас в семье и требовала раздела; она тоже говорила, что не хочет прислуживать нам, что в нашей семье она не может есть и одеваться, как ей хочется.

— Как же можно сравнивать? — говорит Юй-мэй. — У нас в семье все питаются и одеваются одинаково, никаких феодальных порядков нет; Сяо-цзюнь не хотела работать, а сладко есть и хорошо одеваться любила. Конечно, она была неправа. Но ведь ты все-таки согласился на то, чтобы они с братом отделились? По-моему, семьи братьев и сестер должны жить вместе на добровольных началах, как в бригадах взаимопомощи, если кто-нибудь не хочет жить вместе с остальными, пусть отделяется.

Цзинь-шэн в конце концов соглашается с доводами сестры. Его беспокоит только одно — как бы не вызвать неудовольствия среди стариков.

— Юй-мэй права, — говорит он Сяо-фын. — Но если таких разделов будет слишком много — не разобиделись бы старики. Как только дети подрастут и сами смогут работать, все захотят отделяться, а кто будет заботиться о нетрудоспособных стариках?

— Это пустяки! — говорит Юй-мэй. — Кто откажется помогать родителям? Если, например, Ю-и отделится, так мы с ним вдвоем заработаем столько, что и на его родителей хватит. И если они захотят жить с нами, то и есть, и одеваться они будут лучше, чем сейчас!

— А это не все ли равно, что не разделяться, — смеется жена Цзинь-шэна.

— Нет, не все равно, — отвечает Юй-мэй. — Мы не отказываемся одевать и кормить их, мы не хотим только, чтобы они помыкали нами. А так они командовать нами не смогут. Им будет с нами веселее, а мы позаботимся о том, чтобы они стали более передовыми.

— У тебя на все готов ответ, — говорит жена Цзинь-шэна.

Цзинь-шэн и Сяо-фын про себя тоже одобряют находчивость Юй-мэй.

— Значит, надо разделяться, — говорит Цзинь-шэн, обращаясь к Сяо-фын. — Ты завтра выбери с утра время, потолкуй с ними. Если старик Ма До-шоу и его жена захотят жить вместе с этой девчонкой, то пусть сами и решают, как быть.

32. ПЕРВЫЙ УЗЕЛОК

Утром следующего дня, 22 сентября, бригада взаимопомощи Фань Дэн-гао убирала кукурузу с участка Мань-си, расположенного на Рукоятке ножа. Членов семьи Ма на поле не было: с помощью Сяо-фын они улаживали свои семейные дела. Работало всего шесть человек — Хуан Да-нянь с женой, Юань Дин-вэй, Юй-мэй, Фань Дэн-гао и сам Мань-си.

Мы уже говорили, что участок на Рукоятке ножа, первым прилегающий к Загривку дракона, принадлежит семейству Ма. Сразу к югу от

него находится земля Юань Тянь-чэна. Местность здесь несколько ровнее, чем в северной части. Участок Мань-си, расположенный на восточном берегу реки, тянется параллельно полю Тянь-чэна. В это же утро Тянь-чэн с помощью Сяо-цзюнь убирает на своем участке сою.

Был уже, наверно, одиннадцатый час, когда старик Бао-цюань, Юй-шэн, товарищ Лю из уездного комитета и заместитель начальника района Чжан Синь прошли вдоль подножья холма через поля Тянь-чэна и семьи Ма. Они взобрались на Загривок дракона, чтобы определить размеры выемки, которую нужно пробить в каменной гряде.

Как только Сяо-цзюнь видит Юй-шэна, ей сразу вспоминается прежняя обида. Она провожает его долгим взглядом, и вдруг глаза ее затуманиваются слезами. Сяо-цзюнь украдкой вытирает слезы и снова принимается за работу. Но, кажется, и соя тоже против нее: она как-то особенно больно колется. Чем спелее и суше становится соя, тем сильнее колются кончики ее стручков. Сяо-цзюнь смотрит на свои руки — на них уже несколько кровоточащих ранок. Когда Сяо-цзюнь увидела Юй-шэна, она едва-едва смогла удержаться от слез, а тут еще кровь на руках... Сяо-цзюнь быстро положила серп на землю и, обхватив руками голову, заплакала. Старик Тянь-чэн спрашивает ее, почему она плачет, но она, конечно, не говорит ему истинной причины, а жалуется только на исколотые стручками руки.

— Подумаешь, какое дело! — сердито говорит старик. — Ты что же, считаешь, что все на свете так уж просто и легко? Или ты хочешь прожить, занимаясь пустяками, которым тебя научила мать? Не хочешь работать — ступай домой, пошли ее сюда, пусть она тоже попробует! Может быть, у нее лучше пойдет дело, чем у тебя!..

Сяо-цзюнь ничего не говорит в ответ и только плачет еще громче.

— Послушай, Мань-си! — говорит Юй-мэй. — Моя вторая невестка опять не поладила со своим отцом!

— Вторая невестка? — удивляется Мань-си.

— Ну, а кто же? Опять крик подняли! Сбегай туда, успокой их! Ведь ты же их поручитель!

Недаром Мань-си слывет человеком с добрым сердцем — он послушно отправляется мирить отца с дочерью.

— Труд это такое дело, что ему за один день не научишься!— говорит Мань-си, узнав про исколотые руки Сяо-цзюнь.— И учебу нельзя начинать с уборки сои. Давайте временно поменяемся работой: я буду за тебя убирать сою, а ты поломаешь за меня кукурузные початки!

— Нет! — возражает Тянь-чэн, которому показалось неудобным, что Мань-си заменит его дочь на такой тяжелой работе. — Мы скоро кончаем! Пусть работает потихоньку сама, подрезает стебелек за стебельком. Я же не подгоняю ее!

— Давайте все же поменяемся! — настаивает Мань-си. — С непривычки ей трудно на этой работе!

В конце концов старик соглашается, и Сяо-цзюнь идет на участок Мань-си.

Она прежде всего смотрит, кто где работает. Кукурузные стебли подрезают серпами Фань Дэн-гао и Хуан Да-нянь. Срезанной, лежащей на земле кукурузы с необломанными початками всего три кучи. У одной из них сидит Юань Дин-вэй, у другой — жена Хуан Да-няня, у третьей— Юй-мэй. Юань Дин-вэй — мужчина средних лет, но Сяо-цзюнь относит его к старшему поколению. К тому же он не слишком общительного нрава. С Юй-мэй она ни разу еще не разговаривала после развода с Юй-шэном. Да и Юй-мэй может нечаянно назвать ее второй невесткой. Поразмыслив, Сяо-цзюнь решает, что лучше всего сесть напротив жены Хуан Да-няня и обламывать початки из одной с ней кучи. Жена Да-няня,

заметив заплаканные глаза Сяо-цзюнь и пожалев ее, принимается утешать Сяо-цзюнь, говоря, что на пустяки не стоит обращать внимания и что ко всему можно привыкнуть. Она показывает также, как нужно обламывать початки: одной рукой взяться крепко за початок и резким рывком отломить его от стебля.

А в это время Юй-шэн стоит на Загривке дракона и обмеряет что-то бечевкой, конец которой держит человек, стоящий внизу.

— Возьми чуточку левее! — кричит Юй-шэн. — Теперь немного правее!

Сяо-цзюнь украдкой посмотрела на него, и из глаз ее снова потекли слезы. Жена Да-няня замечает это и, догадавшись о сердечных тайнах Сяо-цзюнь, думает, что хорошо бы найти ей жениха. Так, обламывая початки, жена Да-няня в то же время перебирает в уме всех неженатых молодых людей деревни и, поразмыслив, останавливает свой выбор на одном из них. Выждав, когда Сяо-цзюнь немного успокаивается, она нарочито веселым тоном обращается к ней:

— Сяо-цзюнь! А если подыскать тебе жениха?

Та только вздыхает в ответ:

— Тетушка! Кому же я еще нужна?

Глаза ее опять наполняются слезами, только на этот раз она сдерживается и не дает воли слезам. А жена Да-няня, кивнув на западную сторону поля, спрашивает:

— А что ты думаешь о Мань-си?

Сяо-цзюнь опять вспоминает о Юй-шэне, и ей кажется, что Мань-си до него очень далеко. Но тут же она подумала, что и Мань-си парень не промах: веселый, работает хорошо. Правда, он слишком остер на язык и охоч до всяких проделок, но сердце у него доброе. После развода с Юй-шэном она как-то раз мельком подумала о Мань-си. Но в ту пору она рассчитывала, что мать выдаст ее за Ю-и. Кроме того, тогда у ее семьи было очень много земли в личном пользовании, а Мань-си еще не вступил в кооператив. И по сравнению с ее семьей Мань-си был последним бедняком. Теперь же ее отец собирается отдать излишки земли, а Мань-си стал членом кооператива. И хотя за год жизни в семье Юй-шэна Сяо-цзюнь не переняла у них передовых взглядов, но то, что зажиточность членов кооператива определяется не величиной их земельных наделов, она знала совершенно точно. Поэтому теперь и Мань-си уже не казался ей последним бедняком. Все же она считала, что Ю-и лучше Мань-си. Однако Ю-и уже открыто заявил, что не желает жениться на ней, да и сама она тоже отбросила эту мысль.

Сяо-цзюнь ничего не отвечает на заданный ей вопрос, но на душе у нее становится чуть веселей.

Жена Да-няня по выражению лица Сяо-цзюнь понимает, что у той особых возражений нет, и решает продолжить разговор:

— Если ты позволишь, я поговорю с Мань-си!

Сяо-цзюнь не находит сразу, что ответить. Помедлив, она с грустью говорит:

— Тетушка! Не стоит этого делать. Кто его знает, какую шутку он может отпустить?

— Не бойся! Мне он не посмеет сказать ничего лишнего.

— А если он скажет это другим?

Поручиться, что можно заставить Мань-си совсем отказаться от острословия, жена Да-няня не смеет и поэтому в ответ только улыбается. Так как они уже закончили ломку початков в своей куче, а Да-нянь и Дэн-гао к этому времени навалили еще кукурузы, то обе женщины перешли к новым кучам.

Вскоре люди, работающие на Загривке дракона, заканчивают свои

дела и направляются обратно. Юань Дин-вэй останавливает идущего последним заместителя начальника района Чжана и обращается к нему с вопросом. Дело в том, что он в свое время продал осла через старого барышника Ли Линь-ху, и тот здорово нагрел его на цене. Теперь Дин-вэй хочет узнать, нельзя ли потребовать перерасчета. Чжан Синь терпеть не может Ли Линь-ху. Компания таких темных личностей болтается целыми днями на рынке в Линьхэчжэне и, перепродавая каких-нибудь кляч, выманивает у крестьян деньги. Но Чжан также немного сердит и на Юань Дин-вэя: перед самым вступлением в кооператив этот хитрец поспешил продать своего осла. Поэтому он прежде всего говорит с укоризной:

— Если бы такие, как ты, не давали жить этим мошенникам, им давно бы пришлось туго.

— Да, это была моя ошибка, — соглашается Юань Дин-вэй. — А нельзя ли получить осла обратно?

— Если ты докажешь, что осел перепродан, то с Ли Линь-ху можно будет и поговорить! Скотина должна продаваться крестьянам для работы, а не переходить из рук в руки на рынке.

Уборка сои на участке Тянь-чэна закончена, старик благодарит Мань-си, и тот отправляется на свое поле. Хотя Тянь-чэн хотел, чтобы Сяо-цзюнь поработала за Мань-си подольше, Мань-си сразу отпускает ее.

— Ты можешь идти, — говорит он ей. — Мы тут тоже скоро управимся.

Как только она уходит, жена Да-няня подзывает к себе Мань-си и спрашивает его:

— Мань-си! Хочешь, я сосватаю тебе невесту?

— Откуда?

— Нашу же! Из Саньливани.

— А кто же это?

— Как на твой взгляд Сяо-цзюнь?

— Я же не старьевщик!

— Эх ты, сынок! Недаром она боится твоего языка. Разве за эти дни она не изменилась? Ведь Юй-мэй напоминала тебе, что ты их поручитель.

— Я ручался за ее мать!

— Вот видишь, ты поручился даже за такого человека, как ее мать. А разве молодую женщину нельзя будет перевоспитать еще быстрее?

Мань-си почувствовал, что сболтнул лишнее. «Невеста она или не невеста, — подумал он, — но раз человек стал сознательнее, понял, что прежде поступал неправильно, зачем же насмехаться над ним?»

— Тетушка! — обращается он к жене Да-няня. — Ну, я пошутил! Не хотелось бы только, чтобы она узнала об этой шутке.

А та, увидев, что он колеблется, продолжает увещевать его:

— Мань-си! Я считаю, что тебе стоит подумать об этом. Девка она из себя видная, красивая, большая умница. Одно ей только нужно — быть посознательнее! А вообще-то невеста хоть куда!

Мань-си вдруг рассмеялся:

— Но ее мать, ругая меня, говорила, что мне никогда не сыскать себе пары! Как же я буду свататься к Сяо-цзюнь?

Юй-мэй, работающая у соседней кучи кукурузы и уже понявшая, о чем они толкуют, вставляет здесь и свое слово:

— Она говорила, что никто за тебя не пойдет, а ты возьми да найди себе невесту в ее же доме. Разве это не заставит ее поменьше болтать языком?

— А ведь если ты в самом деле породнишься с ней, — шутит жена

Да-няня, — то будешь не просто зятем, а еще и поручителем своей собственной тещи!

— Слушай, Мань-си, — говорит напоследок Юй-мэй. — Тетушка завязала первый узелок! Теперь уже ваше дело найти общий язык.

33. ЮАНЬ ДИН-ВЭЙ ПОЛУЧАЕТ ОСЛА ОБРАТНО

Каждое второе, пятое и восьмое число по лунному календарю в Линьхэчжэне бывают ярмарки. Теперь, когда приближается праздник осеннего урожая, ярмарки особенно многолюдны.

В Саньливане осенняя страда сейчас в полном разгаре, а кроме того, предстоит и строительство канала. Поэтому жители деревни на ярмарках бывают редко, разве что по самым неотложным делам. Вот Ван Мань-си — теперь управляющий делами на строительстве канала — и отправился на ярмарку, чтобы сделать кое-какие закупки для предстоящих строительных работ. Чжан Синя вызвали в районное управление для отчета. А Юань Дин-вэй, попрежнему сокрушавшийся о неудачной продаже осла, решил побывать на ярмарке, чтобы разузнать там что-нибудь о его судьбе. Делал он это уже в третий раз. Отправились на ярмарку еще шесть-семь человек, каждый по своим делам. Итак, утром этого дня из Саньливаня в Линьхэчжэнь прибыло человек десять. На ярмарке очень много народу, прибывшие сразу были стиснуты толпой и затерялись в ней.

Мань-си, нагруженный корзинами, котелками, канатами, с трудом выбирается из толпы и вдруг нос к носу сталкивается с Дин-вэем.

— Мань-си! — говорит тот. — Я нашел своего осла! — И на вопрос Мань-си, где же осел, Дин-вэй отвечает: — Стоит привязанный в скотном ряду. Какой-то приезжий из Дуншаня торгуется с Ли Линь-ху.

— Ты хочешь потребовать осла обратно?

— Да я сам еще не решил — не знаю, выйдет ли что-нибудь из этого!

— Тогда пойдем посмотрим, что там делается, а потом уже будем думать.

Дин-вэй берет у Мань-си две корзины, чтобы облегчить его ношу, и они вдвоем отправляются в скотный ряд.

Скотный ряд находится на самом краю ярмарки у берега реки. К канатам, соединяющим вбитые в землю деревянные колья, привязаны коровы, ослы, мулы, лошади. Люди обходят ряд, осматривая скотину. Продавцы не спускают глаз с возможных покупателей, посредники громко расхваливают выставленных на продажу животных, торопливо оттягивают им губы, чтобы удостоверить возраст. Идет оживленный торг. Народ стоит вокруг плотным кольцом, Дин-вэй и Мань-си с трудом пробираются сквозь толпу.

Осла Дин-вэя продает подросток лет пятнадцати-шестнадцати. Ли Линь-ху, по обычаю барышников, сунув руку в его рукав, условными знаками предлагает цену, а мальчик, мотая головой, повторяет:

— Нет, не продам! Не продам!

— Вот-те на! — шепчет Дин-вэй Мань-си. — У осла уже новый владелец! Ведь я продал его какому-то верзиле, этак уже за тридцать!

— Наверно, это проделки самого Ли Линь-ху, — тоже шопотом отвечает Мань-си. — Если кто покупает и продает осла, почему всякий раз посредничает Ли Линь-ху? Как вывести его на чистую воду?

Ли Линь-ху уже назвал покупателю, приезжему дуншаньцу, новую цену и, получив согласие, говорит мальчику:

— Ладно! Отдавай ему осла!

Потом, отвязав повод, передает его дуншаньцу.

— Нет, не продам! — запротестовал мальчик и вырвал повод у дуншаньца. — Если я продам осла за такую цену, как я отчитаюсь перед отцом?

— Тебе дают настоящую цену, — заявляет Ли Линь-ху, силой отбирая у него повод. — Раз я твой посредник, ты должен мне верить. А если отец будет недоволен, пусть он поговорит со мной!

— Если ты продаешь за меня осла, то сам и отчитывайся перед отцом, — отвечает мальчик.

Но Ли Линь-ху уже не слушает его. Он узнал фамилию и имя дуншаньца и кричит, чтобы выписывали свидетельство об уплате налога.

— Продан осел, рост — три чи с лишним, — выкрикивает он, — масть — светлосерая, возраст — шесть лет, цена — миллион восемьсот тысяч юаней, продавец Чан Сань-сунь, покупатель — Чжао Чжэн-ю, посредник — Ли Линь-ху. — Дин-вэй и Мань-си с удивлением слышат цену: миллион восемьсот тысяч, а какой-то барышник говорит, обращаясь к Ли Линь-ху:

— Черт тебя побери, Ли, мастак же ты на такие дела!

Видя, что свидетельство уже выписано, и, значит, осла сейчас уведут, Дин-вэй тихо спрашивает Мань-си:

— Как ты думаешь, можно задержать их?

— Боюсь, что ничего не выйдет, — отвечает Мань-си. — Эти барышники всегда стоят друг за друга. А их тут много. Тебе с ними не справиться.

— Так что же, неужели отступиться?

— Погоди, я попробую помешать им!

Мань-си прячется за спины людей и нарочито громко говорит:

— Сдается мне, что этого дуншаньца здорово обдурили! Осел-то стоит не больше миллиона четырехсот!

— Крайняя цена — полтора миллиона, — неожиданно поддакивает ему кто-то.

Ли Линь-ху глянул в их сторону, но Мань-си и Дин-вэй успели скрыться в толпе, и он их не заметил.

А покупатель Чжао Чжэн-ю отлично расслышал эти слова — миллион четыреста тысяч и полтора миллиона. Припомнил он также слова барышника, назвавшего Ли Линь-ху мастаком, и понял, что просчитался.

— Я раздумал! — заявляет он и сует повод обратно в руки Ли Линь-ху. — Вы тут просто дурачите людей!

Тот швыряет повод на землю:

— Ты сам присмотрел осла, сам сторговался, так кто же дурачит тебя?

Разделив свидетельство об уплате налога на две части, Ли Линь-ху вручает одну полоску мальчику, а другую сует покупателю.

— Плати деньги! — требует он. — Тут, при народе, сжульничать тебе не удастся!

— Но у меня нет с собой таких денег! Разве нельзя отказаться от покупки?

— Нет таких денег, так зачем же брался покупать?

— Я заторговался и забыл, сколько у меня денег...

— Дай-ка я обыщу тебя!

Этого народ на площади не может потерпеть, и сразу раздается несколько громких голосов:

— Не хочет покупать — так уже и обыскивать! А если с тобой поступить так же?

Ли Линь-ху не посмел обыскивать Чжао Чжэн-ю, но на последние слова все же огрызается:

— Он сам сторговался, а когда уже выписали свидетельство, он, видите ли, раздумал! Я еще потолкую с ним в районном управлении!

Немного подумав, Ли Линь-ху снова обращается к Чжао Чжэн-ю:— Ладно, пусть у тебя нет с собой наличных денег. Я согласен сходить к тебе домой.

— Но у меня дома тоже нет таких денег!

— Займи где-нибудь. Я подожду.

— Ну хорошо, — соглашается Чжао Чжэн-ю, поняв, что от Ли Линь-ху ему не отвязаться. Он решает по дороге скрыться в толпе и кончить на этом дело.

— А сколько ты можешь дать мне в задаток? — спрашивает Ли Линь-ху.

Чжао Чжэн-ю вытаскивает из кармана несколько бумажек и отдает их Ли Линь-ху. Потом, потянув за собой осла, он уходит. За ним по пятам следует Ли Линь-ху.

— Так, так, хорошо! — говорит Мань-си Дин-вэю. — Ступай за ними! Выжди, пока они отойдут подальше от скотного ряда, а потом спроси у дуншаньца, за сколько куплен осел. Нужно только, чтобы он сказал, что за миллион восемьсот тысяч юаней. Тогда ты забирай осла и иди прямо к заместителю начальника района Чжану. Ручаюсь, ты получишь осла обратно!

Дин-вэй так и делает. Догнав Чжао Чжэн-ю, он спрашивает:

— Послушай, дуншанец! Ты купил этого осла?

— Да.

— За сколько?

— За миллион восемьсот.

Дин-вэй поворачивается к Ли Линь-ху.

— Сколько же ты нажил на моем осле, если сейчас продал его за миллион восемьсот тысяч?

— Так ведь ты своими руками отдал его покупателю! Как же я мог обмануть тебя?

— Я с тобой здесь разговаривать не собираюсь! Пойдем в районное управление — там поговорим! — Потом он обращается к Чжао Чжэн-ю.— Вот что, дуншанец! С этим ослом будет еще много хлопот. Если ты все же думаешь купить его, тебе придется пойти со мной в районное управление. Осла ты сможешь получить, только когда там разберутся с этим делом.

И он отбирает у него повод. Ли Линь-ху хочет выхватить повод, но Чжао Чжэн-ю его удерживает.

— Нет, этот осел попал к тебе обманом. Не хочу покупать его. Отдавай мне обратно задаток!

Дин-вэй тянет за собой осла и решительным шагом идет дальше.

— Отстань от меня, — кричит Ли Линь-ху. — Я заберу у него осла, а потом уже буду разговаривать с тобой. Ведь я уже передал тебе осла!

— Ты продавал осла, который неизвестно как к тебе попал. Дал его увести, а теперь еще злишься на меня! Я тоже пойду с тобой в районное управление — там поговорим!

И так все трое — один впереди, двое сзади — приходят в районное управление. Юань Дин-вэй, пришедший первым, уже разыскал заместителя начальника района Чжан Синя и объяснил ему, в чем дело. Чжан Синь спрашивает о случившемся Ли Линь-ху.

— Не все ли равно, кто купил осла, кто продал, — отвечает тот. — Я всего лишь посредник. Осел Юань Дин-вэя был продан человеку по фимилии Ван. А этот — по фамилии Чжао — покупает осла. Продавцом теперь выступает Чан. На все это имеются соответствующие свидетель-

ства. Осел побывал в нескольких руках, но какое дело мне, посреднику, до этого?

— Юань, Ван, Чан, Чжао, — говорит Чжан Синь. — За десять дней один осел побывал у четырех хозяев. Да он ходит по рукам быстрее, чем деньги! А где этот самый Чан? Сейчас пошлю за ним и поговорю с ним сам!

— А я сам не знаю, куда он делся, — отвечает Ли Линь-ху.

— Неправда, — возражает Чжан Синь. — Явная ложь! Раз вы не знаете, где он, то как же вы отдадите ему деньги, вырученные за осла?

Ли Линь-ху, поняв свою ошибку, пытается исправить ее.

— Я сказал, что не знаю, где он находится сейчас. А за деньгами он, конечно, придет. Разрешите, я разыщу его.

— Вам незачем никуда ходить, — говорит Чжан Синь. Он вызывает рассыльного и поручает ему разыскать в скотном ряду Чан Сань-суня.

— Передай ему, что при покупке осла люди не сошлись в цене, поспорили и пришли в районное управление. Пусть он тоже придет сюда и расскажет, как было дело.

Когда пришел Чан Сань-сунь, Чжан Синь, оставшись с ним с глазу на глаз, спрашивает, когда был куплен осел, кто его продал, за какую цену, был ли уплачен налоговый сбор. Поскольку Чан Сань-сунь только подставной продавец, он, конечно, не может ответить ни на один вопрос. А когда Чжан Синь требует от него правды, мальчик говорит:

— Я живу в уездном городе. Отец мой торгует блинами. Ли Линь-ху нанял меня в компаньоны.

— Что значит в компаньоны? — спрашивает Чжан Синь. — Что ты должен был делать?

— Он сказал, что от меня требуется только одно — быть продавцом,— отвечает Чан Сань-сунь.— А руки он совал мне в рукав для виду.

— А как же ты узнавал цену?

— А для чего? Ведь он сам знал ее. Мне это было совсем незачем. Он сказал мне, что я должен тянуть повод и не соглашаться на продажу. А когда он силой будет отбирать у меня повод, чтобы я говорил, что мне попадет за это от отца.

— Как же тебе не стыдно? Еще мальчишка, а занимаешься мошенническими проделками. Придется тебе побывать в суде, дать там показания по делу Ли Линь-ху.

Чжан Синь зовет всех трех участников происшествия и велит мальчику повторить при них свои признания. После этого Чжан Синь предлагает Ли Линь-ху вернуть Чжао Чжэн-ю задаток, разрешает Юань Дин-вэю увести с собой осла, а деньги, полученные ранее за осла — миллион юаней — прислать в районное управление для передачи Ли Линь-ху. Потом Чжан Синь вызывает милицию, чтобы отвести Ли Линь-ху и Чан Сань-суня в суд.

34. НАКАНУНЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА

30 сентября подводятся итоги работы кооператива за год, 1 октября на общем собрании предстоит отчитаться по очень многим вопросам. Поэтому в этот вечер в доме с флагштоками руководящие работники разделились на несколько групп: одни совещались, другие занимались очередными делами. В этом году прибавилось много дел в связи с предстоящим сооружением канала. Работы решили начать 2 октября, а на общем собрании нужно дать отчет о подготовке к строительству. Вот почему в этот вечер все очень заняты.

В северной комнате на первом дворе члены парткома, председатель кооператива и его заместители рассматривают подготовленный Цзинь-

шэном проект нового устава кооператива и обсуждают список кандидатов для выборов нового руководства кооператива. В восточной комнате Лин-чжи и Ли Ши-цзе подводят годовые итоги работы, определяют долю отдельных семей при распределении доходов, составляют смету на следующий год. Боковуша при северной комнате предоставлена в распоряжение Юй-шэна и Ма Ю-и, которые должны проверить подготовку к строительным работам. Но сейчас в ней сидит только один Ма Ю-и. Юй-шэн вместе с управляющим делами Мань-си находится на складе, где проводится инвентаризация инструментов и материалов, предназначенных для строительных работ. Он должен прийти с минуты на минуту.

Поджидая Юй-шэна, Ю-и составляет списки членов строительных бригад, которые нужно вывесить на общем собрании. Вдруг он слышит, что разговор в восточной комнате зашел о составлении нового списка хозяйств. Тут Ю-и вспоминает и о своих делах. Он новый член кооператива и хотя слышал кое-что о новых правилах, но не интересовался ими так, как старые члены кооператива. Когда он подавал заявление о приеме, в его семье еще и не был проведен раздел имущества. Теперь после раздела прошло уже несколько дней. Но Ю-и, став счетоводом и секретарем штаба строительства канала, был так занят, что и не подумал о таком деле, как составление нового подворового списка.

Воспользовавшись тем, что Юй-шэн еще не пришел, он бежит в восточную комнату, где Лин-чжи заканчивает расчеты по распределению доходов. Увидев Ю-и, она дружески здоровается с ним, но своей работы не прерывает. Списком хозяйств занимается сам Ли Ши-цзе. Ю-и заговаривает с ним о своем хозяйстве, и Ли Ши-цзе спрашивает, как они думают устроиться.

— Старший брат с женой будут вести свое хозяйство, а я, отец, мать и Юй-мэй — свое, — отвечает Ю-и.

Это неожиданное известие удивляет Ли Ши-цзе и Лин-чжи: родители Ю-и всегда жили дружно с его старшим братом, и было непонятно, почему они остаются с Ю-и. Сам Ю-и еще не женился на Юй-мэй, а почему-то уже хочет вносить изменения в список членов хозяйства. Лин-чжи мельком взглянула на Ю-и и продолжает свою работу, а Ли Ши-цзе недоуменно спрашивает:

— Но вы же с Юй-мэй еще не поженились?

— А мы скоро поженимся, третьего октября, в Праздник урожая.

Тут Ю-и одним глазом глянул на Лин-чжи, как бы говоря ей: «Ты не особенно-то важничай передо мной! Я женюсь раньше тебя». Но Лин-чжи не высказывает никакого удивления и только усмехается.

Дело в том, что за эти дни планы старого До-шоу несколько изменились. Пока Цзюй-ин не ушла от них, пока Ю-фу не передал свою землю кооперативу, а Ю-и еще не потребовал раздела, старик попрежнему мечтал об одном: скопить побольше зерна и, следуя примеру Фань Дэн-гао, купить себе пару мулов. Во всей Саньливани никто не сможет сравниться с семейством Ма!

Но события последних дней доказали старику, что из четырех его сыновей трое уже вышли из повиновения, и это несколько поколебало его былые надежды. 20 сентября, после того как разошлись люди, вручившие ему флажок почета, он сказал жене:

— Сколько сил мы отдали детям! А теперь они не только не слушают нас, а, наоборот, всячески противятся нам. Но что мы можем тут поделать? Лучше нам поберечь себя и пожить спокойно.

— Но с кем из детей мы будем жить? — спросила жена.

Подавая заявление о приеме в кооператив, старик считал, что с ним останется старший сын. Но теперь, обдумав последние события, он решил иначе. Все же он считал нужным посоветоваться с женой:

— А с кем бы ты сама хотела остаться?

— Наш старший сын всегда был хорошим мальчиком. Но вот его женушки иногда даже я побаиваюсь.

— Не в жене его дело! Наш старший и сам очень черствый человек. До тех пор, пока мы сможем работать, он охотно будет жить с нами. А вот когда мы совсем состаримся и не сможем позаботиться о себе, — боюсь, натерпимся мы от него лиха. Что ты скажешь, если нам остаться с Ю-и?

Ю-и был любимым сыном у матери, но, вспомнив, что он женится на Юй-мэй, она сердито сказала:

— Но если он подцепит эту самую Юй-мэй, она и слушать меня не будет.

— А зачем тебе надо совать нос в чужие дела? На мой взгляд Юй-мэй девушка хорошая, честная. И, пожалуй, она даже поспособней нашего Ю-и. Они будут жить хорошо! Нет, я считаю, что нам, старым, лучше всего остаться с Ю-и. Но вот ты-то — «Всегда права»! Боюсь, что они не захотят жить с тобой!

— Ах ты, старый черт, ты опять смеешься надо мной! А чем лучше твое прозвище — «Бестолочь»?

— Ну ладно, ладно! Не будем ссориться! Я же пошутил. Давай поговорим по-хорошему. Ты сама знаешь, что молодые не будут особенно рады нам обоим. А если мы собираемся жить вместе, надо еще пораскинуть мозгами, как с ними договориться. Но прежде я должен знать твое мнение. Если ты согласна, я что-нибудь придумаю.

«Всегда права» привыкла доверять мужу: она знала, что он всегда сумеет найти какой-нибудь выход. Поэтому, выслушав его, она согласилась с его планом.

— Ну, раз ты согласна, давай думать, как нам это сделать, — сказал До-шоу. — Говорить об этом с Ю-и нам нельзя. Во-первых, он побоится, что Юй-мэй будет против, и не посмеет нам ничего обещать. Во-вторых, если мы скажем прямо, что хотим жить с Ю-и, то обидим старшего сына. Тут лучше действовать окольными путями! Ты завтра найдешь Цинь Сяо-фын и скажешь ей, что мы вступили в кооператив. Пусть она поможет нам разделиться. Когда речь зайдет о том, с кем нам обоим жить, я скажу, что мне хочется жить со старшим сыном, а ты скажешь — с младшим. Что ты больно любишь Ю-и, об этом старший сын и сам знает. Он не очень обидится. А потом я притворюсь, что не могу переспорить тебя и вынужден согласиться. Даже если Ю-и и Юй-мэй будут возражать, Сяо-фын все равно уговорит их.

Жена одобрила этот план. 21 сентября на собрании женщин она высказала Сяо-фын свою просьбу. Сяо-фын вместе с Юй-мэй и Цзинь-шэном нашла правильное решение. В скором времени вопрос был улажен. Так и получилось, что старики Ма До-шоу остались жить с Ю-и.

Записав в список фамилии, зарегистрировав количество земли и скота, Ли Ши-цзе спрашивает у Ю-и:

— А почему твой старший брат не пришел записать свое хозяйство? Или, раз отец остается с тобой, брат не вступит в кооператив?

— Он говорит, что вступит. Но сейчас он обижен, что мать не захотела остаться с ним. К тому же он не знает, что сегодня составляются новые списки. Но вы можете послать за ним.

— Мы пока впишем в графу учета труда его фамилию, а там видно будет, — решает Ли Ши-цзе.

К этому времени Юй-шэн и Мань-си кончили инвентаризацию и пришли в дом с флагштоками. Услышав голос Ю-и в восточной комнате, Юй-шэн кричит ему:

— Ю-и! А ну-ка давай приниматься за работу!

Ю-и выходит и в дверях сталкивается с Мань-си.

— Запиши-ка также и мое хозяйство, — обращается Мань-си к Ли Ши-цзе.

— А я уже записал тебя, — отвечает тот.

— Знаю! Но я прошу записать в мою семью также и Сяо-цзюнь.

— Какую Сяо-цзюнь?

— В нашей деревне, кажется, только одна Сяо-цзюнь?

— Да как же так?

— Мы скоро поженимся.

— Когда?

— Третьего октября.

— Как же это я ничего не слышал!

— Да я уже говорил. Вот только тебе не успел сказать.

Совещание в северной комнате окончилось, и Цзинь-шэн с Чжан Юэ-и входят в боковушу.

— Ну как, — спрашивает Чжан Юэ-и, — начнем послезавтра?

— Все будет в порядке, — заверяет его Юй-шэн. — Вот только плотники прибудут еще через несколько дней. А каменщики уже здесь. Строительные участки обеспечены всем необходимым. Список бригад согласован с начальниками участков. Составлена общая смета и сметы отдельных участков. Правила строительных работ и положение об учете труда будем утверждать на завтрашнем общем собрании. А после собрания члены бригад подумают, кого выбрать в звеньевые, распределят между собой инвентарь. Да, послезавтра начнем работу! Это совершенно точно!

Цзинь-шэн и Чжан Юэ-и, полистав заготовленные счета и листки для нарядов, идут в восточную комнату.

Здесь они застают только Лин-чжи; Ли Ши-цзе уже ушел. Она просматривает конторские книги, уточняет наиболее важные цифры в своем докладе. Цзинь-шэн и Чжан Юэ-и, узнав, что у нее все в порядке, уходят. Лин-чжи откидывается на спинку стула и облегченно вздыхает: напряженная работа, длившаяся более десяти дней, закончена. Она закрывает глаза, чтобы дать им немного отдохнуть, прежде чем идти, и вдруг почему-то вспоминает о том, как Ю-и и Мань-си составляли новый список своих хозяйств.

Лин-чжи всегда любила праздник урожая. В детстве ей нравилось при свете луны есть праздничные блины, играть в любимые игры. Потом, в школьные годы, ей нравилось бродить в этот вечер, до полуночи болтая обо всем на свете с друзьями.

«А как я проведу праздник в этом году, — думает она. — Детские забавы миновали, школьные друзья разлетелись кто куда... В этот день всегда устраивают свадьбы. Но у меня ведь тоже есть близкий человек, только вот к свадьбе мы не готовимся... Зарегистрировали брак, работаем оба в доме с флагштоками, а заняты так, что слова не успеваем сказать друг другу».

В северной комнате стукнула дверь. Это выходят Юй-шэн и Ю-и. Лин-чжи встает и, подойдя к двери, зовет Юй-шэна. Ю-и отправляется домой один.

Юй-шэн тоже закончил работу, и на душе у него необыкновенно легко. Он входит в восточную комнату и, увидев Лин-чжи одну, садится на стул рядом с ней.

— Ну как, кончил работу? — спрашивает Лин-чжи.

— Кончил. А ты?

— Я тоже.

— Легче стало, правда?

— Как ты думаешь провести праздник?

— Послезавтра начнем работу и опять навалятся дела — не до праздника будет!

— У меня так же: пройдет завтрашний день, и опять нужно будет проводить учет земельных наделов, составлять производственный план. Но к вечеру работу закончим, и все-таки можно будет повеселиться.

— А ты приходи к нам, у нас будет веселее.

— Ну что же, чудесно! А ты знаешь новость — у Ю-и и Мань-си третьего октября свадьба.

— Я знаю, Юй-мэй говорила об этом.

— А может быть, и мы воспользуемся этим днем?

— Но мы так заняты, что не сможем подготовиться. Завтра опять собрание, послезавтра начинается строительство. Где уж тут успеть!

— А какие нужны особые приготовления? По-моему, готовить ничего не надо. Пусть будет все как в обычный день.

— Так у нас не будет времени даже подготовить комнату!

Лин-чжи вспоминает, что в комнате Юй-шэна очень просторно: там только длинная скамья, над ней висит пила, стоит кое-какая мебель.

— А зачем нам убирать комнату, — говорит она. — В твоей комнате хватит места, там будет очень удобно.

— Но ведь у нас нет даже свадебного наряда!

— Наденем какой есть! Мы же старые знакомые, не в первый раз встречаемся!

Они смеются, и Юй-шэн наконец соглашается.

— А мы будем заводить отдельное хозяйство? — спрашивает Лин-чжи.

— Я об этом еще не думал.

— Да я и сама не думала.

— Вести отдельное хозяйство очень хлопотно. Кто будет стряпать обед?

— Да, об этом я тоже не подумала... А что, если нам сделать так: мы еще посоветуемся об этом дома. Лучше всего не заводить отдельного хозяйства. А стряпать никому не придется, потому что послезавтра у нас в деревне открывается столовая. Там и будем питаться!

— А как будет с шитьем одежды?

— Будем шить у портного в Линьхэчжэне.

— А не будет ли у нас слишком уж необычный дом?

— Пусть будет немного необычный. По крайней мере никто не скажет: «Пошли по пути капиталистического развития»!

На этом и закончился их разговор. Луна, которая к тому времени была уже почти полной, прошла над западным краем крыши. От ворот донесся звук шагов. Это дежурный командир ополченцев проверяет посты. Лин-чжи и Юй-шэн выходят из дома с флагштоками и при свете клонящейся к западу луны идут домой.

КОНЕЦ

Роман печатался с сокращениями.

Стеван Сремац

Почтенный старец

КАРТИНА ОБЩЕСТВЕННЫХ НРАВОВ

Перевод с сербского Е. Рябовой

Последние десятилетия XIX и первые годы XX вв. были периодом расцвета сербской реалистической литературы. В то время в сербской литературе появилась целая плеяда замечательных мастеров, писателей-реалистов, чьи произведения вошли в золотой фонд культуры не только сербов, но и всей Югославии. Среди этих писателей одно из первых мест занимает Стеван Сремац, столетие со дня рождения которого отмечается 11 ноября этого года.

В своей монографии о Стеване Сремаце, написанной почти пятьдесят лет назад, крупнейший сербский критик Иован Скерлич говорит: «Если бы наша широкая читательская публика могла на каком-нибудь плебисците сказать, кого она считает самым большим сербским прозаиком и чьи книги составляют ее любимое чтение, то, несомненно, наибольшее количество голосов получил бы Стеван Сремац». Эту популярность и любовь читателей Сремац снискал своим большим художественным мастерством, своим умением наблюдать подлинную жизнь народа и изображать эту жизнь во всем ее разнообразии.

Литературная деятельность Стевана Сремаца развертывалась в то время, когда в Сербии, освобожденной от турецкого ига, все неудержимее распадались патриархальные отношения, уступая место капиталистическим.

В 80-х гг. Сремац создал ряд романтических рассказов на исторические сюжеты (они вошли впоследствии в сборник «Из стародавних книг»), но потом решительно обратился к современной ему действительности. Здесь ему в значительной мере помогло знакомство с русской и украинской литературой, с творчеством таких писателей, как Гоголь и Тургенев, Тарас Шевченко и Марко Вовчек.

Сремац написал около тридцати произведений, выдающихся по своим художественным достоинствам, среди них три романа. Наиболее известны его «Поп Чира и поп Спира» (1898), «Вукадин» (1903), а также «Зона Замфирова» и «Кир-Герас», опубликованные в 1907—1908 гг., уже после смерти писателя.

Большая часть произведений Сремаца носит юмористический характер, некоторые из них являются острой политической сатирой. Правда, в отдельных рассказах Сремаца звучит нота сожаления о той жизни, которая без возврата уходит в прошлое. Но это не главное в его творчестве. Главное — присущий Сремацу могучий дар писателя-реалиста, сумевшего создать богатую галерею образов, представляющих самые разные слои общества; в его рассказах и романах действуют крестьяне и крестьянки, мелкие ремесленники и торговцы, уходящие с арены истории, рождавшаяся на его глазах молодая сербская буржуазия, а также мелкие чиновники, попы, учителя, странствующие актеры.

Одна из замечательных особенностей Сремаца как писателя — мастерская передача местного колорита. Будь то Ниш и его окрестности, или провинциальные городки западной Сербии, Белград или банатские села, они всегда воссоздаются писателем во всем своеобразии местной речи и своеобычности.

Творчество Стевана Сремаца много дало для развития сербской реалистической литературы. Ценность наследия Сремаца — в талантливом, живом, реалистическом изображении жизни, в виртуозном владении неисчерпаемым богатством народной речи, разнообразными оттенками иронии и юмора, в его острой критике мещанства и специфической мещанской психологии.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В кофейне «Земледелец» полно посетителей. Их здесь бывает много и в хорошую погоду, а тем более сейчас, когда на дворе метет метель — не дает раскрыть глаза. Все сидят и дружно прихлебывают кофе, чай или шербет; только отставной поручик Милько тянет подогретую ракию *, уже третий графинчик с утра. Это — завсегдатаи кофейни: торговцы и чиновники, как состоящие на службе,

* Ракия — сливовая водка.

так и уволенные, либо вышедшие на пенсию. То и дело открывается дверь и кто-то вваливается в залу, весь в снегу, с заиндевевшими усами и бородой, вваливается и, отряхивая с себя снег, восклицает: «Ну и лютая зима, прости господи!» Сидящие в кофейне вглядываются в него: «Кто бы это мог быть?» — и, узнав, кричат из-за всех столов: «Ну как?» Большинство вошедших только машет рукой и говорит: «Просто беда с погодой», но все утешаются тем, что в такую погоду неплохо есть жареного поросенка, а потом опять жалуются на сильный ветер, который и «глаз-то раскрыть не дает». Только Веца — практикант (его скудно вознаграждает государство, но зато мать-природа щедро одарила юмором и веселым нравом),— только он, явившись с улицы и будучи спрошен, как ему в его тонком плаще нравится этот ветер, отвечает, потирая руки: «Дует, дует немножко», и затем добавляет: «Зефирчики, легонькие зефирчики».

Все уже выпили кофе, прочли газеты, обо всем поговорили: об указах, о продвижениях и перемещениях по службе, а также об увольнениях на основании параграфа семьдесят шестого *; потолковали и о кризисе и смене правительства. Тут спорили подольше, иные даже об заклад бились. Уволенные и пенсионеры утверждали, что вскоре «будут перемены», и предлагали держать пари на молочного поросенка, а состоящие на действительной службе отрицали такие предположения, называя их просто уличными сплетнями; но пари они не принимали, а, напротив, один за другим вставали из-за стола, платили за кофе и направлялись к выходу со словами: «Пожалуй, пора идти!» Но поднявшись, они еще некоторое время топтались в нерешительности у дверей, глядя, как метель беснуется и метет улицы, будто исполинской метлой, и прохожие проносятся, как мусор, летящий из-под огромного березового помела.

Кофейня пустеет. Разошлись все те, кто бы мог назваться полезным членом общества; остались только бесполезные: вышедшие на пенсию да уволенные со службы, а также какой-нибудь обанкротившийся торговец, подавший прошение о месте в общину, монополию, на почту и таможню — авось куда и примут. Словом, остались одни завсегдатаи. Бывая постоянно вместе, они, естественно, мало интересуются друг другом и, едва увидевшись, уже наводят друг на друга тоску. Поэтому разговор сам собой замирает, а если и говорят о чем, то больше о пустяках: о том, к примеру, какое ружье при выстреле делает бóльшую дырку — берданка или бельгийка. Гости начинают зевать и разгуливать по кофейне. Скучно.

Бывало пенсионеры заходили на часок к Кике-табачнице, чтобы убить время и тем самым хоть немного приблизить час обеда. А у Кики было хорошо — и диван, и стулья. Все рассядутся, закурят и поддразнивают Кику, намекают на некоего аптекарского помощника или на господина Максу, их товарища, который выглядит моложе всех, ибо красит усы, и затем вздыхают: «Хорошо бы скинуть с плеч этак лет сорок!», а то спросят, знает ли она такой-то и такой-то анекдот; или разглядывают девчонок-белошвеек, которые заходят купить цветные открытки, и пристают к ним с расспросами, для кого они покупают открытки, украдкой подталкивают друг друга, приговаривая: «Эх, горемыка, куда уж тебе!» — и долго смеются, пока смех им становится уже невмоготу — он переходит в кашель, от которого отдают богу душу. И тогда они один за другим встают, вынимают голубые платки, машут рукой и выходят из табачной лавки. А если не нападет на них кашель, то остаются в лавке и до полудня. Об этом месте приятного времяпрепровождения

* То есть по политическим причинам.

подумывают они и сейчас. Подходят к двери и уже берутся за ручку, да спохватываются: ведь Кика-табачница убрала и этот славный и удобный диван, и все стулья: теперь им негде посидеть, пошутить и поболтать.

Поэтому они возвращаются в залу, усаживаются за столики или продолжают прохаживаться. Им неприятно и это долгое сидение в кофейне, и знакомства с уволенными чиновниками. Неловко курить, неловко слишком часто открывать табакерки перед этими многочисленными уволенными чиновниками, которые с такой жадностью тянутся к табакерке, стоит только пенсионеру поставить ее на стол. Того и гляди, уволенный подсядет, ударит себя в грудь и вздохнет: «Эх, если бы наши пришли к власти, хоть бы на три дня, чтобы свести счеты с кем надо! Как, господин Михайло?», да и запустит пальцы в табакерку и скрутит страшно толстую цыгарку. Поэтому все поднялись из-за столов — и пенсионеры и уволенные — и шагают нетерпеливо по кофейне, как по перрону железнодорожной станции, словно ожидая запаздывающий поезд. Никто ничего больше не заказывает, а потому и официанты сидят по закуткам, курят папиросы и читают газеты или перемигиваются друг с другом, поглядывая на бывших чиновников.

В кофейне тишина. Прошло уже немало времени, а дверь все не отворяется. Никто не входил и не выходил. А на улице настоящий буран. Вдруг дверь быстро распахнулась, так быстро, что все даже вздрогнули, и в кофейню влетел человек, весь облепленный снегом, будто немецкий старый год с открытки, и стал стряхивать с себя снег, топая ногами и хлопая шапкой по коленям. Подмышкой у него сверток бумаги. Высморкался двумя пальцами, вытащил один листок из свертка, положил его на стол и ушел.

Это было извещение о похоронах.

Все тотчас собрались вокруг стола, чтобы узнать, что случилось.

— Ну-ка, Васа, прочти! — сказал седой помощник казначея на пенсии Петроние, по прозванию Считала, который любил следить за международными и столичными событиями, но не любил читать сам. — Ну-ка, Василие! Ведь ты у нас книжник!

И Васа-пенсионер, иначе Васа-Чтец, чтение которого всегда слушали с удовольствием, ибо он, во-первых, читал все, что ему попадалось в руки, даже день за днем длиннейшую «Кетхен из Гейльброна», а во-вторых, умел при чтении искусно и приятно подчеркнуть более важные слова и фразы, поднимая брови и то возвышая, то понижая голос, а на каждой точке на мгновение торжественно остановиться и поглядеть поверх очков, — не заставил себя просить дважды, а сразу же взялся за дело. Он вынул очки из жестяного футляра, дохнул на них, протер и надел на нос, надул щеки, пожевал губами, так что подбородок соприкоснулся с носом, и начал своим старческим голосом, подобным голосу коростеля, поющего в росистой луговой траве:

— Значит... так... «Наш незабвенный супруг, отец, тесть, свекор, свояк, шурин, дядя, тетка»... То есть не тетка! Глупости! — сказал Васа-Чтец уже в свой адрес. — Как мужчина может быть теткой! — а «называемый всеми тятей»... тятя, да, да, «Сибин Сибинович»! Сибин! Смотри, пожалуйста! — сказал, понизив голос, Васа-Чтец. — Ай-ай-ай, Сибин! Эх, грешник Сибин, неужели и ты!..

— Да не может быть Сибин! — сказал удивленно и растерянно Петроние. — Смотри лучше, Василие, что читаешь! Не хорони живого человека!.. Я, кажется, позавчера его встретил и разговаривал с ним, как сейчас с тобой.

— Я знаю, что читаю! — обижается Васа. — Сибин, именно Сибин... Сибин Сибинович, он самый! А ты: «видел его!» Может, и видел, — толь-

ко не позавчера, а шесть недель назад. Он уже несколько недель как болен... Свалился, говорят, когда его сосед Марко начал надстраивать третий этаж и его дом против этого получился, просто сказать, домишко!.. Лопнуло у него что-то, он и бух в кровать. Как слег, так и не поднялся. Вот как дело было! Но ты, между прочим, больше всех кричал и клянчил, чтобы читали, а потом первый прерываешь... Так где, бишь, я остановился?.. Ах, да!.. «Испустил свой благородный дух и оставил нас, опечаленных, вечно скорбеть о нем и вечно его оплакивать... Похороны состоятся сегодня в два часа пополудни... Тело будет отпето... и предано матери-земле на новом... и так далее... Скорбящая супруга Анастасия, сын Петр, дочери Юлиана и Мария, зятья Клистивор...»

— Не Клистивор, братец, а Кристифор! — поправляет его Петроние, прочищая свернутой бумажкой свой янтарный мундштук. — Клистивор! Какой такой Клистивор...

— А раз ты лучше меня умеешь читать, что ж ты сам не читаешь?— сердито огрызается Васа.

— Олух ты царя небесного! До пенсии дослужился, а читать еще не выучился! — поддразнивает его Петроние.

— А ты будто лучше умеешь!

— Лучше тебя, конечно, умею! — отвечает Петроние, вытаскивая из мундштука покрывшуюся никотином бумагу. — Разумеется, лучше умею... — говорит он и смотрит сквозь прочищенный мундштук.

— А раз ты все умеешь и такой грамотный, что ж ты сам не читаешь, а каждый раз просишь: «Давай, Васа, начинай, брат Васа!» Ты больше всех шумишь...

— Зрение у меня ослабело...

— Да, да! От сильного чтения?! Как же! Рассказывай! — говорит Васа.

— От чтения или не от чтения, а читаю я лучше тебя! — говорит Петроние. — Я больше учился — выходит, братец, и знать должен больше.

— И много же ты кончил! Подумаешь, великая наука! Кончил то же, что и я!

— Есть небольшая разница, почтенный господин Василие! — поправляет его Петроние.

— Три класса начальной сербской школы да один — Экономическо-топчидерского заведения * — и больше ничего.

— Больше ничего? — гордо спрашивает его Петроние.

— Ну да! Да впридачу побывал в греческой школе у покойного даскала ** Харитона! А с этой греческой школой поднялся ты над нами надо всеми, Петроние, вот докуда! — говорит Васа и показывает на темя. — Заносится так, будто он резидент в Царьграде! Греческую школу кончил человек! Подумаешь, дело какое! Будто ты алфавит выдумал и можешь писать не хуже Доситея ***. Ха-ха-ха!

— Сколько я учился, столько и учился. Знаю только, что грекам меня не продать.

— Где там! Грекам тебя не продать — да, чай, и сербы тебя не купят!

— А ты, раз по-сербски не знаешь, уж лучше бы... Клистивор! — повторяет Петроние. — Не Клистивор, а Кристифор, или еще лучше Христифор, или, если хочешь, уже на настоящем греческом, то: Христифорос... — гордо говорит Петроние.

---

* Специальная школа для счетоводов в Топчидере (предместье Белграда).

** Учитель греческой школы.

*** Доситей Обрадович (1742—1811) — сербский просветитель.

— Ну ладно, братец мой любезный, — уступает наконец Васа-Чтец. — Если я и сказал Клистивор, турком я его не сделал!.. Что ты тут шум подымаешь, будто я твой дом поджег!..

— Ну, хватит! — закричали все пенсионеры. — Смотри, пожалуйста, из-за какого вздора сцепились!..

— Да не сцепились мы, а просто дишпутируем! — стихает господин Петроние, не способный провести и полчаса без Васы-Чтеца.

Утихомирили обоих. Наступила пауза, а потом опять завязался разговор.

— Эх, грешник Сибин! И он ушел! — говорит Петроние. — А знаю я его, хорошо знаю. Как мне его не знать, знакомы, почитай, лет пятьдесят, если не больше... еще по Кладову знакомы... Он немного моложе меня... Был мальчиком у портного, а я учеником — тогда практикантов называли учениками — в канцелярии господина Ристы (по фамилии Роми), надзирателя рыбной ловли... Я там, а он в мальчиках... А потом, братец ты мой, оказались мы здесь, в Белграде... Меня перевели в регистраторы, а он — подмастерьем в Белграде... Ничего тогда у него не было; беднее меня был! Будто сейчас вижу его безрукавку, да еще, помнится, какие-то военные пехотинские штаны с яркокрасными майорскими выпушками и солдатские ботинки на ногах... Потом туда-сюда, глядишь — и вышел в люди, пробился; обзавелся хозяйством, бросил портняжить, занялся спекуляцией, выпала ему удача, и теперь уж он — газда * Сибин. Хе-хе, — двусмысленно заключил Петроние, — трудолюбивый, говорят, был человек...

— Ну, тут не только трудолюбие! — отозвался Васа.

— Правда твоя! Какое там трудолюбие! — подтверждает Петроние.

— А мы разве не трудолюбивы? Я разве не трудолюбив? Да, наконец, ты вот, например, разве не трудолюбив?.. А какой из этого прок? Никакого! За сто лет — девяносто грошей. Чуть не надорвался, пока дослужился до пенсии! Не трудолюбие тут главное, а удача и... это самое... Понимаешь, что я хочу сказать?

— Конечно, понимаю! — говорит Петроние.

— Ну разве я не знаю! Ты мне еще будешь рассказывать!.. Просто претит мне (прости его боже, этого самого Сибина!), просто претит мне говорить об этом.

— У удачливого и петухи несутся! — шутит кто-то.

— Деньги к деньгам идут! — добавляет другой.

— Да не со всяким так бывает! — говорит Петроние. — Вот ведь человек чиновничьего звания так не может... *не может* — хо-хо- хоть бы он лез из кожи. Уж я-то знаю. Я сам, как говорится, дошел до помощника казначея и столько лет пробыл им еще до введения этих самых ассигнаций и этих январских и июньских купонов ** — поседел на казначейском месте, пенсию выслужил, однако... Вот ты меня, слава богу, знаешь, — говорит он, обращаясь к Васе-Чтецу, — я ли не бережлив, уж не знаю, найдется ли второй такой, и всего-то у меня еле-еле один домишко, какой ни на есть кров, чтобы голову приклонить, чтобы, как говорится, за ворот не капало...

— Однако, Петроние, какой *один* — два у тебя дома.

— Две, брат, ку́пчих, а не два дома. Один, брат, один; тот, второй, я и не считаю. Пожалуйста, подарю, кому хочешь — возмести мне только налоги. На, бери его даром...

— Ну, это ты шутишь...

---

* Газда — хозяин, богач.

** Государственный заем во второй половине XIX века в Сербии.

— Не шучу, клянусь богом! Вот сейчас идем в суд, и я переведу купчую на тебя. Идем.

— Идем, — говорит Васа, — хоть и буран. Пошли!

— Ты бы, наверно, не пошел сейчас из этого тепла, если б ты мне, а не я тебе дарил дом.

— Хе-хе! Нет, пойдем, если обещал, — смеется Васа.— Не пойдешь ты! Уж я тебя знаю...

— Ну, это ведь только так, к слову сказано, — рассердился Петроние. — А ты и прицепился. Вот ты какой! Вечно жалуешься, что я тебя прерываю, а теперь сам начинаешь.

— Да так уж заведено! Раз ты всего-навсего чиновник — терпи и молчи! — говорит поручик Милько, поддержанный другими.

Успокоили Петрония и Василия, оставили покойного Сибина и повели разговор о том, что и кому осталось после газды Сибина. Говорили о его состоянии, о домах и участках, о том, сколько он оставил наличного капитала, затем — о зятьях и завещании. Будет ли, мол, процесс или завещание останется неопротестованным. Затем все решили проводить его останки, так как все сошлись на том, что газда Сибин был человек редкостный и заслуженный, какого не часто встретишь и какому нелегко найти замену. Одни похвалы слышались со всех сторон. «Это не шутка, братец! Крестьянский сын, человек без имени, был гол как сокол, а постоянством и трудолюбием достиг таких степеней». Все, все его хвалили, а поручик Милько даже спросил крайне озабоченным и испуганным голосом, осталась ли хоть фотография газды Сибина и есть ли она у кого? Но ответа он не получил, разговор перешел на другие темы.

Помощник Петроние подсел к Васе и начал ему рассказывать о своих планах: об участке, который он прикупил, о доме, который намерен строить весной, и о плане дома, каковой составил сам, без помощи инженера; вытащив складной метр и плотницкий карандаш, он взял давешнее извещение о похоронах Сибина, на чистой его стороне начертил план дома с комнатами и прихожей, двором и колодцем и другими укромными пристройками. Он чертил и объяснял, а Васа критиковал и осуждал план. Так они разговаривали и препирались до полудня, и за это время дважды поссорились, так как Петроние заявил Васе, что он болван и дурак, а Васа кричал ему: «Краденое добро не впрок!» и «Дьявол уж придет за своим!» Но, как и надо было полагать, они помирились перед обедом и отправились восвояси.

У дверей они задержались, разговаривая о том, что их ждет дома.

— Видишь ли, Васа, — сказал Петроние, имея в виду мороз на улице, — до такой погоды я охотник. Нет для меня ничего лучше, как вот хватит мороз, вроде сегодняшнего, а ты идешь домой обедать, и ждет тебя там жареный поросенок. Да не так себе, на один зубок, а этак в пять или шесть ок *. Моя Полексия еще утром вынесла его на мороз. И когда я внесу его с мороза да выну этот мой перочинный нож (солингеровского ** завода, сталь лучше аглицкой, острый, как бритва), да придвину к себе жаркое с салатом из капусты, да, чтоб отвести глаза жене, запою ту банатскую: «Женка, к стенке обернись!» — и вылью все масло в капусту. Поставлю перед собой поросенка, а Полексии скажу: «Запри дверь, не пускай никого, даже того, что посылки разносит; сегодня меня нет дома!» Ну, что ты скажешь? Ей-богу, лучше моя бедность и чистая совесть да доброе здравие, чем все добро, лавки, дома и участки покойного газды Сибина — да пропади они пропадом! Ха-ха-ха! Какая ему теперь польза от всего этого! Вот зятья, те скажут ему спасибо!

---

* Ока — мера веса свыше 1 *кг*.

** Искаженное — «золингенского завода».

ГЛАВА ВТОРАЯ

ЧТО ГОВОРЯТ ТОРГОВЫЕ РЯДЫ И ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ПЕЧАТЬ, А СЛЕДОВАТЕЛЬНО, И ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ, О СИБИНОВОЙ СМЕРТИ

В самое короткое время весь город узнал, что умер газда Сибин — человек, занимавший выдающееся положение среди лиц его сословия и во всем крае. Газеты споспешествовали распространению этой вести. Все они поместили кто короткую, кто пространную заметку о его смерти. Как и о каждом смертном, мнения о нем разделились — так было при жизни, так было и сейчас, после смерти. Как и каждый смертный, он имел друзей и недругов. «Плохо тому, на кого не лают» — гласит народная пословица, тем более, что этот смертный принимал заметное участие во всех делах общественных. Газда Сибин недолго оставался в стороне от общественных веяний. И его подхватила волна прогресса. Народ зашевелился, пошел за новым временем, воспринял новые идеи. Возникали новые газеты. Все разделились на партии и стали выписывать соответствующие их убеждениям газеты, а газда Сибин еще оставался сторонником властей и выписывал официоз «Сербскую газету», в которой с наибольшим интересом читал третью и четвертую страницы, там, где помещались объявления об аукционах и извещения Управы фондов * о продаваемых с молотка имениях — это было все его чтение и духовная пища! Хотя эта пища была ему полезна, он все же вскоре увидел, что никак нельзя ею ограничиваться. Газда Сибин убедился, что и ему надлежит вмешаться в какую-нибудь свару. Был он раньше «ничей», и все его называли просто хозяйчиком, обывателем, а иногда даже пиявкой и паразитом. Никто его не защищал, ибо дела его были такого рода, что часто ему случалось обижать людей, которым он давал двумя руками, чтобы потом выколачивать из них четырьмя ногами, считая свои и судебного исполнителя. «А! — сказал однажды газда Сибин.—Новое время —новые песни!» И он тоже «определился». Вошел Сибин в партию и притом в ту, которая находилась в оппозиции, зятьев же своих определил в две другие.

Разом газда Сибин преобразился, стал другим человеком: интересуется общественными вопросами, сочувствует народным печалям, кричит: «Так дальше нельзя!», вопит: «Это невыносимо! Все ни к чорту не годится!» Стал тихо, таинственно, шопотом или даже глазами вопрошать своих новых единомышленников: «Ну что? Как? Как наши?» Те, в свою очередь, пожимают ему руку и отвечают когда вслух, когда шопотом или взглядом —смотря по обстоятельствам; а те, кому его последний шаг еще не известен, удивляются: «Куда конь с копытом, туда и рак с клешней! С чего это газда Сибин вступил в партию и что он тут путается под ногами и всякий вздор несет?»

— А разве ты не знаешь, что с ним произошло? —важно возражает посвященный.

— Не знаю!—отвечает пребывающий в незнании.

— Да где ты живешь, если и этого не знаешь?..

— Да я ж его знаю. Раньше он...

— Э, что было, то было! А теперь он *с нами,* перекинулся старикан.

— Может быть...

— Не может быть, а точно. Состоит в списке. Собственноручная подпись... Теперь не отвертится.

— Ей-богу?

— Клянусь честью!

— Записался?

---

* Государственный ссудный банк.

— Уплатил взносы и взял...
— Членский билет?
— Да!
— И теперь он наш человек?
— Еще какой, брат! Огонь! Кремень!.. Железный характер!
— И с нами в огонь и в воду?
— Да уж, как гласит пословица, — самодовольно говорит посвященный, — когда старый пень загорится...
— *Старый человек каждому делу голова.* Это моя заслуга, что он *наш*...
— И давно он наш?
— Да нет, недавно... И недели нет...

И в самом деле, у газды Сибина все шло быстро, невероятно быстро, будто человек спешил побольше успеть перед смертью. В один прекрасный день он записался в партию, на следующий — уже был в партийной кофейне, на третий день подписался на партийную газету, на четвертый — взял семь акций в партийной сберегательной кассе, а на пятый был на окружном партийном собрании и вопил и шумел на нем сильнее, чем сами основатели партии.

Словом, газда Сибин стал сторонником прогресса, «народным человеком», другом народа. Жизнь ему стала милее, ибо она не так пуста и праздна, как раньше. Он интересуется всем, он больше не равнодушный наблюдатель, не говорит, как раньше: «Пусть все идет, как шло!» В старика будто бес вселился, просто не узнаешь в нем прежнего газду Сибина — ростовщика и мироеда. Он стал нервен, придирчив, непреклонен — разумеется, по отношению к своим противникам. Вечно словно в какой-то лихорадке, а когда говорил, то непрестанно смачивал губы, как бы угашая лихорадочный огонь. С кем ни встретится — поссорится: обижает именитых людей, защищает бедняков и бесправных, то и дело кричит: «Хватит! Кончилось ваше время!» Вот каков стал человек — своим на радость, врагам — на горе! «И что это со старым дураком? Его только сейчас схватило, когда у других уже проходит!» — говорили недруги, дивясь этой перемене. Да и в самом деле, это был удивительный переворот, странная перемена! И нет во всей подлунной психолога, который мог бы истолковать и мотивировать эту быструю и глубокую перемену в дяде Сибине!

Все только о нем и говорят! Восхваляют его. Отыскали в нем какие-то особые качества и добродетели, отличающие человека передового, инициативного, предприимчивого — «чисто сербский характер!» А если кто и вспомнит что-нибудь, что выглядит совсем по-другому, все на него кричат, что, мол, нельзя быть без недостатков. Когда он появляется, только и слышно вслух и шопотом произносимое: «Мы, наши, наш человек». А Сибина все больше разбирает, все глубже и глубже он увязает в общественной жизни, в борьбе, пока, наконец, не отправляется на открытое партийное собрание, на котором его сажают на видное место на самой трибуне. Он даже хотел что-то сказать, но когда необозримая масса закричала: «Слушаем, слушаем!», он, видно, от наплыва чувств лишился дара речи и мог только испуганным и прерывающимся голосом крикнуть: «Так больше нельзя!.. Караул! Спасите!» Бурное и громогласное «Да здравствует оратор!» раздалось и звучало так долго, что, если бы он даже и хотел говорить, это ему не удалось бы, обладай он хоть демосфеновым даром. Многие подходили, пожимали ему руку и поздравляли с речью. А позже он был на верху блаженства, найдя в пространной корреспонденции то место о себе, где писалось, что «собрание почтил своим присутствием и открыл своей краткой, но содержательной речью *почтенный,* седой *старец* Сибин Сибинович, наш энергичный и предпри-

имчивый промышленник, человек, старый годами, но молодой и бодрый духом — да ему, по справедливости, издавна место среди молодежи! Приятно было видеть, как стар и млад дружно взялись за общее дело» и т. д. Кончалась же корреспонденция словами Негоша *:

Хоровод поет, рокочут гусли,
и с внучатами *деды* пляшут,
все в веселье стали однолетки.

Та самая газета, что тогда так тепло его приветствовала, естественно, сейчас прочувствованно с ним простилась. Она первая разнесла скорбную весть о его смерти: «Как молния, пронесся по городу слух и, как громом, потрясла всех сограждан страшная и скорбная весть о том, что скончался Сибин Сибинович, честный гражданин, предприимчивый промышленник, зачинатель многих полезных предприятий, пламенный сербский патриот, примерный супруг, нежный отец, верный друг, добрый приятель и отец бедняков. Вся жизнь достойного покойника — цепь непрерывных усилий и борьбы, которые благодаря энергии и выдержке покойного завершились успехом. Покойный жизнью своей показал, к чему приводят труд и воля: из бедного, безвестного крестьянского сына он стал богатым, видным, уважаемым и полезным согражданином нашим. Утрата такого человека была бы чувствительна и для великих народов, а тем более для нашего малого и разрозненного сербского народа. Весть эта скорбно отзовется не только в нашем городе и его окрестностях, но и по всей Сербии и во всем сербстве! Ибо нет такого человека, который не знал бы нашего почтенного «дядю Сибина» (со вступления в партию он именно так любил называть себя), и не будет сердца, которое бы не опечалилось, и ока, которое бы не оросилось слезами при известии о его кончине. Все его жалеют и оплакивают, ибо смерть его — тяжелая утрата и, что того тяжелее, утрата невознаградимая!.. Все спрашивают себя: возможно ли это?!.»

И в самом деле, были такие вопросы. Все спрашивали: с чего это он? И даже Перса, прозванная «палилулской ** газетой», которая, как и всякая газета, ни о ком ничего хорошего не говорила, когда услышала эту страшную весть, почувствовала, как ноги у нее словно подломились; она перекрестилась и, воскликнув: «Ноги мои, держите меня!» — помчалась сломя голову к дому покойного, крестясь и повторяя про себя: «Боже, неужто правда! Дай боже, чтоб то была просто шутка!» А когда взялась за дверную ручку, заплакала еще во дворе. «Ой, горький Сибине! — вырвалось у нее. — На кого ты покинул Персиду?» Утешала она безутешное семейство и извинялась, что никого не может утешить, ибо сама она, как убитая.

«Вот вас словно бы утешаю, а у самой сердце надрывается», — говорит Перса, а затем рассказывает, что и дом, и двор кажутся ей пустыми без газды Сибина. «Будто сейчас его вижу, — говорит она, — в его шлепанцах, в его сюртуке внакидку, как расхаживает он по двору и всем делает замечания, все видит и слышит, за всем приглядывает: бранит жильцов или лущит кукурузу, кормит птицу или же летом прохлаждает себя арбузом вон под тем орехом». Она нашла даже, что и птица загрустила, и добавила: «Боже мой, и она будто понимает, кого в нем потеряла!» А потом (и она!) спросила озабоченно: «Имеется ли, по крайней мере, фотография покойного?» И узнав, что имеется, что покойник снял-

* Петр Негош (1813—1851) — известный черногорский поэт, автор драматической поэмы «Горный венец».

** Район в Белграде (в те времена — окраина города).

ся, да притом в шайкаче *, в группе, как член какого-то комитета или комиссии по приемке некоего государственного сена во время войн наших,— она вздохнула с облегчением, сказала «слава богу!» и ушла, обещая тотчас же вернуться.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ЧТО ГОВОРЯТ О ПОКОЙНОМ СИБИНЕ ТЕ, КТО НЕ УМЕЕТ ПИСАТЬ

Сразу после полудня начал собираться народ, и около двух часов улица почернела от густой толпы. Хотя похороны были назначены на два часа, процессия не двинулась и в половине третьего, ибо, как водится, попы запаздывали. Ожидая духовенство, народ разговорился, и уж о чем только не было тут разговоров. А так как у нас свадьбы обычно какие-то мертвые, а похороны — куда живее, то и здесь очень живо беседовали и смеялись, а остроты сыпались так, будто люди эти собрались вовсе не для того, чтобы отдать последний долг покойному. Народ, разбившись на множество больших и маленьких групп, стоит или прохаживается по улице и оживленно болтает. В группе торговцев толкуют о каком-то фальшивом банкротстве и поджоге; а там группа учителей говорит о влиянии алкоголя на некий род рыб; в третьей группе — пенсионеров— разговор идет о кое-каких шалостях старого председателя суда, совершенных в отсутствие жены, и все утирают слезы, выступившие от сильного смеха. Что касается офицера Н., то он за время долгого ожидания духовенства завязал знакомство и изъяснился в своей давнишней, весьмилетней, тайной любви к недавно овдовевшей г-же П. и был ею приглашен в гости на будущее воскресенье... Вообще разговоры повсюду были очень занимательные и не только не затихали, но, напротив, становились все более оживленными, пока, наконец, не появились попы.

Еще немного, и процессия тронулась.

Выехал катафалк. За катафалком двинулась многочисленная родня. Все понурились. Все растеряны, как это обычно бывает в столь скорбные минуты, и никто не знает, ни где ему встать, ни кого взять под руку. Как кстати в таких случаях оказывается человек, владеющий собой и знающий все порядки! На этот раз всех выручила Перса. Она повязала платки на рипиды и подсвечники, вручила попам свечи и шелковые платки; дала каждому зятю в спутницы его благоверную и одну из теток.

Двинулись в путь. Перса кричит зятю Кристифору, чтобы он покрылся, надел шапку на голову, ибо, говорит она, дорогого покойника он все равно из гроба не поднимет (ему ведь сейчас нет никакого дела до того, пойдет ли Кристифор в шапке или без шапки), а себе может повредить— заполучить какую-нибудь там хворь, хотя бы сильный насморк.

Перед катафалком — многочисленные венки. Кто их пересчитает, кто прочтет, что на них написано! Оставим принесенные родней и займемся теми, которые получил покойник за свои гражданские доблести. На одном начертано: «Своему благодетелю и почетному члену — возчики»; на другом — «Достойному и энергичному члену-основателю — общество субсидий под залог»; на третьем — «Неутомимому инициатору — общество «Колыбель и Могила»; на четвертом — «Активному члену — члены комиссии по выбору площади для рынка»; на пятом — «Незабвенному председателю — Общество по скупке пенсионерских и чиновничьих векселей».

Всем бросилось в глаза это изобилие венков, и потому естественно, что сразу же начались сравнения с давешними похоронами полковника,

* Сербский военный головной убор.

и было решено, что нынешняя процессия — если не считать в полковничьем кортеже того, что положено по военному чину, не в пример пышнее. Попов было семь. Но как ни удивительно — ни одного любительского хора, а их в городе два!.. После от все той же Персиды дознались, что оба хора — хор «Дамаскин» и хор «Райвийойла» — были бы на месте, но, к сожалению, при переговорах в доме покойного руководители названных хоров, Пан-Выпил и Пан-Выпивал, передрались, так что их увели в участок, почему процессия и осталась без хора. Это было, однако, частично возмещено кое-чем другим. «А за родственниками, — писала в отчете одна из газет, — приятно и трогательно было видеть довольно большую толпу сокрушенных и плачущих женщин, девушек и детей в черных покрывалах. Это многочисленные квартиранты покойного. Не было глаз, которые не оросились бы слезами при виде этого зрелища».

Процессия медленно двигалась по главным и боковым улицам; по главным — ради знакомых покойного, а по боковым — ради сибиновых лавок и лабазов, домов и участков — чтобы покойного еще раз увидели его столь тяжелым трудом добытые владения!.. Около каждого такого места останавливались. Останавливались даже и около одного участка, из-за которого был процесс (и покойник проиграл его за два дня до смерти, только это от него скрыли). Слегка поспорили, нужно ли и тут останавливаться, и, в конце концов, решили, что нужно. «Ладно,— сказал кто-то. — Постоим и тут по христианскому обычаю. Покойник думал, что участок его, с этой мыслью и умер...»

Так двигаются они потихоньку. Поочередно поют попы и дьячки. Попы, когда не поют, беседуют тихо и степенно о состоянии покойного, о наличных деньгах, о том, сколько он платил налога и сколько бы должен был платить. А когда приходит их черед, они прерывают разговор и опять поют, а затем снова продолжают разговор с того места, где он остановился. Те же, кто не плачет, не поет и вообще не чинодействует, непрестанно разговаривают. Люди как люди, говорят о всякой всячине. Одни говорят, что мало попов, другие — что венков такому человеку могло бы быть еще побольше. А некоторые женщины замечают, что дочке Сибина траур не так уж к лицу. «Знай она, как он ей не идет,— говорят они, — ни за что бы не надела!» Одна из них сообщает, что все ее уверили, будто траур ей очень к лицу, и она надеется вскоре опять одеться в черное, так как и свекровь на ладан дышит! Те, что постарше, завели речь о вдове Сибина. Одна спрашивает: «Собирается ли госпожа Анастасия выходить замуж? Она еще свежая и крепкая, так почему бы и нет!» Другая говорит, что она не пойдет, у нее внучата. Третья замечает, что внучата тому не помеха, ибо все они обеспечены по завещанию, да и Анастасия имеет свою часть независимо от того, останется ли она вдовой до могилы или выйдет через год замуж, если найдется подходящий человек, и добавляет, что она уже знает и припасла для нее, по меньшей мере, одну хорошую партию. Потом они переходят к деталям завещания, но их беседа прерывается сначала вопросом какой-то девчонки: «Почему так мало офицеров в процессии?», а потом тут же начавшейся речью, которая произносится перед последним участком покойного и из которой становится ясно, что покойник намеревался стать одним из выдающихся благотворителей.

— Скажите, пожалуйста, а кто это умер? — спрашивает прохожий господин одного из провожающих. — Я, знаете ли, нездешний и...

— Эх, — отвечает, вздохнув, спрошенный. — Редкостный человек. *Почтенный старец!* Не было *комитета,* сударь, в котором *он* не состоял бы членом.

Дошли уже до последней улицы, ведущей к кладбищу, до последнего угла, где будет остановка у кирпичного завода покойного. Здесь расста-

нутся с ним знакомые и друзья, и только родные проводят его до места вечного упокоения...

Как на всех улицах, по которым они проходили, так и здесь люди выбегают за калитки с тем же самым интересом, с каким они бегут за калитку, заслышав оркестр и марш, волынку и свадебные песни!..

Здесь прощаются с покойным. Все идут по домам, и снова — разговоры, гомон и хихиканье.

— А кто это умер, сынок? — спросила старуха, которая едва-едва нашла один шлепанец и так, без другого, и добежала из ближайшего дома до самого кладбища, перед которым собралась толпа из дворов соседних домов.

— Да тот, кому, бабушка, жить надоело! — отвечает ей сосед.

— Не знаю, — отвечает ей соседка из толпы. — Человек какой-то, говорят...

— А большая процессия, дочка? — спрашивает бабка, щурясь и пытаясь разглядеть провожающих.

— Была! А сейчас расходятся.

— А сколько попов?

— Четыре.

— А дьяконов?

— А не знаю.

— Помилуй, господи, его душу! Видать, богач какой-то. А есть ли рипиды?

— Есть, бабушка!

— А платки какие?

— Шелковые, бабушка.

— Эх, — вздохнула старуха. — Хорошо ему! Коли богат, ему хорошее место для души обеспечат... Только бы на похороны сколотить денег — и тогда хоть завтра помереть... — добродушно заканчивает бабка.

В это время траурный кортеж приближается к толпе перед воротами. Люди из толпы подходят поближе к кресту и читают: «Сибин Сибинович, торговец». Говорят старухе: «Сибин Сибинович умер».

— Ноги мои, держите меня! — восклицает Перка-прачка. — Неужели он?..

— Это не Сибин ли надзиратель? Эх, Сибин, Сибин! Неужто раньше меня? — крестясь вздыхает бабка.

— Нет, бабушка, — разъясняет ей Перка-прачка, — то другой Сибин, а этот Сибин-торговец, первейший богач был...

— А ты его знаешь, дочка? — спрашивает бабка.

— А как же мне его не знать, — говорит Перка. — Я была его квартиранткой полгода — от дмитриева до георгиева дня. Знаю его. Да и кто его не знает?

— Доброго человека, душенька, каждый знает, — говорит бабка.

— Да-а-а, — цедит сквозь зубы Перка-прачка. — Как же! Прости господи его душу! Ничего, хороший был...

— Да уж, должно быть, хороший был человек, — подхватывает кто-то. — Вон какие ему похороны устроили, да и в газетах о нем пишут, а тот в речи что сказал! И половины того вполне бы хватило. Говорят, золотой был человек, особенно бедняков любил!

— Ого! — воскликнула Перка-прачка. — Как ты говоришь? Любил бедняков? Хорошо им, грамотным, пишут, что хотят, бумага все стерпит, как сказал наш Мика-газетчик (разносчик и продавец газет, который сидел тут же во дворе). А будь я грамотна, я бы иначе написала!

— Эх, тетка Перка, — сказала одна женщина. — Наверно, не совсем это так.

— Что не так? Что не так? Будто я не знаю газду Сибина, когда я была его квартиранткой, а он моим хозяином! А она мне еще толковать будет, кто был газда Сибин!.. Нечего сказать!

— Пресвятая богородица! Подумать только, — восклицали женщины. — Неужто правда, тетка Перка?

— А как вы думали? — сказала Перка, махнув рукой.— Просто противно говорить об этом!

— А почему?

— Да как же! Ведь его, как говорится, только что со стола сняли!

— Ну и что?

— История была бы самой жалкой наукой, — вмешался какой-то ученик, слушатель геодезической школы, — если бы даже после смерти не могла изречь своего справедливого суда!

— Ай-ай-ай, так что же он делал? — разом воскликнули несколько женщин.

— А как вы думали? — сказала Перка. — Да что уж теперь! Помер, прости его господи, и теперь уж он самый лучший человек!.. А при жизни... Да отстаньте вы от меня, ради бога, только в грех меня вводите! А при жизни не было большего скряги!

— Да ну! Так что же он вам сделал? — закричали женщины, сгорая от любопытства.

— Да ничего особенного! Что он мог сделать!.. Во всем городе никто бы не мог похвалиться... Но это потому, что я была женщина с характером и, как говорится, порядочная.

— Да что вы говорите!..

— Когда бывало он обходит квартиры, вечно жалуется, что в пояснице у него стреляет. Едва я от него девчонку уберегла — так он *ко мне* привязался!.. «Бог с вами, говорю, господин Сибин, отстаньте от меня; я уже в летах!» — «Ну что ж, говорит, и я не молод!» — «Но ведь у меня муж есть!» — защищаюсь я. — «Так и у меня жена, — говорит он.— Чем я тебе не муж?» Говорит, а у самого борода трясется и четки в руках дрожат! Насилу отделалась, да и то только тем, что пригрозила ему госпожой Анастасией. Тогда он вроде немножко испугался, смутился и пошел восвояси...

— И ты упустила такой случай! А могла бы как сыр в масле кататься у такого богача!

— Да какой ему толк был от этого богатства! Каждое первое число он спозаранок тут как тут... Положит в карман молоток, клещи да гвозди и таскается из квартиры в квартиру, требует деньги, квартирную плату! И если их нет — сущая беда! Сразу начинает ругаться и выбрасывать на улицу... Тут же налепляет бумажку на окно: «Сдается хорошая комната». Сядет и орет: «Вон, вон!» Да половину вещей удержит в счет квартирной платы, а половину выкинет во двор и кричит: «Уходи, уходи; убирайся только из комнаты, и денег твоих не нужно!» А глядишь, все, что получше, он себе оставил, а выбросил тряпье какое-нибудь!

— Ну и ну! — дивятся женщины.

— Хе-хе, — смеется Перка-прачка. — Помню я, как позапрошлый год жила в его доме... Хо-хо-хо! Царство ему небесное, не могу без смеха вспомнить!.. Муж мой тогда задержался по какому-то делу в Смедереве, а подходит первое число, и он, чуть рассвело, уж тут как тут. «Как с платой?» — говорит. — «Да я не приготовила, а вы знаете, что мы всегда аккуратно платим!» — говорю я ему. — «Мне деньги нужны, госпожа Перка, — говорит он. — У меня платежи». — «Потерпите неделю — две, пока муж вернется! — говорю. — Мы поизрасходовались. Знаете, как оно бывает! Купили дров (а зима была холодная, вот как нынче). Мне — корыто, а ребенку (тогда моя Юца была еще не замужем) —

башмаки и платьице... Потратились — и ждем его, а тогда заплатим, за два месяца сразу заплатим». — «Знать ничего не хочу, говорит. Подавай мне деньги! Деньги, деньги, деньги!» Просила я, просила — ничего не помогает; кричит и кричит: «Подавай мне деньги!» — «Нет у меня сейчас!» — «Значит, не можете в этот месяц заплатить?» — «Вы же нас знаете, мы всегда аккуратно платим, — прошу я. — Это уж просто случай такой!» Он будто немножко смягчился, взял стул и сел, а я про себя думаю: «Ну, слава богу, есть и у него душа!» А он ощупал карман и говорит мне: «Перка, пожалуйста, сбегай к Яначку-бакалейщику; кажется, я только что у него забыл свою табакерку, а я тебя, говорит, здесь подожду...»

Я, сирота, побежала сломя голову, а Яначко удивляется, говорит, он сюда и не заходил! А когда я вернулась, смотрю — глазам не верю: все настежь отворено, и сквозняк гуляет. А как лучше пригляделась — нет ни окон, ни дверей. — «Ах я несчастная! Где же дверь и окна? — спрашиваю я госпожу Кату-музыкантшу. — Что это за глупая шутка?» — «Никакая это не шутка, — говорит госпожа Ката. — Просто газда Сибин снял их и унес — пока, говорит, не заплатите за квартиру. Вон, говорит, он со своим работником несет их». Хо-хо-хо! — рассказывает, крестясь, Перка-прачка. — Прости, господи, меня грешную — не могу вспомнить без смеха. Выглянула я на улицу, а мой газда Сибин взвалил на себя оконные рамы — и так он мне показался похож на покойного золотаря Мату, у которого был брат царь Тодор в Абиссинии — и поддает, и поддает шагу! И не оборачивается! А парень за ним, дверь тащит! Хо-хо! И сейчас смеюсь, как вспомню. А мне что осталось делать, как не бежать во всю прыть по домам, где я стирала. Слава богу, все оказались добрыми людьми, дай им боже! Набрала я сколько нужно и заплатила ему, а он мне отдал рамы и дверь. Да еще меня утешает: «Для меня, говорит, *не в деньгах* дело! Это я для *твоего* добра, госпожа Перка, делаю! Есть у меня деньги. Если тебе нужно, я *одолжу,* говорит, а сам прячет деньги в кошелек, и руки у него трясутся. — Для твоего добра!.. Потому что, говорит, когда наберется долг, платить труднее, а так, легче. Ты меня, говорит, сейчас ругаешь, а потом спасибо скажешь!»

Такой уж он был, прости его господи!.. Лопни мои глаза, клянусь единственной дочкой моей Юцей, которая мне дороже глаз, что ничего не соврала! — заканчивает Перка-прачка. Именно в этот момент с кладбища донесся голос Мики-корреспондента, начинающего последнее надгробное слово о покойном газде Сибине:

Все у нас сереет год от года:
Меньше все юнаков у народа!

Адам Мицкевич

ИЗ „КРЫМСКИХ СОНЕТОВ"

Перевод с польского В. Левика

АККЕРМАНСКИЕ СТЕПИ

Я выплыл на простор сухого океана.
Безбрежен зелени, цветов и трав разлив.
Качаясь, как ладья, возок плывет средь нив,
Скользит меж островов коралловых бурьяна.

Смеркается. Кругом ни тропки, ни кургана.
Жду путеводных звезд. Весь горизонт закрыв,
Алеют облака, — заря глядит в разрыв:
Зажегся на Днестре маяк близ Аккермана.

И все утихло. — Стой! — Я слышу, как скользнул
И притаился уж, как мотылек вспорхнул,
Как, недоступные глазам орла степного,

Курлычут журавли в померкшей вышине.
Так слух мой напряжен, что в этой тишине
Уловит зов с Литвы. Но в путь! Не слышу зова.

ПЛАВАНЬЕ

Гремит! Как чудища, снуют валы кругом.
Команда, по местам! Вот вахтенный промчался,
По лесенке взлетел, на реях закачался
И, как в сетях, повис гигантским пауком.

Шторм! Шторм! Корабль трещит. Он бешеным рывком
Метнулся, прянул вверх, сквозь пенный шквал прорвался,
Расшиб валы, нырнул, на крутизну взобрался,
За крылья ловит вихрь, таранит тучи лбом.

Я криком радостным приветствую движенье.
Косматым парусом взвилось воображенье.
О счастье! Дух летит вослед мечте моей!

И кораблю на грудь я падаю, и мнится,
Мою почуяв грудь, он полетел быстрей.
Я весел! Я могуч! Я волен! Я — как птица!

ВИД ГОР ИЗ СТЕПЕЙ КОЗЛОВА

Пилигрим

Аллах ли твердь воздвиг из ледяных громад,
Иль трон из мерзлых туч поставил серафимам?
Иль четверть суши Див нагромоздил над Крымом,
Чтоб звездам путь пресечь с восхода на закат?

Какое зарево! Ужель горит Царьград?
Иль там, где сходит ночь и мгла клубится дымом,
Аллах, чтобы светить мирам неисчислимым,
Украсил небосвод ярчайшей из лампад?

Мирза

Там был я. — Там Зима сидит на льдистой круче.
Я лишь дохнул — и льдом покрылась борода.
Там клювы родников буравят наст колючий.

Там нет орлам пути, но я взошел туда
И пусто было там. Лишь проплывали тучи.
И подо мной был мир, а надо мной — звезда.
То Чатырдаг!

Пилигрим

A-a!!

БАХЧИСАРАЙ

Безлюден пышный дом, где грозный жил Гирей.
Трон славы, храм любви — дворы, ступени, входы,
Что подметали лбом паши в былые годы, —
Теперь гнездилище лишь саранчи да змей.

В чертоги вторгшийся сквозь окна галерей,
Захватывает плющ, карабкаясь на своды,
Творенья рук людских во имя прав природы.
Как Валтасаров перст, он чертит надпись: «Тлей!»

Не молкнет лишь фонтан в печальном запустенье —
Фонтан гаремных жен, свидетель лучших лет,
Он тихо слезы льет, оплакивая тленье:

О слава! Власть! Любовь! О торжество побед!
Вам суждены века, а мне — одно мгновенье.
Но длятся дни мои, а вас — пропал и след.

БАХЧИСАРАЙ НОЧЬЮ

Умолк в мечети гул. Расходится народ.
Изан уж не звучит, земля почиет в мире.
К рубиновой заре в серебряной порфире
Царь ночи, как жених к возлюбленной, идет.

Гаремом звезд его зажегся небосвод.
Одно лишь облачко в лазоревом эфире,
Как лебедь белая среди зеркальной шири,
Каймою золотой повитое, плывет.

А на дорогу тень легла от кипариса.
Над кровлей — минарет. За ним — громады гор,
Черны, как дьяволы в судилище Эвлиса.

Внезапно молния, пугая робкий взор,
С вершины прянула и с быстротой фариса
Зигзагом рассекла лазурной тьмы простор.

ДОРОГА НАД ПРОПАСТЬЮ В ЧУФУТ-КАЛЕ

Мирза

Молись! Поводья кинь! Смотри на лес, на тучи,
Но не в провал! Здесь конь разумней седока,
Он глазом крутизну измерил для прыжка
И стал, и пробует копытом склон сыпучий.

Вот прыгнул. Не гляди! Во тьму потянет с кручи!
Как древний Аль-Каир, тут бездна глубока
И рук не простирай — ведь не крыло рука,
И мысли трепетной не шли в тот мрак дремучий.

Как якорь, мысль твоя стремглав пойдет ко дну
Но дна не досягнет, и хаос довременный
Поглотит якорь твой и челн затянет вслед.

Пилигрим

А я глядел, мирза! Но лишь гробам шепну
Что различил мой взор сквозь трещину вселенной.
На языке живых и слов подобных нет.

АЛУШТА ДНЕМ

С горы упал туман, как сброшенный халат.
Шумит, намаз творя, пшеница золотая.
Кладет поклоны лес, порой с кудрей роняя,
Как с четок дорогих, рубин или гранат.

В цветах земля. Цветы порхают и парят.
То вьются бабочки, как радуга живая,
Алмазным пологом все небо закрывая.
И сушит стрекоза крылатый свой наряд.

Лишь там, где лысый кряж глубоко вдался в море
Отпрянет и на штурм идет опять волна,
Угрозу для земли тая в своем напоре.

Как тигра хищный глаз, мерцает глубина.
А дальше — гладь и блеск, и в голубом просторе
Играют лебеди близ мирного челна.

АЛУШТА НОЧЬЮ

Дохнуло свежестью. Дневной свершив дозор,
На Чатырдаг упал светильник мирозданья,
Разбился, льет поток пурпурного сиянья
И гаснет. Путник в даль вперил тревожный взор.

На долы ночь сошла. Черны уступы гор.
Все дремлет. В синей мгле слышней ручья дыханье.
И, словно музыка, цветов благоуханье
С душой таинственный заводит разговор.

Я сплю под крыльями безмолвия ночного.
Вдруг метеор блеснул и, светом пробужден.
Я вижу в зареве и лес, и небосклон.

Ночь! Одалиска-ночь! Ты вновь ласкать готова.
Ты, негой усыпив, зовешь для неги снова
И взором огненным желанный гонишь сон.

АЮДАГ

Мне любо, Аюдаг, следить с твоих камней,
Как черный вал идет, клубясь и нарастая,
Обрушится, вскипит и, серебром блистая,
Рассыплет крупный дождь из радужных огней.

Как набежит второй, хлестнет еще сильней,
И волны от него, как рыб огромных стая,
Захватят мель и вновь откатятся до края,
Оставив гальку, перл или коралл на ней.

Не так ли, юный бард, любовь грозой летучей
Ворвется в грудь твою, закроет небо тучей,
Но лиру ты берешь — и вновь лазурь светла.

Не омрачив твой дух, гроза отбушевала,
И только песни нам останутся от шквала —
Венец бессмертия для твоего чела.

СМЕРТЬ ПОЛКОВНИКА

Перевод с польского Семена Кирсанова

Ночевала зеленая рота
У избы лесника на опушке.
Часовые стояли в воротах,
Умирал их полковник в избушке.
Шли крестьяне толпой из поместий:
Был он славным начальником, значит,
Если люди простые так плачут
И о жизни его ловят вести.

Приказал он коня боевого
Оседлать, привести к нему в хату.
Хочет он повидать его снова —
Послужившего в битвах солдату.
Приказал принести ему пояс,
И тесак, и мундир ему нужен.
Старый воин, он хочет, покоясь,
Как Чарнецкий, проститься с оружьем.

Когда вывели лошадь из хаты,
Ксендз вошел туда с именем бога.
Побледнели от горя солдаты,
Люд молился, склонясь у порога.
И солдаты Костюшки, что в битве
Много пролили вражеской крови
И своей, но не слез, — морща брови
Повторяли за ксендзом молитвы.

Поутру зазвонили в часовне.
У избы не стоят часовые.
Уже недруги здесь появились.
Шел народ к той избе, где полковник
Вечным сном успокоился в мире.
Но у воина в строгом мундире
В головах его нож и седёлка,
А в ногах старый плащ и двустволка.

Облик нежный — ему бы косынка!
Грудь девичья... Ах, это литвинка,
Это девушка в воинском платье —
Вождь повстанцев — Эмилия Платер!

М. Рыльский

Об Адаме Мицкевиче

1

Я вырос в украинской семье, где знали польский язык и любили польскую литературу. Имена Конопницкой, Пруса, Ожешко, Сырокомли часто произносились у нас рядом с именами Тургенева, Толстого, Некрасова, Шевченка, Франка. Особенной любовью окружено было в нашем доме имя Адама Мицкевича. Когда я заболевал какой-нибудь детской нетяжелой болезнью и меня укладывали в постель, то я очень любил слушать чтение, и чаще всего старшие братья читали мне Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы», Шевченка «Наймичка» и отрывки из мицкевичевского «Пана Тадеуша». Больше всего полюбился мне тот эпизод поэмы, в котором старый охотник Войский играет на роге, сзывая гончих после облавы, и я просил почитать мне именно это место.

Будучи уже юношей, любил я забраться в летний погожий день куда-нибудь поглубже в тенистый лес, захватив с собой издание «Тадеуша» очень малого формата, и там перечитывать любимую книгу, раскрыв ее наугад. Так Мицкевич стал моим спутником на всю жизнь.

Когда уже в двадцатые годы нашего века я, учительствуя в Киеве, решил попробовать свои силы в переводе Мицкевича на украинский язык, то остановил свой выбор прежде всего именно на том месте «Пана Тадеуша», о котором сказано выше, а также на описании игры Янкеля на цимбалах (книга XII) — описании, которое один исследователь назвал «музыкой-видением». Оба эти места, кстати сказать, связаны с музыкой. О музыкальном элементе в поэзии Мицкевича речь впереди. Здесь замечу только, что стихи его вдохновляли многих композиторов, в том числе таких великих представителей славянской музыки, как Фредерик Шопен, Н. А. Римский-Корсаков и М. Лысенко.

2

Впечатляющая сила поэзии Мицкевича огромна. При жизни поэта пламенными почитателями его были Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Вяземский, Иван Козлов, Баратынский, Герцен, Жорж Санд. К этим именам следует присоединить имена Белинского, Чернышевского, Шевченка, Толстого, Короленка, Лескова, Ивана Франка, Леси Украинки, Максима Горького. Мы знаем, что Мицкевича переводили на русский язык те же Пушкин (вообще мало и неохотно переводивший), Вяземский, (прозаический перевод сонетов), Козлов и Лермонтов. Имеются сведения о затерянных переводах Шевченка (тоже весьма редко обращавшегося к переводческому делу). Франко переводил Мицкевича много, есть и перевод Леси Украинки. Но до сих пор не известно было, что стихотворный перевод из Мицкевича (оставшийся в рукописи) дал и В. Г. Короленко (стихотворение «Nad wodą wielką i czystą»). Это одно из свидетельств мощного воздействия поэтического гения Мицкевича даже на людей, далеких от «святого ремесла», как назвала стихотворную поэзию Каролина Павлова (Яниш), бывшая в молодости предметом любовного увлечения Мицкевича и сама на всю жизнь сохранившая к нему глубокое и благоговейное чувство. Павлова, между прочим, переводила любимого поэта на немецкий и французский языки.

Знать Мицкевича и не любить его — невозможно. Приведу один очень характерный пример.

В начале шестидесятых годов прокурором в Вильно был назначен некий Н. Н. Семенов. Среди заключенных в Виленскую тюрьму людей, обвинявшихся в участии в революционных восстаниях и заговорах, было несколько польских юношей; среди них один уже приговоренный к смертной казни и ожидавший исполнения приговора. На вопрос прокурора, посетившего тюрьму, о его последних желаниях он попросил, чтобы ему доставили томик стихотворений Мицкевича. Это поразило не чуждого литературным интересам Семенова. Он добился отсрочки казни юноши, а впоследствии, будучи уве-

рен в «виновности» узника, исхлопотал ему помилование. Царский прокурор, проявивший такую необычную черту великодушия, заинтересовался поэзией Мицкевича, изучил польский язык и впоследствии сделался очень добросовестным переводчиком великого польского поэта. Книга его лучших переводов под названием «Из Мицкевича» вышла в 1885 году. Академия наук удостоила ее половиной Пушкинской премии.

Когда думаешь об этом, то невольно вспоминаешь миф про Орфея.

3

Мицкевич был необычайный мастер живописного слова. Возьмем хотя бы начало ранней его поэмы («литовской повести») «Гражина»:

Дул ветер — и холодный, и сырой,
В долине — мгла. А месяц плыл высоко,
Средь круговерти черных туч порой
Ущербное показывая око.
Вечерний мир — как сводчатый чертог:
Вращающийся свод его поблек,
И лишь окно чуть брезжит одиноко.
(Перевод А. Тарковского.)

А вот строки из позднего его произведения — отрывков, приложенных к III части драматической поэмы «Dziady» («Поминки»). Идет описание царского войска (отрывок под заглавием «Смотр войска»), написанное гневными сатирическими красками:

Уже мундиры площадь покрывают,
Вы скажете: как зелен — вешний луг.
Кой-где зарядный ящик поднимают,
Он тоже зелен, как болотный жук
Иль клоп лесной, на лист похожий цветом.
А рядом пушка со своим лафетом
Топорщится, чернея, как паук.
У паука, одетые в мундиры,
Две пары задних, две — передних ног.
Те — канониры, эти бомбардиры.
Когда паук, уснув на краткий срок,
Стоит недвижно и не ждет тревоги, —
Покинув брюхо, бродят эти ноги,
И брюхо повисает пузырем.
(Перевод В. Левика)

Весь отрывок написан с такой же мощью изобразительных средств.

«Крымские сонеты» Мицкевича, в которых переплелись реминисценции из восточных поэтов с глубочайшими философскими раздумьями и предельно-искренними лирическими признаниями, являют собой упоительную по богатству красок картину «Востока в миниатюре», каким представлялся поэту Крым. Вместе с тем они проникнуты тоской по родному краю, по Литве. Этой тоской овеян уже первый, вступительный, собственно еще не крымский, сонет «Аккерманские степи». Вот его последние терцеты:

Как тихо! Постоим. Далеко в стороне
Я слышу журавлей в незримой вышине:
Внемлю, как мотылек в траве цветы колышет,
Как где-то скользкий уж, шурша, в бурьян
ползет.
Так ухо звука ждет, что можно бы расслышать
И зов с Литвы... Но в путь! — Никто не позовет!
(Перевод Ив. Бунина.)

Чудится, что поэт, обладавший таким изумительным слухом и снедаемый такой горячей тоской по родине, и впрямь мог в степях вблизи Аккермана услышать голос из далекого отчего края...

О поэте, который мог сказать про одного из своих героев, что он «вытянул слух и руку» (у русских переводчиков это выпадает,— кажется, вероятно, слишком смелым), охарактеризовать душевное смятение другого героя лаконическими словами: «он думал, ни о чем не думая»; о поэте, который дал незабываемые портреты героев-патриотов Гражины, Конрада Валленрода, ксендза Робака («Пан Тадеуш»), пленительные образы нежно любящих женщин — «небесной», романтической Альдоны («Конрад Валленрод») и вполне земной, простодушной и очаровательной Зоси («Пан Тадеуш»), изумительную по юмористической обрисовке галерею типов мелкой шляхты и крупного панства в «Пане Тадеуше»; о поэте, который некоторыми сценами III части своих «Дзядов» заставляет нас вспомнить мрачную фантастику дантова «Ада» и шекспировские драмы и в знаменитой Большой импровизации Конрада (та же III часть «Дзядов») подымается на небывалые вершины гневного «богоборческого», прометеевского протеста,— об этом поэте уверенно можно сказать словами Пушкина:

Имел он песен дивный дар
И голос, шуму вод подобный.

4

Он имел дивный дар песен. Еще в молодые годы Мицкевич поражал изумительными своими импровизациями. Во время принудительного, но благотворного благодаря общению с передовыми русскими людьми, с будущими декабристами, пребывания в России (ссылка за участие в вольнолюбивом обществе «филаретов») Мицкевич-импровизатор приводил в восторг не только пылкого и гениально-чуткого ко всему прекрасному Пушкина, но и светского скептика Вяземского. И вот что любопытно: импровизировать «певец Литвы» любил под звуки простой деревенской свирели, под мелодии польских и белорусских народных песен, которые слышал и полюбил еще в детстве.

Фольклорная струя в творчестве Мицкевича очень сильна. Недаром же он своим балладам и романсам (в мицкевичевском

понимании термина) давал подзаголовки или же снабжал их примечаниями: «На тему литовской песни» («Холмик Марыли», «Певец»), «Эта баллада является переводом деревенской песни» («Люблю я!»), «Из народной песни» («Лилии»), «Украинская баллада» («Дозор», в переводе Пушкина «Воевода»). Но и там, где таких подзаголовков и примечаний нет, связь баллад и романсов Мицкевича с народным поэтическим творчеством очевидна. Баллады «Свитезянка» и «Свитезь» с их волшебным, фантастическим и трагическим колоритом и баллада «Пани Твардовская», где мы видим одно из первых проявлений того светлого юмора, которым озарена великая эпопея «Пан Тадеуш», выросли на почве народных песен и преданий. Вся II часть драматической поэмы «Дзяды» построена на описании старинного полуязыческого обряда, «справляемого», по объяснению автора, «во многих местностях Литвы, Пруссии и Курляндии в память «дзядов», то есть умерших предков».

У Мицкевича была своя «Арина Родионовна»: старый дворовый, развлекавший и увлекавший восприимчивого мальчика бесконечными рассказами о «старопольской» жизни, о нравах и обычаях польского панства и мелкопоместной шляхты, о таинственном мире русалок-«свитезянок», упырей, колдунов... Была такая «Арина Родионовна» и у Шевченка — его дед, рассказывающий соседям о Колиивщине (крестьянском восстании XVIII века), причем у него «столетние очи, как звезды, сверкали, а слово за словом смеялось, лилось» («Гайдамаки», перевод Б. Турганова).

Это ведь достойно внимания: творчество трех величайших поэтов славянства имеет свои истоки в народной песне, в народных преданиях, сказаниях, устных рассказах. Как тут не вспомнить горячего призыва изучать народное творчество и черпать из его сокровищницы, с которым обратился к младшим своим товарищам Максим Горький на Первом Всесоюзном съезде советских писателей!

Мицкевич был великий живописец слова. Но, быть может, еще более сильна в нем была музыкальная стихия, корни которой, как я уже сказал, таятся в народном мелосе, но которая расцвела пышным цветом благодаря личной гениальной одаренности.

Обратимся к одному упомянутому выше эпизоду из XII песни «Тадеуша». Корчмарь и музыкант, еврей и польский патриот, тайный участник противоцарского восстания Янкель играет по просьбе Зоси в день ее помолвки с Тадеушем в присутствии крестьян, шляхты, солдат и военачальников польских легионов на старинном народном инструменте — на цимбалах:

Вот пред цимбалами два музыканта юных
Настройкой занялись, берут аккорд на струнах
В глазах у Янкеля зажглись две ярких точки;
В приподнятых руках держал он молоточки.
На струны опустил, прошел певучим ладом,
И звуки хлынули могучим водопадом;
Тут подивились все, — но то была лишь проба,
Маэстро опустил вновь молоточка оба.

Коснулся снова струн так тихо и умело,
Как будто бабочка чуть слышно пролетела,
Едва касаясь струн, старик глядел в волненьи
На небо, точно ждал оттуда вдохновенья,
И на цимбалы вдруг он сверху глянул гордо
И, наклонившись, взял два мощные аккорда.
Все замерли на миг...

Ударил вновь маэстро,
И звуки разрослись в гром бурного оркестра.
Литавров медный звон, грохочут дробно бубны,
И полонез плывет, как будто голос трубный!
Пылают радостью сияющие лица,
И хочет молодежь скорее в пляс пуститься,
А старым грезятся излюбленные даты:
Счастливый майский день, в который депутаты
С сенатом в ратуше, не ведая печали,
Народа с королем согласие венчали.
„Виват!" — кричали все с восторгом и с любовью
Народу, королю и каждому сословью *.

(Перевод С. Мар-Аксеновой.)

«Музыка-видение» развивается дальше. Умышленно взятая цимбалистом фальшивая нота заставляет слушателей вспомнить о предательском заговоре магнатов против демократической конституции — о Тарговицкой конфедерации.

Дальше струны повествуют о днях войны и народных бедствий, о скитальце-солдате, которому роет могилу верный конь, о далеких странах, где пришлось побывать полякам-изгнанникам, о восстаниях и походах. И кончается вся эта музыкальная повесть триумфальными звуками польского национального гимна: «Еще Польска не згинела»...

К сожалению, ни цитированный (весьма добросовестный) перевод, ни все другие русские переводы не дают представления о потрясающей музыкальности этого эпизода, в котором как бы стираются границы между словом, живописью и музыкой. Да вряд ли это и под силу какому бы то ни было переводчику.

5

Он имел дивный дар песен. Но не только этим он велик, не только за это его любят трепетной любовью в Польше, не только за это преклоняются перед ним читатели всего мира.

А. В. Луначарский сказал как-то, что в Мицкевиче сочетаются великий поэт с революционером. Он считал такое сочетание редким явлением. Мне думается, что в широком смысле слова это не совсем так. Все истинно великие поэты классового общества всегда были в оппозиции против правящего класса и правительства, для чего многим из них пришлось подняться выше своего класса и полететь

* Речь идет о польской Конституции 3 мая 1791 года.

мыслью дальше своего времени (Пушкин, Байрон). Но если под словом *революционер* понимать активного борца, деятельного участника освободительного движения, то утверждение Луначарского можно, пожалуй, принять.

Адам Мицкевич был подлинным революционером в этом смысле слова, борцом за национальное и социальное освобождение польского народа и всех угнетенных народов мира.

Слово Мицкевича и дело Мицкевича... Слово его было, конечно, действенным, оно звало к борьбе за народное счастье — и во II части «Дзядов», где души замученных крестьян в виде хищных птиц терзают душу безжалостного помещика, и в знаменитой у нас по переводу Пушкина балладе «Воевода» («Czaty»), где казак Наум вместо исполнения приказа старого воеводы — застрелить его возлюбленную, которую он застал в объятьях любимого ею человека, — стреляет прямо в лоб воеводе, и в пламенных импровизациях Конрада, и в трагических сценах III части «Дзядов»...

Это был поэт-революционер. Но это был и революционер в точном смысле слова. Мицкевич-эмигрант (он выехал из России в 1829 году) в Париже, в Риме, в Швейцарии продолжает неустанную общественно-политическую и публицистическую деятельность. Мы видим его как организатора польских повстанческих легионов в Италии, имевших целью свержение австрийского владычества, — Мицкевич называл их «армией республиканской и социалистической», — как редактора и деятельнейшего сотрудника газеты на французском языке «Трибуна народов», само название которой говорит за себя, как лектора по истории славянских литератур (в Париже), где он проводит любимую им идею единения славян. В бурном 1848 году мы слышим его гневный голос, обращенный к «самому» папе Пию IX: «Знай, что дух божий витает ныне в блузах парижского народа». Под парижским народом Мицкевич подразумевал, конечно, революционных рабочих. Сама смерть застает его во время напряженной работы по организации повстанческих легионов против царского правительства, в далеком Константинополе...

В эти дни, когда новая, демократическая Польша низко склоняется перед памятью величайшего певца своего народа, мы, советские люди, не можем не присоединить свои голоса к братским голосам польским. Как свободные свободным и как равные равным говорим мы братьям полякам: да славится память благородного борца за народ и за народы, величайшего поэта Польши и одного из величайших и благороднейших поэтов мира!

Семен Кирсанов

Читая Мицкевича

И этот портрет юноши в косматой бурке, и эта гравюра, с которой на вас устремлен взор, говорящий уже о многих испытаниях жизни, и этот профиль, вычеканенный на памятной бронзе, — все это облик Адама Мицкевича.

Но ничья кисть, ничье перо, ничей резец не смогли бы с такой достоверностью и отчетливостью выразить облик великого поэта, как его поэзия, дающая нам полное чувство его реального существования как человека — и в свое время, и среди нас, и в будущем.

Удивительный поэт, удивительная поэзия — с нею человечество стало богаче; и оно гордится драгоценным вкладом польского народа в сокровищницу лучшего, что создано людьми.

На какой бы странице Мицкевича я ни остановился — во мне всегда возникает ощущение чуда, сотворенного из слов, чуда мысли и звучания, чуда образа и чувства. В каждой строфе Мицкевича лепится его облик — не абстрактного поэта, а именно *его*, со всеми чертами индивидуальной неповторимости и общим итогом — близостью к нашим мыслям и взглядам, к передовым устремлениям сегодняшнего мира.

С сожалением должен сказать, что я впервые узнавал Мицкевича лет тридцать тому назад от педагогов, для которых поэзия существовала лишь как иллюстрация к истории, или как пример к грамматике. Переводчики Мицкевича скорее придавали ему свои профессиональные навыки, нежели передавали его особенности. Только переводы, выполненные Пушкиным и Лермонтовым, сияли равнозначным подлиннику поэтическим светом. Поэтому долгое время в моей памяти, например, «Пан Тадеуш» рисовался исторической поэмой, повествовательными картинами жизни польского дворянства, а «Конрад Валленрод» вспоминался как далекая и суровая романтика, ничем, казалось мне, не связанная с запросами нашей современности.

Вновь читая Мицкевича, я испытал все чувства второго и третьего чтения, когда вместе с понятыми образами великого поэта видишь все ошибки своего восприя-

тия. Оказалось, что самые бытовые, самые прикрепленные к той эпохе обстоятельства поэмы «Пан Тадеуш» наполнены поэтическим смыслом, который не может ни состариться, ни отмереть. И читая, кричишь сам себе: — Да понял ли ты, наконец, что это значит! И это пробуждение Тадеуша, это отверстие в ставнях, вырезанное в форме сердца, эти глядящие сквозь сердце юные глаза, эти светлые локоны, это исчезновение и этот поиск — все это относится и к сегодняшней любви и живет как современнейший и не старящийся ее образ. Ушли в прошлое и кунтуши и перья на шапках, и родовые замки, и многое другое, но все человеческое, выраженное поэзией, все верное, все достойное существовать и в обновленном обществе входит в наше настоящее. Очень много говорили раньше о «Конраде Валленроде», концентрируя внимание на проблеме его маски, его борьбы с врагом при помощи «измены». Меня же глубоко потрясла другая сторона этой проблемы: тема страдания, муки, с которой Альф носит маску магистра немецкого Ордена. Это мучительнейшая пытка, пытка двойная, так как она еще и подчеркнута самозаточением Альдоны — его любимой. Отсюда мысль — о счастье быть самим собой, открыто быть со своим народом, бороться за него с поднятым забралом. При всей условности романтического фона этой поэмы Мицкевич, вливая в нее человечнейшие подробности, добивается поразительной естественности, близкой к нам, далеким от романтики средневековья. Строфы, где Альдона отказывается выйти из добровольной темницы, чтобы сохранить в памяти Альфа свой прежний юный образ, — эти строфы и сейчас вызывают волнение, какое способен вызвать самый реалистичный рассказ. Я читал это место вслух и видел слезы на глазах слушавших.

Читая Мицкевича, чувствуешь себя в состоянии непрерывного восхождения, когда глазу открываются все новые и новые пространства, новые скалы, обрывы и вершины. Страница за страницей, как пилигрим из «Крымских сонетов», слушающий рассказ Мирзы о Чатырдаге, восклицаешь удивленное «А-а!!» с двумя восклицательными знаками. Об одном только стихотворении (пусть это будет сонет «Плавание») можно много и долго говорить, ибо каждая деталь здесь неожиданность. Поэтическая идея передать движение корабля чувством, будто сам его движешь — не имеет себе равных по фантастической смелости и в то же время точности. В поэзию Мицкевича входишь, как в комнату, состоящую из тысяч зеркал, где взаимное отражение бесконечно. Так же бесконечно и развитие вызываемых поэзией Мицкевича образов. Каждый созданный им образ перспективен, о нем можно думать, и этот образ будет вызывать бесконечное развитие воображения.

Исследователи поэтического творчества еще мало обращались к Мицкевичу за решением важнейших и нерешенных вопросов поэтики. Конечно, поэзия Мицкевича — не экспериментальная лаборатория, а собрание открытий, неотъемлемо принадлежащих самому поэту. Но и мы можем найти здесь для себя важные примеры новаторского отношения к поэтической форме.

Когда-то Маяковский говорил нам: «Дело не в том, чтобы придумывать готовые рамочки для всякой темы. Это дело неинтересное для поэта. Для нас форма — это каждый раз изобретение. Изобретение формы — специально вот для этого содержания...» Я думаю, что Маяковский прав и не только в отношении своей работы. Это верно для всякой подлинной поэзии, для новаторства во все времена.

Для каждого произведения Мицкевичем открыта форма, которая будто существует только для этого произведения. Таков «Конрад Валленрод», таковы «Дзяды», таков «Пан Тадеуш», — и в этом причина их несхожести. Никакую из этих поэм нельзя было бы задумать иначе, написать иначе, построить иначе. А такие построения, как композиция «Дзядов», предвосхитили самые современные наши достижения в области жанра поэмы. Здесь Мицкевич ничуть не в прошлом.

В наше время поэзия почти во всем мире получила невиданное распространение и влияние. Поэзия оказалась нужна миллионам людей как несравненный инструмент познания и воздействия.

Человек обращается к поэту за выражением чувств и состояний, которые сам не в силах выразить. Читатель часто понимает творения поэта как выражение своих собственных невыраженных чувств. Он ищет в поэте самого себя. Поэтому поэзия становится столь важной людям, которым мало только существовать, которые жаждут участия в процессе переделки общественного бытия.

Еще недавно (а кое-где и по сей день) национальный поэт нужен был буржуазному государству для национального обособления от других народов. Контур его портрета служил как бы очертаниями национальной духовной границы. Отсюда в старом обществе и характер школьного преподавания поэзии, так ограничившего представления многих людей о творчестве и мировоззрении их поэтов.

В советской стране сложился новый тип поэта, говорящего от имени своего народа всему человечеству. Маяковский был ярчайшим примером этого явления. Выражение «полпред стиха» является прекрасной формулировкой, отражающей глубокую связь поэта со своим народом, со своей страной и его обращенность ко всем трудящимся людям.

Но часто мы совершали ошибку, думая, что такого характера не найти в поэтах прошлого. Мы плохо искали в них черты будущего. А они были и есть.

Сейчас всюду и везде люди обращаются к великим поэтам прошлого, ища в них

гуманистические тенденции, чувства и передовые идеи, близкие современному человеку, хотя и не совершенные в тогдашнем их выражении. Для таких поэтов мы находим их место и дело в нашей современности.

Поэт — не скупой рыцарь. Создавая драгоценности поэзии, он делает собственником их каждого, кто пожелает. Он открыт всем, кто желает его видеть неискаженным зрением.

Современные люди, которым необходима поэзия, с благодарностью находят в поэте, жившем сто (а то и тысячу) лет назад, человека, близкого им, говорящего живым голосом о счастье и о боли, о встрече и о разлуке, о желанном мире и о ненавистной войне, о лучшем будущем человечества...

Если так смотреть на поэзию, национальные особенности поэта становятся уже не границами обособленности, а границами близости. Один народ видит через поэта в другом народе то, что их роднит, сближает и обогащает взаимно. Так Польша через Мицкевича обогащает всех нас в любой из частей света.

Лицо Адама Мицкевича озарено факелами двух революций — великой французской и 1848 года. Но это не отраженный свет. Поэзия Мицкевича сама источает пламень возмущения против угнетателей. Польский народ, стиснутый и оскорбленный самодержавием, выделял из своей среды революционеров, готовых встать на баррикады везде, где народ ищет свободы. Революционная ненависть Мицкевича к царскому самодержавию близка и нам, русским.

Эта ненависть к угнетателям для нас ценна еще и тем, что Мицкевич никогда не переносил ее на русский народ. Великий поэт отделял самодержавие от народа, от его свободолюбивой интеллигенции — от Пушкина и Рылеева. И мы можем вспомнить не только встречу двух юношей под одним плащом (то есть Мицкевича и Пушкина), ставшую символом дружбы и братства двух народов. Мы можем вспомнить и образ русского офицера Никиты Рыкова, сочувствующего идеям польского освобождения, в «Пане Тадеуше». О братстве, связующем оба народа, говорят и многие строки в «Дзядах» и особенно — «Друзьям в России».

Эти строки останутся классическим примером отношения передовых людей Польши к русской революции.

Гений Мицкевича проявился в том, что, изображая явления, ограниченные во времени, он влагал в них идеи и чувства, над которыми время не властно.

Читая Мицкевича в новых, более удачных, чем прежние, переводах, сличая их с подлинником и сам пытаясь перевести на русский язык вещи, которые мне хотелось бы глубже понять, я, может быть, совершил противоположную прежней ошибку — ошибку безграничного восхищения поэтом, в мировоззрении которого, конечно, есть и немало уже отжившего и которому свойственны были и противоречивость, подчас и заблуждения, в оценке тогдашней действительности.

Но мы умеем счищать муть догматизма с ясных стекол знания.

Если смотреть догматически, у Мицкевича выступают вперед и его религиозно-мистические настроения, и несовершенство его общественных идеалов.

Если смотреть ясными, незамутненными догматизмом глазами, у Мицкевича выступают вперед его глубоко реалистическое образное понимание природы и человека и гуманистический характер его воззрений, прогрессивность которых близка нам и сегодня.

Материалисты, мы не отвергаем волшебных сказок и мифов. Не надо рассматривать их только как часть религии. Надо помнить о человеческой фантазии. Надо понять, что бог моря — как только получил трезубец и стал героем мифа — сразу перешел из религии в поэзию. Так порожденные религией создания человеческого воображения часто остаются как поэзия.

При новом чтении Мицкевича мне не хотелось думать о том, что было у него заблуждением или несовершенством. Я думал о совершенстве поэзии, которая теперь будет шагать из века в век, я думал о поэте, которому предстоит быть любимым все больше и больше, по мере того как все больше и теснее будет общность и близость народов.

История знает таких выдающихся людей, которым, чтоб возвышаться, необходимо иметь под собой низкую равнину, мелкую рябь других, приниженных их величием, жизней и дел. Не о таких «великих» с благодарностью думают люди.

Есть и другие вершины, вознесшиеся над горными хребтами народа. Величие Мицкевича в том, что с ним люди себя чувствуют выше, с ним видят дальше. Поэтам новой Польши есть на кого равняться — они на горном хребте, где возвышаются вершины творчества. Понимание этого творчества возвышает каждого человека, где бы он ни жил.

Спасибо Польше, создавшей Мицкевича!

К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МИХАИЛА САДОВЯНУ

Классик румынской литературы

Двадцатого ноября исполняется семьдесят пять лет со дня рождения Михаила Садовяну. Живое воплощение передовых традиций румынской культуры, Михаил Садовяну вошел в историю литературы XX века как крупнейший художник слова. Он принадлежит к той плеяде европейских писателей, чье творчество, начавшееся еще в конце 90-х годов прошлого века, развивалось под непосредственным воздействием великих художников-реалистов XIX века, в особенности традиций русских классиков. Близость к народному творчеству, преемственная связь с большими гуманистическими идеалами демократизма, патриотизма и народности, унаследованными от его великих предшественников, помогли Михаилу Садовяну развивать реалистическое направление в румынской литературе в тяжелейших условиях кризиса буржуазной культуры, явно наметившегося и в Румынии на рубеже XIX и XX веков. Националистическим реакционно-романтическим литературным течениям, приукрашавшим быт и нравы «селянина», равно как и космополитическим школам формализма, уводившим литературу от национальной тематики, Михаил Садовяну с самого начала своего творческого пути противопоставил литературу, связанную с жизнью народа и одухотворенную демократическими идеями. В его многочисленных рассказах, повестях и романах изображена румынская природа, от поймы Дуная до вершин Карпатских гор; в них оживает многовековая борьба румынского народа за социальное и национальное освобождение, страдают, радуются и борются люди доброй воли, обладающие высоким чувством человеческого достоинства.

Крупнейший знаток румынского языка, устной поэзии, древней письменности и народной повествовательной литературы, Михаил Садовяну воплотил в прекрасных образах людей из народа его стремление к радостной и вольной жизни. Внимание писателя к жизни, мышлению, чувствам простых людей, его многократное обращение к историческому прошлому своего народа было терпеливым и настойчивым поиском и утверждением лучших черт национального характера, свидетельствовавших о великих возможностях, таившихся в народе. Сколь близкими были Михаилу Садовяну чаяния и устремления народа, показали события последних лет. Всей своей деятельностью — общественной и литературной — Михаил Садовяну участвует в строительстве народно-демократической Румынии, румынской социалистической культуры, выступает за мир и дружбу между народами.

Народно-демократический строй не только принес писателю всенародное признание и любовь, он открыл ему новую историческую перспективу, подсказал новые темы, дал новое видение жизни. Душевной молодостью веет от произведений, созданных Михаилом Садовяну после освобождения страны и свержения эксплуататорского строя, от его поэтических образов детей и юношей, как бы вырастающих из румынских народных сказок и вместе с тем реальных своим ощущением новой жизни, жаждой знаний, мечтами о великих свершениях.

За пятьдесят с лишним лет своей жизни в литературе Михаил Садовяну дал румынскому читателю множество рассказов, повестей и романов. Особое место в его литературном творчестве занимают художественная публицистика и литературно-критические очерки. Родной литературе, ее классическому наследию и современным задачам, ее связям с мировой литературой посвящена книга «Образы прошлого и настоящего» Михаила Садовяну, изданная в 1954 году. Из этой книги, в которой писатель собрал речи, очерки и статьи, относящиеся к разным периодам, но проникнутые единой мыслью о народности литературы, взята речь о народном творчестве, публикуемая в этом номере журнала. Она была произнесена Михаилом Садовяну в 1923 году, при вступлении в румынскую Академию наук, в условиях засилия формалистических литературных течений, уведших с пути реалистического искусства немало румынских писателей, в особенности из молодых. Речь М. Садовяну была полемически направлена и против консервативных литературных тенденций, искажавших румынское народное творчество привнесением в него верноподданнических и религиозно-мистических идей. Создать правдивое искусство слова, корнями своими уходящее в народ, близкое и понятное народу, — таков пафос речи Михаила Садовяну о народном творчестве. Таков пафос всей его литературной жизни.

М. Садовяну

НАРОДНАЯ ПОЭЗИЯ

Из всех дел человеческих, суетных и преходящих, одно только искусство пробивается сквозь туман веков. Безмерные притязания, победоносные войны, обширные империи — все они канули словно в темную могилу. А душа народа, воплощенная в произведениях искусства, голос его сердца и после того, как утихает суета, еще долго живет, как

Свет звезды, что потухла давно...

От всего, что было у предков, от всего, что есть у нас, через тысячу лет, может быть, ничего не останется, кроме какой-нибудь совершенной линии и нежного сочетания звуков, которые сохранят наше имя, если на них будет печать нашей души. Поэтому художник, обращенный к новому свету зари, должен прислушиваться к прошлому, и к народу.

К народу — особенно в нашей стране.

Первые значительные явления литературы были созданы у нас в начале прошлого столетия теми писателями, которые, вняв словам Гердера, стали вслушиваться в голос народа, до того времени неведомый и неоцененный. Александри, Руссо, Негруцци * — и прежде всего Александри — начинают искать в горах и долинах нашей родины, в ее скромных деревушках, песни нашего племени, эти отзвуки малых радостей и бесконечных горестей прошлого.

Наша древнейшая история — до Негру-Водэ и Богдана ** — почти не известна. Единственный источник, в какой-то мере проливающий на нее свет,— это народная песня, сохранившаяся с незапамятных времен. Из песни видно, что наши предки жили в бесконечно суровых сумерках, полных страданий. Не многие народы подвергались таким жестоким испытаниям, как наш народ. Теперь это стало общеизвестным и уже как будто не трогает нас. Но когда мы внемлем печальному голосу прошлого и слушаем старинную песню, мы постигаем то, чего не выразишь словами. Занесенный судьбой на границу великой империи, предоставленный своим собственным силам, наш народ тысячу, больше тысячи лет стоял на пути азиатских ураганов. Все дикие и варварские племена Востока, вожделевшие к богатствам древнего мира и неудержимо двигавшиеся на запад, натыкались на Дунай и Карпаты, то есть на наш народ. Все голодные орды грабили эту землю и жгли селения наших горемычных предков.

В те злосчастные времена единственным достоянием наших предков были язык и вера. Язык воплощал страдания в стихах и песнях; вера побуждала их строить храмы на земле, окропленной кровью и усеянной могилами. Лишь храмы они отваживались строить из камня — во славу своей вечной веры. Что до людских жилищ, то они держались только от одного до другого порыва урагана. А человек? По словам псалмопевца,

Дни его, как трава,
Он цветет, как полевой цветок;
Подует ветер — и нет уж его,
Даже следа его не найдешь...

Горемычные наши предки страдали, боролись и умирали. А народные баллады и дойны поднимались из их душ, как цветы на могиле.

Разумеется, я никоим образом не предполагаю здесь вдаваться в подробности и анализировать народную поэзию. Вы все ее знаете, и этого довольно. Я только поделюсь кое-какими впечатлениями. Совершенно очевидно, что в свои художественные творения наш народ вложил не только свои горести и радости, но и душевные качества. В силу этого наша народная поэзия имеет свои особенности, отличающие ее от поэзии других народов,— и этого достаточно для того, чтобы из нее могла родиться литература оригинальная и самобытная. Впрочем, исследователей интересует и всегда будет интересовать только та литература, которая отражает наряду с общечеловеческими специфические национальные черты. Каж-

---

* Василе Александри (1821—1890), Алеку Руссо (1819—1859), Костаке Негруцци (1808—1868) — классики молдавской и румынской литературы.

** Негру-Водэ — легендарная личность, с которой народная традиция связывает основание Валахии. Богдан — первый молдавский господарь (1359—1365).

дая нация должна привнести свою ноту в общую гармонию. В конце концов мы должны исходить из чего-то.

Некоторые пытались взять за исходную точку манерность и подражание чужеземным образцам. Но самобытные ценные произведения удалось создать лишь тем, кто исходил из основы основ нашей нации — народа и его языка.

Острая и чуть-чуть скептическая мысль, которую мы найдем в пословице, красочное, пластическое выражение, смена улыбки и печали, сама душа народа, изменчивая, как весна в наших краях,— все это уже есть у первого нашего художника-повествователя Иоана Некульче *. Он, правда, не был таким великим книжником, как летописец Костин ** и его сын, и говорил, как подобало толковому рэзешу ***. Злоключения бедной Молдавии Некульче вписал, как он сам выразился, в свое сердце. Наряду с простотой и доступностью языка его хроника — это сокровища прекрасного искусства.

«Летопись» Некульче — моя настольная книга, и всякий раз, когда я раскрываю ее, душа моя испытывает редчайшее наслаждение.

Я прошу вас припомнить самые первые поэтические ценности нашей литературы. «Дойны» и «Слезинки» Александри — это явные отзвуки народной поэзии. Если пройтись по всем произведениям этого великого барда из Мирчешть ****, нельзя не заметить, что те из них, где чувствуются отзвуки чужеземной литературы, уступают по красоте первым чистым аккордам его души.

Александри первым понял и оценил красоту нашей народной поэзии. Нашему народу не довелось изведать интенсивную жизнь и культуру; но в его душе еще сиял отсвет другой жизни и древней культуры. За пастьбой на равнинах и в долинах, под плеск ручьев и шум родного леса, среди бесконечно изменчивой природы, в тяжелые времена народ страстно ждал радуги мира; и в зимние бураны со слезами и с улыбкой он томился по весенним дням.

В душе этих чабанов, смотревших на зори глазом поэта и напевавших песни, было нечто, отличавшее их от варварских племен,— любовь к искусству и какая-то особая тонкость.

В своей поэзии, полной контрастов, эти древние безымянные поэты то пели о страданиях в дойне, то с удивительной тонкостью чувств прославляли любовь, то подсмеивались в своих частушках, а то углублялись в неведомые дали в своих балладах.

У кого не вызывали улыбки задорные стихи, которые поют парни в лад танцу! Многие из них остаются за пределами искусства — ведь первый встречный не может быть хранителем сокровищ народного творчества, не всякий румын рожден поэтом; нас же интересует только искусство. Но то, что устоялось, что имеет художественную ценность,— достойно быть представленным в любой антологии. Вот, например, эпиграмма на не слишком усердных девушек:

Чудеса же есть, ребята:
В доме том живут девчата,
И колодец возле хаты, —
Дохнет с жажды пес лохматый!

А сколько других, столь же острых!

Вот несколько любовных вздохов, чистых, как блеск источника у лесной опушки:

Краса моя, если я умру,
Приди на мою могилу,
Облокотись на крест
И скажи мне нежное слово.

* * *

На дворе постель твоя —
Стану летним ветром я...

* * *

Наша мать идет, весна,
Сдует изморозь с окна,
Снег с высокого холма.

* * *

В карты загляни скорее,
Лес зачем, скажи, желтеет?
Человек зачем стареет?..

Из каких глубин страстных желаний поднялись эти отзвуки нежной поэзии! Веками, из поколения в поколение от этих песен трепетали сердца и затуманивались слезами глаза.

Что же я могу еще сказать о дойне, в плаче которой проплывает мгла веков?

Она находит отклик в сердцах всех тех, кто может оглянуться назад, на погост горестного прошлого.

От вьюг прошлого долетели к нам, перекликаясь, и народные баллады — синие птицы фантазии. Некоторые из этих баллад полны выразительной силы, как, например, баллада о Корбе *, о которой так прекрасно говорил незабываемый Делавранча **. Другие обладают чудесным свойством воссоздавать прошлое; они переносят нас в романтические дали, например, когда речь идет о таком, как

---

* Иоан Некульче — молдавский летописец (1672—1745).

** Мирон Костин — молдавский летописец (1633—1691).

*** Рэзеш — юридически свободный крестьянин в старой Молдавии.

**** Имеется в виду Александри, значительную часть своей жизни проведший в имении отца в селе Мирчешть.

* Одна из наиболее популярных гайдуцких баллад.

** Барбу Штефэнеску Делавранча (1858—1918) — румынский писатель и драматург.

Тома Алимош
Гайдук из Цара де Жос,
Он ростом высок,
Разумом велик
И храбрец, каких не бывало!

Но из всего наследия прошлого одно произведение настолько выделяется своим тонким искусством и глубокими, возвышенными чувствами, что мы вправе спросить себя, есть ли что-либо подобное в поэтическом творчестве других народов, могла ли когда-либо литература в ее бесконечных вариациях создать столь гармоничную и художественную поэму? Речь идет о чудесной народной балладе, опубликованной в прошлом веке Василе Александри под названием «Миорица».

Вспомните эти простые строки. Волушайтесь, как нежно струятся они в осеннем тумане, на склоне горы, под высоким небом. Певец соединяет в них речитатив с ритурнелью свирели или с мягкостью волынки и с трепетом слезы.

Я позволю себе напомнить вам это безмятежное начало, рассказывающее, как стада спускаются в долину:

Где склон горы покат,
У входа в райский сад...

Это — вариант Александри. А вот мягкий и мелодичный, как звук пастушьего рога, зачин из другого варианта, менее известного:

Слышно, слышно
В горах далеких
Шум, шумок —
Звук пастушьих рогов
Трех пастухов.
С криком, криком,
С шумом великим
Гонят овец
Через зеленый лес...

Я просил бы вас также вспомнить ту несравненную аллегорию, где смерть, враг человека, облачена в одежды улыбающейся невесты; затем драматическое появление матери, которая расспрашивает о своем сыне...

Здесь стих становится резким, отрывистым, торопливым; содержание его так полно гармонирует с формой, что кажется, будто имеешь дело с произведением великого мастера звуков и рифм. А ощущения молдавского чабана перед лицом природы, которая пронизывает его всего, в которой он утопает, преисполненный любви? А эта покорность, такая трогательная и такая характерная для народа! Для анонимного поэта смерть — это возвращение в прах, из которого он и вышел, смерть — это рок, который он принимает стойко, с умиротворенной и спокойной душой.

По всему своему складу эта единственная в своем роде баллада столь художественна, полна столь высокого чувства по отношению к вечной природе, что я считаю ее самым благородным поэтическим творением нашей нации.

Может быть, красота «Миорицы» побудила великого поэта Александри искать первые источники вдохновения в поэзии народа. И он, и немногие художники слова того поколения — Негруцци, Руссо, Когэлничану * — поняли еще столетие назад, что естественную основу нашей литературы надо искать в народе. Эту традицию продолжил и Эминеску. Его тонкое искусство своими корнями уходит в души великих и простых народных рапсодов. Прямо из народа вышел и Крянгэ, неподражаемый Крянгэ, живой, остроумный, трезвый, улыбающийся в страданиях, простой с виду и вместе с тем сложный, как народ. Крянгэ — не «жалкий народный писатель», как говорили некоторые; Крянгэ — это воплощение мастерства и дарования народа.

От Иоана Некульче до Крянгэ прошло много времени — около двух веков. Но и в том и в другом чувствуется вечная душа народа. У обоих мы находим характерные черты нашей нации. Оба они расцвели в этих краях и извлекли на свет древние сокровища. Они принадлежали к той семье редких, удивительных людей, которые сходят время от времени с общих дорог и идут себе, напевая и устремив глаза к небу. Некогда, как и они, какой-нибудь неученый пастух поднимался на крыльях мыслей и мечтаний, скромно воспевая красоту вечных перемен и печаль короткой, преходящей жизни. Вот мой литературный пантеон, простой и безыскусный, без прикрас, как природа, но величавый, как она. Чувствуя свою связь с народом и с его прошлым, признавая себя учеником этих великих предшественников, я посвящаю им этот торжественный миг, когда столь избранное собрание приветствует их в моих скромных трудах.

О песнь народа! Ты ковчег завета
Над прошлым и грядущим поколеньем!
Ты — меч народа из огня и света!
Ковер, расшитый дум его стремленьем —

говорил некогда великий польский поэт **.

Среди страданий и бурь нашего туманного прошлого дойна и народная баллада были источниками жизни и энергии. Пока наш страдающий народ пел, он доказывал, что он жив, что он победит. В те дни он готовил сегодняшний день и будущее.

К этим волшебным источникам живой воды должны припадать все те, кто поет и кто признает свою кровную связь с народом и с родной землей.

---

* Михаил Когэлничану (1817—1891) — выдающийся деятель румынской культуры, публицист, историк и литератор.

** А. Мицкевич, Конрад Валленрод, перевод Н. Асеева.

Н. Николаева

«Чтобы не было ни лживых, ни немых книг»

(О формировании эстетических взглядов Юлиуса Фучика)

Когда мы пытаемся оценить значение и постичь индивидуальное своеобразие того или иного писателя, мы прежде всего задумываемся над тем, какой приговор произносит он над жизнью.

Когда же мы определяем значение и своеобразие того или иного критика, нас прежде всего интересует, с какими критериями подходит он к оценке литературы и писателей, что ищет он в произведениях искусства и чего от них требует.

Юлиус Фучик хорошо известен в нашей стране как писатель и общественный деятель и мало как критик.

А в то же время Юлиус Фучик начал свою литературную деятельность именно как критик и писал критические статьи в течение всей своей жизни. И главное, Фучик был очень интересным критиком, сыгравшим большую роль в развитии чехословацкой литературы. Он обладал трезвым умом и страстным, полным любви к людям сердцем. Поэтому мышление его было творческим, чуждым равнодушия и лени, чуждым страха и неуверенности, скепсиса и рутины. Поэтому и критерии, которыми он руководствовался в своей литературно-критической деятельности, были лишены какого бы то ни было догматизма. Эти критерии создавались в результате борьбы, активной и повседневной борьбы за подлинное искусство, помогающее людям жить.

* * *

В ответе на анкету «Как я стал критиком», организованную в 1938 г., Фучик так говорил о начале своей литературной деятельности:

«Я рос во время войны. Для молодых это имело особенное значение. Кому в начале войны было двенадцать лет, тот видел события в конце ее, хотя еще и детскими глазами, но воспринимал их уже с опытом двадцатилетнего. Поэтому я должен был видеть, что мир, в котором люди убивают друг друга, неправильно устроен. Я начал его, как это говорится, критиковать. И книги вместе с театром были для меня большой частью мира. Я искал в них ответы и познал, что есть книги, которые говорят, есть такие, которые лгут, и есть такие, которые вообще немы.

Я полагал, что об этом нужно говорить, чтобы не было ни лживых, ни немых книг. Я считал, что это мое дело в борьбе за лучшую жизнь. Поэтому я начал писать о книгах и о театре».

Юлиус Фучик вступает в литературу в 1922 году.

Под влиянием Великой Октябрьской социалистической революции в России и революционного движения чехословацкого пролетариата произошло решительное размежевание в чешской культуре, яснее определились политические позиции художников и их творческое и гражданское лицо.

Многие чехословацкие деятели культуры — прежде всего Зденек Неедлы, Станислав Костка Нейман, Иван Ольбрахт, Мария Майерова, Ярослав Гашек, Иржи Волькер — горячо приветствовали Великую Октябрьскую социалистическую революцию. Они приняли непосредственное участие в революционном рабочем движении. Они раскрывали трудящимся правду о советской России, разоблачали антинародный характер Чехословацкой буржуазной республики.

Октябрьская революция укрепила прогрессивные тенденции и в творчестве таких буржуазно-демократических писателей и критиков, как К. Томан, Ф. Кс. Шальда, А. М. Тильшова и др., которые хотя и не пришли к коммунистической партии и марксизму, однако твердо стояли на демократических позициях.

С другой стороны, некоторые буржуазно-демократические писатели, снискавшие себе некогда популярность в народе своей борьбой за национальную независимость страны, теперь, испугавшись размаха рабочего движения, перешли в лагерь врагов рабочего класса и Советского Союза. Так, писатели В. Дык, Р. Медек, И. Махар, Я. Гильберт стали выразителями интересов

чешской буржуазии, отошли от народа, что и привело их творчество уже в тридцатые годы к полному упадку.

Общественная жизнь Чехословакии начала двадцатых годов породила также ряд писателей-индивидуалистов, способных только на абстрактно-романтический протест, писателей — созерцателей и скептиков, недовольных существующей действительностью, но считавших своим долгом оправдывать ее или просто органически неспособных к действию.

Говоря о начале двадцатых годов, необходимо подчеркнуть, что особенную силу, действенность и значение приобретает в эти годы новое, пролетарское направление в литературе, как направление политически целеустремленное, высокоидейное и реалистическое.

Первая известная исследователям статья Фучика написана 18 февраля 1922 года и посвящена сборнику стихов Ярослава Сейферта «Город в слезах».

Стихи Сейферта звали активно любить людей, давать им радость. Фучика эти стихи привлекали своей человечностью, любовью к простым людям, своими антимилитаристскими настроениями. Если еще учесть, что Ярослав Сейферт с восхищением говорил о Советской России, провозглашал в стихах, что «там, на Востоке, очи видят спасение» (и это в то время, как вся буржуазная печать изо дня в день клеветала на страну Советов), отношение Фучика к поэзии Сейферта станет еще более понятным.

Фучик видит в сборнике Сейферта «выражение того, чем живут люди из народа». Поэтому он заканчивает свою рецензию словами, характеризующими поэта: «Он с теми, кто страдает! С теми, кто падет за общую мечту! С теми, кто победит!»

Молодой критик еще не замечает многих недостатков сборника Сейферта: пессимистического колорита некоторых его стихотворений, излишней религиозной символики образов, а порой и рационалистических ухищрений, чрезмерного накала чувства, доходящего иногда до аффектации. Не замечает Фучик и того, что Сейферт недооценивает достижений цивилизации, противопоставляя городу идеализированную деревню.

Фучик приветствует в стихах Сейферта все, что созвучно его собственному настроению, все, что воспевает революцию, все, что будит в сердце читателя любовь к людям и ненависть к войне. Его восприятие совершенно непосредственное, доверчивое, читательское.

Поэтому для него, видимо, было некоторой неожиданностью, что рецензируемый им сборник Я. Сейферта «Город в слезах» вызвал острую и резкую дискуссию в печати.

Атаку на сборник Сейферта, в течение короткого времени снискавший большую популярность и успех у молодежи, повел в журнале «Люмир» Виктор Дык, обвинивший поэта в погоне за дешевым успехом, в фальши и лицемерии. Спекулируя на недостатках сборника, сгущая и утрируя их и даже просто-напросто клевеща на поэта, выступили Ф. В. Крейчи в газете «Право лиду» и А. Веселый в газете «Ческословенска република».

Эта дискуссия многому научила Фучика. Она изрядно поубавила восторги молодого критика, призвала его к большей строгости в оценках. Он понял, что захваливающие отзывы порою так же компрометируют общее дело, которому служат и поэт и критик, как и отзывы, несправедливо уничтожающие произведение.

Фучик увидел в стихах Сейферта то, чего не замечал раньше: романтическую позу и экзальтированность. Уже в следующей статье, по поводу двух стихотворных сборников А. М. Пиши «Днем и ночью» и «Непонятый святой», он уточняет свою оценку поэзии Сейферта.

Характерно, что Фучик никак не прощает «игры» с читателем, малейшего обмана читательского доверия. В этой рецензии Фучик осуждает и Сейферта и Пишу за позирование и за надуманность их стихов. Это один из первых критериев, с которым Фучик подходит к стихам,— он требует от поэтического произведения прежде всего сердечности и непосредственности. Он более всего критикует Пишу за то, что его стихи «являются плодом не творческой необходимости, а творческой *воли*... Это плоды напряженной мозговой деятельности и напряженной сосредоточенной воли... А в конце концов только *воли* для создания поэтического произведения недостаточно». В этих выводах слышится требование эмоциональности как одного из необходимых начал всякого поэтического творчества.

Но дальше упреков в рационалистичности стихов, в «необработанности материала и нагромождении фактов» Фучик не идет. Он не противопоставляет умозрительности и нарочитости (в чем справедливо чувствует препятствие против правды жизни и против специфики искусства) конкретную образность и жизненную достоверность произведения, гармонию между логическим осмыслением действительности и образным ее отражением.

Однако пристальное внимание Фучика к эмоциональной стороне художественного таланта дает все же положительные результаты в оценке отдельных художественных явлений. Так, критик, ознакомившись в 1922 году с первым сборником Витезслава Незвала «Мост», в котором были представлены еще в значительной степени абстрактные и условные стихи, чувствует, тем не менее, эмоциональную силу молодого поэта и сразу угадывает характерную черту его таланта — «здоровый народный дух».

Ратуя за сердечность, искренность и непосредственность в поэтическом творчестве, Фучик трезво отдает себе отчет, что достигается это лишь тогда, когда у поэта

есть внутренняя потребность высказать свои твердые убеждения. В его оценках сквозит уже понимание того, что чем глубже, чем тверже идейные убеждения художника, тем непосредственнее и эмоциональнее воздействует поэтическое творчество на читателя. Доказательством этому может служить уничтожающая рецензия, которой Фучик встречает сборник худосочных, болезненных и претенциозных стихов Зденека Калисты «Гладиаторы». Фучик осуждает Калисту прежде всего за его идейную скудость, мелочное самокопание, трусливое, бесполезное и бездеятельное неприятие жизни, которое прикрывается громкими словами о революции.

«Не дайте, товарищи,— пишет Фучик о Калисте,— обмануть себя просьбой его голубых глаз, красивых и детских. В них искренняя боязнь жизни. Глядит ими на вас мужчина, который не является мужчиной, «боец», который дезертировал, «гладиатор», который сбежал с арены».

Весьма примечательно в этой рецензии, что Фучик сразу уловил и фальшь «революционности» Калисты, фальшь, которая чувствуется за каждым его словом, и откровенно обывательское отношение Калисты к жизни.

В 1922 году Фучик в своих литературных статьях очень часто апеллирует к сердцу. Можно предполагать, что критерий «сердца» сложился у Фучика под влиянием молодого пролетарского поэта Иржи Волькера, а с другой стороны, отчасти и под влиянием критиков, которые в то время слыли прогрессивными. Здесь имеется прежде всего в виду критик и теоретик Карел Тейге *, претендовавший на роль вожака прогрессивного искусства Чехословакии, а также критики и теоретики «Литературной группы» в Брно. Карел Тейге писал о том, что «нелепческая душа горит мечтой о блаженном царстве сердца». Брненские экспрессионисты из «Литературной группы», проповедуя мелкобуржуазный «гуманизм», заявляли, что прежде всего необходима нравственная «революция человеческих сердец, конечной целью которой является великое космическое братство человечества».

У Волькера же обращения к «сердцу», которых немало в его первом сборнике стихов «Гость на порог», в принципе весьма существенно отличались и от проповедей Тейге, и от заклинаний «Литературной группы». Его требования сердечности в человеческих отношениях означали требования справедливого общественного порядка.

Статьи Фучика 1922—1923 годов дают интересный материал, позволяющий увидеть, как оттачиваются литературные критерии Фучика, как он все яснее ставит в прямую связь требование сердечности, непосредственности и «заразительности» искусства с требованием идейности и жизненной правдивости.

Именно в этом направлении ищет он ключ к подлинному искусству, т. е. искусству, которое раскрывало бы людям глаза на правду жизни, воспитывало бы их и учило борьбе за лучшее будущее.

* * *

Еще большее значение, чем дискуссия о «Городе в слезах» Сейферта, имела для формирования критических взглядов Фучика дискуссия, вызванная статьей Иржи Волькера «Пролетарское искусство».

Поэт Иржи Волькер выступил в тот период с рядом статей по вопросам эстетики, выражающих его взгляды на новое, пролетарское искусство, рождающееся в Чехословакии под влиянием Великой Октябрьской революции.

«Должно ли пролетарское искусство дать *оружие* рабочему, или же оно должно быть успокоительной повязкой на его ранах», является ли задачей искусства прежде всего вооружать знанием правды жизни, или оно призвано так или иначе уводить от жизни,— вот основная проблема, поставленная в этих статьях. Волькер дал в них конкретную программу нового пролетарского искусства, которая вызвала огромный общественный резонанс.

«Мы чувствуем и несправедливость и обреченность настоящего строя и верим в переустройство общества на лучших началах,— писал в своей статье Иржи Волькер.— Находя прочный и конкретный план этого переустройства в марксистском учении, мы смотрим на мир с точки зрения исторического материализма. Поэтому в нашем понимании новое искусство является искусством *классовым, пролетарским и коммунистическим*. О возможности его мы не хотим дискутировать. Оно для нас — вера и действительность. Сейчас речь идет о признаках и развитии его».

Иржи Волькер писал о том, что молодые художники хотят не только критиковать действительность, но и бороться за лучшее будущее, и поэтому *«основным признаком нового искусства является революционность»*. Он противопоставлял индивидуализму — коллективизм, тезису «искусство для искусства» — тезис партийности, безответственному «поэтическому» парению в облаках — задачу изменения действительности.

Иржи Волькер решительно заявлял, что пролетарское искусство может создаваться не только в государствах, где уже победил пролетариат, но и там, где за победу пролетарской революции еще идет борьба.

В связи с выступлением Волькера буржуазный журнал «Мост» организовал анкету «О будущем литературы». Отвечая на анкету, буржуазные писатели и критики В. Дык, А. Новак, М. Рутте выступили прежде всего против принципа идейности и партийности литературы. Арне Новак, противопоставляя искусство тенденциозности, писал, что Волькер и его сторонники «входят в царствие небесное искусства через

* Карел Тейге впоследствии открыто перешел в лагерь реакции.

маленькое игольное ушко классовой и политической партийности».

Играя на том, что искусство прежде всего должно быть искусством, буржуазные критики на разные лады пытались доказывать, что якобы тенденциозность чужда самой природе искусства.

Всецело поддерживая программу Волькера, Юлиус Фучик публикует в пльзенской «Правде» статью «Пролетарская поэзия». В ней Юлиус Фучик горячо высказывается в защиту общественных, воспитательных функций искусства: «Наша поэзия служит не для развлечения мещанина... Не ставит она своей целью также и «облегчить душу» поэта (о лозунге «чистого искусства» я вообще не говорю). Поэзия должна возникать из высшей общественной потребности».

Отстаивает он и принцип партийности, выдвинутый Волькером, и оптимизм как неотъемлемое качество классового пролетарского искусства. Говоря о поэтах, которые почувствовали в пролетариате «движущую силу всего человеческого мира», в этой же статье он касается и вопросов реализма (правда, не очень четко), выступает против натурализма и ставит перед литераторами требование «не приукрашивать жизнь».

Интересно, что статья Фучика «Пролетарская поэзия» не ограничивается только защитой теоретических положений Волькера. Молодой критик пытается также дать анализ творчества пролетарских поэтов.

Ценнейшим качеством поэзии Волькера Фучик считает непосредственность и простоту, к которой Волькер, по мнению Фучика, приходит, как к «итогу всех сложностей». Фучик склонен отождествлять простоту с непосредственностью, искренностью: «Добиться простоты, создать ее — это означает: стать «сердцем».

И в этой статье Фучик придерживается еще довольно абстрактного критерия «сердца». Однако он не только не противопоставляет его партийности (как это делали буржуазные критики), а, наоборот, страстно защищает тенденциозность искусства и само понятие «сердца» связывает с моральной и социальной ответственностью поэта, с кровной его заинтересованностью в общественном прогрессе.

Статью «Пролетарская поэзия» Фучик заканчивает призывом, обращенным к поэтам, чтобы их творчество было «действием», подразумевая под этим вмешательство в общественную жизнь.

Какие произведения чешской литературы, по мысли Юлиуса Фучика, соответствуют выдвигаемым им эстетическим требованиям?

Молодой Фучик видит знамение нового пролетарского искусства не только в сейфертовском «Городе в слезах», но и в пьесе И. Волькера «Высшая жертва». В связи с этой пьесой Фучик впервые обращается к проблеме героизма, которая навсегда остается в центре его внимания.

Одноактная пьеса «Высшая жертва» Иржи Волькера действительно более всего интересна своим философским содержанием, поставленной в ней проблемой смысла человеческой жизни и проблемой героизма.

Герой, в представлении Волькера,— это тот человек, который не отступается от своих прогрессивных убеждений, какое бы испытание ему ни выпало, какую бы жертву ни пришлось принести.

В пьесе всего четыре персонажа.

Соня — воплощение женственности. У нее голубые детские глаза и нежные белые руки. Ее призвание — любить, давать радость. И на ее долю, по замыслу автора, выпадает труднейшая миссия — ей предстоит своими руками во имя революционных целей убить полицейского. А ей невыносимо трудно убить кого бы то ни было.

Для Филиппа, возлюбленного Сони, самое тяжкое — преодолеть в себе ревность, отогнать навязчивые мысли о том, что Соня может потерять свою «неземную чистоту», когда будет завлекать их общего врага, которого ей предстоит убить.

Третье действующее лицо — Петр. Самое, пожалуй, страшное для него — разочароваться в человеческих достоинствах обожаемой женщины, силе ее и стойкости, преданности общему делу, а также подвергнуть серьезной опасности ее жизнь. Ибо он тоже любит Соню, любит сильно, бескорыстно, безнадежно и тайно.

Характеры действующих лиц Волькер явно хотел раскрыть в самый тяжелый для них час, в решающий момент жизни, когда каждый проявляет свое истинное лицо, свою суть. И в этом отношении он определенно преуспел.

Филипп сначала всячески молит подругу хранить свою чистоту, затем решительно настаивает на том, чтобы она отказалась от порученного ей задания, сбежала с ним за границу и занялась устройством «самого прекрасного мира» — их семейного счастья. И, наконец, даже не останавливается перед убийством друга — Петра.

Самыми существенными качествами Сони оказываются мужество, сила; но ей недостает классовой ненависти к врагу, такой ненависти, которая вошла бы в ее плоть и кровь. Она не отказывается выполнить порученную ей задачу — убить полицейского комиссара. Но при этом она боится бога и собственной совести, считает себя проклятой и богоотступницей. Прежде чем занести над ним нож, она... отдается ему.

Основным качеством Петра является верность делу. Он все свои помыслы подчиняет идее, в которую однажды и навсегда уверовал. Ради общего дела он подвергает опасности даже жизнь любимой женщины. Ради дела душит в сердце даже любовь. И признается в ней, лишь умирая.

По жанру пьесу можно определить как философскую драму; философские мысли автора о свободе, долге, осознанной необходимости подчиняют себе как развитие

действия, так и средства психологического раскрытия характеров и даже придают всей пьесе некоторую условно символическую окраску. Основная проблематика этой пьесы определяет (и не только определяет, но и исчерпывает) своеобразие характеров действующих лиц, и зритель, по существу, узнает о каждом из них лишь то, что имеет непосредственное отношение к главной проблеме: выполнит человек свой долг или в нем победит эгоизм; сумеет ли подчиниться высшей необходимости, или, говоря словами Волькера, способен ли он в случае необходимости на «высшую жертву»?

Но тот зритель, который заглянет в программу, узнает и еще одну, весьма немаловажную «деталь» — все трое героев пьесы названы «членами революционного комитета»: Петр — рабочий, Филипп — редактор журнала «Факел», профессия Сони не указана. И зритель будет предполагать, что найдет в пьесе образы *революционеров*. А молодой автор, по всей вероятности, и не понимал, что, называя революционерами своих героев, он должен был прежде всего показать, что́ отличает этих *новых* людей, борющихся со старым миром, от людей буржуазной формации; он, по всей вероятности, и не ставил перед собой задачи создать типические, соответствующие жизненной правде образы революционеров. Создание характеров, судя по всей направленности пьесы, определялось не потребностью раскрыть типические образы в их жизненных связях и наиболее существенных отношениях, а лишь стремлением дать иллюстрацию для доказательства определенного философского тезиса. Так же точно и выбор сюжетного конфликта — убийство полицейского — определился не под влиянием социальной правды, правды революционного движения, а был сделан *условно*, лишь для более яркого решения основной философской и этической проблемы пьесы — проблемы самопожертвования и героизма.

Что увидел в пьесе Фучик? За что назвал ее первым сигналом и даже первым проявлением *пролетарского* театрального искусства? Что он нашел в ней созвучным своим мыслям?

Во-первых, волькеровское утверждение пролетарского оптимизма, неистребимой веры в лучшее будущее, убеждение Волькера в необходимости за него бороться, требование действия.

Во-вторых, разоблачение мелкобуржуазных, обывательских представлений о счастье и смысле жизни. И, наконец, утверждение героического деяния, решительный отказ от мещанского, мелочного индивидуализма.

«Волькер приходит к новой драме. Прежде всего постановкой проблемы героизма», — пишет Юлиус Фучик. Пьеса Волькера явно задела самые сокровенные, самые тонкие струны его души.

Проходит четыре месяца, Фучик снова возвращается к драматургии Волькера и пишет в «Пролеткульте» статью о всех трех его пьесах: «Высшей жертве», «Могиле», «Больнице». Под углом зрения «долженствования» как осознанной общественной необходимости рассматривает Фучик не только «Высшую жертву», но и предыдущую пьесу Волькера «Могила». Все это его выступление пронизано пафосом безоговорочного утверждения героизма, борьбы, подчинения высшим, общечеловеческим принципам, и он выражает свое кредо так же, как и Волькер (в эпиграфе к одной из пьес) в словах «Es muss sein» («Это должно быть»).

Характерно, что Фучик теперь уже замечает некоторые существенные недостатки волькеровских пьес, в частности даже в решении проблемы героизма.

Так, он начинает чувствовать, что волькеровский мотив жертвенности в разрешении проблемы долга, героизма, осознанной необходимости является слабой стороной этого решения, начинает понимать, что жертвенность — не самая определяющая сторона героизма.

Фучик начинает также понимать, что никому из чешских драматургов, в том числе и Волькеру, пока еще не удалось создать образ нового человека.

Правда, придя к выводу, что действующие лица «Высшей жертвы» — это еще не новые люди, не новые герои, Фучик не протестует против того, чтобы автор называл их революционерами. Не считает он недопустимым и то, что сюжетный конфликт пьесы, где героями являются революционеры, строится на факте индивидуального террора (что, конечно, сразу же было подхвачено буржуазной критикой, которая обвинила Волькера в создании произведения, «воспитывающего убийц»).

Ошибкой и Волькера и Фучика было то, что они не доглядели, как может быть истолкована пьеса врагами революции.

Однако, несмотря на все эти просчеты, которые объясняются еще небольшим опытом политической и литературной борьбы и недостаточной теоретической подготовкой, необходимо отметить, что уже в своих первых театральных статьях Фучик обладал редким умением правильно понять и оценить творческий замысел автора, самые заветные его мысли и чувства, непосредственный эмоциональный накал произведения, передающийся читателю. И он учился видеть недостатки исполнения, непродуманность деталей, нечеткость авторской позиции и, главное, учился руководствоваться прежде всего критерием жизненной достоверности, понимать типичность образов как проявление партийности в искусстве.

В своих первых же статьях об искусстве Фучик ведет решительную борьбу с буржуазной идеологией в двух направлениях: против индивидуализма, унылой созерцательности и пессимизма тех, кто своим скепсисом отвлекает народ от активного вмешательства в общественную жизнь, и, с другой стороны, против реакционного «оптимизма» тех, кто проповедует,

что в настоящей жизни все прекрасно, против апостолов официальной буржуазной политики. Он уже тогда понимает, что оба эти направления в идеологии часто тесно соприкасаются между собой. Ибо и то и другое прежде всего проповедует, чтобы все оставалось в неизменном положении. Поэтому и скептицизм индивидуалистов он очень метко называет официальным.

Фучик хорошо видит опасность идеалистической релятивистской философии, которую называет «философией общественного декаданса», «необходимой деталью удобств двадцатого века, оставляющей душонку в покое и будящей остроумие, чтобы закрыть зияющую пустоту мышления», «утешением шалопаев перед потопом».

Он хорошо видит и единственный путь к лучшей жизни и расцвету искусства — борьбу. К действию, к энергичному действию, к решительной борьбе с реакцией за положительные идеалы, за интересы рабочего класса призывает он в своих театральных статьях и рецензиях всех, кому дорог прогресс, дорого искусство.

* * *

Литературно-критические статьи Фучика 1922—1923 годов, в которых разрабатывались проблемы новой, революционной эстетики, приобретают тем большее значение, что с 1923 года начинается уже период разброда и идейных шатаний чешской интеллигенции, вызванных временной стабилизацией капитализма, спадом революционной волны и наличием в молодой компартии Чехословакии пережитков социал-демократизма. Фучик высказывает передовые взгляды на литературу и искусство в те годы, когда теоретик и глава «Деветсила» Карел Тейге считает тенденциозность искусства пройденным этапом и объявляет ее категорией «мелкобуржуазной», патриотизм называет чувством «ограниченным» и проповедует космополитизм. Тейговщина — как типичное порождение идеологии мелкой буржуазии в период революционных кризисов — находит широкое распространение среди чешской интеллигенции.

«Деветсил», эта ассоциация молодых писателей и художников, провозгласивших в 1921—1922 годах свою преданность пролетариату, начиная с 1923 года все больше подчиняется пагубному влиянию Карела Тейге. Прикрываясь лозунгами массовости, доступности искусства, Тейге, по существу, пытается принизить задачи искусства и рекламирует самую пошлую реакционную «культуру». Театральное искусство Тейге готов отрицать вообще: «Не театральный пафос, а кадры кинополотна доходят сейчас до народа. Место мечтательной ибсеновщины занимают блестящие ковбойские фильмы... Да, кино поглотило академический театр, но оно же возродило к жизни и завоевало популярность у народа для балета, водевиля, мелодрамы, кабаре, народных гуляний, цирка, варьете, мюзик-холла и дансинга».

Тейге пытается уверить, что яркие ночные иллюминации и световые рекламы улиц большого города представляют собой «очаровательную игру света и тени и действуют на зрителя гораздо сильнее, чем очарование картин Леонардо да Винчи и Рембрандта».

Отрицая возможность существования пролетарского искусства в условиях капитализма, он демагогически предлагает пойти по линии создания так называемых «предобразов», то есть праздничных картин будущей жизни бесклассового, социалистического общества. Он уверяет, что таким образом лучше всего и вернее всего можно будет познакомить народ с социалистическими идеалами. Эта политика подрывала боевую активность, жизненность и правдивость передового искусства, осуждала его на идиллическую, субъективизм и лакировку.

Весной 1923 года, не соглашаясь с политикой Тейге, Иржи Волькер официально порывает с «Деветсилом», так же как он порвал в конце 1922 года с «Литературной группой». С. К. Нейман прямо говорит о том, что в идейном разброде художников, считавших себя революционерами, повинен прежде всего К. Тейге.

Вместе с Волькером и Нейманом идет и Юлиус Фучик, который пишет в пльзенской «Правде» большую статью «Тенденция пролетарской поэзии», где дает бой Карелу Тейге — прежде всего по вопросу об идейности искусства.

Фучик констатирует, что тенденциозность является неотъемлемым качеством пролетарской поэзии.

Довольно подробно излагая высказывания Тейге о тенденциозности искусства, Юлиус Фучик уличает его в подтасовке понятий, т. е. в том, что тот пытается подменить понятие тенденциозности «целесообразностью», «полезностью».

Фучик решительно борется против шельмования молодой пролетарской поэзии и против протаскивания принципов безидейности и субъективизма.

И чтобы его правильно поняли, Фучик еще раз подчеркивает, что, отстаивая тенденциозность искусства, он отнюдь не отождествляет ее с «дурной тенденциозностью», как склонны были толковать ее тот же Тейге и буржуазные критики: «Ясно, что настоящие стихи не могут быть какой-то зарифмованной коммунистической программой. Мы, конечно, понимаем тенденциозность вовсе не так».

Юлиус Фучик (так же как и Волькер и Нейман) видит теперь опасность для развития боевой пролетарской литературы не только со стороны официального буржуазного лагеря (куда справедливо относит также писателей упадочнических течений), т. е. лагеря, против которого он выступал уже в самом начале своей деятельности, но и со стороны слабых, неустойчивых в своей революционности

интеллигентов. В 1923 году он начинает ясно понимать, что немало молодых поэтов, о которых было принято говорить, что они создают пролетарскую революционную поэзию, и стихи которых высоко поднимались на щит, «примкнули к пролетариату только из внешних побуждений, спасаясь от своей индивидуалистической слабости». Он осознает буржуазную сущность множества различных лозунгов, выдвинутых за последнее время теоретиками «Литературной группы» и «Девятсила». И что самое примечательное, отдает себе полный отчет в том, что «различие» этих лозунгов заключается лишь в способах, которыми они пытаются себя спасти: «Разница между мелкобуржуазным социализмом «Литературной группы» и утопическими «предобразами» Карела Тейге лишь в длине соломинки, за которую хватаются утопающие».

Фучик считает своим долгом высказаться против всех, кто так или иначе опошляет идеи социалистической революции и принципы молодой пролетарской поэзии.

Еще продолжает печататься статья «Тенденция пролетарской поэзии», защищающая прежде всего принципы идейности искусства, когда появляется новая статья Фучика «Книга поколения», отстаивающая принципы художественности, эмоциональности искусства как категории, неразрывно связанные с идейностью.

Эта статья также направлена против Тейге, который, подменив высокую тенденциозность «целесообразностью», не преминул и отдать предпочтение перед искусством ремесленничеству. Статья одновременно направлена против всех мелкобуржуазных индивидуалистов, способных только на болезненное «самоизлияние» или ремесленнические эксперименты.

Началу статьи сразу же свидетельствует о ее полемическом характере:

«Всякое великое искусство возникает из борьбы. Из борьбы за выражение сути, буквально — за вылущение ядра. Художественные произведения пишутся кровью сердца, кровью, вытекающей из ран, полученных в борьбе. Искусство — не ремесленничество».

Нет сомнения, что это обращено против К. Тейге, который от проповеди «мечты о царстве сердца» шарахнулся к проповеди чисто утилитарного искусства, якобы единственно возможного в существовавших условиях. Фучику приходится теперь уже защищать критерий «сердца» от его бывшего рьяного проповедника. Столь же рьяно нападает теперь Тейге на тех, кто не может с такой же легкостью отказаться от своих убеждений, кто не разделяет его новых вульгаризаторских «теорий» «целесообразного», чисто утилитарного искусства.

«...Ремесленничество,— пишет Фучик,— представляет собой серьезную опасность, угрожает художественной чистоте поколения, его нравственности. Ремесленник делает стихотворение, которое удовлетворяет всем требованиям и, следовательно, может быть тотчас и без труда использовано. Он «борется», будучи убежден в том, что не проиграет. Его стихотворение, конечно, является тенденциозным, но с тенденцией, уже наперед заданной, внутренне ему не свойственной.

Этого у Волькера нет.

Наоборот, не будучи ремесленником, он уже своими шрамами доказывает безусловную честность в борьбе, которую он ведет. И о характере этой борьбы мы можем опять же судить по тому, с какой стороны получал он удары. Таким образом, тенденциозность органически вошла в плоть и кровь его произведений и не может быть никакой иной».

Итак, снова как будто бы продолжается разговор о честности, искренности, сердечности, нравственности. Но теперь «критерий сердца» уже в значительной степени конкретизирован и определен. И, кстати сказать, как термин уже не употребляется. Фучик прежде всего требует, чтобы тенденция произведения находилась в органической связи со всем поэтическим выражением, чтобы поэт внушал уважение и доверие к себе. Он требует более ясно, чем раньше, чтобы произведения поэта обладали эстетической достоверностью, чтобы поэт достигал полного контакта с читателем и нравственно воспитывал его. По сути дела, основной критерий, с которым он подходит к оценке лирической поэзии Волькера,— жизненная правда. Ему особенно дорог Волькер потому, что, «не будучи ремесленником», он передает в своих стихах только выстраданные и выношенные им самим мысли и чувства, потому, что не фальшивит ни сам с собой, ни со своим читателем и предъявляет к себе как к художнику максимальные требования.

Высказывание Энгельса о том, что «тенденция должна сама по себе вытекать из положения и действия», т. е. возникать благодаря непосредственному раскрытию правды жизни, безусловно предполагает как необходимое условие для создания подлинно художественного произведения четкую внутреннюю позицию автора, честное, непосредственное художническое отношение к изображаемому и недогматическое его толкование. Без этих качеств художник не сможет, в силу специфики самого искусства, добиться подлинной тенденциозности произведения, партийности самого художественного образа, ибо эти качества проявляются и в отборе явлений, и в их типизации, и в языке,— короче говоря, в живой плоти художественного произведения. И только четкая внутренняя позиция автора, только подлинное стремление познать и высказать истину, ничего общего не имеющее с готовностью догматически утвердить «целесообразное» мнение, дает возможность раскрыть в художественном произведении подлинную правду жизни и высказать справедливый о ней приговор.

Ставя в своей критической статье «Кни-

га поколения» в закономерную связь отношение художника к жизни, его позицию — с художественными его возможностями, Фучик, по сути дела, открывал огромные художественные перспективы для нового искусства, ясно сознающего свою коммунистическую партийность, партийность смелых борцов за будущее счастливое человеческое общество.

Борьба Фучика против ремесленничества, дурной тенденциозности, догматизма и одновременно горячая защита подлинной боевой тенденциозности, эмоциональности, художнической непосредственности и искренности восприятия и отображения жизни, свидетельствует уже о глубоком внутреннем понимании специфики подлинного искусства и принципов партийности. И в этом его понимании заложено уже требование к художнику, четко сформулированное Фучиком позднее — *высказывать в искусстве революционные взгляды на жизнь, типизируя явления действительности.*

Юлиус Фучик, всегда горячо боровшийся за честность людей, искренность творчества и всего гражданского поведения, в этой статье близок к пониманию того, что подлинная искренность творчества у мыслящих людей, трезво отдающих себе отчет во всем происходящем, необходимо должна сочетаться с решимостью мужественно и самоотверженно бороться с врагами прогресса. Без этого художник неминуемо либо становится неискренним, начинает лишь приспосабливать свои произведения к интересам и вкусам господствующего меньшинства, что ведет к ремесленничеству, либо искренность его становится узкосубъективной, творчество отрывается от задач жизни и начинает страдать пороками идеализма. И в том и в другом случае художник нарушает непреложные законы специфики искусства и, собственно, перестает быть подлинным художником.

Из этой статьи Фучика уже совсем ясно, что в Волькере его привлекают не просто «сердечность» и «искренность», — а искренность человека, решившего «стать полезным членом общества». Честность в борьбе за победу рабочего класса, самоотверженность, борьба порою даже с самим собой, со своими мещанскими пережитками — вот что ценит Фучик в Волькере; ценит тем более, что в этих же его качествах Фучик видит и причину его больших поэтических достижений и большие возможности роста.

Критик справедливо ищет в Чехословакии пролетарских поэтов среди тех, кто честно борется сам с собой, кто, по выражению Неймана, убивает «в себе мещанина». Но Фучик тут же предупреждает: нельзя превращать борьбу с самим собой в главную тему поэзии!

Говоря о муках, в которых рождается новый человек, новый поэт, Фучик прежде всего отмечает в поэзии Волькера поворот к реальной жизни, к земному труду:

«И «родовые муки» приобретают здесь свой единственно здоровый смысл. Они перестают быть бесконечными усилиями создать «индивидуальность», они создают человека».

И далее:

«Волькер полностью осознает свою обязанность выражать что-то более конкретное, чем просто свою собственную личность».

И относительно других поэтов:

«Если мы сейчас посмотрим на творчество молодых... мы увидим, что, собственно, все их творчество до сих пор было посвящено сведению счетов с самими собой, и будущая дорога — дорога подлинной пролетарской поэзии — в этом творчестве лишь едва обозначена. Вот тот результат болезнетворных зародышей индивидуализма, о котором мы уже упоминали».

Правда, в статье «Книга поколения» Фучик неправомерно отдает некоторое предпочтение эпосу перед лирикой. Но в то же время это по-своему объяснимо. Он не видит еще в Чехословакии поэта, который, если сказать словами Белинского, «говоря о себе, себе самом, о своем я, говорит об общем — о человечестве»*. Но он мечтает именно о таком поэте. Он верит, что Волькер вырастет в такого поэта. Его сборник «Родовые муки» он считает уже «книгой поколения». И подчеркивает это даже в названии рецензий.

Подобные же мысли об отношении искусства и политики, художественных возможностей деятеля культуры и его гражданского поведения Фучик высказывает и в своей статье «Около театра» (1923).

Фучик подчеркивает в этой статье, что каждый передовой деятель культуры должен бороться в двух направлениях — против политической реакции в масариковской республике, ибо «быть только художником сегодня недостаточно», и против реакционных явлений в сфере самого искусства, ибо «было бы безусловно неправильным оставлять свои позиции там, где реакция, проистекающая не только из политики, но и из глупости, прислужничества или подлости, позволяет себе вводить свои порядки, вдохновленная прежде всего именно тем, что против нее не выступают».

Таким образом, Фучик борется, как и против самой свирепой политической реакции, против серости в искусстве, которая калечит даже самую передовую, живую мысль, против глупости, которая ее убивает, против бездушия и подхалимства, которые ее извращают. И что самое примечательное для Фучика, он относит как серость, как бездушие, так и ремесленничество к явлениям крайне реакционным в искусстве.

* * *

Разоблачая теории Карела Тейге, сознавая опасность разлагающего влияния «Деветсила», Юлиус Фучик пытается сде-

* В. Г. Белинский, Сочинения в 3 томах, том 1, стр. 671.

лать практические выводы: предостеречь от этого влияния поэта, который связал свое имя с зарождением новой, пролетарской поэзии в Чехословакии и который был дорог Фучику,— Ярослава Сейферта.

В 1923 году появляется второй поэтический сборник Сейферта «Только любовь», снабженный предисловием Карела Тейге, которое Юлиус Фучик сразу же расценил как «самое идиотское словесное выступление за последние десять лет».

Юлиус Фучик чувствует явное влияние Тейге на Ярослава Сейферта, но, к своей большой радости, все-таки — вопреки Тейге — не считает, что «творчество Сейферта не имеет ничего общего... с тенденциозной социальной поэзией». В новом сборнике стихов Сейферта Фучик видит несомненный рост поэта, видит, как «романтический трафаретный революционный пафос приобретает гораздо более реальную, человеческую форму», и за это особенно ценит Сейферта.

В целом ряде стихов Сейферта Фучик замечает, как поэт «становится внутренне все более правдивым», а это, по мнению критика, опять же очень много значит. Но, с другой стороны, он не может не отдавать себе отчета в грозящей поэту опасности,— опасности ухода с пролетарских позиций.

«Пусть Сейферт не думает,— пишет Фучик,— что он руководствуется требованиями революции, когда заявляет в заключительном стихотворении сборника: «Искусство мертво!» Мы заявляем, что мертво *буржуазное* искусство, и верим в новое искусство нового здорового класса пролетариев. И если кто-либо воспринимает понятие «умирание искусства» в абсолютном смысле, он является не кем иным, как чувствующим близкий конец мещанином, взгляды которого — естественный результат его упадочнической бесплодности».

Фучик предупреждает Сейферта о грозящей ему опасности стать мещанским поэтом, убеждает его освободиться от всякого эстетского кокетничанья и «навсегда расстаться с друзьями из богемы, которым дано родиться, жить и умереть ничтожными мещанами».

И все же в этой рецензии Фучика нет достаточной требовательности по отношению к Сейферту. Молодой критик еще не понимает того, что субъективные качества и стремления писателя, его добрые намерения и благие пожелания имеют существенное значение только до тех пор, пока произведение лежит на столе у автора и не пошло еще в массы.

Правильно понимая, что художественное произведение во многом определяют субъективные стремления, точка зрения, идеалы и позиция автора, Фучик не задумывается еще над проблемой, как отражается и эстетически преобразуется личность автора в художественном произведении. Он почти не разграничивает в своих оценках субъективные стремления автора с эстетической реальностью его творчества, хотя его и волнует проблема воспитательного значения и общественного звучания произведений искусства. Он обосновывает свое мягкое суждение о сборнике «Только любовь», в котором он отмечает даже «хулиганские выходки» против пролетарской поэзии, тем, что богемские задатки и тейговские взгляды — не самое главное в Сейферте. И, таким образом, весь разговор об эстетическом и воспитательном значении стихов Сейферта он невольно сводит только к личности поэта.

Юлиус Фучик хочет во что бы то ни стало удержать Ярослава Сейферта от морального и творческого падения, помочь ему правильно определить свою позицию в трудное для развития пролетарской литературы время. И этим, в значительной мере, объясняются многие достоинства и недостатки его рецензии.

Дальнейшая активная борьба за укрепление и развитие революционной культуры, протекающая в условиях наступления реакции на все демократические права и завоевания трудящихся, вооружает Юлиуса Фучика уже новым опытом и новыми аргументами и позволяет уточнить целый ряд критериев.

В начале 1924 года в Праге появляется новый журнал «Деветсила» — «Диск» — с крикливой обложкой на пяти языках — чешском, французском, немецком, английском и итальянском. В Брно начинает выходить журнал «Пасмо», которым идейно руководит все тот же Карел Тейге. Новое руководство «Деветсила» изыскивает все и всяческие средства, которые могли бы привлечь внимание читающей публики. Журналы выходят на разноцветной бумаге, каждый номер содержит всякого рода сенсации, начиная от рецептов французской кухни и кончая графическими шутками или фотоизображениями новых кинозвезд.

На страницах этих же журналов читатель знакомится с новым направлением в чешском искусстве — тейговским конструктивизмом. В один прекрасный день Тейге провозглашает, что «машина,— ни в коем случае не человек,— является мерой всех вещей и ценностей».

В передовой статье первого номера журнала «Пасмо» Тейге рекламирует свою футуристическо-конструктивистскую теорию и, злоупотребляя иностранными словами, громко заявляет: «наша эстетика это эстетика машины...», «рекламный плакат является художественной манифестацией, аутентично современной, чистейшим проявлением современного художественного ощущения».

Эта, по меткому выражению Ладислава Штолла, «отвратительная механистическая эклектическая каша — продукт неспособной к творчеству головы, неумеренно набитой иностранным чтивом»,— выдавалась К. Тейге за «наивысшее духовное достижение XX столетия».

Тейговская группировка, по существу, перешла в лагерь самой махровой буржуазной реакции. Вкупе с самыми

отъявленными реакционерами она начала борьбу со всеми революционными воззрениями и при этом уже не ограничивалась одним только разложением нового пролетарского искусства. Она пыталась дискредитировать прогрессивное наследие прошлого.

Удар был обрушен прежде всего на творчество Иржи Волькера, умершего в 1924 году. Иржи Волькер, самый популярный революционный поэт Чехословакии, своим глубоко поэтичным литературным наследством, защитой национальных традиций реализма и тенденциозности явно мешал распространению новых реакционных теорий. В день первой годовщины смерти поэта Иржи Волькера, 3 января 1925 года, на страницах брненского «Пасмо» появилась анонимная статья, озаглавленная «Хватит Волькера!» Точно по команде, вслед за этим появилось еще несколько статей, написанных и с правых и с «левых» позиций, но с одной целью — опорочить великое дело, за которое боролся Волькер.

Врагам Волькера, многие из которых еще три года назад слыли его друзьями, нужно было опорочить как его мировоззрение, так и эстетические принципы, идейно-эмоциональный пафос его произведений, его народность, реалистический метод. Новые «поэты» придерживались уже иных взглядов и избрали уже тогда новый метод и стиль, полный ассонансов, абстрактных метафор и невразумительных сравнений. Стиль непонятный, зато модный, кокетливый и «модерный»!

«Хватит Волькера!» Он мешает проповедовать формализм и конструктивизм, «последние достижения XX века в области мышления».

«Хватит Волькера!» От него веет революционностью, которая уже, конечно, пройденный этап,— вот что слышалось во всех этих выступлениях врагов революционного класса и его передового искусства.

В защиту Волькера выступают З. Неедлы и С. К. Нейман. С присущим ему темпераментом включается в дискуссию и Ю. Фучик. Он пишет полную гнева и иронии статью «Ликвидация культа Волькера». Фучик доказывает, что литературное наследство Волькера принадлежит борющемуся рабочему классу, а ни в коем случае не буржуазии, — и именно этим вызваны все нападки на него реакции.

«Хватит Волькера! Он вам ни к чему, господа. Он не приумножит вашу культуру. Он не принесет ей новых даров. Не возродит то, чего нельзя возродить. Он менее пронзительный, чем джаз-банд, и менее заманчив, чем нагота Folies Bergères. Вам было бы скучно с ним. Переверните страницу. Не читайте Волькера, который не ваш!.. Читайте «Пасмо», «Диск» и «Пражске Сатурналие»...

Волькер... хотел быть услышан новым, молодым классом рабочих и достиг этой цели. В самых значительных своих произведениях он стал поэтом пролетариата, хотя еще не победившего, но борющегося. Он стоит у истоков пролетарской поэзии...

Он не дал бы себя опозорить придумыванием новых остроумных пантомим, не должен был бояться, что его минует слава изобретателей ребусов. Он нашел себе задачу побольше и поважнее. Он не завершает старый период культуры, а открывает новый!»

Фучик дает острую характеристику послеволькеровского «Деветсила», его упадка и разложения, и подчеркивает, что речь сейчас идет более, чем о ликвидации «культа» Волькера,— о наступлении на культуру рабочего класса, о ренегатстве бывших сторонников революции.

Защищая Волькера от деветсиловцев, которые или молчали (за исключением Незвала, выступившего вслед за Фучиком, с книжкой воспоминаний о своем друге), или пытались опорочить поэта, Фучик беспощадно разоблачал буржуазную сущность нового направления искусства. Он пишет о деветсиловцах, что они «продолжают линию развития буржуазной литературы... продолжают производство упадочнических безделушек». Он снова решительно выступает против ремесленничества в искусстве. Фучик в этой статье весьма убедительно опровергает существовавшее в интеллигентских кругах мнение, будто бы «Волькер пожертвовал собой, поставив свою поэзию на службу революции». Он подчеркивает, что Волькер, собственно, был уже человеком и поэтом новой формации, что именно кровная связь с революционным пролетариатом и дала его творчеству силу, сделала его *подлинным поэтом* (в отличие от тех, кто действительно *пожертвовал* своим творчеством служению буржуазии, т. е. обрек себя на творческое бессилие и бесплодие).

Проблему партийности Фучик связывает, таким образом, с проблемой свободы и необходимости,— и ставит эти вопросы гораздо яснее, чем в своей статье по поводу «Высшей жертвы» Волькера.

Свое убеждение в классовости, партийности искусства, убеждение в разложении буржуазной культуры и перспективности развития искусства пролетарского Фучик проявляет здесь в каждой строчке статьи, каждом повороте мысли.

В своих статьях «Арношт Дворжак» (1924) и «Новая драма на старый лад» (1925) Фучик продолжает разрабатывать все те же наиболее важные эстетические проблемы — мировоззрения и таланта, идейности и художественности. И он приводит читателя к выводу, что любой талант захиреет, если будет служить реакции, если писатель будет творить, руководствуясь неправильной, ложной или реакционной идеей.

Во второй из этих названных статей Фучик упрекает талантливого писателя Франтишка Лангера за то, что он в своей пьесе «Провинция» задался ложной идеей, пошел по пути эпигонства и пришел к банальности. Очень обстоятельно, кон-

кретно, талантливо анализируя характеры героев и драматургический конфликт пьесы, Фучик доказывает, что только правда жизни, которая у каждого истинно талантливого человека упорно сопротивляется всем ложным идеям и теориям, является ценным зерном в любом произведении искусства.

Фучик делает вывод, что развитие образа главного героя пьесы Лангера — провинциального парня Франци, «насильственно превращенного в конце пьесы в Раскольникова, свидетельствует о стремлении Лангера к сенсации», свидетельствует о «сужающемся кругозоре автора, о ничтожности выбранной идеи, о том, как штамп теснит новые формы мышления, возвышающиеся над стереотипностью», т. е. о том, что само искусство бьет художника, когда он отступает от правды жизни.

Это уже новый шаг вперед даже по сравнению со статьями «Книга поколения» и «Около театра», ибо для этой статьи характерны не только боевой революционный пафос Фучика, его глубокое внутреннее понимание специфики искусства и принципов партийности, но и то, что мысли автора выражены в ясных формулировках, что все теоретические положения вытекают из конкретного, убедительного анализа.

Направление всей дальнейшей критической деятельности Юлиуса Фучика ясно. Его борьба против «лживых и немых книг» приобретает совершенно определенный характер — это борьба против ремесленничества и халтуры, за полноценное и значительное, подлинно революционное художественное творчество.

Разоблачая распространенные мелкобуржуазные взгляды на искусство, Зденек Неедлы в начале 20-х годов писал: «Совершеннейшая ложь, будто может быть что-либо красивое без того, чтобы было одновременно *правдивым*, морально *здоровым* и идейно *великим*. Прикрывать слабость красотой, этику — эстетикой является наибольшим посрамлением и красоты, и эстетики. Кто относится к красоте и искусству серьезно, тот о красоте вообще не говорит. Для художественного произведения всегда более всего важна правда».

Правдивость, моральное здоровье и идейное величие становятся основными критериями и для Юлиуса Фучика.

Именно с этих позиций оценивает он произведения современной литературы. С этих позиций ведет он борьбу за дальнейшее развитие чехословацкой литературы.

Пройдет много лет. Фучик станет выдающимся чехословацким критиком, публицистом.

В своей литературно-критической деятельности он еще неоднократно поставит проблему единства формы и содержания, идейности и художественности, мировоззрения и таланта.

И всегда его будет интересовать, «какая внутренняя убежденность, какая великая страсть, какое мужество, какая необходимость и потребность породили произведение».

И всегда он будет показывать, что «вообще нет и не может быть полноценных художников, которые служат реакции».

РЕЦЕНЗИИ

Елена Стасова

ОБРАЗЫ ЖЕНЩИН-БОРЦОВ

Передо мной лежит книга Доминики Дезанти «Образы женщин», изданная Социальным издательством в Париже. Книга эта, написанная выразительно и живо, представляет большой интерес для советских читателей, хотя отдельные очерки, входящие в нее, не одинаковы по своему достоинству. Посвящена она четырем женщинам: Луизе Мишель, Розе Люксембург, Надежде Крупской и Этель Розенберг.

Наименее удачен очерк, посвященный Надежде Константиновне, так как у автора есть ошибка в общей линии характеристики ее. В очерке Надежда Константиновна изображена только как спутница В. И. Ленина. Не освещена огромная ее роль в период II и III съездов партии, когда она, будучи секретарем ЦК партии, поддерживала переписку со всеми партийными организациями. На ее плечах лежало до 300 писем в месяц, и молодежь не представляет себе, что это значит. Надо сказать, что цифру 300 надо умножить на 6. Почему? А вот по какой причине. Ведь переписка эта была, так сказать, подпольная и состояла в следующем: Надежде Константиновне надо было написать текст письма, которое направлялось в ту или другую организацию. Затем надо было в этом письме выделить, т. е. подчеркнуть, все те выражения, которые надо было зашифровать. Третья процедура — самая шифровка. Четвертая — проверка шифровки. Пятая — написание «внешнего» письма и, наконец, шестая — написание между его строк письма с шифром.

Автор недооценивает педагогическую деятельность Крупской. А ведь В. И. Ленин придавал огромное значение этой ее деятельности. Владимир Ильич писал по этому поводу А. М. Горькому в 1916 году (речь идет о книжке Крупской, озаглавленной «Народное образование и рабочий класс», но по цензурным условиям заглавие было изменено на «Народное образование и демократия»): «Автор занимается педагогикой давно, более 20 лет. И в брошюре собраны как личные наблюдения, так и матерьялы о новой школе Европы и Америки. Из оглавления Вы увидите, что дан также, в первой половине, очерк истории демократических взглядов. Это тоже очень важно, ибо обычно взгляды великих демократов прошлого излагают неверно или с неверной точки зрения... Изменения в школе новейшей, империалистской эпохи, очерчены по материалам последних лет и дают очень интересное освещение для демократии в России».

Надо сказать, что и у нас пока еще мало освещена работа Н. К. Крупской в области народного просвещения и создания политехнического образования, поэтому нет ничего удивительного в том, что у французского автора не было достаточного материала.

Не дала Дезанти и характеристики Крупской как марксиста, а В. И. Ленин так высоко ценил ее в этом отношении, что часто советовался с нею перед тем, как печатать свои работы.

Удачен в книге образ Луизы Мишель, этой пламенной участницы Парижской Коммуны, яркой личности, не щадившей себя, защищая других. Луиза не была социалисткой, хотя и была связана с такими крупнейшими деятелями того времени, как Варлен, Клод Бернар, Прудон, Вильгельм Либкнехт. Она была знакома с идеями Карла Маркса, но по своему характеру она была склонна к терроризму и мечтала убить Тьера; потому-то позиция Бакунина ее и привлекала.

В дни Парижской Коммуны Луиза Мишель сблизилась с ее виднейшими деятелями, такими, как Домбровский, Врублев-

---

Dominique Desanti, Visages de femmes, Editions Sociales, Paris, 1955.

ский, писательница Андре Лео. В течение двух месяцев Луиза Мишель работает без передышки и для удобства надевает мужской костюм, что, однако, не мешает ей носить в истории Коммуны звание «Красной богоматери». Арестованная вместе с тысячами других, Луиза Мишель ссылается в Новую Каледонию, где она вникает в жизнь местного населения — канаков, изучает их, собирает их легенды. В 1898 году она пишет «Историю Парижской Коммуны».

Революция 1905 года в России поднимает Луизу, больную, почти умирающую, и она работает опять без отдыха. Ее последнее послание звучит как предсказание: «Я чувствую, как она поднимается, нарастает, та революция, которая сметет царя и всех его великих князей, и всю славянскую бюрократию, и которая разрушит этот огромный Дом Мертвецов. И тогда произойдет нечто удивительное: в Москве, в Петербурге, в Кронштадте, в Севастополе солдаты пойдут с народом».

10 января 1906 года Луиза Мишель умерла. Автор кончает свой очерк о ней словами: «Со времени ее смерти ее имя, очищенное от всякой клеветы, блистает среди предшественников великого движения народов. Луиза Мишель блистает среди женщин и мужчин, о которых говорил Маркс:

«Париж рабочих с его Коммуной всегда будут чествовать как славного предвестника нового общества. Его мученики навеки запечатлены в великом сердце рабочего класса».

Да, Луиза Мишель, несмотря на свои большие ошибки, стоит в рядах тех женщин, которые впервые в мире подняли вместе с мужчинами красное знамя рабочей революции, и нам, современникам Октября, надо знать ее биографию. Доминика Дезанти дала яркий образ этой коммунарки, что следует только приветствовать.

Очень интересен очерк о Розе Люксембург, которая обрисована не только как революционер, но и как пламенный человек, который ничего не умеет делать наполовину. Она любила людей со всей страстью своего горячего сердца. Эта неугасимая горячая любовь придавала ей столько сил, что даже, когда она сидела в тюрьмах, ее не надо было утешать, а она придавала энергию своим корреспондентам вне тюрьмы.

И тут у Розы много общего с Луизой Мишель, которая и в тюрьме и в ссылке отдавала буквально кровь своего сердца окружающим. Обе они, Луиза и Роза, любили природу, цветы и этим часто скрашивали свою тяжелую жизнь, писали восторженные поэтические стихотворения, посвященные природе.

Роза Люксембург была глубоко образованным человеком, владела с детства пятью языками (русским, польским, немецким, французским и английским). В семнадцать лет Роза, живя за рубежом, в Цюрихе (она была уроженкой Польши), впервые соприкоснулась с революционным движением. Сначала это были студенты, революционеры-анархисты. Там же Роза узнала о казни народовольцев, о шлиссельбургских узниках, да и о революционерах всех стран, так как в Швейцарии находили убежище люди со всего света.

Особенно сильное влияние оказал в то время на Розу Лео Иогихес (Тышко), и с ним вместе она провела всю свою революционную жизнь, став в молодости его ученицей. Крепкая дружба связывала Розу Люксембург с Кларой Цеткин, Карлом Либкнехтом, Рингом. За время пребывания в Париже Роза знакомится и сближается с Вайяном, Гэдом, Жоресом, Лафаргами.

Роза Люксембург принимала активное участие в деятельности II Интернационала и являлась делегатом ряда его конгрессов. Она была принята в члены социал-демократической партии Германии и активно участвовала в ее съездах.

Революция 1905 года в России и участие Польши в ней заставили Розу вернуться на родину и стать активным членом социал-демократической партии Польши и Литвы. Блестящий ораторский талант Розы помогал ей завоевывать доверие рабочих масс и вести их. Знали Розу и члены нашей партии, так как она приняла участие в V съезде в Лондоне.

Роза Люксембург часто подвергалась аресту, но и в тюрьмах она не прекращала своей кипучей деятельности. Будучи членом с.-д. партии Германии, Роза была избрана депутатом германского рейхстага.

В. И. Ленин высоко ценил Розу, хотя не раз критиковал ее за те серьезные ошибки и неправильные оценки, которые она допускала в своей политической деятельности. Первая мировая война раскрыла ошибки германской социал-демократии, и Роза вместе с Карлом Либкнехтом, Рингом и Кларой Цеткин основала организацию «Спартак», которая явилась первоначальным ядром Компартии Германии.

Октябрьская революция в России встретила у Розы Люксембург горячую поддержку, но она не поняла линии В. И. Ленина в вопросе о Брестском мире.

30 декабря 1918 г. была создана Компартия Германии, а 1 января 1919 года Роза выступает со своей последней речью Клара Цеткин говорит о Розе Люксембург, что она была «меч и огонь революции».

15 января 1919 года правительство арестовало Розу, Карла Либкнехта и Вильгельма Пика, и контрреволюционеры убили Карла и Розу. Так кончилась ее кипучая жизнь.

Последний очерк Дезанти посвящен Этель Розенберг. Это не тот тип, что все три предшествующие женщины. Это не

революционерка в прямом смысле этого слова, но своей молодой жизнью и своей смертью — ее казнили на электрическом стуле 19 июня 1953 г. в возрасте 38 лет — Этель Розенберг безусловно заслуживает того, чтобы о ней писали и ее помнили.

Каковы были обвинения, предъявленные ей американскими властями? «Еврейка, красная и шпионка». А что было на самом деле? Родилась Этель Гринглас в рабочей семье, с детских лет трудилась и помогала матери, чем могла. Мечтала стать артисткой, так как у нее были хорошие музыкальные способности и хорошее, мелодичное сопрано. Этель сочувственно реагировала на забастовки, помогала пикетчикам, пела в концертах для пополнения кассы профсоюзов.

Муж Этель Гринглас — Юлиус Розенберг — тоже из рабочей семьи и по сути своего характера близок ей, так что они быстро понимают друг друга. Семья Розенбергов охотно принимает Этель в свою среду. Юлиус после неудачной работы в профсоюзе затевает небольшую ремонтную мастерскую, и они живут мирно, у них рождается двое сыновей, которым Этель отдает все свои силы, все богатство своей любящей души.

Но... в их жизнь вторгается брат Этель — Давид. Это баловень семьи Гринглас, которого с детских лет лелеяли как любимца и из которого вырос никчемный субъект. На работе он нигде не уживается, так как ленив и лжив. Этель уговаривает мужа принять его в их мастерскую на кооперативных началах. Это сделано, но Давид Гринглас не желает трудиться и скоро покидает мастерскую, требуя свой вклад в 2000 долларов. У Юлиуса нет такой суммы — это становится поводом к ссоре, и Давид клевещет на Юлиуса Розенберга, обвиняя его в атомном шпионаже. Реакционеры используют эту клевету в своих целях.

Юлиус арестован, Этель вкладывает все свои силы в то, чтобы освободить его, но из ее хлопот ничего не выходит и в конце концов и ее арестовывают по тому же обвинению.

Этель сидит в тюрьме вместе с уголовными преступницами и там ведет ту же работу, что и всю свою жизнь: учит окружающих человеческим отношениям, рассказывает им о Сакко и Ванцетти, казненных по ложному обвинению на электрическом стуле, делится с женщинами всем, что ей передают родители Юлиуса, любящие ее, как родную дочь. В 1951 году Розенбергов судят и приговаривают к смертной казни. Апелляция не дает результатов.

Адвокат Розенбергов Эммануил Блох, 70-летний старик, придя в тюрьму Синг-Синг, где Этель сидит в ожидании казни, плачет, и Этель его утешает.

Во Франции «Юманите» ведет кампанию в защиту Розенбергов. В этой кампании принимают участие деятели культуры всего мира. Но все тщетно.

А Этель и в последние минуты своей жизни не падает духом. Она старается поднять дух мужа, когда их держат в подвале суда в ожидании приговора. Она поет арию Пуччини «Однажды я вернусь».

Последнее письмо Этель к родным полно веры в будущее: «Мир будет зеленым и веселым над нашими могилами. Убийства прекратятся, земля будет цвести в братском мире».

Что же сказать в заключение? Книжка Доминики Дезанти в целом написана с верных позиций и представляет несомненный интерес для советского читателя. Все характеристики, данные в книге, звучат ярко и современно и дают всем читателям, и мужчинам и женщинам, картину истории женского движения, борьбы передовых женщин в течение целого века — начиная с Парижской Коммуны 1871 года и до наших дней.

Л. Симонян

НЕУМИРАЮЩИЙ КИШ

Каким был Эгон Эрвин Киш при жизни? Каким он остался в памяти современников? Почему лучшие люди всех стран знают и любят его? На эти вопросы отвечает книга, изданная в 1955 году в Берлине к семидесятилетию со дня рождения немецкого писателя. На страницах книги, названной «Календарем Киша», встречаются Анри Барбюс и Генрих Манн, Константин Федин и Анна Зегерс, Мао Дунь и Альберт Мальц, Катарина Сусанна Причард и Мария Майерова, Гуго Гупперт и Симона Тери. Более пятидесяти литераторов разных национальностей и разных поколений обращаются к Кишу, вспоминают Киша, размышляют о Кише. Всем им дорог Киш, который жил и творил в неустанном общении с людьми, с массами, с народами. На страницах этой книги живет неумирающий Киш, человек поистине неисчерпаемой веселости, остроумной, бодрящей, оптимистической, человек, который повсюду, как и его книги, находил друзей.

Вместе со статьями, посвященными творческому наследию писателя, в сборнике помещены воспоминания о нем. Не забы-

«Kisch-Kalender», Herausgegeben von F. C. Weiskopf unter Mitarbeit von Dieter Noll Aufbau-Verlag, Berlin, 1955.

ты и анекдотические случаи из его богатой приключениями жизни. Часть статей написана специально к юбилею, другие уже были опубликованы; наряду с несколькими работами, принадлежащими перу Киша, в книгу включены письма, адресованные ему, стихотворения, вдохновленные им. Внутреннее единство представленного в сборнике разнообразного материала определяется стремлением запечатлеть неповторимый облик Эгона Эрвина Киша.

Еще в юные годы Киш осознал свое призвание «неистового репортера». На старости лет он утверждал, что настоящий журналист должен быть по-дантовски одержим желанием все увидеть и все узнать. Именно это непреодолимое желание заставило Данте опуститься в ад, где он настойчиво выпытывал правду у грешников; интервью, которое ему удалось получить у Франчески да Римини, стало шедевром искусства. Так говорит Киш в одной из своих книг, и неожиданность ассоциаций придает особый колорит его мыслям. «Дантовское любопытство» было присуще Кишу в избытке. Неустанно обогащая запас жизненных впечатлений, он объездил пять континентов земного шара. Конечно, не случайно сборник Киша, составленный из серии очерков о буржуазных странах, назывался «Вход воспрещен»: писатель смело прорывался к правде сквозь густую завесу узаконенной лжи.

Когда после первой мировой войны распалась лоскутная австро-венгерская монархия, Киш вступил в ряды красногвардейцев; вслед за этим он стал членом коммунистической партии. Известно, что в Вене в 1918 году отряд, которым командовал Киш, занял помещение крупной газеты. Обязанность главного редактора этой газеты исполнял старший брат Киша. Подчинившись силе оружия, он швырнул Эгону связку ключей, но угрожающе предупредил: «Так и знай, я обо всем напишу матери». Как ни забавен этот случай, он наглядно свидетельствует о том, что писатель выбрал жизненный путь вопреки традициям, привитым ему воспитанием. В художественном творчестве он лишь постепенно преодолевал влияние этих традиций. Излагая в 1924 году свои эстетические взгляды, Киш заявил: «Репортер служит сенсации». Правда, Киш сразу же сделал весьма существенное добавление к сказанному. Он пояснил: «Нет на свете ничего более сенсационного, чем время, в которое мы живем!.. Нет ничего более экзотического, чем окружающий нас мир, нет ничего более фантастического, чем реальная действительность». Это значит, что в погоне за сенсацией Киш устремлялся в гущу общественного бытия. Он проникал в потаенные углы современного мира, в то время как буржуазные журналисты предпочитали не заниматься недозволенными открытиями. И все-таки установка на сенсационность ограничивала творческие возможности Киша. Угадывая это, он в своих репортажах нередко выходил за пределы, утверждаемые им же самим. В ту пору произведения Киша были в известной мере противоречивы. Но противоречия, свойственные им, стимулировали последующее творческое развитие.

Книга под названием «Неистовый репортер» была издана в 1924 году. В одном из очерков, вошедших в эту книгу, художник изобразил лондонскую ночлежку, где бездомные за три пенса обретают жалкое пристанище, в котором им разрешено оставаться с вечера до утра. Киш переночевал в этой трущобе, чтобы написать фактически достоверный очерк. Но он перевоплотил реальный факт в чрезвычайно впечатляющий художественный образ. Обитатели ночлежки, лишенные крова, семьи, работы, представляются ему мертвыми: ведь их существование не назовешь жизнью. Киш пишет: «Рано, в шесть часов, свисток. В гробах что-то шевелится, потом появляются черепа, скелеты выпрямляются, тускло освещенные утренними лучами. Словно живые, эти мертвецы протирают глаза и потягиваются. Потом они поднимаются и надевают лохмотья, которые с вечера были перекинуты через спинку стула» Вот она, «фантастика», почерпнутая из действительности, та самая, о которой говорил Киш! И, конечно, журналист ищет и находит ее не в угоду сенсации, а из совсем иных побуждений. Кстати, в предисловии к книге Киш пытается убедить читателей, будто репортер, давая свидетельские показания, не берет на себя ни функций прокурора, ни функций защитника. Разве можно согласиться с этим после того, как прочитаешь очерки «Среди бездомных Уайтчепеля», «Мать убийцы и репортер» и другие? Налет сенсационности лежит на этих произведениях, но сквозь него ярко просвечивает социальный смысл. А рядом помещены чисто сенсационные репортажи, вроде такого, как «Убийство с целью грабежа в отеле «Бристоль». Иной раз кажется, будто книге не хватает стержня, будто она рассыпается на отдельные и притом неравнозначные эпизоды.

Побывав в молодой стране Советов, Киш в 1926 году опубликовал книгу под названием «Цари, попы, большевики». Выступая против фальсификации истории, уличая злобных клеветников во лжи, писатель высоко оценивает передовой общественный порядок, основанный на социальной справедливости. Репортаж о Советском Союзе поражает изобилием фактического материала, собранного неутомимым журналистом. Но и в этой книге главное часто подменяется сенсационным. Пройдут годы, и Эгон Эрвин Киш напишет об СССР иначе и вдумчивее.

Книга об Америке, изданная в 1929 году, включает в себя множество зарисовок, которые все вместе создают ясное представление об этой стране. При этом художнику удается выявить социальные контрасты. Хлесткая ирония Киша бьет по богачам, которые благоденствуют за народный счет.

Мистер Форд — некурящий, и поэтому его рабочие, которым запрещены папиросы, жуют табак. В остальном им разрешается все, чего никогда не приходилось испытывать мистеру Форду: изнурительный труд, постоянное недоедание, преждевременная старость. Книга написана с любовью к трудовому народу Соединенных Штатов. Особый интерес представляют очерки, посвященные встречам Киша с передовыми деятелями американской культуры.

Для книги о Китае, опубликованной в 1933 году, чрезвычайно показателен очерк, который называется «Рикша! Рикша!» О труде китайских рикш писатель говорит ритмической прозой, передающей темп непрерывного бега. «Босиком носятся рикши по улицам, вдоль и поперек, вверх и вниз, туда и сюда, шагом и рысью, ночью и днем, совсем юные и совсем старые...» С горечью Киш уточняет, что этот каторжный труд оплачивается в зависимости от пройденного расстояния, но пока еще никто не догадался прикрепить таксометр к легким и к сердцу рикши. Однако художник не ограничивается изображением трагической участи тружеников. Он показывает, как рикши, объединяясь, борются за свободу, хотя при этом они рискуют не прожить и того короткого срока, который отмерен людям их профессии. Киш побывал в гоминдановском Китае, залитом кровью, разоренном до тла. Тем более поражает предвидение, проявленное писателем в его книге. Киш предсказывал, что оружие, которое завозится в Китай ради наживы, будет повернуто против иностранных и местных поработителей народа. Журналисту не удалось проехать в советские районы Китая, но ему было ясно, что будущее страны куется там, где люди живут «без империализма, без капитализма, без феодального господства, без чужеземцев, без опиума, без частных банков, без детского труда, без торговли детьми, без миссионеров, без генералов-бандитов, без гангстеров, без коррупции».

Возможно, что предвидение Киша не было бы таким конкретным, если бы он перед путешествием в Китай не посетил Советский Союз. Он побывал в Средней Азии, там, где перемены, происшедшие со страной и с людьми, особенно бросались в глаза. Книга, изданная в 1932 году, называется «Азия основательно изменилась». Свои ташкентские впечатления Киш распределил по рубрикам, озаглавленным «Красный цвет» и «Серый цвет». Красной краской обозначалось новое, растущее, а серой — старое, отмирающее. Прием этот сам по себе вряд ли может считаться удачным, но он обусловлен желанием наглядно отобразить победу нового над старым. Несравненно ярче эта мысль воплощена в образе узбекской женщины, история раскрепощения которой воссоздана в книге.

Киш был одним из тех, кто всеми силами старался воспрепятствовать захвату гитлеровцами власти. Вместе с Карлом Осецким, Эрихом Мюзамом и другими он был арестован в ночь после поджога рейхстага. Уроженец Праги, Киш считался чехословацким гражданином, и это спасло его от гибели: он был выслан из Германии. Едва миновал год, как писатель уже находился на пути в Австралию, куда его направил Международный комитет борьбы против фашизма и войны, руководимый Анри Барбюсом. Киш отправился за океан для участия в конгрессе, организуемом австралийскими сторонниками мира и демократии. Реакционные власти, действовавшие в сговоре с фашистами, заявили, что нога опасного агитатора не ступит на австралийскую землю. Журналисту было запрещено сойти с парохода, на котором он прибыл в порт. Казалось, что Киш вынужден отправиться в обратный путь, не осуществив возложенной на него миссии. Однако в последнюю минуту он спрыгнул с палубы на берег. Прыжок с большой высоты был рискованным: упав на стальные рельсы, Киш в двух местах сломал ногу. Он все-таки вступил на австралийскую землю; ни тюрьма, ни суд не помешали ему выполнить задание. Первую свою речь Киш начал следующими словами: «...я говорю на ломаном английском языке, и моя нога сломана, но дух мой не сломлен». Это было в 1934 году, а в 1937 году писатель уже находился в Испании вместе с бойцами Интернациональных бригад. Рассказывают, что однажды — после того, как Киш, переходя из окопа в окоп, обходил передовую — он в изнеможении повалился на траву. Годы и поврежденная нога давали о себе знать. Подвели мула; Киш, взобравшись на него, сказал: «Дон-КИШот!»

Но в отличие от сервантесовского героя Эгон Эрвин Киш имел реальное представление о дороге, которая ведет к прекрасной цели всенародного счастья. Он писал в одном из испанских очерков: «Прогрессивное человечество, становись интернациональной бригадой, сражающейся за свободу и справедливость!»

В свете этой идеи художник по-новому увидел творческие задачи. А. М. Горький помог ему своим великим примером. Впоследствии Киш, вспоминая о первом знакомстве с книгами Горького, писал: «Это была молния, которая озарила невидимый до тех пор путь, путь социалистической литературы». Свои новые воззрения на искусство художественного очерка Киш сформулировал в 1935 году в речи на Парижском международном конгрессе в защиту культуры. А. М. Горький тогда же опубликовал эту речь в журнале «Наши достижения». Киш начал со следующего утверждения: «Правда — благороднейший сырьевой материал искусства, а точность — лучший способ обработки этого сырья». Однако все зависело от того, что писатель подразумевал под точностью отображения жизненной правды. Киш признавал, что репортаж накрепко прикован к злободневн-

ным событиям современности. Но он был убежден, что воспроизведение этих событий требует взлета творческой мысли, благодаря которому художник видит жизнь в развитии: во взаимосвязи настоящего, прошлого и будущего. Таким образом, в понятие точности Киш включал и верное представление об исторической перспективе социальных явлений, отображенных в репортаже. Насколько все это непохоже на прежние заявления Киша о том, будто репортаж — это сенсация, зафиксированная без тенденции! Отныне художник сознательно тенденциозен в своем творчестве, которое служит делу исторического прогресса. Его окрыляет горьковская мечта о том, что в будущем земля станет «прекрасным жилищем человечества, объединенного в одну семью».

Лучшие книги Киша — «Потаенный Китай», «Высадка в Австралии», «Открытие Мексики». Они отличаются идейной — и композиционной — цельностью, хотя и состоят из ряда отдельных очерков. Фактический материал содержится в них в прежнем изобилии, но в его отборе чувствуется верная целеустремленность. «Конечно, факт — это компас репортера. Но для своих путешествий он еще нуждается в подзорной трубе: в обоснованной фантазии»,— сказал однажды Киш. Обостренная наблюдательность, изобретательная фантазия, колоритный язык — таковы приметы оригинального таланта, благодаря которому художник достиг выдающегося успеха. Анри Барбюс сказал о Кише: «Он принадлежит к числу тех, кто превратил репортаж, искусство прямого наблюдения, картины и фрески, непосредственно выхваченные из большой панорамы жизни,— в литературный жанр первой величины».

Книга «Высадка в Австралии», изданная в 1937 году, может служить образцом журналистского мастерства. А. М. Горький считал, что «очерк не бесфабулен, ибо всегда фактичен, а факт — уже всегда фабула». В книге об Австралии единый сюжет проходит через всю серию очерков: его образуют перипетии происшедшей с автором истории. Однако не следует думать, будто Киш выдвигает себя на передний план. Герой его книги — австралийский народ, в котором пробуждается решимость отстаивать мир и свободу. С любовью запечатлен в произведении образ священника Риветта — одного из самоотверженных борцов за правое дело. Обратившись к соотечественникам со взволнованной речью, восьмидесятилетний отец Риветт падает мертвым, а живые клянутся продолжать борьбу до победы. Кульминационным является в книге прекрасно написанный очерк о долине реки Ярра-Ярра, где в лесу происходит массовый митинг протеста против фашизма и войны. Сколько поэзии вкладывает художник в изображение этого действительно совершившегося события! «Из света в тьму несутся речи, и из тьмы в свет несутся возгласы одобрения и сочувствия; понемногу потухают и последние факелы. Собравшиеся стали совершенно невидимы, и только листва деревьев поблескивает при свете звезд». Лирика сменяется пафосом, когда писатель сравнивает освободительное движение народа с могучим потоком, который повсюду на земном шаре пробивает себе дорогу. Киш убежден, что под напором этого потока в конце концов рухнут стены фашистских Бастилий. Эстафету дружбы народов он передает молодому поколению защитников мира, чья борьба приведет к победе.

А. М. Горький говорил: «Факт — еще не вся правда, он — только сырье, из которого следует выплавить, извлечь настоящую правду искусства». Выплавляя правду искусства из правды жизни, Эгон Эрвин Киш постигал и отображал исторический смысл фактов. Это значит, что его очерки создают верное представление не только о данном событии, о текущем моменте, но и об эпохе в целом. Вот почему они не стареют.

Эгон Эрвин Киш видел, что Советский Союз победоносно защищает гуманистические принципы, которые олицетворяют надежду человечества. В период второй мировой войны Киш писал о советских солдатах как о героях-освободителях. Он жил тогда в Мексике; книга об этой стране, свидетельствующая о глубоком знании ее прошлого и настоящего, полна веры в будущее. Последние годы писатель провел в городе, где когда-то начиналась его жизнь,— в Праге. Он работал над репортажами о новой Чехословакии. В 1948 году смерть оборвала его плодотворный труд. Очерк о том, как предприятия Бати, обувного короля, перешли в народную собственность, остался неоконченным. Однако во фрагменте, опубликованном посмертно, чувствуется умелая рука Киша.

«Человек с золотыми руками», «Мастер репортажа», «Поэт репортажа», «Открыватель открытых земель», «Счастливый воин», «Тот, кто всегда бывал дома для каждого», «Эгонек» — вот далеко не полный перечень статей, опубликованных в «Календаре Киша». Даже по их заглавиям уже можно судить о том, почему помнят писателя люди с разных концов земли. «В наших сердцах всегда будет место для Киша, который так любил наш Китай»,— говорит Мао Дунь. «Киш продолжает жить»,— утверждает Майкл Голд. Известно, что в творческом наследии художника нет книги о Франции, но Симона Тери, обращаясь к нему, как к живому, говорит: «Ты принадлежишь и французскому народу».

Жизнь, прожитая Кишем, книги созданные им, принадлежат народам всего мира.

В. Розенцвейг

ЛЮДИ НОВОЙ РУМЫНИИ

На юго-востоке Румынии простирается окаймленная Дунаем засушливая степь Бэрэган. Малонаселенная, отдаленная от железных дорог, Бэрэганская степь изображалась в румынской литературе прошлого царством песчаных дюн и соленых озер, бескрайних полей, где подгоняемые надсмотрщиками крестьяне, изнемогая от зноя, собирали богатый урожай пшеницы. О жизни этого плодородного, но отсталого края — глухого района придунайской поймы, на окраине Бэрэганской степи — повествует Валериу Эмиль Галан в своем романе «Бэрэган». События, о которых рассказывается в романе, относятся к осени 1948 года, т. е. к тому времени, когда румынские трудящиеся приступили к преобразованию своей страны на народно-демократических началах. Роман не заканчивается на этом периоде, писатель обещает нам продолжение своего повествования.

Тема, да в какой-то мере и сюжет, сами по себе не могли обеспечить «Бэрэгану» того успеха, который порою выпадает на долю произведения, впервые открывающего новые, нетронутые литературой явления действительности. В самом деле, тема социалистического преобразования сельского хозяйства вот уже несколько лет стоит в центре внимания румынских писателей — поэтов, прозаиков и драматургов. Правда, В. Галан повествует в своем романе не о борьбе румынских крестьян за создание коллективного хозяйства, что обычно составляет содержание произведений румынских писателей на эту тему, а о людях государственного хозяйства, организованного на конфискованных у помещиков землях. Однако судьба героев романа теснейшим образом связана с судьбой деревни, трудовых крестьян.

Что же нового в этом произведении? Почему нашло оно столь живой отклик у румынских читателей и критики? В этой книге в большей мере, чем это было в романах других румынских писателей, последовательно реалистически воплощены черты передового человека современной Румынии.

Удивительно бодрое настроение овладевает читателем с первых же страниц книги. А ведь есть, казалось бы, отчего впасть в уныние даже ее герою, рабочему-литейщику Антону Филипу, молодому, энергичному человеку, ненавидящему хныканье.

Филип назначен директором госхоза; ему трудно работать в сложной и умышленно запутываемой врагами обстановке еще и потому, что он надеялся найти здесь государственное социалистическое предприятие. Еще не добравшись до места назначения, Филип узнает, что в госхозе, да и в уездном управлении госхозов орудуют такие же воры, спекулянты и бюрократы, с какими ему уже неоднократно приходилось сталкиваться в качестве работника органов государственного контроля.

К тому же Филипу приходится преодолевать не только сопротивление врагов, а еще и невежество, отсутствие элементарных навыков демократического самоуправления, рационального ведения хозяйства. А самое трудное — недоверие и со стороны отсталой части трудового крестьянства, привыкшего смотреть на «власть» подозрительно, и со стороны людей честных, но сбитых с толку бюрократами, зажимщиками критики. К Филипу приходят трое крестьян, предъявляют справки о том, что ими сдано государству зерно, взамен которого госхозу надлежит выдать им из семенных фондов такое же количество сортового зерна. Справки испещрены многочисленными резолюциями и печатями — крестьяне, видно, ходили из одной инстанции в другую, а зерна так и не получили. Филипу тем горше выслушивать упреки этих людей, что они правы — ведь они ответили на призыв государства, отдали ему свой трудовой хлеб, а бюрократы над ними издеваются. Не легко еще живется народу... Не дремлет враг, используя трудности роста нового общества, подсказывая крестьянам свои «выводы».

Разнообразные типы врагов народной демократии тщательно выписаны В. Галаном. Среди этих бывших помещиков, торговцев, спекулянтов, кулаков и прочих тунеядцев есть и такие, сущность которых становится ясна читателю при первом же их появлении на страницах романа. Притом едва ли не всем им присуща одна общая черта — мнимое, слащавое добродушие, призванное подкупить «власть имущих».

Верный правде жизни, В. Галан показывает многоликость врага, вынужденного приспособляться к новым обстоятельствам, то прикинувшись смирившимся, «честно» выполняющим свой долг гражданином, то надевая личину активного, «правоверного» борца за новый строй. Значительный общественный конфликт, изображенный в романе «Бэрэган», обостряющийся по мере того, как враг теряет почву, показан автором таким образом, что ходы врагов, их подлинная сущность остаются порою скрытыми не только от действующих лиц, но частично и от читателя. Из созданных таким образом драматических ситуаций особенно запоминается следующая сцена.

На собрании актива волости секретарь волостного комитета Румынской рабочей партии Ленку, в котором читатель подозревает фальшивого человека, если не врага, пытается уйти от правдивой критики Филипа с помощью ловко направлен-

---

Valeriu Em. G a l a n, Bărăgan, Bucuresti, ESPLA, 1954.

ных против него клеветнических обвинений. Ленку подтасовывает факты таким образом, что поступки Филипа, нового в этих местах человека, могут показаться собравшимся подозрительными. Растерявшийся Филип не сразу парирует: ему неизвестна подлинная сущность Ленку. Но Филипа нелегко поколебать: он вскоре соберется с силами и ответит со свойственной ему прямотой.

Казалось бы, он одержал победу над своим противником. Тем более, что выступивший вслед за Филипом председатель местной организации Фронта земледельцев Ерхан полностью подтверждает, что политическая работа в деревне ведется плохо. Филип даже удивляется тому, что этот человек, обычно избегающий высказывать свое мнение, здесь, на активе, встает на его, Филипа, сторону. Более того, из выступления Ерхана явствует как будто, что выпад Ленку не был злобным, что секретарь волостного комитета в общем неплохой человек — он уже принимает меры к тому, чтобы выправить положение в волости. Но Филип введен в заблуждение. Много потребуется усилий с его стороны, чтобы распознать и обезвредить врагов народа. Переживая судьбу героя, читатель вместе с ним осваивает опыт общественной борьбы за социализм, осознает необходимость политической бдительности.

В. Галан принадлежит к писателям, мужественно смотрящим правде в глаза, сознающим силу зла, цепкость уродливых явлений жизни и вместе с тем ясно видящим неодолимость новых человеческих отношений. Смело, правдиво показав трудности, стоящие на пути утверждения народной демократии в такой отсталой в прошлом стране, как Румыния, он с тем большей силой убеждения показывает меру величия дела, творимого трудящимися под руководством Румынской рабочей партии.

Главными персонажами романа, определяющими развитие его сюжета, выступают не люди еще отчаянно сопротивляющегося, но обреченного мира, а Филип и его друзья, рядовые солдаты партии.

Филип представляет то поколение румынских рабочих, которое пришло в коммунистическую партию в первые дни после освобождения страны. Мощный водоворот событий тех лет, участие в борьбе за свержение старого строя и утверждение в Румынии власти рабочих и крестьян развили и утвердили в характере Филипа революционную страсть, чувство личной ответственности за все, что творится в стране. Отсюда и его кипучая деятельность, и постоянная неудовлетворенность, и нежелание приспосабливаться ни при каких условиях. Закаленный в борьбе против врагов народа, уверенный в правоте своего дела, он готов преодолеть встающие перед ним трудности и не ищет легких удач.

В. Галан наделил своего героя лишь одной, всецело им овладевшей страстью. Вся его энергия направлена на дело, ставшее его личным делом. И это, мне думается, характерно для лучших людей Румынии в то суровое время, когда народная демократия еще не вполне утвердилась, а социализм не вошел еще в быт.

Постоянный упор на положительные черты характера связан, как известно, не только с опасностью однообразия, но и схематизма. В. Галану удалось избежать этой опасности и создать реалистический образ, живущий не по прихоти автора, а обладающий своей внутренней логикой. Филип никогда не декларирует своих чувств, не произносит пылких речей. Нет в романе «Бэрэган» и авторских патетических отступлений. Всецело овладевшая личностью героя страсть к революционному преобразованию своей страны обнаруживается в его поступках. В. Галан редко повествует о них; основные моменты конфликта, действующим началом которого выступает Филип, представлены читателю непосредственно. Диалоги, участником которых является Филип, всегда драматичны — это не просто беседы, а столкновения мыслей, чувств. Реплики Филипа, короткие, резкие, разбивают слащавую фразеологию, равно как и оскорбительную иронию, которыми прикрываются представители ненавистного ему мира — «бандиты», как он их лаконично определяет.

Ясность цели и твердость характера борца революции выражены писателем не только в контрастном столкновении Филипа с врагами. Его образ выделяется, оттеняется многочисленными окружающими его людьми новой Румынии.

Наиболее привлекателен из этих персонажей агроном Матей. Всю жизнь проработавший на помещиков, но привыкший свысока смотреть на рабочего человека, этот представитель старой интеллигенции охвачен сейчас пафосом труда, рационального переустройства сельского хозяйства. От Филипа Матей отличается не только значительно меньшей политической образованностью и сознательностью, но и индивидуальными чертами характера — кипучим темпераментом и острым чувством юмора. Колоритна его речь, пересыпанная язвительными словечками, грубоватыми, образно меткими, остроумно высмеивающими лодырей, негодяев, дураков. Как и Филип, Матей — деятельный человек, но эта черта характера проявляется у него по-своему. Матею душно и скучно в кабинете областного управления госхозами, где его работа сводится к собиранию сведений о госхозах. Он рвется к производственному труду, жаждет практического приложения своих знаний. Этим он и близок Филипу, ценившему в нем трудолюбие, бескорыстность, душевную молодость. Однако бьющая через край жизнерадостная энергия Матея еще уживается со старыми взглядами помещичьего служащего,

привыкшего командовать рабочими, давать взятки государственным чиновникам и т. п. Это противоречие между старым и новым в сознании Матея, выраженное в ряде комических эпизодов, построенных В. Галаном с мастерством, вместе с тем является источником конфликта между агрономом и Филипом. Но не так-то легко убедить Матея вытравить глубоко укоренившиеся в его сознании привычки. Когда Филипу показалось, что он вызвал у Матея какое-то смутное чувство солидарности, Матей вспыхнул: «В конце концов, что вы меня тянете во все эти дела? Вы — директор, ну и достаньте людей, наймите их, как считаете нужным, накормите их, найдите им приют. На то вы и директор! Я — специалист... Я не акушерка, и не няня, и не директор, и не владелец харчевни!!»

В подобных столкновениях с Матеем черты характера Филипа освещаются с новых сторон. Филип выступает не только как деятель партии, сознающий, в отличие от аполитичного еще специалиста, общественно-политический смысл успешной работы госхоза, но и как руководитель социалистического трудового коллектива, призванный заботиться о людях, приобщать к управлению доверенным ему предприятием всех работников независимо от их положения.

Ясностью цели и твердой волей отличается Филип и от других работников госхоза — механика Продана, уставшего от бессмысленных, как ему кажется, попыток изменить положение в госхозе, и от кучера Кырстея, во взгляде, жестах, нерешительной речи которого еще чувствуется робость перед начальством, и от застенчивого, точно девица, делопроизводителя Олтяну, и от добродушного, лукавого деда Аврама Моцу, возмущающегося тем, что директор госхоза часами расспрашивает его о том, что и когда сеяли люди в этом краю, а к его рассказам об охотничьих похождениях остается равнодушным. Каждый из этих образов, за исключением, может быть, разве только механика Продана, лишь схематически намеченного, — вполне самобытен. Все они, вместе с тем, подчеркивают идею романа, воплощенную в характере главного его героя.

Определенность характера, которую утверждает В. Галан, свойственна в той или иной мере каждому реалистическому произведению. Еще Эминеску говорил, что «...лишь стойкие люди, верные своему характеру, вызывают подлинно эстетическое чувство». Единством нравственного и эстетического идеала отмечено творчество лучших румынских писателей — Караджале, Влахуцэ, Тома, Садовяну, Камиля Петреску и многих других, менее выдающихся, но не менее требовательных к литературе художников. Для современной румынской литературы, призванной содействовать воспитанию в характере румынских трудящихся лучших человеческих качеств, утверждение передового мировоззрения и стойкости в борьбе за него имеет первоочередное значение. Следует поэтому лишь приветствовать роман «Бэрэган». Можно, однако, спорить о том, верно ли писатель поступил, раскрывая в характере своего героя лишь страсть к революционно-преобразовательной общественной деятельности, оставляя в тени другие индивидуальные черты. Филипу недостает многогранности характера, которую В. Галан сумел воплотить в Матее и многих других персонажах, эпизодических и, тем не менее, надолго остающихся в памяти читателя. Между тем именно утверждение нравственного величия и эстетической красоты Филипа, ясности взгляда и твердости характера требовало изображения душевного богатства героя.

Нам представляется, что и некоторая статичность образа Филипа объясняется его недостаточно высоким интеллектуальным уровнем: не осмысляя своего жизненного, политического опыта, он и после острых политических столкновений остается тем же, кем был раньше, не растет. А поскольку Филип является активным началом романа, то статичность этого образа отражается на композиции романа в целом. Правда, можно возразить, что действие романа развивается стремительно, в течение всего трех-четырех недель, так что герою «некогда расти». Но целесообразно ли подобное сгущение событий во времени в таком романе, как «Бэрэган», интересующего читателя не только сцеплением событий, но и судьбой характеров, в нем изображенных?

Роман «Бэрэган» сразу же был отмечен как заметное явление румынской литературы. Широким видением эпохи, писал критик И. Миэйляну в журнале «Лупта де класэ», глубоким воспитательным значением, блестяще построенными художественными образами, целой галереей положительных героев, каких не было до сих пор в нашей литературе, роман «Бэрэган» знаменует успех нашей современной художественной прозы. Румынская критика указывала на то, что верное в принципе решение художественной проблемы положительного героя, данное романом В. Галана, помогает современным румынским писателям преодолеть две одинаково вредные для литературы социалистического реализма тенденции: лакировку действительности и бесперспективную фиксацию ее теневых сторон. «Писатель — говорит Крохмэлничану в «Скынтейе» по поводу романа В. Галана, — не брался дозировать чайной ложечкой «положительные» и «отрицательные» явления действительности, соединяя их в микстуру (не слишком горькую и не слишком сладкую), согласно рецепту, более пригодному в кулинарии, чем в эстетике. Он сумел выявить побеждающую силу нового, не стесняясь правдиво изобразить некоторые из самых теневых сторон действительности».

Рецепты создания пресловутого «идеаль-

ного героя», которые высмеивает О. Крохмэлничану, составлялись и некоторыми румынскими критиками. Нашлись писатели, попытавшиеся изготовить книги с «идеальными героями». В последнее время после ряда выступлений критики против схематизма, упрощенного изображения нового человека в литературе выявилась и другая, по существу натуралистическая тенденция мнимого осложнения характера положительного героя. В многочисленных статьях и дискуссионных выступлениях румынские критики весьма убедительно доказывают, что обе эти тенденции в одинаковой мере связаны с вульгарной социологией и формалистическим эстетством, что б борьба против идеализации и упрощения, само собой разумеется, не может и не должна вести к появлению фальшивой усложненности, произволу по отношению к образу». В романе «Бэрэган» критика видит достижение, завоеванное в борьбе против идеализации и схематизма. В. Галан писал в заметках о Втором съезде советских писателей, на котором он присутствовал в качестве одного из делегатов писателей Румынии: «Нельзя творить с позиций социалистического реализма без глубокого, подробного и беспрерывного познания диалектики общественного развития, человеческих мыслей и чувств...» В. Галан обладает талантом, необходимым для того, чтобы успешно завершить свой роман о людях, преобразующих Бэрэганскую степь и самих себя.

Л. Осповат

КНИГА ГЕРРЕРО „УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЗЕМЛЯ"

Роман чилийского писателя Мануэля Герреро «Ускользающая земля», получивший первую премию на Национальном конкурсе имени Пабло Неруды, вышел в Сант-Яго уже вторым изданием; первое разошлось в рекордный для Чили месячный срок.

«Это — один из достовернейших романов, когда-либо написанных о чилийской деревне», — пишет читательница Кристина де Сепульведа (ее письмо опубликовано журналом «Вистасо»); а известный писатель Антонио Асеведо Эрнандес заявил: «Это подлинно чилийская книга, волнующая своей искренностью, написанная народным языком и для народа».

Среди других чилийских романов из крестьянской жизни «Ускользающая земля» занимает особое место. О нем можно определенно сказать, что он не только продолжает, но и развивает реалистические традиции чилийской литературы.

Эти традиции, имеющие более чем столетнюю историю, уходят корнями в середину XIX века — время, когда Чили, после освобождения от испанского владычества, одной из первых латиноамериаканских стран вышла на дорогу промышленного развития. С ростом национального самосознания здесь, как и в других странах Латинской Америки, началось развитие национальной культуры. Идеологи молодой национальной буржуазии заявляли о необходимости создания самостоятельной литературы, отражающей чилийскую жизнь и свободной от подражания европейским образцам.

Под непосредственным влиянием этих идей (под именем «креолизма» или «латиноамериканизма» получивших широкое распространение и в других странах Латинской Америки) формировалось первое поколение представителей собственно чилийской литературы. Вслед за Хотабече, бытописателем, создавшим галерею народных образов, в чилийскую литературу пришел один из замечательных писателей Латинской Америки прошлого века — Альберто Блест Гана.

Блест Гана считается создателем чилийского романа, основоположником реализма в Чили. Уже в первом из своих романов «Картина общественной жизни» (1853) он, сознательно учась у Бальзака, показал, что деньги стали «всеобщим двигателем» в жизни Чили, и нарисовал отталкивающие портреты «рыцарей наживы», обогащавшихся при помощи мошеннических комбинаций.

В ряде последующих книг, из которых особенно значительны романы «Мартин Ривас» и «Идеал кутилы», Блест Гана нарисовал широкую панораму жизни почти всех классов современного ему чилийского общества. Вершиной его творчества является исторический роман «Во времена реконкисты», посвященный событиям войны за освобождение от испанского гнета, рожде-

Manuel Guerrero, Tierra fugitiva, Novela, Ediciones Austral Santiago, 1954.

нию Чилийской республики. В этом романе писатель сумел подняться до понимания исторической роли народных масс, завоевавших независимость родины. Среди действующих лиц выделяется представитель народных низов партизан Ньо Камара. Когда писателя однажды спросили, почему, проведя этого героя через все опасности войны, он все-таки оставил его в живых, Блест Гана ответил: «Ньо Камара — это чилийский народ, а чилийский народ не умирает: он живет и будет жить вечно».

Другим видным представителем критического реализма в Чили был Перес Розалес, книга которого «Воспоминания о былом» считается классическим произведением национальной литературы.

С конца XIX века, в обстановке усиленного проникновения иностранного империализма в Чили, в результате широкого распространения всякого рода модернистских влияний чилийская литература переживала состояние упадка. Писателям, продолжавшим называть себя «креолистами», уже трудно было удерживаться на позициях реализма. К числу таких писателей принадлежит, например, Мариано Латорре, посвятивший свое творчество чилийской деревне.

Произведения Латорре, как и его последователя, недавно умершего Луиса Дурана, подкупают тщательным воспроизведением сельского быта, яркими картинами родной природы. Однако, ограничив свое творчество вопросами психологии и быта крестьян, взятыми в отрыве от острых социальных проблем, эти писатели неизбежно скатывались к идеализации действительности и отступали от завоеваний таких реалистов XIX века, как Блест Гана и Перес Розалес.

Подлинное развитие реалистических традиций становится возможным только с появлением в литературе нового героя, представителя рабочего класса, выступившего в Чили как активная сила уже в первые годы XX века. Писателем, возвестившим его появление, был Бальдомеро Лильо.

Его книга «Под землей», пятидесятилетие которой торжественно отмечала в прошлом году прогрессивная общественность Чили, завоевала прочную любовь народа не только страстным обличительным изображением тяжелой жизни горняков, но и своим мятежным духом, чувством горячей солидарности с пролетариатом.

Бальдомеро Лильо был предвестником нового этапа развития чилийской литературы, начало которому было положено в годы подъема рабочего движения под влиянием Великой Октябрьской революции, в годы возникновения и укрепления Коммунистической партии Чили и распространения в народных массах идей социальной революции.

Этот этап связан прежде всего с именем выдающегося поэта современности Пабло Неруды, поучительная творческая эволюция которого оказала огромное воздействие на писателей не только Чили, но и всей Латинской Америки.

В области прозы в этот период выдвинулась целая группа талантливых писателей-реалистов, создавших ряд значительных произведений о страданиях и борьбе чилийского народа. К числу их относятся Альберто Ромеро, Андрес Гарафулик, Никомедес Гусман, Рейнальдо Ломбой. Под влиянием всемирно-исторических побед лагеря демократии и социализма, по мере того, как росла и ширилась национально-освободительная борьба чилийского народа, в творчестве передовых писателей стали происходить серьезные изменения. Рабочие и крестьяне, представшие в их ранних произведениях главным образом как страдающая и угнетенная масса, начали выступать теперь как активная и решающая сила национального освобождения.

В самые последние годы осознанное тяготение передовых писателей Чили к методу социалистического реализма вызвало к жизни такие значительные книги, как романы «Уголь» Диего Муньоса и особенно «Сын селитры» В. Тейтельбойма — произведение, ставшее крупным событием не только в чилийской, но и во всей латиноамериканской литературе.

Теперь рядом с двумя этими романами, посвященными рабочему классу, можно поставить третий — роман Мануэля Герреро о чилийском крестьянстве.

Примечательна история создания этой книги. Это первое крупное произведение сорокалетнего автора. Сам крестьянин по происхождению, переменивший на своем веку множество профессий — от чистильщика обуви до журналиста провинциальных газет,— Мануэль Герреро закончил первый вариант этого романа — «Крестьяне» — еще в 1936 году. Однако смутно чувствуя неудовлетворенность своим произведением,

автор решил подвергнуть его суду тех крестьян, жизнь которых он описывал. Писатель рассказывает: «Мои деревенские родственники весьма отличались от моих персонажей. Мне приходилось подвергать себя суровой самокритике, когда я у очага читал некоторым из действующих лиц моего романа отрывки, в которых я, как мне казалось, изобразил их. Они восклицали: «Очень мило!.. Очень мило!..» Но никто из них не сказал: «Да ведь это же я, а это вот — он!» И я понял, что стою перед выбором: либо следовать путем так называемых «креолистов», либо изображать подлинную действительность — волнения, любовь, ненависть, борьбу».

Первый вариант так и не увидел света. Только в 1947 году Мануэль Герреро закончил второй вариант романа. Теперь он назывался «Жатва в бурю». И снова писатель пошел к своим героям. На этот раз они уже узнавали себя в его произведении, и все-таки оно их снова не удовлетворило. Писатель и на этот раз сделал важный для себя вывод: «Реалистическая, но полная горечи книга не оставляла надежды на лучшие времена для действующих лиц, описанных мной». Герреро вторично принимается за переработку своего романа. Только через семь лет он наконец публикует его — теперь уже под названием «Ускользающая земля».

Земля — вот главный предмет мыслей действующих в романе крестьян, которые мучительно страдают от безземелья, в то время как помещики — «собаки на сене», по точному определению одного из героев, — в спекулятивных целях держат необработанной подавляющую часть принадлежащего им громадного количества земли. Иметь свою землю — хотя бы клочок!— об этом мечтал, умирая, батрак Панталеон Ривас, эту мечту он завещал своей жене Тринидад и сыновьям Висенте и Рамону.

Это стремление не столько к собственности, сколько к независимости, к тому, чтобы уйти от произвола управляющего и надсмотрщиков, чтобы оградить от насилия своих сестер и дочерей. Движимая этим стремлением, семья Панталеона Риваса после его смерти покидает поместье. Из «инкилино» — батраков с наделом — они превращаются в «медиеро» — испольщиков — с надеждой когда-нибудь выкупить земельный участок в полную собственность. В этой надежде смысл всей жизни главного героя романа Висенте Риваса, его родных и соседей. Все это — полунищие крестьяне, невежественные, забитые, суеверные... Но главное в них то, что они — труженики, и никакие надругательства помещика не могут убить в этих людях их воистину человеческой любви к своему каторжному и благодатному труду на земле, их сознания кровной связи с этой ускользающей от них землей. За это и любит автор своих героев, любит той выстраданной любовью, которая не прячется под мнимой объективностью повествования, а щедро согревает каждую страницу романа.

Любит, но не любуется. В этом принципиальное различие между Герреро и теми чилийскими писателями, которые, с любовью изображая крестьянство, готовы восхищаться его невежеством, понимаемым как «простодушие», «покорность», «кротость». И, в сущности, вся первая часть романа разоблачает, развенчивает эти воспетые многими писателями рабские качества, воспитанные в крестьянах веками проклятой, унижающей человека жизни.

Мы встречаем Висенте Риваса на первых страницах романа в тяжелую для него пору, когда он, убрав, но еще не обмолотив хлеб, вместе с другими крестьянами деревни ждет появления Полидоро Иебенеса, хозяина конского табуна. В Чили до сих пор применяется старинный способ молотьбы: на огороженный ток выпускают лошадей и гоняют их по кругу, бросая колосья им под копыта. Урожай Висенте, как и его соседей, запродан помещику на корню. Хлеб — в двух шагах, но нельзя тронуть ни колоска: только после того, как помещик заберет свою долю, крестьянин сможет взять остаток. Нельзя также молотить хлеб вручную: способ молотьбы обусловлен договором, и изменить его крестьянин не вправе. Нужно ждать табуна, а его все нет и нет...

Неподвижно застыв у своих ранчо, переходя от надежды к отчаянию, час за часом, под монотонный плач голодных детей, впиваются крестьяне глазами в далекие фиолетовые горы, откуда должен показаться долгожданный табун.

Так и не дождавшись Полидоро и его лошадей, Висенте Ривас и его соседи отправляются на поиски табуна. Герреро мастерски изображает это путешествие: пыльные дороги, горькие вести, длинная цепь

унижений и разочарований. Из путевых встреч, бесед в придорожных кабачках, размышлений и воспоминаний героев, из эпизодов параллельно развивающегося повествования о судьбе оставленной в деревне семьи постепенно складывается широкая картина мучительной жизни мелких землевладельцев, издольщиков, батраков... С этих словно выжженных злым солнцем страниц встает трагедия чилийского крестьянства.

Табун исчез бесследно. Найти помещика, чтобы вымолить у него разрешение молотить вручную, не удается. Едва успевают крестьяне вернуться домой, как буря с ливнем обрушивается на приготовленный для обмолота хлеб, и почти весь урожай гибнет...

Так развенчивает жизнь все надежды крестьянина, так отвечает она на его простодушие и покорность. Но даже теперь Висенте и его соседи неспособны осознать подлинные причины своих бедствий, необходимость борьбы. Они могут только, как это изображает Герреро, попасть в сети, расставленные деревенским ростовщиком, напиться с горя и уснуть в отчаянии...

Этим заканчивается первая часть, и так собственно говоря, мог бы кончаться и весь роман (возможно, что во втором варианте так оно и было). В латиноамериканской литературе стало бы больше еще одним произведением, талантливо рисующим невыносимую жизнь крестьянства, но не показывающим выхода из этой жизни.

Герреро, однако, пошел дальше.

Действие романа развертывается в 1931 году, когда и на Чили обрушился мировой экономический кризис, принесший стране неисчислимые бедствия. В сельскую местность хлынули тысячи безработных шахтеров, выброшенных кризисом из селитренных рудников; тысячи крестьян были согнаны помещиками со своей земли. По тем же дорогам провинции Ньюбле, по которым брели крестьяне в поисках табуна, тянутся вереницы истощенных и полураздетых людей, и герои романа как бы захлестнуты волнами этого народного бедствия, в котором растворяется их собственная беда.

Начиная с этого момента чувствуется, что рамки «семейного романа» стесняют писателя. Стремясь выйти за эти рамки, он вводит в повествование много новых действующих лиц, обрисованных иногда слишком бегло, насыщает, пожалуй даже перенасыщает, роман событиями. Расширение границ повествования удается не без потерь: выигрывая в целом, картина несколько тускнеет в деталях. Поэтому в последних главах романа кое-где проглядывает несвойственный ему ранее схематизм; естественное развитие судеб и характеров порой подменяется риторикой.

Новые люди появляются в деревне. Вчерашний шахтер Хуан, бывший железнодорожник Пласидо организуют крестьянскую помощь безработным. Участвуя в этом деле, Висенте, его семья и соседи впервые ощущают великую силу коллектива. В соприкосновении с рабочими, принесшими в деревню свет классового сознания, герои романа обретают новые силы.

Удача второй части романа — не столько в описании определенных событий, сколько в изображении тех изменений, которые под влиянием этих событий происходят в психологии крестьянина. Основой этой части является сам процесс духовного выпрямления придавленного рабской жизнью человека, и лучшие ее страницы — как раз те, на которых прослеживается этот процесс. Мы присутствуем при его зарождении, в эпизоде встречи семьи Висенте Риваса со стариком безработным на дороге, когда обычная крестьянская подозрительность и недоверие к «городским» сменяются сочувствием по мере того, как в незамысловатом разговоре крестьянам открывается в этом человеке такой же труженик, как и они сами. Мы наблюдаем, как в Висенте и в других поддерживающих его крестьянах становятся видны новые черты внутренне свободного человека. Мы видим, как крестьяне начинают по-новому относиться друг к другу и к своим казавшимся им ранее неразрешимыми проблемам, как звериная мораль, выраженная в словах «каждый должен заботиться о себе», уступает место новым отношениям — братской солидарности людей труда.

Кухарка помещика Евфемия объясняет, почему таинственно исчез табун Полидоро Иебенеса: оказывается, сам помещик купил у хозяина этот табун и тут же угнал его на продажу, чтобы лишить крестьян возможности обмолотить хлеб, помешать им таким образом выполнить договор и под этим предлогом отобрать у них землю. Рушатся последние остатки наивной веры в святость договора между крестьянином и

помещиком. Но то, что еще недавно было бы для крестьян катастрофой, крушением всех устоев, теперь служит лишь подтверждением правильности избранного ими пути.

Последняя кульминационная глава романа. В поселке — месте пребывания муниципальных властей — собираются тысячи безработных шахтеров и батраков, требующих хлеба и работы. Здесь же герои романа, крестьяне, которые требуют справедливого разрешения их спора с помещиком, настаивающим на уплате долга. Скупыми штрихами писатель рисует это море человеческих голов, заполнившее площадь и заставляющее трепетать чиновников и полицейских.

«Судья вслед за секретарем выглянул из открытых дверей и встретился с глазами крестьян. Он не заметил ничего особенного в их почти невыразительных лицах — разве лишь смуглая кожа их лиц и рук чище, чем обычно. Но самым удивительным, что видел судья, было их спокойствие: они не дрожали всем телом, как всегда в подобных случаях...»

Этой сценой подводится итог всему процессу духовного раскрепощения Висенте Риваса и его односельчан. Перед нами не те робкие и покорные крестьяне, с которыми мы встретились в начале романа, это уже иные люди, гордые сознанием своей правоты и силы. Приветствуя компромиссное решение судьи как свою первую победу, они в то же время решительно заявляют о своих законных правах на землю — всю землю! — и вступают в ожесточенную схватку с полицейскими, попытавшимися арестовать рабочего-агитатора. «Землю — крестьянам! Работу — безработным! Да здравствует единство рабочих и крестьян!» — гремит над площадью, и за этими словами стоит все содержание произведения, все прошедшие перед нами человеческие судьбы.

Мы оставляем Висенте Риваса и его односельчан в тот момент, когда они бесповоротно вступают на путь сознательной борьбы, так же как уругвайский гаучо Хуан Мендес в романе Альфредо Гравины «Границы, открытые ветру», как индеец Педро в романе мексиканского писателя Антонио Родригеса «Облако без дождя». Не случайно, а глубоко знаменательно такое совпадение финалов этих непохожих друг на друга романов, посвященных судьбе крестьянства в разных странах Латинской Америки. Стремясь не просто к житейской достоверности, но и к большему — жизненной правде, авторы этих произведений — каждый по-своему — сумели показать пробуждение народных масс к активной исторической деятельности, к решительной борьбе за землю, свободу, национальную независимость.

Борис Полевой

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ДЖОН РИД

Иностранный гость, какого бы он ни был мировоззрения, политических и религиозных убеждений, приехав в Москву, стремится обязательно побывать на Красной площади, в мавзолее Ленина и Сталина.

Весной этого года мне с группой ветеранов Великой Отечественной войны довелось встречать наших старых знакомцев, простых американских парней, с которыми мы впервые увиделись и по-братски обнялись десять лет тому назад, в сверкающий молодой зеленью майский день на берегу бурой взлохмаченной Эльбы против немецкого города Торгау. Бывшие солдаты и сержанты американской армии, приехавшие к нам в гости, в мирной жизни оказались очень разными людьми. Среди них были рабочие, фермер с Юга, инженер, торговец мясом, издательский служащий и молодой бизнесмен. Еще на аэродроме мы предупредили гостей, что никакого маршрута для них мы не придумали. Пусть сами решают, где им у нас хочется побывать. Стремления их оказались очень разнообразными. Но почти все высказали пожелание поскорее повидать Красную площадь, посетить мавзолей.

В взволнованном молчании гости прошли через мавзолей, осмотрели могилы у кремлевской стены.

— Здесь хоронят только руководителей правительства? — спросил фермер с Юга.

— Нет, народ наш погребает здесь самых достойных, самых уважаемых людей. Здесь покоится прах и великого писателя Максима Горького...

Затем мы показали нашим гостям четырехугольник из черного мрамора, вделанный в кремлевскую стену. Золотые буквы говорили, что здесь похоронен американец Джон Рид.

— Джон Рид? — недоуменно переглядываясь, переспрашивали наши гости.

Они явно первый раз слышали это имя. Да и можно ли было требовать от них, совсем молодых людей, иные из которых родились уже после 1920 года, чтобы они помнили или даже знали имя того, чьи

страстные, огневые, заряженные политическим жаром статьи и очерки волновали сердца и умы передовых американцев перед первой мировой войной, в дни войны и в тот славный, навсегда знаменательный год, когда рабочий класс России, вдохновленный и организованный коммунистической партией, совершив Великую Октябрьскую социалистическую революцию, открыл новую эру в истории человечества.

Джон Рид! Имя этого славного американца навсегда останется дорогим для нас, советских журналистов и писателей. И сейчас, когда стихают залпы «холодной войны»

и ветер, подувший из Женевы, начинает рассеивать дымовые завесы империалистической дезинформации, мешавшей народам противоположных континентов как следует разглядеть друг друга, хочется поговорить о Джоне Риде, который был первым американским литератором, рассказавшим своим согражданам правду о Великой Октябрьской социалистической революции, первым янки, от души приветствовавшим рождение новой, социалистической эры, первым гражданином Соединенных Штатов, страстно боровшимся силой своего пера за взаимопонимание, взаимоуважение и дружбу двух великих народов — американского и советского.

Я смотрю на его портрет, предпосланный одной из его книг, изданных у нас в первые годы советской власти. С отпечатанной на плохой бумаге и уже пожелтевшей страницы смотрит открытое молодое лицо. Высокий лоб, смелый разлет бровей. Четко очерченные линии волевого рта. В больших глазах запечатлелся бесконечный интерес ко всему значительному, что происходит на земле. Честное лицо. Лицо борца.

Таким был он, Джон Рид. Славный сын своего талантливого, энергичного народа, жизнерадостный, динамичный, бесконечно трудолюбивый, не боящийся трудностей и не только умевший, но и любивший грести против течения.

Еще будучи студентом Гарвардского университета, он числился среди студенческих бунтарей, воевавших против университетских порядков. Это была юношеская, не очень осознанная и целеустремленная борьба. Но и в нее он сумел внести присущую ему страстность, причем, сын состоятельных и даже именитых родителей, он в этой борьбе всегда был с теми, кто беззаветно воевал против аристократов-белоподкладочников. И в то же время он жаждал жизненного успеха, признания, мечтал о славе, богатстве, блестящем будущем. И он, конечно, не знал в те дни дороги, которая приведет его к действительно большому будущему и настоящей славе.

Окончив университет, юный Рид совершил поездку по Европе, а когда вернулся в Нью-Йорк, чтобы начать самостоятельную жизнь, он с недоумением остановился на распутье жизненных дорог. Чему себя посвятить? К кому примкнуть? Куда идти?

Это было тяжелое предвоенное десятилетие. В среде американской интеллигенции царил полный разброд. Передовые люди уже начали осознавать тот факт, что культура империалистических стран зашла в тупик. Честного интеллигента тошнило от ханжеского пуританства. Он задыхался в тесных обручах, которыми «биг бизнес», захвативший уже все ключевые позиции в общественной жизни страны, сковывал все тесней и тесней свободу личности. Но он не видел действенных способов разбить эти обручи и искал выхода в упадочном искусстве, в кубизме, имажинизме и прочих декадентских «измах», одинаково выхолощенных и бесплодных, в которых пессимизм стал превращаться в своеобразную религию.

Но это же время было замечательно для Америки бурным ростом рабочего движения, укреплением знаменитой организации «Индустриальные рабочие мира», развитием деятельности социалистической партии. Рост этих организаций, их идеи, а главное их борьба с капиталистами, подчас очень острая и поистине героическая, начинали все больше и больше привлекать внимание передовых представителей интеллигенции.

В этой обстановке Джон Рид вступал в настоящую жизнь. Куда же идти? С кем быть? А за окнами гудел Нью-Йорк — самый большой и противоречивый город мира, где люди говорили на десятках языков, где блеск гигантских богатств так близко соседствовал с поразительной нищетой. Город-гигант стал для юного Рида вторым университетом, университетом жизни. И много лет спустя он, став уже знаменитым, писал:

«В Нью-Йорке я получил первые действительные представления о современной жизни. Город и его жители были для меня открытой книгой... Там я впервые понял, что реальная действительность гораздо выше любой утонченной поэзии, плода изощренности, наследия средневековья».

Именно наблюдения над жизнью гигантского города на острове Манхэттен заставили юношу из старой американской обеспеченной семьи, блестящего воспитанника Гарвардского университета, впервые всмотреться в жизнь рабочего класса, приглядеться к его труду, к его борьбе, прислушаться к его чаяниям и мечтам. Организация «Индустриальные рабочие мира» была тогда боевым штабом рабочих. Рид познакомился с руководителем этой организации Уильямом Хейвудом, Большим Биллом, как любовно называли его рабочие. Это знакомство юного, не оперившегося, полного неясных устремлений и колебаний интеллигента с боевым, испытанным во многих классовых схватках вожаком рабочих помогло Риду определить свой жизненный путь.

Вместо смятенных интеллигентов, вслепую и каждый по-своему искавших выход из тупика, убивавших время в академической болтовне, увязавших в путах всяческих «измов», которых не понимал и не принимал народ, юный Рид увидел решительных, энергичных, целеустремленных, сильных людей, суровых борцов. Еще не вполне понимая и не принимая их цели и средства, он сердцем потянулся к ним, к их борьбе, к горестям их жизни и к их скромным радостям.

Нет, в те дни он еще не определил своих позиций по отношению к рабочему классу, борющемуся за свои права. Он

попрежнему мечтал о блестящем журналистском имени, о литературной славе. Он не без блеска писал свои веселые, сдобренные крепким юмором статьи, которые охотно принимались читающей публикой, приносили доход, известность, но никак не отражали растущий интерес их автора к борьбе рабочего класса. В те дни у Рида еще не хватало духа ломать свою так хорошо начавшуюся карьеру, ссориться с издателями из-за политических взглядов. Его признавали. Ему платили большие деньги. Все это было заманчиво, и еще не было сил от всего этого отказаться.

Но когда в Соединенных Штатах стал издаваться новый журнал «Мэссиз», в программу которого входила резкая критика капиталистических порядков, Рид нашел в себе силу пренебречь материальными расчетами, поступился карьерой преуспевающего либерального журналиста и перешел в этот журнал, тираж которого был невелик, где платили неизмеримо меньше, но где можно было откровенно говорить, возмущаться, протестовать.

Очень помогла формированию мировоззрения молодого публициста стачка рабочих шелкоткацких фабрик в городе Патерсоне. Рид, направившись туда в качестве специального корреспондента, ехал, как на обычное редакционное задание. Но прибыв на место, своими глазами увидев борьбу прядильщиков, ткачей, увидев беспримерное мужество и стойкость, с какими держались в этой стачке отцы больших голодающих семейств, увидев подлость предпринимателей, зверства частной охраны, жестокость полиции, увидев собственными глазами все, о чем сурово и немногословно рассказывал ему Большой Билл, Рид не выдержал. Репортер превратился в борца. Страстные статьи, заметки, корреспонденции, полные желчи и гнева, согретые любовью к труженикам, одна за другой полетели в Нью-Йорк.

Их писал уже не прежний Джон Рид — честный интеллигент, сочувствующий людям физического труда, озабоченный их бедственным положением. Их писал борец, участник стачки, готовый вместе с забастовщиками сражаться до победы или разделить горечь поражения. И тут впервые определились позиции молодого публициста, его место в жизни и борьбе.

Сколько новых, поразивших ум впечатлений дала Риду эта забастовка! И прежде всего она показала ему, что рабочий это не объект для сочувствия и соболезнования либерально настроенных буржуа. Она показала, что это могучий класс тружеников, создающий своими руками все ценности на земле, все, что окружает человека в материальном мире. Он впервые познал их сплоченность, их солидарность, их ум, их изобретательность в борьбе.

Ханжески спекулируя на патриотических чувствах американцев, владельцы текстильных фабрик в дни забастовки развешивали на воротах национальные флаги с лозунгом: «Мы живем под этим флагом, мы боремся за этот флаг, мы хотим работать под этим флагом». Так писали они, стремясь расколоть сплоченные ряды забастовщиков. Но именно рабочие были патриотами, и настоящими патриотами. Они любили свою Америку, уважали звезды и полосы ее знамени, нанесенные на него борцами за свободу и независимость. И они достойно ответили на провокацию. Они тоже повесили эти флаги, но с другим лозунгом: «Мы вытkали этот флаг, мы выкрасили этот флаг, и мы не станем скебами под этим родным нам флагом». Эта история дала материал для одной из самых пламенных корреспонденций Джона Рида, посвященных забастовке в Патерсоне.

А на большом митинге бастующих, где Рид видел, как огромная толпа разучивала песню рабочего поэта-революционера Джо Хилла, он сердцем почувствовал всю мощь солидарности тружеников. Хотя не каждый из поющих мог похвалиться хорошим голосом, это была, вероятно, самая могучая мелодия, которую когда-либо слышала Америка.

И честный, смелый, увлекающийся американец Рид с головой окунулся в борьбу еще плохо понимаемых им людей. Он организует для сбора средств бастующим карнавальное шествие и действительно собирает немалые деньги. А когда, расправившись со стачкой, потрясшей всю страну, полиция бросает в тюрьму больше двух тысяч забастовщиков, среди них оказывается и журналист Джон Рид, приехавший в Патерсон со скромным поручением своего журнала освещать ход этой стачки.

Следующим жизненно важным шагом Рида была поездка в Мексику с корреспондентским билетом от «Метрополитена» — одного из самых популярных журналов того времени.

В те дни в Мексике произошли немаловажные события. Силы реакции, подстрекаемые извне могущественными иностранными монополиями, убили либерально настроенного президента Мадеро, который пытался направить страну по пути прогресса и самостоятельного развития. Темные безземельные крестьяне — пеоны, верившие, что реформы, начатые Мадеро, вернут им землю и дадут хоть какую-нибудь возможность для существования, — восстали против убийц президента. В стране появились отряды партизан — гверильясов, которые вскоре объединились под руководством талантливого крестьянского вождя Панчо Вилья. Опираясь на народ, Вилья так умело повел войну, что узурпаторы, располагая регулярными вооруженными до зубов войсками, стали терпеть одно поражение за другим. Им не помогали ни мешки с иностранной валютой, ни современное оружие, щедро поступавшее

из-за границы, ни проклятия гвериньясам, раздававшиеся с церковных амвонов.

И вот реакция, которой развитие гражданской войны в Мексике внушало опасение, которая боялась, что мексиканский пример может распространиться на всю Латинскую Америку, начала бешено обливать грязью и народ, поднявшийся на борьбу, и его героическую армию. Панчо Вилья, этот вождь повстанцев, который умно, хитро и смело разбивал полки регулярных войск, изображался в газетах как кровавый разбойник, насильник и убийца. Подкупленные газеты взывали к правительству Соединенных Штатов, призывали его послать против гвериньясов свои войска. В обоснование интервенции, как обычно в таких случаях, звучали призывы спасать культуру, защищать цивилизацию.

Но вот среди этих ханжеских и лицемерных воплей зазвучал спокойный, уверенный голос Джона Рида. Он был в Мексике. Он жил в самой гуще событий. Он познакомился и подружился с Панчо Вилья и его соратниками-партизанами. Он убедился на месте в правоте того дела, за которое они сражались. Он увидел, что коварству продажных политиканов, могуществу денег, мифам о родовых правах аристократии противостоят крестьяне, борющиеся за кусок хлеба для голодных детей, истинная храбрость, сплоченность и благородство. Он проникся глубоким уважением к Панчо Вилья, этому необыкновенному полководцу-самородку, едва знавшему грамоте и умевшему решать сложнейшие стратегические задачи.

Правдиво и честно Джон Рид рассказал об этом в своих корреспонденциях, собранных впоследствии в книге «Революционная Мексика». Он призывал сограждан к сочувствию мексиканской революции. А когда призывы газет к вооруженной интервенции достигли наивысшей напряженности, со страниц журнала «Метрополитен» прозвучали его весьма убедительные предсказания о том, что война против мексиканских крестьян опозорит Америку, принесет не спасение цивилизации, а лишние слезы и страдания, что «американским солдатам нечего опасаться серьезного сопротивления со стороны мексиканской народной армии, им придется убивать пеонов и их жен, которые будут драться на улице и погибать у дверей своих домов».

Корреспонденции Рида нашли отклик в сердцах честных американцев. Их читали, как говорится, запоем. Поездка в Мексику принесла Риду широкую известность. Но он вернулся на родину не для того, чтобы пожинать славу, а для того, чтобы снова включиться в борьбу тружеников, на этот раз в борьбу шахтеров в Ладло, которая была столь упорна и остра, что напомнила ему войну в Мексике. Теперь уже он не просто описывает события, не просто радуется и негодует. Он умеет анализировать происходящее, он хорошо знает, на чьей стороне власть и на чьей правда. И он пишет в одной из своих корреспонденций: «Рабочие производят все богатства человечества, которые затем поступают в распоряжение тех, кто их не заработал».

Яснее не скажешь. Это уже мировоззрение. Голос Рида становится слишком громким для того, чтобы можно было сделать вид, будто его не слышишь. К нему действительно прислушиваются. Имя Рида становится очень популярным в среде прогрессивной интеллигенции. Однокашник Рида по Гарвардскому университету известный публицист Уолтер Липпман пишет в одной из распространенных нью-йоркских газет статью о Риде, в которой он, отдавая должное популярности, храбрости, репортерской зоркости журналиста, пытается изобразить его как некоего ловца сенсаций, легкомысленного любителя приключений, не смыслящего ничего в политике, которого, в сущности, нельзя принимать всерьез. Этой статье Липпман предпосылает иронический заголовок «Легендарный Джон Рид».

Да, Рид не был в те дни марксистом. Больше того, он, судя по его корреспонденциям того времени, и не старался обобщать свои наблюдения. Но это был честный американец с острым глазом, отзывчивым сердцем, чутким умом. Он писал о том, что видел, и писал то, что об этом думал. Писал живо, ярко, страстно. И именно это умение наблюдать жизнь в острых типических проявлениях формировало и совершенствовало его мировоззрение.

Во время войны 1914 года он не устает твердить в своих статьях: «Это не наша война». Он активно борется против войны и пишет в журнале «Мэссиз», обращаясь к рабочим: «Вам следовало бы понять, что ваши враги не немцы и японцы. Ваши враги это два процента населения США, которые владеют шестьюдесятью процентами всего национального состояния: я имею в виду ту шайку беспринципных «патриотов», которые ограбили вас дочиста, а теперь хотят сделать из вас солдат, чтобы защищать награбленное».

Эти прямые страстные высказывания против войны закрывают перед Джоном Ридом одну публицистическую трибуну за другой. Все труднее ему печатать свои статьи. Его мать, которую он до конца жизни любил и уважал, в письмах своих резко упрекает его за антивоенные настроения. Но и это не поколебало Рида. Он был уже сознательным борцом. Потеря положения в обществе и благ капиталистического мира не могут его остановить: он уже не дорожит ими.

Когда же в конце империалистической войны из объятой пламенем Европы пришло сообщение о революционном восстании в России, Рид понял: приближается то, о чем он мечтал в своей статье, написанной им в день, когда ему исполнилось тридцать лет. Война переполнила чашу народного терпения. Капиталистический

мир дал трещину. Уже видны отблески зари нового мира. Джон Рид пренебрег серьезной болезнью, настоятельными советами врачей соблюдать покой, сунул в чемодан записную книжку и ринулся в далекое путешествие.

Джон Рид прибыл в Петроград в сентябре 1917 года, в те самые дни, когда силы русской революции только что прошли жестокую пробу подавления корниловского мятежа. Во время войны Рид уже побывал в России, ездил по восточному фронту как военный корреспондент. Он был уже знаком с русской жизнью, знал основы языка, а главное знал русский народ, о самоотверженности и героизме которого, проявлявшихся даже в условиях царской армии, он писал в своих военных корреспонденциях. Все это помогло наблюдательному американцу разобраться в обстановке, понять, что меньшевики, эсеры, кадеты — все, что ютилось под ветхой крышей временного правительства Керенского, по существу, обанкротилось и что только большевикам, призвавшим к оружию рабочих, крестьян и солдат, удалось повести их против Корнилова, на защиту красного Питера. И проницательный честный американец писал тогда из Петрограда: «Сквозь бурю событий, следующих одно за другим с калейдоскопической быстротой, уверенно восходит звезда большевиков. Советы рабочих и солдатских депутатов значительно окрепли после подавления корниловского мятежа, вновь стали подлинным правительством, и влияние большевиков в Советах растет с каждым днем».

Рид писал, что здесь, в России, которая вчера еще была отсталой сельскохозяйственной страной, тюрьмой народов, родилась та новая, могучая, непобедимая сила, отсутствие которой позволило реакции потопить в крови восстание гверильясов в Мексике, позволяет подавлять героические забастовки в Соединенных Штатах, где порой каждый участник событий герой и готов пожертвовать счастьем своей семьи для победы общего дела. Он увидел здесь партию большевиков, которая объединяет тружеников, ведет их, делает их непобедимыми.

Джон Рид реально смотрел на вещи, он научился взвешивать и сопоставлять события. Он был честным человеком. И остро, страстно, убедительно рассказал он Западу о том, что увидел в нашей стране.

В Питере тех дней было холодно, голодно, темно. Но Рид, привыкший все видеть своими глазами, ходил по городу, беседовал с рабочими. Прислушивался и к спорам в трамваях и к тому, что говорилось с трибун. Беседовал и со случайным соседом на вокзальной скамье и с лидерами партий. Сопоставляя все узнанное, он все больше и больше склонялся к тому, что колесо истории сделало свой решительный поворот в сторону социализма здесь, в голодной, холодной, разоренной войной, раздираемой противоречиями России, на которую капиталистический Запад смотрел теперь с недоумением и страхом.

Когда же слова Ленина о том, что сейчас мы переходим к построению социалистического общества, прозвучавшие в Смольном в ноябре 1917 года, подняли с мест всех собравшихся, вместе с ними вскочил, бешено аплодируя, по-русски крича «ура», высокий плечистый американец с загорелым, совсем еще молодым лицом.

«...Внезапно в едином порыве мы встали и дружно запели «Интернационал». Торжественные звуки этого нового революционного гимна просачивались сквозь окна зала и полились на улицу»,— писал он потом, вспоминая это мгновение.

Бродя по Петрограду, по Москве, разъезжая по России, Рид наблюдал, записывал, сопоставлял, осмысливал все то грандиозное, свидетелем чего он стал. И если в первых своих корреспонденциях он лишь благородный, старающийся все понять свидетель-иностранец, то в последних, заключительных и самых сильных, он уже участник событий, захваченный и увлеченный ими.

Буржуазия, напуганная тем, что произошло в России, не жалела ядовитой слюны для того, чтобы оболгать Октябрьскую революцию, молодую советскую державу, ее руководителей, имена которых тогда становились известными всему миру. Белогвардейцы снабжали продажные газеты самым диким враньем, которое тотчас же подхватывалось и раздувалось. На весь этот визг, вой, хрюканье продажной печати американец Джон Рид ответил горячим, живым репортажем о виденных им событиях — книгой «Десять дней, которые потрясли мир». В ней он собрал свои непосредственные впечатления. Может быть, именно поэтому он не смог выделить главного, может быть, именно поэтому его книга не свободна от серьезных недостатков. Нужно учитывать и то, что Рид не располагал теми фактами, которые выявил лишь последующий ход истории.

Десять дней, которые потрясли весь мир, потрясли и самого Рида. Они заставили его понять, что к светлому будущему народы смогут прийти лишь путем коллективных организованных усилий, и привели его, потомка американских пионеров, сына состоятельного бизнесмена, в ряды коммунистической партии.

Джон Рид умер в Москве тридцать пять лет тому назад, в октябре 1920 года. Прах славного сына Америки покоится в кремлевской стене, где советский народ погребает останки самых достойных, самых уважаемых сограждан. И вспоминая иронически поставленный Уолтером Липпманом заголовок к своей статье об этом выдающемся американце, я хочу с полным уважением к памяти Рида также назвать эту статью «Легендарный Джон Рид».

Мунир Сулейман

Арабская культура и современность

Образование арабской культуры относится ко времени мусульманских завоеваний в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Огромную роль в ее распространении сыграл арабский язык, который явился тем орудием, с помощью которого были объединены достижения других существовавших в то время культур, и в первую очередь достижения индийской, персидской, греческой и римской культур.

В области философии арабская культура с самого начала своего зарождения отличалась большой смелостью в поисках истины и широким распространением среди народа. Своего расцвета арабская философия достигла в четвертом веке мусульманского летоисчисления, когда на арабский язык были переведены выдающиеся памятники греческой философии, критически освоенные и дополненные рядом новых мыслей. Среди арабских философов появились такие ученые, как Аль-Фараби, Ибн-Рушд, ученые группы Ихуан ас-Сафа и другие, которые восприняли и развили философское учение Аристотеля. Следует отметить и тот факт, что перевод на арабский язык произведений древнегреческих философов оказал и сам по себе огромную услугу человечеству, так как спас для него великое наследие греческой философской мысли.

Что касается точных наук, то и в этой области арабская культура достигла больших успехов. Достаточно сказать, что арабы создали алгебру, автором которой считается Джабар аль-Куфий. Арабы же изобрели цифры, которые сыграли большую роль в деле дальнейшего развития математических наук. Арабы создали алхимию, которая, как отмечал Энгельс, явилась прообразом современной химии. Они значительно обогатили и продвинули вперед медицинскую науку. Арабы внесли большой вклад в астрономию. Прогресс этой науки в арабских странах обусловливался их природными условиями, вызывавшими необходимость ориентироваться по звездам во время длительных путешествий по пустыням и морям.

Крупных успехов достигли арабы и в области сельского хозяйства. Ими были созданы сети ирригационных каналов; они научились прекрасно владеть техникой эксплуатации почвы.

Арабы создали новый стиль в архитектуре. И до сих пор блистают своей красотой Омейадская мечеть в Дамаске, мечети Кордовы, Альгамбра и другие.

Больших высот достигли арабы в литературе. Среди поэтов отметим имена Абу ат-Тайиба аль-Мутанабби и Абу аль-Аля аль-Маари.

Так, в результате слияния достижений древнейших культур и обогащения их новым содержанием расцвела прогрессивная и гуманная культура арабских народов, служившая целям вооружения человека для его борьбы с невежеством, болезнями и трудностями природных условий.

С течением времени солнце этой культуры начало клониться к закату. На страны Арабского Востока обрушились и овладели ими чужеземные племена. Особенно длительным и жестоким для арабских народов явился период господства османов. Он начался в XV веке захватом Константинополя и окончился лишь в XX веке, после первой мировой войны.

Но и в этот трудный для арабских народов период передовые люди находили средства для борьбы за сохранение своего языка и культуры. Эта борьба сливалась с борьбой за независимость, за освобождение от иноземного гнета, за социальные реформы. В Сирии и Ливане такими людьми были Ахмад Фарис аль-Шидйак, Аль-Язиджи, Абдаррахман аль-Кауакиби и другие. В Египте, где в XIX веке на смену османскому владычеству пришел британский империализм, также появилась группа выдающихся деятелей и среди них — Джамаль ад-Дин аль-Афгани, который поднял знамя борьбы за освобождение, Мухаммед Абдо, Мустафа Кямиль, Адиб Исхак и многие другие. Необходимо назвать имя Аль-Баруди, который по праву считается отцом современной арабской поэзии. Прогрессивные литераторы появились и в других арабских странах. Таким образом, мы

Мунир Сулейман — литературовед, директор библиотеки Национального музея в Дамаске (Сирия).

видим, что начало возрождения арабской культуры тесно связано с борьбой за независимость. Первые яркие лучи вновь блеснули из-за темных туч.

С этого времени арабская культура принимает новое направление, пробуждая в народе национальные чувства, поднимая его на борьбу за свободу. Это новое направление проявилось в том, что молодое поколение деятелей культуры, хотя оно и получало попрежнему старое традиционное воспитание, начало ставить в своих работах вопросы, интересующие самые широкие слои народа. Из таких деятелей можно назвать имя Ахмада Шауки — одного из крупнейших арабских поэтов. На раннем этапе своего творчества он пел дифирамбы королям и эмирам. Однако позже он примкнул к новому направлению в литературе и стал прославлять борьбу сынов арабских стран против чужеземного гнета. Среди его великолепных касыд * есть одна особенно известная, в которой поэт прославил жителей Дамаска за их мужественную борьбу против французского империализма, проявившуюся в героическом восстании 1925 года.

Новое поколение писателей уже испытало на себе благотворное влияние Великой Октябрьской революции в России. Конечно, в различных странах это влияние было различным. Оно было различно так же, как различно воспринимают свет Солнца другие небесные тела. Получив свет, они сами начинают излучать его, но одни в большей, а другие в меньшей степени.

Сирия и Ливан восприняли свет Октябрьской революции с большой радостью, и национальная культура обеих стран заблистала от этого света. Мы видим его сияние и в литературе и в науке. Писатель Омар Фахури выступил горячим поборником метода социалистического реализма в арабской литературе, призывая писателей и поэтов воспитывать в народе дух патриотизма и борьбы против империализма, поднимать народ на борьбу за счастливую свободную жизнь, за создание мира, в котором бы царили мир, счастье и изобилие.

Огромное влияние на сознание арабских народов оказало ленинско-сталинское учение о национальном вопросе. Лидеры реформации в арабских странах, призывая народ бороться против империализма, лишь негативно разрешали национальный вопрос. Они не раскрыли до конца характер империализма, не указали научно верных путей, ведущих к освобождению и независимости. Решение национального вопроса в Советском Союзе воодушевляет народы арабских стран, так как они наглядно увидели осуществление того, к чему так долго стремились и чего так пламенно желают.

Большое влияние на формирование взглядов, особенно молодежи, оказывают у нас и произведения советской художественной литературы. Они учат молодых писателей тому, как нужно служить своему народу, откликаться на его нужды и чаяния, удовлетворять его желания.

Правда, знакомство с достижениями советской культуры затрудняется незнанием русского языка. Наша интеллигенция знакомится с ними большей частью по переводам на английский или французский языки. Но мы ощущаем острую потребность более тесного и систематического ознакомления с культурой Советского Союза, и, следовательно, должно наступить время, когда широко распространенное знание русского языка позволит делать непосредственный перевод на наш язык произведений советских авторов.

Знаменательно, что в результате развития нового направления в арабской культуре уже и сейчас переведено большое количество трудов Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина.

Другим важным моментом является появление арабской политической демократической литературы и ее громадная популярность среди народа. Теперь уже редки случаи, когда писатель или поэт не придает своим произведениям политического звучания. Новая арабская литература возбуждает чувства патриотизма и борьбы за национальное освобождение, за построение общества, уважающего права и достоинство человеческой личности.

Новая арабская культура имеет также в качестве одной из своих главных целей укрепление основ дружбы и братства между арабскими народами и их друзьями во всем мире, в первом ряду которых арабы видят Советский Союз, народный Китай и другие миролюбивые демократические страны.

Конечно, новая демократическая идеология встречает жестокое сопротивление со стороны империалистов и их прислужников. Они стремятся всеми силами воспрепятствовать ее распространению. Но эти происки обречены на провал. Из года в год возрастает сознательность народа. Рассадниками идей прогресса и демократии являются национальные школы, число которых непрерывно растет как в городах, так и в деревнях. Достаточно сослаться на пример Дамасского университета, число учащихся которого уже достигло десяти тысяч, хотя еще несколько лет назад оно едва достигало одной тысячи.

Наши страны хотели бы находиться в положении Луны, которая питается светом Солнца и, в свою очередь, дарит его людям. Они хотели бы осуществлять широкий культурный обмен, чтобы черпать новые знания, заимствовать их из опыта других стран. И в этом своем стремлении мы обращаем взор в первую очередь на достижения советских народов.

Дамаск

* Касыда — торжественная ода, стихотворный жанр в литературах народов арабских стран, Средней Азии, Азербайджана, Ирана.

ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ О ЗАДАЧАХ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Подготовляя номер журнала, выходящий в дни тридцать восьмой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, редакция обратилась к ряду известных деятелей культуры и ко многим зарубежным общественным и культурным организациям с просьбой прислать отклики и статьи, посвященные отмечаемой дате или связанные с ней.

Многие организации и деятели культуры откликнулись на нашу просьбу. Мы получили ответы из Китая и США, Чехословакии и Франции, Англии и Болгарии, Канады и КНДР, Швеции и Швейцарии, ГДР и Аргентины, Австрии и из других стран. Часть присланных нам материалов печатается в этом номере журнала. Некоторые материалы мы надеемся использовать в дальнейшем. Вместе с тем считаем своей приятной обязанностью выразить нашу горячую признательность всем организациям и лицам, которые проявили дружескую готовность выполнить нашу просьбу и приложили к этому немало усилий.

Нам кажется вполне естественным, что, говоря об этой дате мирового исторического значения, большинство авторов печатаемых нами статей затрагивают вместе с тем самые насущные, самые животрепещущие и близкие им творческие проблемы. Это лишний раз свидетельствует о наличии тесного и неразрывного единства между творчеством подлинного художника и жизнью с ее стремительным развитием и непрестанным движением вперед. «Художник и жизнь» — именно таким мог бы быть заголовок, объединяющий все эти статьи.

В напечатанном на страницах нашего журнала «Письме в редакцию» М. А. Шолохов высказал справедливое пожелание, чтобы журнал стал «трибуной творческого общения для всех тех, кому дорого живое дело современной литературы».

Мы надеемся, что обмен мыслями и мнениями, начатый на страницах этого номера теми, кому дорого и близко подлинно живое дело современной литературы, будет продолжаться и впредь, принося неоспоримую пользу не только самим писателям или читателям, но и благородному делу укрепления мира и взаимопонимания между народами.

Мария Майерова

Искусство и революция

Искусство и революция... В чем суть идейной борьбы вокруг этих понятий в капиталистических странах и в странах народной демократии?

Там, где господствует старый порядок, революции боятся не только капиталисты, но нередко и некоторые совершенно неимущие художники, которым внушают, что революция лишит их всякой свободы творчества. Это ложное мнение держалось долго и у нас, в прежней Чехословакии, и из-за политической незрелости художников, и в результате влияния класса, к которому принадлежали многие из них и из которого

они вышли, а главным образом, конечно, под воздействием тенденциозной буржуазной пропаганды.

После 1948 года я, помнится мне, получила от какого-то западноевропейского культурного общества анкету; в нее был включен вопрос о том, имею ли я возможность в нынешней Чехословакии свободно писать о чем хочу и как хочу, запрещен ли мне какой-либо род литературной деятельности, не навязан ли мне стиль моих произведений?

На такие смехотворно-наивные вопросы, приходящие из другого мира, иногда даже трудно всерьез и отвечать. Однако совершенно необходимо отвечать на идейно-творческие вопросы, возникающие у художников как в Советском Союзе — мы это видели на II Всесоюзном съезде советских писателей, — так и в других странах. Это особенно важно, когда речь идет о странах народной демократии, где сейчас производится переоценка многих «установившихся» мнений.

Снова и снова художники задумываются: что такое искусство? Когда я, как и многие другие писатели, ищу ответа на этот вопрос, то прихожу к выводу: задача искусства состоит в том, чтобы отражать действительность, способствовать ее преобразованию.

Это означает: используя сырой, неоднородный, зачастую случайный материал, создавать у читателя ясное представление о новой действительности, т. е. типизировать в своем творчестве черты своего времени, изображая их при помощи тех средств и красок, какие свойственны писательской индивидуальности.

Почему я об этом говорю?

Потому что и сама революция, по своей сути, означает не что иное, как преобразование действительности. Революция, опираясь на научное познание реальной жизни, учитывая ее противоречия, в процессе классовой борьбы превращает старый строй в действительность нового мира, избавляя общество от язв и пороков капитализма.

Конечно, перемены таких масштабов не происходят сразу, мгновенно, как бы по мановению волшебной палочки. Даже творческие перемены в мастерской художника и те не происходят сразу и каждодневно. Становление художественного произведения имеет свои законы и свои методы постепенного осуществления.

Художник должен изучать реальную действительность во всех формах и проявлениях. Он должен смотреть далеко вперед и видеть перспективы общественного развития. Он должен научиться глубоко постигать причинную связь событий, без чего ему не удастся создать подлинно художественное произведение.

Некоторые определения метода художественного творчества явились предметом многочисленных обсуждений именно в послереволюционный период. Что такое социалистический реализм? Стиль, метод или творческая директива? Есть ли у него отличительные признаки? Если да, то каковы они и как их установить?

Для меня приемлем такой ответ:

Социалистический реализм — это отношение всех видов искусства к действительности нашего общества, идущего к коммунизму. Это — утверждение народности. Это — коммунистическая партийность произведения.

В целом же, думается мне, социалистический реализм в искусстве — это прекрасный плод революции, созревающий с каждой новой весной, всякий раз дающей ему новую и новую жизнь.

Прага.

Лион Фейхтвангер

Литература — сила, сближающая народы

1

Литературное произведение попадает к зарубежному читателю, лишь преодолев многочисленные препятствия. Даже лучший перевод не передает всей сути подлинника, не передает того, что нередко занимает наибольшее место и в душе автора, и в его произведении. Но если, несмотря на это, произведение живет и дышит, оно неизбежно вовлекает в эту свою жизнь читателя, даже очень от нее дале-

кого, оно заставляет его войти в чуждый для него мир и во всей необычности этого мира дает ему возможность увидеть и почувствовать то, что Гёте называл «тождественностью всех».

Пожалуй, каждому писателю приходилось когда-либо с болью убеждаться в том, насколько грубо и чуждо звучит в переводе его собственное, особенно любимое им произведение. Мне вспоминается, как утешал меня однажды Генрих Манн: «Не будем принимать этого так близко к сердцу. Читали же мы произведения великих русских классиков в отвратительных переводах, и все же они глубоко нас трогали».

Большая литература преодолевает границы пространства и времени. Представления, исходя из которых Агамемнон приносит в жертву свою дочь, а Антигона со всей яростью и страстью борется за погребение тела своего брата, — эти представления совершенно нам чужды. Но поэт и через три тысячи лет заставляет нас переживать эту внешнюю и внутреннюю борьбу, как если бы мы сами были ее участниками. Нам непонятен мир Гомера. Кроме того, подлинная обстановка эпохи завоевания Трои известна нам гораздо лучше, чем Гомеру, и мы знаем, что Гомер ошибается в изложении фактов. Но несмотря на причудливое внутреннее и внешнее облачение и несмотря на то, что всякое насилие претит моей душе, я радуюсь от всего сердца, когда Одиссей кровожадно истребляет женихов Пенелопы. И когда старый Приам вымаливает у Ахиллеса тело своего сына Гектора, а Ахиллес отдает его Приаму, говоря при этом: «А теперь, старик, убирайся-ка прочь поскорее, пока мною не овладела ярость и я не убил тебя», — в эти минуты я переживаю и страх Приама, и великодушие и гнев необузданного Ахиллеса.

В неменьшей степени захватывает и поэзия библии. Рассказчик прекрасной сказки о Иосифе, автор романа о царе Давиде заставляют меня разделять все суеверия того времени, забыв об их бессмысленности, чувствовать все их значение и ощущать их многогранную жизненность.

2

Пространство преодолевается писателем еще легче, чем время. Вспомним о литературе народов Востока. В основе индийской драмы «Глиняная тележка» лежит вера в непостижимый, стихийно капризный рок, а предпосылкой драмы служит совершенно чуждое нам понятие об общественном положении баядерки — знатной проститутки. И все же как при чтении, так и при исполнении на сцене мы сразу же постигаем жизнеощущение индийца и благодаря его убежденности в слепом произволе рока мы воспринимаем его освященный разумом энтузиазм перед революцией. В такой же мере пьеса «Меловой круг» раскрывает перед нами внешний и внутренний мир Китая в большей степени, чем это могут сделать сто точных этнографических исследований.

Я прочел много теоретических трудов о царской России, но впервые она открылась мне лишь в книгах Толстого и Чехова. Я проштудировал сотни две книг о походе Наполеона в Россию, но сущность этого похода я понял только тогда, когда прочитал «Войну и мир». Мне известно множество объективных изложений хода Октябрьской революции и описаний Советского Союза, но подлинные предпосылки революции я постиг лишь после прочтения рассказов и романов Горького, а Советский Союз я узнал из произведений советских писателей, в особенности Маяковского и Шолохова.

В самых лучших очерках, описывающих ход и цели китайской революции, многое остается абстрактным и безжизненным даже и для благожелательного читателя. Но стоит ему прочесть «Возницу» Тянь Цзяня — и перед ним тотчас же откроется внутренний и внешний мир Китая, читатель увидит его, он заживет жизнью китайского народа.

3

Удивительно, как сказывается влияние хорошей книги за пределами родины ее автора и как многообразно это влияние. Там художественное произведение обычно воспринимается совсем не так, как в стране, где оно родилось. Если книга удается писателю, она начинает вести самостоятельную жизнь, как только он ее заканчивает, и нередко влияет на те стороны жизни, о которых автор и не думал. Особенности книги, которые кажутся автору второстепенными, вдруг выступают на первый план, вырастают и становятся значительными.

Драмы Шекспира приобрели ныне в Советском Союзе и Китае совсем не тот смысл, какой был вложен в них драматургом, но приобрели они этот новый смысл только потому, что драмы эти полны жизни. Немецкий читатель, вероятно, лучше улавливает тонкости известных произведений Генриха Манна «Верноподданный» и «Учитель Унрат». Но общий облик Германии, воссозданный в этих книгах, гораздо легче схватывается не немцем — об этом свидетельствует любая иностранная рецензия. Мелкие подробности в книгах Горького, не привлекающие внимания русского читателя, приобретают особый смысл в глазах иностранца; они остаются в его памяти, в них он находит «Россию». «Геккльберри Финн» Марка Твена стал для американцев детской книгой. Американские читатели уже не замечают той проникнутой глубокой горечью любви к родине, какой полна эта книга. Немецкий или русский читатель гораздо сильнее чувствует всю глубину, горечь и мировое значение юмора Марка Твена.

Иностранная литература показывает читателю, что именно отличает его от людей других стран; но она же позволяет ему полнее, чем что-либо другое, ощутить и то, что объединяет его с людьми в других странах.

Влияние жизнеспособных книг зачастую распространяется хоть и очень медленно, зато крепко и сохраняется надолго. И читатель, когда он встречается с иностранцем, облеченным в плоть и кровь, видит в нем то, что ранее открыла ему книга.

Хорошие книги объединяют народы прочно и на долгие времена. Сервантес был прав, когда сказал: «Ни корабль, ни коляска, ни верховой конь, ни твои собственные ноги не позволят тебе так глубоко и так далеко проникнуть в чужие страны, как это сделает хорошая книга».

Пасифик Палисейдс, Калифорния

Поль Робсон

Песни свободы

«В каждой ноте звучал протест против рабства», — писал Фредерик Дуглас, вспоминая, как пели рабы на одной из плантаций Юга. Он бежал из рабства и стал впоследствии выдающимся вождем аболиционистского движения. В своих мемуарах он говорит: «Эти песни все еще звучат в моих ушах; вспоминая их, я еще острее ненавижу рабство, еще глубже сочувствую моим братьям, томящимся в оковах».

И мне также дороги эти песни моего народа — в течение трех десятилетий я пою их во всех странах мира. И повсюду эти глубоко волнующие мелодии и слова находят живой отклик в сердцах людей. Им внимают все народы — и те, которые уже свободны и празднуют Октябрьскую годовщину или наступившие позднее другие даты национального освобождения, и те народы, что еще угнетены. Облеченные в библейские образы (отсюда и название «спиричюэлз» — «духовные песнопения»), песни эти выражают горячий протест против угнетения, непоколебимое стремление к свободе.

«Не дал ли господь избавление Даниилу? А если ему, то почему не всем?»

«Ступай, Моисей... И скажи старому фараону: отпусти мой народ!»

«Скоро, скоро я сложу свою тяжкую ношу».

В этом году исполняется тридцатая годовщина моего первого концертного выступления. Я дебютировал, как вспоминаю теперь, с программой, целиком составленной из негритянских «спиричюэлз». Сложившие их композиторы и поэты остались неизвестными; они носили тяжелые оковы, но от всего сердца воспевали свободу и радость. Со мной выступал в Нью-Йорке в тот вечер Лоуренс Браун, известный негритянский пианист; он обрабатывал для меня музыку и вплоть до своего ухода на покой был моим аккомпаниатором.

Рискуя нашим творческим будущим, мы решили все же, что песни негритянских

рабов в отношении своей музыкальной значимости выдерживают сравнение с общепризнанными классическими произведениями и вполне могут быть включены в концертную программу.

Это была революционная идея, и она имела успех. То, что требовалось доказать, было доказано.

В течение первых пяти лет мы совершали концертные турнэ по Америке и за границей, не исполняя ничего другого. Мы не слушали людей, утверждавших, что нам как артистам, выступающим с концертами, следует отказаться от исполнения народных песен и нужно посвятить себя исполнению «серьезной» музыки: немецких романсов, итальянских оперных арий и т. д. И мы никогда не сожалели о сделанном нами выборе.

В дальнейшем, преисполненные огромного уважения и любви к музыке нашего народа, мы приблизились к пониманию народных песен других наций и включили многие из них в наш репертуар. В песнях других народов — ирландских, валлийских, шотландских (с ними я познакомился за границей раньше всего) — я встретил то же хорошо известное мне по негритянской музыке возмущение против векового гнета и нищеты.

Задолго до меня Фредерик Дуглас, как я узнал впоследствии, обнаружил то же самое, когда он разъезжал по Британским островам с лекциями о необходимости освобождения своего народа. В той главе из его автобиографии, которую я цитировал выше, Дуглас отмечает, что оттенок глубокой меланхолии представлен даже в веселых по содержанию негритянских песнях. Он говорит далее: «С тех пор, как я перестал быть рабом, я нигде не слышал подобных песен, за исключением Ирландии. Тут я вновь услыхал те же надрывные напевы, и они меня потрясли Случилось это во время голода 1845—1846 годов».

Как радостно было открывать в песнях глубокое родство всего человечества независимо от различий истории, языка и культуры — братство всех рас, узы, связующие воедино тружеников мира. И вместе с этим пониманием приходила радость от исполнения песен простого народа: баллад, колыбельных, песен борьбы — драгоценного наследия человеческого духа, переходящего из столетия в столетие, наследия, столь богатого мелодичностью, мужеством, чувством товарищества.

В дальнейшем я узнал о великих композиторах, произведения которых были мне особенно близки по духу, о таких людях, как, например, Мусоргский, чьи классические произведения основаны на речевых ритмах народа. Точно так же в наше негритянское песенное творчество перешли особенности негритянского народного говора и своеобразие речи проповедников. И вот тут-то и была найдена «серьезная» музыка, которую мог исполнять народный певец, были найдены те песни композиторов-классиков, которые могли исполняться вместе с песнями трудового люда: «Сиротинушка» — с песней «Я порою себя чувствую, словно я дитя без матери», отрывки из «Бориса Годунова» — с народной эпической песней «Джон Генри».

Ближе и дороже всего моему сердцу песни о народной борьбе наших дней В прошлом месяце (в июле. — *Прим. ред.*) я вновь давал у канадской границы концерт под открытым небом для огромной аудитории, состоящей из рудокопов и их семей — сынов и дочерей бессмертного Джо Хилла. Сегодня запишут на пластинку песню чилийских шахтеров в моем исполнении. Эту пластинку я отошлю Пабло Неруде в Чили, через неделю она прозвучит на массовом митинге в Сант-Яго.

И в скором времени — после пяти лет фактического «домашнего ареста» — я должен добиться права ездить повсюду. Какая это будет радость снова выступать перед народами великого Советского Союза, ощущать их горячую любовь и их стальную силу, слышать, как поют они все, гордые и свободные, — дети Пушкина и Мусоргского, Ленина и Горького! С радостью буду я петь вновь с народами новых демократий Европы и Азии, с обретшими свободу народами Индии, с шахтерами Уэльса и докерами Лондона, с моими братьями в Африке, с жителями Парижа и Рима, Сант-Яго и Сиднея — петь с народами всего земного шара песни мира и свободы.

Нью-Йорк.

Лао Шэ

Лицом к жизни

О художественном творчестве в Китае есть пословица: «Изобразить черта легко, человека — трудно». И действительно, чтобы изобразить черта, не нужно знать ничего о реальной жизни. Тут можно дать волю кисти, малевать как попало: похоже или непохоже — с полной достоверностью определить не возьмется никто. Для того же, чтобы изобразить человека, нужно обязательно жить среди людей.

Я полагаю, что при оценке любого произведения искусства мы вправе исходить из того, кто в нем изображается: черти или люди. Музыка и литература, в которых доминирует тема черта, равно как и прочие произведения, пропитанные тем же духом, не имеют ничего общего с жизнью человека, оторваны от реальной действительности и потому не могут иметь никакой художественной ценности. Если же подобного рода чертовщиной кто-нибудь и восторгается, то не иначе как в обществе чертей. Нечего и говорить, что еще не родился человек, который захотел бы жить в таком обществе. Правда, великий Данте изобразил ад. Но как реалистичен этот его ад! Мир чертей у Данте есть не что иное, как своеобразная форма изображения реального мира; именно потому и было столь сильным воздействие его творчества на современников.

Великая Октябрьская революция разбудила народы всего мира. В ослепительном сиянии Революции исчезло мистическое искусство. Мертворожденный декаданс и прочие потерявшие опору бесчисленные течения одно за другим утратили свое «влияние». Родилось новое могучее искусство; его содержанием стали кровь и пот человека, его благородный труд, его революционный энтузиазм, его счастье. Оно рассказывает о горячей любви людей к сегодняшней жизни, об их борьбе за счастливое завтра. Блестящим образцом такого искусства для всего человечества явилось прежде всего советское искусство.

Новое искусство «изображает человека, а не чертей».

«Изобразить человека трудно»! — именно эту трудность мы и должны преодолеть.

В Китае великий Председатель Мао Цзэдун еще в 1942 году указал художникам правильный путь: искусство должно служить рабочим, крестьянам и солдатам. Чтобы практически следовать по этому правильному пути, художник должен повернуться лицом к жизни, с головой окунуться в жизнь.

Такой курс изменил все направление исторического развития китайского искусства. Проблема критического освоения художественных традиций прошлого также получила верное истолкование.

Для практического осуществления нового курса художники должны прежде всего перевоспитаться идейно, а это невозможно без ожесточенной борьбы. Правильность такого утверждения легко пояснить на примере с Ху Фыном.

Ху Фын — контрреволюционер, втершийся в ряды работников литературы и искусства. Я не буду здесь распространяться о его контрреволюционных преступлениях. Хочу лишь коснуться того, как и почему Ху Фыну удалось оказать немалое влияние на нашу литературную молодежь. Одной из сторон его контрреволюционной деятельности было сопротивление идейному перевоспитанию. Его «теория» сводилась к тому, что жизнь есть всюду, есть она также непосредственно вокруг каждого из нас, и потому, дескать, незачем изучать жизнь, незачем учиться у трудового народа. Эта «теория» пришлась как нельзя более по вкусу лодырям, не желавшим принимать практического участия в общенародной борьбе. Они предпочитали сидеть в четырех стенах, за закрытой дверью и «рисовать чертей». Просто и легко. Лицо черта можно сделать и синим, и белым, и черным, и красным. У него может быть хоть восемь рук и пять ног. Пиши, рисуй, пой, как бог на душу положит. Вот это свобода! Немало молодых людей с помощью таких рассуждений были обмануты Ху Фыном и вместо того, чтобы повернуться лицом к жизни, отвернулись лицом к стене! Если же «творение», созданное в положении «лицом к стене», не удавалось опубликовать, Ху Фын утверждал: «Нет свободы!»

Таким способом он снискал доверие наивных молодых людей. В этом и состоял один из применявшихся им методов отравления сознания молодежи.

Во всех без исключения произведениях, опубликованных в прошлом членами группы Ху Фына, — будь то стихи, пьесы или романы, — авторы искажали образы людей из народа, подгоняя их к собственному отвратительному обличью, как говорится, подходили к хорошему человеку с меркой подлеца. Такие произведения не выдерживают испытания рентгеном революции. Просвечивание показывает, что все это лишь грязные отбросы, смрадная контрреволюционная слизь.

Авторы таких произведений не знают жизни, ибо они ненавидят послереволюционную действительность. Весь китайский народ с презрением отворачивается от них. Работники литературы и искусства всей страны, наконец, прозрели и вымели вон эту нечисть. Только освободившись от затаившейся контрреволюции, они смогут очистить свои ряды и обеспечить еще более могучий расцвет литературы и искусства.

Это — ожесточенная борьба, и победа в ней будет за художниками, по-настоящему понимающими жизнь, воспитывающими народ в духе патриотизма и социализма. Всекитайское собрание народных представителей уже приняло первый пятилетний план развития нашего народного хозяйства. Отныне наша творческая жизнь еще теснее сомкнется с политической и общественной жизнью; появятся произведения, отражающие наше движение к социализму. Мы живем в небывало великую историческую эпоху. В своих книгах, картинах, песнях мы воспеваем нашу счастливую жизнь.

Великая Октябрьская революция явилась для нас огромным даром. Мы будем неуклонно учиться у советского искусства, искусства, источник которого — жизнь народа. Мы будем «изображать людей». Что касается чертовщины, то пусть она навеки убирается в преисподнюю. Мы же станем с энтузиазмом создавать из реальной жизни рай для людей.

Пекин.

Жан-Поль Сартр

Отражать настоящее сквозь призму будущего

Как французский писатель, пишущий на французском языке, я считаю себя вправе говорить только о французских писателях. Пользуясь оказанной мне большой честью, попытаюсь объяснить на страницах этого праздничного номера, как я понимаю долг писателя, пишущего в условиях буржуазной демократии и раздираемого теми же противоречиями, какие раздирают его родину.

Наши старшие собратья по перу задолго до нас установили непреложную истину, что литература должна говорить о человеке все, иначе она рискует стать пустой забавой. К несчастью, это были писатели буржуазные, смотревшие на человека, как на нечто неизменное, и желавшие писать для вечности. Чтобы найти истины, не изменяющиеся в веках, они отрывали человека от окружающей его среды и бесконечно углублялись в его психологию. А так как из всех ближайших им ближе и понятнее всего были они сами, то эти писатели и говорили преимущественно о самих себе. Но, когда человек ограничен самим собой, ему нечего поведать нам, кроме каких-то жалких секретов, которые на поверку оказываются секретами полишинеля; а психоанализ, от которого кое-кто ожидал обновления литературы, не оправдал этих ожиданий, ибо глубок не отдельный человек, глубок мир. Скрытые в каждом из нас бездонные глубины надо искать в том социальном мире, с которым мы органиче-

ски связаны. Мы поняли, что человек, о котором литература должна сказать все, — это человек исторический, действующий в определенном обществе, в нашем обществе, чьи задачи, чаяния и невзгоды он отражает. А наши писатели по большей части отрывали своих героев от современной им эпохи для того, чтобы самим уйти от своего времени. Двойной просчет: герои их задыхаются, как рыбы, выброшенные на песок, а самих авторов легко отнести к определенной эпохе и среде именно из-за их старания отмежеваться от времени: Андре Жид так и остается последним из наших крупных буржуазных писателей. Урок ясен: мы не будем говорить сердцу наших современников, пока не отучимся адресоваться к своим внучатым племянникам. Наши попытки проникнуть в подлинную сущность всех и каждого будут тщетны, пока мы не перестанем отрицать нашу историчность и не поймем до конца вместе со всеми все противоречия нашего времени. Только при этом условии нам удастся перешагнуть через преграду субъективизма и объективизма, стоящую на пути многих французских писателей. Так, например, совершенно ясно, что никто, и писатель в том числе, не мог в последние годы без возмущения и ужаса думать о возможности новой войны, не мог не желать со всей страстью сохранения мира. А многие писатели хотя и вносили как граждане свой вклад в дело защиты мира, однако не считали это дело «достойной» темой для своих произведений. При этом они, бесспорно, грешили против объективности, обходя молчанием то, что глубже всего волновало всех без исключения читателей. Но и от субъективной истины они тоже были далеки; считая за благо говорить только о себе и своих сугубо личных переживаниях, эти писатели добровольно калечили себя, умалчивая о том, что в действительности творилось у них в душе. Ибо надо сказать прямо: за последние десять лет «холодная война» обусловливала все наши поступки и влияла даже на самые наши сокровенные помыслы. А потому не все ли равно, будем ли мы говорить о себе или о других — ведь те чувства, которые волновали нас, волнуют и всех других, а значит, и то, что мы напишем о других, будет выражать и наши собственные чувства.

Из этих беглых замечаний не следует делать вывод, будто литература может быть только описательной. Ни в коем случае; человек отнюдь не созерцатель, он стремится преобразовать мир, и познавать мир человеку нужно для того, чтобы его перестраивать. А понять происходящее может лишь его участник. Раз писатель должен сказать о человеке все, он прежде всего должен рассказать о трудах и делах данного человека в обществе и для общества; но для этого он должен идти рука об руку с теми, кто трудится и действует, должен разделять их цели и стремления. Из этого явствует, что литература не сможет рассказать все о людях, которые борются за мир, если сама, своими средствами не будет бороться против войны. Тогда и читатель найдет в книгах не бесстрастное и равнодушное описание своей борьбы, а увидит ту же активную борьбу, непосредственно связанную со своей. Итак, литература — это своеобразный род участия в жизни, какой она должна быть в настоящем, при этом настоящее для литературы — это лишь путь к тому будущему, к которому стремятся описываемые ею люди, к будущему, которое они строят и которое она, литература, пытается строить вместе с ними. Более того: чтобы сказать все о человеке, надо отразить настоящее сквозь призму будущего, но не какого-то отдаленного будущего, над которым мы не властны, а будущего близкого, уже заложенного в настоящем. Но в нашем западном мире есть классы и люди, являющиеся носителями этого будущего, и есть другие, которые делают все от них зависящее для того, чтобы завтра и сегодня были схожи как две капли воды.

Самая природа литературного творчества обязывает нас строго отдать себе отчет в том, для кого мы пишем. Если мы примкнем к тем, кто хочет сохранить прошлое, то мы будем писать для вечности, приняв за истину неизменность человеческой природы, и помимо своей воли возвратимся к литературе психологической: наше творчество станет отображением далеких от жизни, абстрактных истин, настолько пустых и ничтожных, что их можно отнести к любой эпохе. В наше время ничего нельзя сказать по-настоящему, не встав в ряды тех, кто хочет перестраивать мир и создать новую, мирную жизнь. Лишь таким путем литература до

конца раскроет сущность человека, ибо человек познается прежде всего в том, что он делает. Существует неоспоримое противоречие между этой конкретной целью литературы и теми литературными приемами, которые писатели Запада унаследовали от прошлого. Именно это противоречие должно, на мой взгляд, стать для писателя основной творческой проблемой, а преодоление этого противоречия откроет его творчеству новые пути.

Париж.

Димитр Димов

Искусство жизнеутверждения

Великая Октябрьская революция коренным образом изменила судьбу народов России. Она принесла всему человечеству надежду на лучшее будущее, реальную и ясную уверенность в том, что разум и силы жизни могут повсеместно победить эгоизм, насилие, ложь и смерть. И вполне естественно, что, празднуя годовщину Октября, мы вновь задумываемся над проблемой отношения художника к жизни — отношения, от которого зависит как действенность самого искусства, так и значимость творческой личности художника. В нынешней обстановке, для которой характерна небывалая сплоченность народов в их борьбе за мир, эта проблема, поставленная хотя бы и в самой общей форме, приобретает особое значение.

Жизнь — суровая и величественная человеческая драма. Она подобна бурному морю: его волны способны поглотить художника или же высоко вознести его. И поскольку эта драма полна конфликтов и столкновений, подлинное искусство не могло бы существовать, если бы оно не отражало в единстве общественную и личную стороны этой драмы. Следовательно, опасность творческой смерти подстерегает художника тогда, когда он страшится жизни и бежит от нее. Малодушие художника перед жизнью может принимать различные, но одинаково губительные формы. Он может отстраниться от жизни, замкнуться в себе; может проникнуться отвращением к жизни и злобно насмехаться над ее конфликтами; может, наконец, раболепно и филистерски приспосабливаться к ней.

Бегство от жизни, оторванность, эстетское самолюбование — все это для художника подобно пиру во время чумы. Раньше или позже канет в небытие любой след его творчества. Ненависть и злобная насмешка не могут породить ничего возвышенного. Когда художник ненавидит жизнь и сеет вокруг бациллы разложения и смерти, он уничтожает и самого себя, ибо сам он является частью жизни. Раболепное приспособление к жизни порождает прислужничество, продажность, карьеризм, наигранный оптимизм и схематичность.

Художественное творчество в значительной степени обусловлено личностью писателя, а образы, которыми он оперирует, могут принимать разнообразную, более или менее субъективную окраску; вот почему опасности, о которых идет речь, подстерегают художника как в капиталистическом, так и в социалистическом обществе. Но в то время как в капиталистическом обществе господствующие классы превозносят и фетишизируют эти формы проявления малодушия перед жизнью, социалистическое искусство ведет против них беспощадную борьбу. Выражением этой борьбы была суровая критика, которой подверглись бесконфликтные и схематичные повести, романы и драмы. У нас, художников социалистического общества, есть то преимущество, что в наших руках — надежный и безошибочный метод познания жизни. Мы объединены и помогаем друг другу. И, наконец, мы любим жизнь.

Подлинным, волнующим и действенным является искусство тех художников, которые не испытывают страха перед жизнью, а полны великой любви к ней и смело, во всеоружии своего таланта и опыта бросаются в ее волны. Великая Октябрьская

революция вдохновила талант Горького, Маяковского и Шолохова. Они достигли вершин искусства, потому что не бежали от жизни, а служили ей, не раболепствовали перед жизнью, подходя к ней с готовой схемой или глядя на нее через розовые очки, но правдиво и творчески отражали столкновения, противоречия, конфликты современности. И, как нам кажется, ничье творчество не утверждает более действенно идеалы Октябрьской революции, не выражает с большей полнотой вековую мечту человека о единстве истины, добра и красоты, чем творчество этих советских писателей. Даже в самых тяжелых сценах, рисуемых ими, даже в самых резких словах, ими произносимых, проявляется волнующая нежность к революционным идеалам, рожденная их искренностью, неподдельная правдивость как следствие смелого отображения жизни и решительного отрицания театральной мишуры и примитивных схем.

Итак, пример правильного отношения художника к жизни нам показали в своем творчестве корифеи советской литературы. Едва ли найдется на свете такой честный художник, который, даже будучи затронут духовным соприкосновением со всякими «измами» западного искусства, в глубине души не сознавал все же, что он призван отражать подлинно жизненные, а не мнимые конфликты. На Западе есть немало честных художников, которые так или иначе, в той или иной степени разделяют наш взгляд на то, каким должно быть отношение писателя к жизни. По ряду причин не желая или не имея возможности принять наши взгляды полностью, они кое в чем все же действуют заодно с нами, участвуя в борьбе за мир или изобличая клеветнические выпады против лагеря социализма. Это создает почву для сотрудничества между нами.

Мы — реалисты и очень хорошо знаем, что правильное отношение художника к жизни не есть нечто статичное, нечто такое, чему можно научиться из книг; это сложный, трудный процесс, продолжающийся в течение всей жизни человека. Процесс этот может проходить в самых различных формах, в зависимости от политических событий, от индивидуальных особенностей художника, от классовой его принадлежности, от воспитания, от национального психического склада. Вспомним хотя бы творческий путь А. Н. Толстого. Болгарский поэт Гео Милев начал с символических стихов, а закончил поэмой «Сентябрь», которая в не меньшей степени, чем и его трагическая гибель, заклеймила фашизм в глазах всех честных людей. И, наконец, личные творческие противоречия художника — не отражают ли они в известной мере противоречия самой жизни?..

В настоящий момент мы, люди искусства социалистического мира, от всего сердца предлагаем честным художникам стран Запада на началах взаимности обменяться мнениями о нашем методе, нашем опыте и наших достижениях в области искусства. Нет ничего более убедительного и более волнующего, чем дружески протянутая рука при полном понимании затруднений, колебаний и даже недоверия, испытываемых тем честным человеком, которому она протянута. Само собой разумеется, что мы хорошо знаем, кому протягиваем руку, мы обладаем надежными критериями для определения правды и лжи, умеем отличать подлинную красоту в искусстве от поддельной. Следуя указанию Ленина о специфике художественного творчества, мы не являемся догматиками в искусстве, мы готовы все время искать новые возможности сотрудничества с честными художниками Запада и совместно бороться за мир и торжество правды.

Содержанием метода социалистического реализма является правдивое, высокохудожественное, жизнеутверждающее отображение действительности в ее развитии. Для того чтобы достичь таких же высоких творческих результатов, каких достигла советская литература, для того чтобы во всем мире литература действенно служила жизни, этот метод следует применять с учетом общественно-исторических условий каждой страны и национальных особенностей каждого народа. Такое глубоко диалектическое понимание принципов развития и обогащения метода социалистического реализма воспринято нами давно, доказательством чему служит всеобщее признание, которым пользуются у нас такие писатели, как Неруда, Амаду, Гильен, Хикмет, Фаст и другие. Величие и руководящая роль советской литературы состоят именно в том, что, создав замечательные произведения социалистического реализма,

она передает свой метод и свой многолетний опыт прогрессивным художникам всего мира.

Искусство социалистического реализма — одно из выдающихся гуманистических завоеваний Великой Октябрьской революции. Оно может приблизить всех честных художников к правде и красоте жизни, объединить наши усилия в борьбе за мир и освобождение человека. Наши взгляды на отношение художника к жизни — такие простые и высокие по своему содержанию и столь многообразные, гибкие и всеобъемлющие во всем, что касается формы, — дают для этого широчайшие возможности.

София.

Арнольд Цвейг

Искусство, форма, действительность

Когда новый журнал отмечает годовщину 7 ноября, которая для всех нас так много значит, писателю не следует упускать возможность рассмотреть основные положения, общие не только для всех видов искусства, но и для его собственного творчества.

Все искусства исчезли бы из сферы человеческого деяния, подобно магии, астрологии, гаданью по руке, по птичьему полету или на расплавленном свинце, если бы они не отвечали и не служили реальной потребности человечества, если бы они не свидетельствовали о счастье успешного преодоления как нашего собственного несовершенства, так и сопротивления еще не преобразованной нами окружающей среды. Сырьем для искусства является весь мир во всем его многообразии. Однако познание достигается не анализирующей работой ума, но прежде всего, а в искусстве обязательно, — игрой воображения. Человеческая фантазия есть единственное средство, помогающее художнику и его аудитории проникнуть в чужое бытие, осветить его и целиком перевоплотить в ощущение — познание при помощи чувства. Подобно маленькому ребенку, который с самого рождения занят как главной задачей тем, чтобы ориентироваться в действительности, сначала в своем собственном теле, потом в ближнем и дальнем окружении, люди постоянно испытывают необходимость ориентироваться в современности, в этом вечно изменчивом и устремленном вперед потоке общественного бытия.

При выполнении этой задачи благороднейшим инструментом служили поколениям человечества все виды искусства. Живопись учит нас зрительно охватывать мир, она учит нас видеть; музыка способствует отображению нашей стремительной и полнозвучной внутренней жизни; пластика помогает отграничению тел в пространстве; танец — измерению пространства с помощью движения и красоты человеческого тела; а поэзия и литература — пониманию и сочувствию судьбе, которая выпадает на долю выдающихся одиночек или групп при их столкновении между собой или с окружающим миром. Все эти задачи искусство решает с помощью формы, которая, правда, меняется в соответствии с потребностями следующих друг за другом эпох (смена стилей!), но всегда способствует тому, чтобы образ, событие, стечение обстоятельств в их наиболее законченном виде становились предметом человеческого переживания.

Следовательно, художник является орудием группового познания, а осознанное действие — одной из главных задач человечества, на что указывает и библейский миф о древе познания. В ранние эпохи овладение познанием считалось грехопадением, и это лишь доказывает, насколько узким правящим кругам королей и священнослужителей представлялось важным монополизировать познание и лишить порабощенные массы доступа к нему.

Теперь нам известно, что человек ощупью приближался к познанию действительности лишь благодаря подражанию реальному. Он является делающим существом, homo faber, прежде чем он может стать мыслящим существом, homo sapiens. Делание содержит в себе зародыш всех

современных видов искусств; сначала благодаря подражанию, в дальнейшем благодаря открытию и изобретению законов о том, каким объектам, птичьему пению, солнечному свету, рокоту моря и меняющимся впечатлениям позволено подражать, возникали ритмы, формы, сцены, главы, произведения искусства. Вот почему форма и действительность отличаются друг от друга лишь как средство познания и объект познания, а элемент игры, который находится в основе всякого художественного творчества, не умаляет серьезности возложенной на нас задачи миропознания.

Так, принцип реализма в общем и целом подчиняет себе все виды искусства, а принцип игры — смену форм, которая в истории нашей культуры и нашего искусства проявляется в смене стилей.

Вместе с тем было бы ошибкой, если бы мы не признали, что наши основные задачи как художников совпадают с основными задачами законодателей и общественных деятелей, вследствие чего Солон из Афин и Ликург из Спарты служили тому же гению, которым порождены гомеровский эпос, критские фрески и библейские псалмы. Познание современного общества Марксом и Энгельсом, а также и человеческой души современными психологами уяснило художникам настоящего и будущего те задачи, которые в XIX веке разрешались романом от Стендаля до Толстого, драмой от Геббеля и Ибсена до Ведекинда и Горького, актерским мастерством от Рашели до Дузе, музыкой от Бетховена до Чайковского. В XX веке перед нами и перед нашими потомками остаются не менее великие задачи, потому что в эпоху войн и империализма никто так отчужденно не противостоял друг другу, как соседствующие народы, как классы внутри каждого буржуазного государства, как представители буржуазных государств и защитники новых общественных — социалистических — идеалов. Вот почему было победой над враждебными искусству и далекими от жизни нигилистическими течениями, когда спустя десять лет после второй и, надо надеяться, последней мировой войны восторжествовал благодаря борьбе за мир лозунг экономического сосуществования. Человечество должно научиться отображать в произведениях искусства закономерность современных фаз бытия, не создавая при этом атмосферы враждебности. Тогда оркестр человеческих искусств станет богаче и полнозвучнее, чем он был в течение двух последних столетий, а задачей художника будет прославление мира и замечательных достижений, с помощью новой науки и техники осуществляемых грядущими поколениями ради того, чтобы преобразовать землю к лучшему, обезвредить границы и братски объединить наши континенты и моря, — так, как всем нам пропел об этом Бетховен в своей «Оде к радости».

Берлин.

Хан Сер Я

Путь народности и реализма

Вне жизни нет настоящего искусства. Сила реалистического искусства в том, что оно видит свою опору, свои жизненные истоки в действительности. Наша литература знает немало примеров, когда подлинные художники, попав на ложный путь, уводивший их от жизни народа и его кипучих интересов, раньше или позже сами же убеждались в своей оторванности и возвращались на широкий, многообещающий путь народности и реализма.

Основы современной корейской литературы были заложены в двадцатых годах прогрессивной организацией «Искра». Хотя в ней объединились не только пролетарские писатели, она была все же организацией революционной. Правда, ее участники еще не видели настоящего пути к социалистической революции; однако Великая Октябрьская революция пробудила в них веру в силы народа, подняла их на национально-освободительную борьбу. Протест «искровцев» против гнета японских колонизаторов обозначил начало первого этапа борьбы наших писателей за освобождение родного народа. В этом, собственно,

и состояла главная, самая большая заслуга «искровцев».

В состав «Искры», как мы уже говорили, входили не только писатели, близкие пролетариату, не только наиболее революционно настроенные представители нашей прогрессивной интеллигенции, но также, к примеру, и романтически настроенные буржуазные писатели; любовь к родине и неприглядная действительность помогли им преодолеть кабинетную замкнутость и до некоторой степени — даже свойственную им ограниченность политических взглядов. Наши писатели-«искровцы» изображали в своих произведениях тяжелое положение народных масс, страдающих от произвола и бесправия, изображали возмущение народа и сами разделяли это возмущение; но вместе с тем далеко не всегда умели они осмысливать события с исторической точки зрения, не могли указать народу выход из создавшегося положения, не понимали законов общественного развития. Их борьба по существу преследовала узко национальные интересы; и все-таки на том этапе она имела исключительно важное значение.

Постепенно среди наших писателей все более популярной становится марксистско-ленинская философия, в которой они находят не только ответ на все волнующие их вопросы, но и начинают видеть программу своих действий. Духовный взор этих писателей уже более определенно направляется в сторону страны Советов, где Великая Октябрьская революция осуществила то, что для них еще является только робкой мечтой. В 1925 году эти писатели объединяются в КАПП — Корейскую ассоциацию пролетарских писателей. Появление этого объединения знаменовало собой дальнейший поступательный шаг в развитии нашей литературы. «Капповцы» в своем творчестве не ограничивались регистрацией бесчинств, творимых колонизаторами и феодалами, они уже не довольствовались одним только выражением своего возмущения: в своем творчестве они указывали закономерный путь дальнейшего общественного развития родины, изображали жизнь в перспективе. В произведениях «капповцев» впервые выступает в качестве героя молодой рабочий класс Кореи. Конечно, и «капповцы» еще не были полностью свободны от некоторой ограниченности своих социальных воззрений. Главная их заслуга заключалась в том, что они сумели увидеть в молодом рабочем классе новую и решающую общественную силу, а также в том, что они не мыслили себя вне народа, вне его стремлений; благодаря «капповцам» воздействие нашей литературы становится неотъемлемой частью общенародной борьбы за свободу.

Отсюда мы можем сделать вывод, что наша литература, озаренная лучами Октябрьской революции, еще в доосвободительный период стояла на позициях реалистических, была неразрывно связана с народом.

Десять лет назад, как известно, Советская Армия освободила Корею. Осуществились те идеалы, к жизненному воплощению которых стремился весь наш народ. В культурном и экономическом развитии страны наступила новая эра, нашедшая свое отражение и в искусстве. Наша страна и наш народ стремительно приближались к расцвету. Но в 1950 году это продвижение было замедлено войной, навязанной нам лисынмановцами и иностранными интервентами. В то трудное для родины время корейские писатели остались верны своим революционным традициям. Они перестали быть только писателями-общественниками, писателями-борцами, они стали также и писателями-воинами.

Сейчас, после победы над врагом, которую мы одержали благодаря моральной и материальной поддержке миролюбивых народов всего мира и в первую очередь — советского и китайского народов, мы встали вновь на радостный путь мирного созидания. Естественно, что мы, корейцы, пережившие одну из кровопролитнейших войн в нашей истории, являемся рьяными поборниками сохранения мира между народами; естественно также, что в произведениях наших писателей наряду с темой героического восстановительного труда почетное место занимает тема борьбы за мирное объединение родины на демократических началах, тема борьбы за мир во всем мире. Мы, корейские писатели, хотим предостеречь все человечество от страшных бедствий, которые несет война; мы прилагаем все усилия к дальнейшему укреплению братства между народами, рожденного в пламени Октябрьской революции.

Силы мира растут. К их голосу вынуждены прислушиваться даже самые отъяв-

ленные проповедники новой войны, как бы они этому ни противились. Сторонники мира одержали ряд крупнейших исторических побед, значение которых нельзя переоценить. Эти победы еще более укрепили в них веру в свои силы, вдохновили их на дальнейшую, еще более упорную борьбу Разве созыв Женевского совещания не является одной из таких побед? Народы сейчас уверены в том, что только они являются действительными творцами истории и что многие международные проблемы, несмотря на их сложность, можно все же разрешить мирным путем при наличии доброй воли правительств. Наш народ убежден в том, что и корейский вопрос может и должен быть разрешен мирным путем.

Глава советского правительства товарищ Булганин призвал народы Запада и Востока к более широкому обмену культурными ценностями. Мы, корейцы, восприняли этот призыв к еще более тесному духовному общению и сотрудничеству со всеми миролюбивыми народами Востока и Запада как призыв к установлению еще более широких культурных связей с великим братским Китаем и Советским Союзом — оплотом мира и величайшим светочем гуманизма, культуры и искусства. Мы уверенно смотрим в будущее, ибо знаем, что оно принадлежит нам!

Пхеньян.

Мулк Радж Ананд

Новая эра

Октябрьская революция открыла новую эру и принесла надежды угнетенным народам мира. Вести о революции оживили мечты колониальных народов, находившихся под ярмом империализма, об освобождении от многовековой эксплуатации иноземными властителями. Мечты эти частично осуществились.

Понятие о свободе приобрело также новое содержание. Под этим словом стали понимать не только освобождение от тирании, но и восстановление человеческого достоинства на надежной основе социалистических общественных отношений.

Я приветствую тридцать восьмую годовщину Октябрьской революции как один из тех, чей образ мыслей преобразовало и сформировало это великое событие.

Бомбей.

Ив Монтан

От всего сердца

Я весьма счастлив и горд тем, что журнал «Иностранная литература» обратился ко мне с просьбой выступить на страницах этого номера. Я не писатель и не журналист, и поэтому попрошу вас всех отнестись снисходительно к тому, что я напишу. Но поскольку я должен рассказать о своей профессии, — за меня будет говорить мое сердце: ведь артист всегда поет и играет от всего сердца.

На долю всякого человека выпадают и радости и печали. Боль неразделенной любви, радость дружбы, ревность, волнение, порождаемое красотой, или возмущение, вызываемое несправедливостью, — все это умещается в человеческом сердце из всего этого «складывается жизнь» человека. Старея, он вспоминает всю свою жизнь, иногда рассказывает о ней другу. Все пережитое оставляет на его лице глубокие следы, заметные и другим людям. Но для артиста сердце — это вместилище всей его эмоциональной жизни, это тот источник, из которого он будет черпать воспоминания, позволяющие ему создать живой образ, воплощаемый им на сцене. И если его сердце билось как сердце настоящего человека, то он сумеет наполнить волнением и сердца тех, кто его слушает, воссоздавая то, что единственно правомерно в искусстве — человеческую правду

Но все, что верно в отношении эмоциональной жизни человека, верно и в отношении общественной жизни.

И если артист захватывает зрителя, возвращая ему, так сказать, его собственные эмоции, то как может он надеяться на длительность своего артистического воздействия, если ему совершенно неизвестны повседневные заботы зрителя?

Чтобы лучше пояснить то, что мне хочется сказать, я перейду к песне. Я знаю, что благодаря замечательному сопроводительному тексту, с помощью которого Сергей Образцов популяризировал мой репертуар в СССР, постоянные темы моих песен немного знакомы вам.

Если я решил воспеть великую ответственность простых людей («Les routiers»), мир («Le chemin des Oliviers»), если я решился петь о войне («Barbara»), об американских неграх — этих славных людях с душой, полной поэзии («Cireurs de Broadway»),— то это объясняется тем, что я человек своего времени. И потому все эти проблемы волнуют и интересуют меня, как и любого другого рядового человека — моего современника. И именно потому, что они меня так глубоко волнуют, именно потому, что они так хорошо мне знакомы, у меня возникают желание и настоятельная потребность выразить все это в песне. Именно поэтому я ощущаю желание и потребность воспеть радость любви, жизнь акробатов маленького бродячего цирка, девушку на качелях, так как в разных аспектах все это вместе взятое и составляет «жизнь».

Некоторых людей и некоторых деятелей искусства во Франции как будто удивляет испытываемая мной потребность выражать как в жизни, так и в творчестве то, что они называют определенными «взглядами».

Эти люди, видимо, не знают того, что из всех французских песен пережили века именно те, какие были связаны с социальными событиями своего времени. Желая доказать это, я исполнил для записи на долгоиграющие пластинки двенадцать французских народных песен (относящихся к периоду от XV до XX века). Каждая из этих песен отмечена печатью той эпохи, в которую она возникла.

Таким образом, я не выдумал ничего нового, утверждая, что нельзя ни жить, ни творить в отрыве от современной действительности.

Эта истина распространяется и на писателей, и на художников, и на музыкантов.

Подводя итог сказанному, я подчеркиваю, что художественное творчество (независимо от способностей артиста, от его упорной беспрестанной работы над собой) невозможно, если артист сознательно — умом и сердцем — отрывается, изолирует себя от остальных людей.

Заканчивая эту скромную статью, я хочу выразить свое страстное пожелание того, чтобы в будущем культурный обмен ширился и рос во всем мире, чтобы мы еще лучше узнали и научились любить друг друга, чтобы все это влило в нас новую кровь, которую в свою очередь каждый из нас вольет в сердца своих слушателей

Париж.

Назым Хикмет

Октябрьская революция и литература

Когда редакция журнала «Иностранная литература» предложила мне написать статью, я, по правде сказать, несколько смутился. Я не пишу статей. Влияние Октябрьской революции на передовую литературу мира столь огромно и разносторонне, что едва ли я сумел бы изложить все это в одной статье. Мне было бы гораздо легче написать стихи, посвященные Октябрьской революции. Ведь я — поэт. Мне трудно написать статью, как трудно и произнести речь. Но если нужно, чтобы я написал статью в связи с годовщиной Октября, то я считаю своим долгом сделать это.

С этой мыслью я и отправился на фестиваль в Варшаву. О фестивале много сказано и много еще будет сказано. В день открытия фестиваля, когда на стадионе имени Десятилетия Освобождения Польши Советской Армией начался парад и мимо меня проходили десятки тысяч

юношей и девушек всех рас и наций, дышащие здоровьем и молодостью, с лицами, полными светлых надежд, в национальных костюмах, с флагами и песнями, я снова вспомнил о статье. Я должен написать статью об Октябрьской революции и о литературе. Но в этот момент рассуждения о литературе, о влиянии Октябрьской революции на литературу уступили место другому, не менее важному. Если молодежь всех стран имеет возможность устраивать фестивали мира и дружбы и если эти фестивали могут проводиться в Варшаве, если молодежь может устраивать такие празднества спустя десять лет после столь тяжелой и разрушительной войны, то все это осуществилось только благодаря Октябрьской революции. Октябрьская революция создала условия для настоящей и искренней дружбы между народами всех рас и стран; дружбу эту теперь можно, что называется, увидеть глазами и ощутить руками. Об этом же я думал в Пекине, на празднике освобождения Китая. Об этом же я думал и в Турции, на празднике республики в Анкаре, присутствуя на демонстрации молодежи. О том же думают все народы в дни своих национальных празднеств.

В Варшаве, в дни фестиваля, я встретился снова со многими своими друзьями — поэтами, писателями, критиками. На фестивале я выполнял также обязанности корреспондента газеты «Московская правда». Как только человек свыкнется с тем, что послан в качестве корреспондента и освоит эту профессию, он начинает на все смотреть глазами корреспондента, даже на своего родного отца. То же самое случилось и со мной. Повстречавшись со своими друзьями писателями, я тотчас же вспомнил о просьбе журнала «Иностранная литература» и об обязанностях корреспондента газеты. После первых встреч с друзьями, даже еще не осведомившись об их самочувствии, я поставил перед ними вопрос: «Какое влияние оказала Октябрьская революция, прямо или косвенно, на литературу ваших стран?». Полученные мною ответы я привожу здесь.

Замечательный кубинский поэт Николас Гильен сказал мне:

«Октябрьская революция пронеслась над поэзией Кубы, как освежающий ветер, до нас дошли прекрасные стихи Маяковского. Это влияние не ограничилось одной лишь областью формы. Поэзия Маяковского оказала большое влияние и на содержание. Поэты Кубы стали интересоваться классовой борьбой, стали участвовать в классовой борьбе и стали писать стихи о классовой борьбе».

Николас Гильен, как и большинство поэтов, любит говорить коротко. И он по-своему прав.

С известным аргентинским писателем Альфредо Варела я знаком по всемирному движению сторонников мира. Я и ему задал тот же вопрос. «Однако,— сказал я,— ты не поэт, поэтому ответь на этот вопрос подробнее».

«То, что случилось со мной, случилось не только со мной одним, — сказал Варела. — Это случилось со многими писателями. Я по-настоящему стал жить с того времени, когда познакомился с революционными рабочими своей страны, с того времени, когда я услышал о великом событии, начавшемся залпом «Авроры». До тех пор, хотя мне исполнилось уже восемнадцать лет, я не понимал смысла жизни, питал к ней отвращение, был пессимистом. На меня оказывали воздействие писатели и философы того времени. Я восставал против темноты, глупости и гнета, которые видел вокруг себя, но моя борьба была пассивной. Я не любил людей, я их презирал. Это меня толкало к одиночеству и высокомерию. Но, как я уже сказал, соприкоснувшись с прогрессивными антиимпериалистическими силами, я стал мечтать о совершенно новом мире, о совершенно новом человеческом обществе. Правда, вначале я не был еще тверд, я колебался. Я спрашивал себя: «Что это — фантазия, плод воображения, действительность?» Я старался поддерживать в самом себе свои новые взгляды, потому что мне не хотелось снова погрузиться в прежнюю беспросветную тьму. Чтобы убедиться в наступлении новой эры, у меня было одно средство: узнать как можно больше об Октябрьской революции. Я усилил связь с революционными рабочими, я не пропускал случая послушать и почитать речи людей, посетивших Советский Союз. Все это мне очень помогло. В то же самое время я прочел роман Максима Горького «Мать». Я не просто читал, а глотал страницу за страницей. Вероятно, я прочел роман не менее десяти раз подряд. До того времени я писал стихи. Но после про-

чтения романа Горького я понял, что словами можно написать и призыв к борьбе за лучшую жизнь, за более справедливый общественный строй. Я понял, что литература должна отражать жизнь, страдания, надежды и борьбу людей. Литература должна помогать людям. Я понял, что обязан при помощи литературы сделать свой народ таким же оптимистичным, каким стал сам. До сих пор эту задачу я еще полностью не выполнил. Но все, что я делаю как писатель или журналист и как политический деятель, я могу делать только потому, что попрежнему вижу немеркнущий свет Октябрьской революции.

Что касается влияния Октябрьской революции на аргентинскую литературу, то, если бы я говорил несколько часов кряду, если бы исписал много листов бумаги, все равно я не сумел бы исчерпать эту тему. Коротко можно сказать следующее: факт существования Советского Союза воодушевил широкие массы аргентинского народа на решительную борьбу против угнетателей. Так, в 1918—1920 годах возникло широкое народное движение за освобождение, были организованы небывалые по размаху стачки. Это движение было потоплено в крови. Погибли тысячи и тысячи людей. Но развернувшаяся борьба оставила глубокий след в трудах ученых, в произведениях литературы и искусства. На протяжении десятилетия (1920—1930 гг.) в стране выходит много прогрессивных журналов, создаются театры передового направления, организуются художественные выставки, устраиваются лекции, доклады, диспуты. Все это способствовало тому, что мы полюбили Советский Союз. Никакое давление не могло заглушить этой любви. Многие представители интеллигенции вступили в Коммунистическую партию Аргентины. Однако и среди тех, кто не состоит в партии, мы имеем немало верных друзей и союзников. Новые поколения писателей, художников, артистов приобщаются к делу, которое начали их отцы и братья, ведя борьбу подчас в очень трудных условиях».

Французский критик Андрэ Вюрмсер вопреки обычаю критиков ответил на мой вопрос коротко: «Октябрьская революция сделала французских писателей более сознательными и тем самым оказала огромное влияние на нашу литературу. Это воздействие Октябрьской революции на умы писателей происходило постепенно. Французские писатели не сразу узнали всю правду об Октябрьской революции. Первая мировая война показала всем, что многие ценности, которые ранее люди признавали подлинными, в действительности оказались фальшивыми. Эти фальшивки были выброшены на улицу и растоптаны людьми. Все было потрясено. Все. Даже взгляд на деньги как непоколебимую силу был потрясен до основания. Такое положение привело французских писателей прежде всего к нигилизму и дадаизму, к огульному отрицанию всех ценностей. Таков был первый этап. За ним последовал второй. Мы узнали правду об Октябрьской революции. Октябрьская революция раскрыла перед писателями путь подъема, путь освобождения, путь, ведущий от отрицания к утверждению. Существование Советского Союза продолжает до сих пор оказывать влияние на весь мир. Ныне существуют две группы французских писателей: друзья Октябрьской революции и ее враги. Октябрьская революция открыла перед ее сторонниками богатые возможности для развития и совершенствования их способностей, создания произведений, достойных нашей эпохи. Враги же Октябрьской революции обречены на прозябание и бесплодие. Для того чтобы показать, в каком безвыходном положении находятся враги коммунизма, я приведу хотя бы высказывание профессора Раймона Арона. Он сотрудничает в газете «Фигаро» и является, к сожалению, профессором Сорбоннского университета. В своей последней книге он делает в качестве вывода следующее заявление: «Единственное, что нам остается, — это ждать прихода скептиков к власти во Франции».

Известная греческая романистка Мельпо Аксиоти ответила на мой вопрос в письменной форме:

«Греческий народ и греческая литература увидели в Октябрьской революции осуществление своих вековых чаяний. Перед народами открылись новые широкие горизонты. Октябрьская революция служила и служит источником вдохновения для многих греческих писателей, пишущих книги и статьи, в которых они осуждают войну. Октябрьская революция оказала весьма значительное влияние на развитие нового направления в греческой литературе. Наш национальный поэт Костас Варналис под

влиянием Октябрьской революции стал первым крупным поэтом, овладевшим марксистским мировоззрением. Много позже до нас наконец-то дошли замечательные произведения Горького и Маяковского; они стали тем мостом, который соединяет нашу старую, демократическую, прогрессивную литературу с нашей новой, развивающейся, реалистической литературой. Нет никакой возможности в нескольких словах осветить этот вопрос. Я как гречанка и как писательница хочу сказать лишь следующее: если бы Октябрьская революция не оказала влияния на жизнь Греции и других стран, то многое выглядело бы сейчас совершенно иначе. Борьба греческого народа за демократические традиции не достигла бы нынешнего высокого уровня, наша литература не могла бы достичь нынешних успехов, а «Последняя песня» Янопулоса, изящная проза Корнароса, произведения Лудемиса, стихи Ливадитиса и Парниса не были бы написаны. Между тем эти произведения получили высокую оценку и удостоены премий на фестивалях в Берлине и Варшаве. Упомянутые мною писатели выросли под солнцем Октябрьской революции».

На фестивале в Варшаве можно было собрать много высказываний, подтверждающих влияние Октябрьской революции на литературу Индии, Китая, Италии, Германии и еще многих других стран; можно было бы подтвердить высказываниями известных писателей мира тот факт, что Октябрьская революция открыла широкие просторы и неограниченные возможности для роста и развития всех национальных литератур. Но всего этого коснуться в рамках одной статьи не представляется возможным.

В заключение следовало бы посвятить несколько слов тому, какое влияние оказала Октябрьская революция на меня самого. Коротко скажу: по-настоящему любить свой народ, по-настоящему верить в то, что все народы мира — друзья и братья, меня научила Октябрьская революция. Каждая написанная мною строка свидетельствует об этом. Влияние Октябрьской революции на турецкую литературу продолжается до сих пор и не прекратится, пока будет звучать турецкая речь, а я верю, что турецкий язык, как и другие языки мира, будет жить вечно.

Октябрьская революция поставила перед всем миром вопрос о том, что литература так же необходима людям, как и медицина, что писатель так же нужен человеку, как и врач, что он несет не меньшую ответственность перед людьми, чем врач. Эта истина полностью подтверждена в Советском Союзе. Октябрьская революция тесно связала литературу каждой страны с литературными традициями, с одной стороны, и с литературами других стран — с другой. Она безгранично укрепила и расширила взаимные связи. Кроме того, Октябрьская революция обеспечила писателю свободу и возможность для поисков новых форм, раскрывающих новое содержание. Реализм поднялся на высшую ступень, он стал социалистическим реализмом. Метод социалистического реализма отвергает какую бы то ни было схему, он чужд какой бы то ни было идеалистической эстетики, какого бы то ни было шаблона в творчестве. Победоносное творческое утверждение социалистического реализма в литературе могло произойти только под воздействием Октябрьской революции.

Варшава.

* * *

Закончив эту статью и направив ее в редакцию, я выехал сначала в Будапешт, а оттуда в Прагу. В Праге я и прочел письмо М. А. Шолохова, помещенное в журнале «Иностранная литература», № 2; письмо это, как я установил, было уже знакомо многим чехословацким писателям, в том числе и Незвалу. Они находили письмо Шолохова и содержавшееся в нем предложение об обмене мнениями «за круглым столом» достойными самого серьезного внимания и очень полезными.

По возвращении из Праги в Будапешт я убедился в том, что такой же интерес к предложениям Шолохова проявляют и венгерские писатели.

Здесь же я познакомился с вьетнамским поэтом Суан Зьеу. Я ему прочел текст письма Шолохова, напечатанный в газете «Юманите». Он нашел письмо весьма

своевременным и выразил готовность откликнуться на него статьей в журнал «Иностранная литература».

Своими мыслями о письме Шолохова поделился со мной также один из профсоюзных деятелей Латинской Америки, просивший меня не оглашать его имени. Он сказал мне: «Я интересуюсь литературой, но не хочу, чтобы мое имя появилось в печати. Признаюсь, у меня имеются некоторые возражения Шолохову. Если вы о них напишете и если их напечатают, я буду удовлетворен». Я пообещал моему собеседнику из Латинской Америки и любителю литературы, что готов выслушать его, и надеюсь, что его мысли будут опубликованы в печати.

Вот что он мне сказал: «Шолохов весьма своевременно поставил вопрос об усилении обмена писательскими делегациями, имея в виду главным образом такие страны, как США, Япония, Западная Германия, Англия, с одной стороны, и Советский Союз — с другой. Совершенно правильно! Но следует отметить, что это не исчерпывает всей проблемы. Я не думаю, что существует какая-либо связь между писателями Советского Союза и, к примеру, известными католическими писателями Франции, Италии или многих других стран Европы и Латинской Америки. Мне не известно, чтобы знаменитые писатели, которые не являются прогрессивными, но в то же самое время высказываются против войны, приезжали в Советский Союз. За круглым столом должны собираться писатели различных политических и эстетических воззрений и различных религиозных убеждений; все они на равных правах будут принимать участие в обсуждении вопроса о том, как лучше всего поставить литературу на службу миролюбивому человечеству. Для достижения этой цели необходимо, чтобы писатели Советского Союза взяли инициативу в свои руки и постарались установить тесный контакт с теми писателями Европы, Азии и Латинской Америки, о которых я говорил выше».

Я точно изложил сказанное мне любителем литературы из Латинской Америки.

В заключение у меня самого есть потребность высказать несколько соображений о письме М. А. Шолохова.

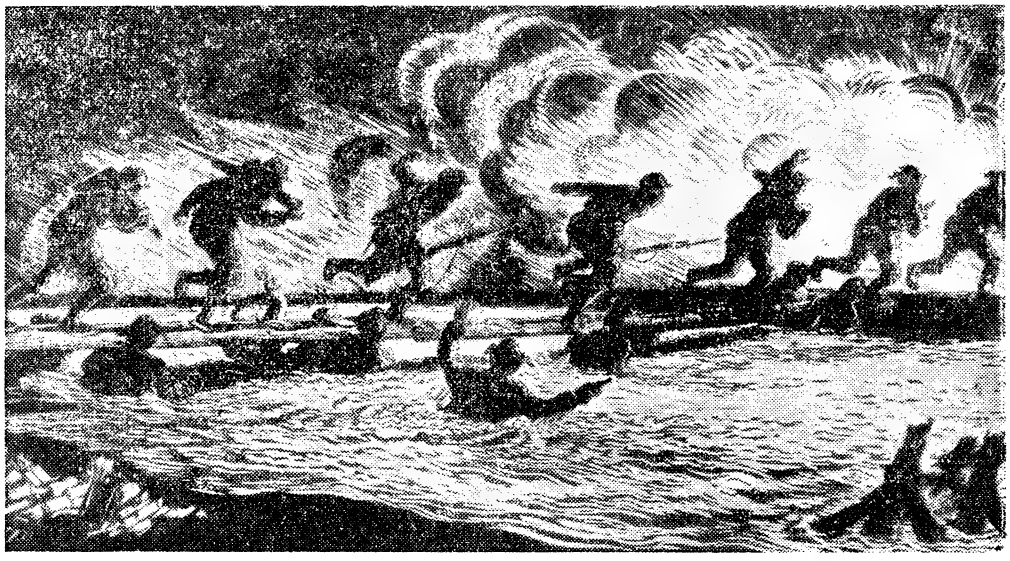
В США, в странах Латинской Америки, Европы, Азии, а следовательно, и в Турции есть много широко известных писателей, которые являются крупными мастерами своего дела и которые не щадят свои сердца, свои знания и свой талант во имя торжества общечеловеческой культуры.

Именно с ними мне и хотелось бы поговорить о долге писателя перед человечеством и о влиянии (в самом широком значении этого понятия) идей Октября на творчество тех художников, которые его как будто не ощущают, не признают и даже от него «открещиваются».

Я понимаю, что по некоторым вопросам нам не удастся полностью договориться. Но немало таких проблем, в отношении которых мы, несомненно, найдем общий язык. Попробую перечислить такие проблемы. Это — борьба против угрозы войны, за укрепление мира и использование атомной энергии в мирных целях; усиление культурного обмена между всеми странами мира; упрощение существующих международных правил о переводах литературных произведений; снижение цен на книги и т. д. По-моему, на повестке дня немало вопросов, какие мы в состоянии разрешить общими усилиями.

С нетерпением жду также ответа на письмо М. А. Шолохова от Эрнеста Хемингуэя.

Н. Л.



Живой мост.

ГРАВЮРЫ КИТАЙСКОГО ХУДОЖНИКА ГУ ЮАНЯ

В Китае и далеко за его пределами известно имя одного из лучших китайских графиков — Гу Юаня.

Гу Юань хорошо знает жизнь и быт китайского крестьянина. „Перевозка сена“,[1] „Дворик“, „Снижение арендной платы“, „Горят долговые расписки“ и многие другие гравюры отражают ломку вековых феодальных устоев и возникновение нового быта и новых отношений в китайской деревне. Художник умеет видеть и запечатлеть новые, типические явления, которые волнуют самые широкие народные массы.

Много интересных произведений посвятил Гу Юань изображению жизни и боевых подвигов воинов Народно-освободительной армии. Широко известна его цветная гравюра „Живой мост“: бойцы, стоя в ледяной воде, держат на плечах доски, по которым воинская часть переправляется на другой берег, чтобы обрушиться на врага.

Гу Юань подолгу находился в частях НОА, а также среди китайских народных добровольцев, сражавшихся в Корее; он отобразил борьбу корейского народа против захватчиков в цикле гравюр и рисунков.

Мирный созидательный труд китайского народа нашел свое воплощение в таких гравюрах Гу Юаня, как „Восстановительные работы“, „Мы — хозяева своих заводов“, „Рабочие идут в вечернюю школу“.

Сейчас Гу Юань находится в расцвете творческих сил. Есть все основания ждать от него новые произведения, воспевающие народ, его самоотверженную борьбу за укрепление мира, его созидательный труд.

Мы — хозяева своих заводов.

Дворец культуры трудящихся Пекина.

Рабочие идут в вечернюю школу

Горят долговые расписки.

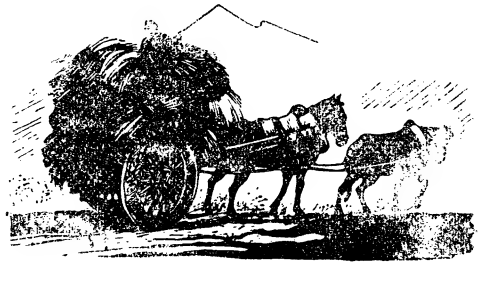
Изготовление черепицы.

Восстановительные работы.

Дворик.

Носят воду.

Перевозка сена.



ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

АЛБАНИЯ

ПАМЯТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПОЭТА ДЕ РАДА

В ноябре албанский народ отмечает 141-ю годовщину со дня рождения основателя национальной литературы, ученого и общественного деятеля XIX века Иеронима Де Рада.

Его автобиографический цикл «Милесао», героическая поэма «Победоносный Скандербег», научный труд «Особенности албанского языка и его грамматика», историческая работа «Пеласги и албанцы», сборники обработанных им народных песен — все это неизменно проникнуто непримиримым стремлением к свободе и национальной независимости.

Иероним Де Рада имел учеников и последователей. Созданные им произведения высоко ценили и его современники — выдающиеся деятели культуры Франции и Италии.

БОЛЕЕ СТА НОВЫХ КНИГ

Государственное издательство в Тиране уже выпустило в этом году более ста новых книг. Это — произведения мировой классики, русской и советской литературы, современных албанских авторов и писателей стран народной демократии.

Впервые полностью издана драма Шиллера «Коварство и любовь». Вышел также «Герой нашего времени» Лермонтова. Хорошим подарком албанским профессиональным артистам и членам любительских кружков являются переводы «Грозы» Островского, а также «Ревизора» и «Женитьбы» Гоголя.

Албанские читатели недавно получили возможность ознакомиться с повестью «Хлеб» Алексея Толстого и отрывками из второй части «Поднятой целины» М. Шолохова.

Издано также несколько сборников албанской народной поэзии, куда вошли песни, исторические легенды, эпические поэмы времен Скандербега — героя освободительной войны против турецкого ига. Один из сборников вышел с комментариями сотрудников Института наук.

Отдельным изданием вышла поэма Вехби Баля о становлении новых отношений в современной албанской деревне, о борьбе с предрассудками и устаревшими обычаями.

Издан также роман Кина Души «Путь Веляна»; он посвящен трудовому крестьянству, классовой борьбе в деревне и возникновению первых кооперативов.

АНГЛИЯ

НОВАЯ МОНОГРАФИЯ ОБ УИЛЬЯМЕ МОРРИСЕ

Вышла в свет большая монография Э. П. Томпсона, посвященная английскому поэту и художнику Уильяму Моррису (1834—1896). Книга представляет собой объемистый труд, охватывающий все этапы жизни, борьбы и творчества Морриса, одного из величайших англичан XIX столетия, как он был назван на конференции английской компартии по вопросам культуры, созванной в 1952 году.

В статье о книге Томпсона, помещенной на страницах лондонской «Дейли уоркер», указывается, что роль Морриса в истории английского революционного движения и английской культуры высоко оценивал и Бернард Шоу. Спустя сорок лет после смерти Морриса Шоу писал о нем: «Он возносится все выше и величавее на горизонте, за которым исчезли его наиболее разрекламированные современники».

Особенно полно в книге представлен период деятельности Морриса после основания им совместно с дочерью Карла Маркса Элеонорой и ее мужем Со-

циалистической лиги (1884—1890).

Много места в книге уделено Моррису — поэту и Моррису — художнику, рисовальщику, декоратору. Подвергнув объективному анализу первый, романтический, период творчества Морриса, Томпсон дает затем широкую картину его последующей деятельности, когда вышли сборник стихов «Песни социалистов», поэма «Паломники надежды» и другие поэтические произведения.

Тщательный, документированный разбор общественно-политической и литературной деятельности Морриса, а также его поэтического наследия приводит автора монографии к следующему выводу: «В будущем социалистическом мире произведения Морриса и пример его жизненной деятельности станут предметом гордости английского народа».

КНИГИ СОВЕТСКИХ И КИТАЙСКИХ АВТОРОВ

Как сообщает журнал «Уорлд ньюс», английское издательство «Лоренс энд Уишарт» приступило к изданию серии книг современных советских писателей. В этой серии уже вышел роман Ильи Эренбурга «Девятый вал». Обозреватель журнала подчеркивает, что эта книга призывает к миру и клеймит тех, кто разжигает «холодную войну».

Расширению и углублению осведомленности английского читателя о Китае может содействовать перевод на английский язык произведений нескольких китайских писателей, а также издание книг английских авторов о КНР.

Одна из таких книг — «Китай — страна многих национальностей», в которой собраны интересные данные о шестидесяти народностях, проживающих в Китае и насчитывающих в общей сложности сорок миллионов человек (около семи процентов всего населения). Издана также брошюра «Китай, как мы его видели» — сборник путевых впечатлений ряда лиц, посетивших эту страну.

«Дейли уоркер» сообщает о выходе в Лондоне сборника «Новый дом», включающего семь коротких рассказов современных китайских писателей и роман «Несокрушимая стена».

В недавно изданной книге английского автора Питера Таунсенда «Китайский феникс» описывается история Китая за последние тридцать лет.

АРГЕНТИНА

„НАРОДНЫЙ ТЕАТР"

В этом году исполнилось двадцать пять лет существования «Народного театра», руководимого режиссером и писателем Леонидасом Барлетта. Созданное в 1929—1930 годах прогрессивной театральной молодежью, это творческое объединение поставило перед собой высокую цель — служение народному зрителю и распространение подлинно национальной культуры.

Вслед за «Народным театром» стали создаваться в стране и другие прогрессивные театральные объединения («независимые театры», как их называют в Аргентине). В настоящее время таких объединений насчитывается более десяти.

За двадцать пять лет «Народный театр» ознакомил своих зрителей с многими произведениями национальной и мировой драматургии. В его репертуаре пьесы аргентинских писателей Альваро Юнге и Рауля Туньона, а также Шекспира и Лопе де Вега, Гоголя и Толстого и других авторов.

Свой двадцать пятый сезон театр открыл новой пьесой «Спартак», написанной по одноименному роману Говарда Фаста.

БРАЗИЛИЯ

ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН О НЕГРИТЯНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Молодой писатель Плинио Кабрал уже известен в стране как автор книги рассказов, правдиво отображающих жизнь и борьбу трудящихся. Сейчас им закончен роман «Сан-Жеронимо», посвященный горнякам Бразилии.

Как сообщил Плинио Кабрал на страницах журнала «Горизонт», он намерен написать в ближайшем будущем исторический роман, воскрешающий эпопею негритянской Пальмаринской республики (XVII век). Республика эта возникла в результате широкого революционного движения рабов против португальских колонизаторов и просуществовала около девяноста лет, упорно защищая свою независимость.

По словам автора, он намерен изобразить в романе также фигуру смелого и дальновидного политического и военного вождя повстанцев Зумби.

НАЦИОНАЛЬНУЮ МУЗЫКУ — В МАССЫ!

Значительным событием в культурной жизни Бразилии является создание фабрики граммофонных пластинок «Дискос Индепенденсия» Эта фабрика была создана на средства композиторов и исполнителей при добровольной финансовой поддержке публики.

Руководители фабрики начали производить запись и широко распространять по всей стране произведения национальных композиторов, народной музыки. Известный композитор Клаудио Санторо считает, что создание фабрики граммофонных пластинок откроет большие возможности перед композиторами Бразилии, чье творчество

сейчас вообще недостаточно известно в стране.

В числе первых пластинок, выпущенных фабрикой, — запись симфонической поэмы Клаудио Санторо.

ВЕНГРИЯ

ВЫСТАВКА ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИШТВАНА ЧОКА

Иштван Чок — видный венгерский художник старшего поколения. В связи с девяностолетием Чока в Будапеште открылась выставка его произведений. Всего было экспонировано около ста картин.

Венгерская печать отметила глубоко реалистический и национальный характер живописи Чока. «Иштван Чок — художник радости, ясности, подлинной красоты. Лучшие его картины оптимистичны, согреты любовью к жизни...», — пишет газета «Сабад неп».

Иштван Чок, несмотря на преклонные годы, не прекращает творческой деятельности. За свои достижения в области изобразительного искусства он дважды награжден премией имени Кошута.

ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИИ СЕМЬЕ БЕЛЫ БАРТОКА

От имени Всемирного Совета Мира академик Эржебет Андич в торжественной обстановке вручила семье известного венгерского композитора Белы Бартока присужденную ему Международную премию мира. Церемония состоялась в присутствии видных венгерских общественных деятелей, музыкантов, писателей.

ОТКРЫТИЕ МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКИ НА УЛИЦЕ КЁЛЬЧЕИ

Еще в 1938 году в связи со столетием со дня смерти прогрессивного венгерского поэта и общественного деятеля Ференца Кёльчеи (1790—1838) было выдвинуто предложение установить мемориальную доску в честь поэта (во дворе тогдашней ратуши пештского комитата). Однако одна из нилашистских газет (нилашисты — венгерские фашисты) потребовала запрещения церемонии под тем предлогом, что скульптор Бек, изготовивший мемориальную доску, был автором проекта бумажных денег Венгерской советской республики 1919 года. Ночью, накануне дня официального открытия, доска была похищена со стены ратуши, где ее уже установили. Скульптору тогда удалось спасти свое произведение; ныне, семнадцать лет спустя, доска установлена в Будапеште, на улице, носящей имя Кёльчеи.

Мемориальная доска в честь поэта Ференца Кёльчеи.

(Журнал „Мювельт неп".)

Композитор Золтан Кодаи поздравляет жену Белы Бартока с вручением премии.

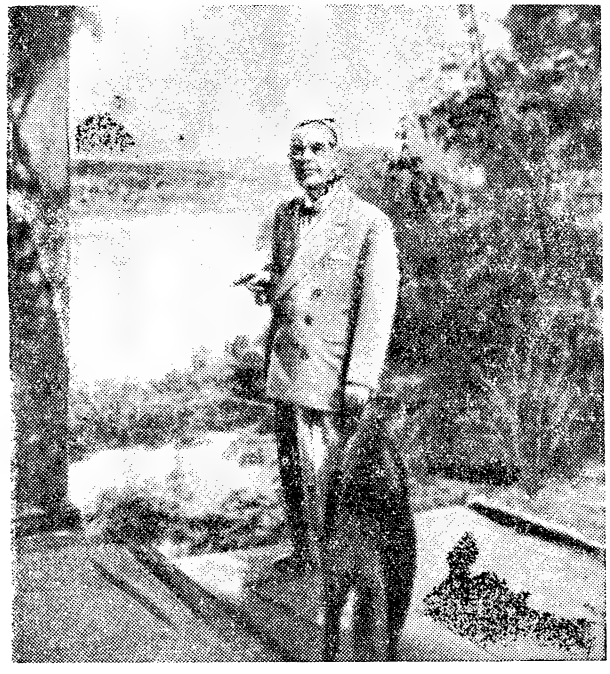
(Журнал „Мювельт неп".)

ГЕРМАНИЯ

ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

УВЕКОВЕЧЕНИЕ ПАМЯТИ МАРТИНА АНДЕРСЕНА НЕКСЕ

В связи с годовщиной со дня смерти Нексе создана комиссия по увековечению



Томас Манн у своего дома в Кильхберге, близ Цюриха. Здесь писатель провел последние годы жизни. (*Журнал „Швейцер Иллюстрирте Цейтунг“.*)

его памяти. Задача этой комиссии, как сообщает газета «Ланд ог фольк», состоит в том, чтобы сделать доступным наследие Нексе наибольшему количеству читателей.

Комиссия предполагает привести в порядок оставленные писателем рукописи, письма и другие материалы. Для участия в работе комиссии со стороны Дании приглашены вдова писателя Иоганна Нексе, сын Нексе — Сторм Андерсен Нексе, профессор Свен Меллер Кристенсен и редактор газеты «Ланд ог фольк» Берге Хауман.

ВСТРЕЧА ДРУЖБЫ

Состоялась общегерманская встреча певцов народного хора из Франкфурта-на-Майне (ГФР) с певцами народного хора из Франкфурта-на-Одере (ГДР).

В программу вечера было включено объединенное исполнение русской народной песни, горячо встреченной слушателями.

Под бурные аплодисменты всего зала певцы из города Гете и певцы из города Клейста пожали друг другу руки и обменялись подарками.

По сообщению дирекции дрезденского Государственного театра, в новом сезоне состоятся симфонические концерты с участием ряда западногерманских дирижеров.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ МУЗЕЯ В ДРЕЗДЕНЕ

В настоящее время в Дрездене быстрыми темпами идут работы по восстановлению здания, в котором до войны помещалось знаменитое собрание картин. Речь идет о здании галереи Земпера, построенной в стиле Ренессанс одновременно с придворным театром и отличавшейся красотой архитектуры. Сейчас в первую очередь, как сообщает газета «Нейес Дейчланд», восстанавливается галерея Земпера.

Все оборудование залов будет модернизировано. Вводятся лампы дневного света. В предвидении наплыва посетителей перестраиваются и расширяются входы и лестницы.

Как подчеркивает «Нейес Дейчланд», население Дрездена проявляет огромную заботу о достойном размещении национальных сокровищ немецкого народа. Множество людей самых различных профессий, в частности художники, с энтузиазмом предлагают свои услуги и активно участвуют в восстановлении прославленного национального музея.

ГЕРМАНСКАЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ РЕСПУБЛИКА

КРАСНОРЕЧИВЫЕ ФАКТЫ

Усиление культурного обмена между Западом и Востоком отвечает самым горячим стремлениям всего немецкого народа.

Недавно киностудию ДЕФА посетило несколько западногерманских кинодеятелей. Осмотрев съемочную площадку и современные ателье, гости высказались за тесное сотрудничество с ДЕФА. Сейчас начата совместная работа над фильмом, создаваемым по новелле Гофмана.

В театрах Гамбурга, Мюнхена, Кельна, Франкфурта-на-Майне и других городов шли с большим успехом пьесы Бертольда Брехта. В ГДР издается немало книг западногерманских писателей.

Наибольшее количество таких книг выпущено издательством «Ферлаг дер национ». Из произведений, ставших доступными миллионам немецких читателей в ГДР, можно назвать романы и рассказы западногерманских писателей Иоганнеса Тралова, Герберта Бургмюллера, Тами Эльфкена, Петера Мартина Лампеля и других. Живущие в Западной Германии писатели старшего поколения — Альфред Деблин и Альберт Швайтцер —

выступили в альманахе «Немецкое слово в наше время». В текущем году издательство намерено выпустить в свет антологию произведений молодых западногерманских писателей.

Иоганнес Бехер, выступая в июле этого года в Мюнхене, особо подчеркнул необходимость укрепления культурных связей между Западом и Востоком и, в частности, создания общегерманского литературного журнала.

„ЛИТЕРАТУРНАЯ КОНТРАТАКА"

Книга Ганса Гельмута Кирста «08/15» принадлежит к числу самых нашумевших произведений в Западной Германии. Даже такой деловой орган книготорговли, как «Берзенблат фюр ден дейчен Буххандель», отметил, что популярность произведения Кирста знаменует собой «крупнейший успех немецкого романа начиная с 1945 года».

Содержащаяся в книге критика немецкого милитаризма и реваншизма, несмотря на всю ее половинчатость и ограниченность, все же настолько встревожила соответствующие круги, что они предприняли своего рода «литературную контратаку». Как сообщила газета «Зонntаг», бывший майор генерального штаба Ганс Гур, ныне подвизающийся в области военной пропаганды, по заданию этих кругов спешно пишет роман под названием «Анти-08/15».

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ О ТОМАСЕ МАННЕ

Телевизионный отдел Южногерманского радио снял специальный документальный кинофильм, посвященный жизни и творчеству Томаса Манна. Впервые он демонстрировался в день восьмидесятилетия писателя. В ряде кадров показан дом в окрестностях Цюриха (Швейцария), в котором Манн находился до последних дней своей жизни.

Одновременно была выпущена долгоиграющая патефонная пластинка с записью фрагмента из романа «Исповедь авантюриста Феликса Крулля» в авторском чтении.

Выходящий в Тюбингене ежемесячник «Вельт унд Ворт» дал своеобразный литературный автопортрет Томаса Манна, составленный из его личных высказываний.

„ОБЕ ЧАСТИ ГЕРМАНИИ — В ОДНОМ АЛФАВИТЕ"

Под таким заголовком помещено в западногерманском книготорговом бюллетене сообщение о выходе Общегерманского книжного каталога на 1955—1956 год.

Каталог содержит наряду с западногерманскими изданиями названия двенадцати тысяч книг, выпущенных в Германской Демократической Республике.

НОВЫЙ РОМАН ЛИОНА ФЕЙХТВАНГЕРА

Гамбургское издательство «Ровольт-Ферлаг» объявило о предстоящем выходе в свет нового произведения Лиона Фейхтвангера — большого исторического романа «Испанская баллада».

ГРЕЦИЯ

ФЕСТИВАЛЬ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ КЛАССИКИ

Самым значительным событием в культурной жизни Греции за последнее время был, по утверждению газеты «Авги», фестиваль древнегреческих трагедий, проходивший в театре Эпидавра. (Эпидавр — древний город на восточном побережье Пелопоннеса. Знаменит своим театром, построенным в середине IV века до нашей эры Поликлетом младшим. Этот театр славился своей изумительной акустикой). В програм-

Сцена из трагедии «Царь Эдип» в исполнении артистов афинского Национального театра.
(Еженедельник „Леттр франсез".)

му фестиваля были включены трагедии «Царь Эдип» Софокла, «Гекуба» и «Ипполит» Эврипида в исполнении артистов афинского Национального театра.

Всего состоялось шесть спектаклей, привлекших огромное количество зрителей. Билеты на первый спектакль оказались распроданными за несколько дней до того, как он состоялся (театр в Эпидавре вмещает более пятнадцати тысяч зрителей). На последнем спектакле присутствовало около 18 тысяч человек. На фестиваль в Эпидавре были приглашены также гости из зарубежных стран — артисты, режиссеры, журналисты.

Кроме трех трагедий, поставленных на фестивале артистами Национального театра, различные театральные коллективы ставят или готовят к постановке в Афинах и других городах Греции еще пять трагедий Эсхила, Эврипида и Софокла.

Артисты Спирос Мусурис и Криньо Папа основали «Народный театр классической трагедии». Специальную труппу для постановки трагедий древнегреческих классиков организовали известные артисты драмы Маринос и Васо Метакса.

Касаясь всех этих фактов, газета «Авги» писала: «Никогда еще в стране, где зародилась трагедия, Эсхил, Софокл и Эврипид не были все вместе и столь широко представлены в наших театрах. Это весьма отрадное явление, внушающее большие надежды в отношении развития нашего театра».

ИНДИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ

В Дели состоялась закладка здания Национального музея Индии. С речью выступил премьер-министр Дж. Неру, подчеркнувший значение этого события для индийского народа.

Министр просвещения Индии Калам Азад сообщил, что музей будет расположен в восьмиэтажном здании. Сейчас приступлено к строительству первой очереди — четырехэтажного корпуса, который должен быть закончен в течение двух лет.

„ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА"

Журнал «Ная патх» поместил рецензию на сборник рассказов «Жизнь человека» Шьямал Кишор Джха.

«Каждый любитель реалистической литературы с удовольствием прочитает новый сборник рассказов Шьямала,— говорится в рецензии.— Некоторые из них, например «Жизнь человека» и «Черный дух», могут быть поставлены в один ряд с лучшими рассказами литературы хинди.

Рассказ «Верный слову» — это картинка из жизни актеров, вынужденных бродить по стране в поисках заработка. В рассказах «Торговля ложью» и «Черный дух» повествуется о стихийной борьбе крестьянства против феодальных традиций и феодальной эксплуатации. Рассказы написаны в острой сатирической форме.

Идея рассказа «Тришанку» в основном сводится к следующему: «Человек никогда не должен желать рая на небесах. Он должен создать рай на земле».

В рассказе «Бредущие» описывается жизнь безработных и борьба рабочего класса за свои права».

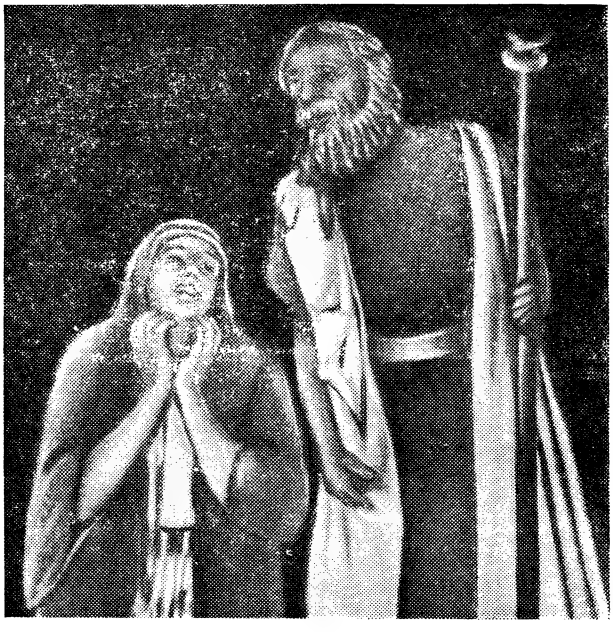
В заключение журнал «Ная патх» подчеркивает, что в своих острых и выразительных рассказах Шьямал Кишор Джха «продолжает и развивает лучшие реалистические традиции литературы хинди».

ИНДИЙСКИЕ ЖУРНАЛИСТЫ О СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ

Индийские журналисты, посетившие не так давно Советский Союз, по возвращении на родину выступили в печати со своими впечатлениями о поездке.

Сотрудник бомбейской газеты «Фри пресс джорнэл» Сваминатхан озагла-

Сцена из трагедии «Гекуба» в исполнении артистов афинского Национального театра.
(Еженедельник „Летр франсез").



вил свою статью «Расцвет искусства и культуры в Советской России». «В Индии, насколько мне известно,— пишет он,— получить специальное театральное образование имеют возможность только юноши и девушки из состоятельных аристократических семей. Но в России мы видели счастливых детей из семей рабочих и крестьян, выступающих в театрах и покоряющих зрителей своим мастерским исполнением».

Далее Сваминатхан пишет о том, что он и его коллеги были приятно удивлены, когда в Тбилиси юные артисты исполняли индийские танцы, а «в другом месте нашего премьер-министра приветствовали песнями на хиндустани».

Индийские журналисты были свидетелями того, что Советский Союз оказывает бескорыстную помощь другим народам в области культурного строительства. «В Варшаве мы видели огромный Дворец культуры и науки, прекрасно символизирующий ту красоту, которой Советы хотят окружить народы не только в своей собственной стране, но также и в странах своих друзей-соседей...

Я видел огромные красивые храмы на юге Индии и слышал, как люди говорят, что эти храмы построены ангелами. Но здесь я увидел построенный Советским Союзом храм культуры и науки, о котором потомки вполне могут сказать, что он создан самим богом.

Это типичный пример советской помощи дружественным странам. То же самое имеет место и в Китае, где СССР построил крупные предприятия, уже дающие продукцию и служащие замечательным и наглядным примером технической и экономической помощи Советской России своим друзьям».

Автор подчеркивает особый интерес советской общественности к культуре других народов и, в частности, к литературе Индии, ее истории, экономическим и социальным проблемам.

Отвечая тем, кто еще продолжает по старой привычке упрямо твердить о существовании «железного занавеса», Сваминатхан подчеркивает, что в Советском Союзе создана «здоровая атмосфера для свободного развития искусства» и что с этим «должны согласиться даже злейшие враги Советского Союза». Что же касается индийских журналистов, то, по словам Сваминатхана, они пришли к выводу о том, что «на советской земле, где нет князей и помещиков, рабочие и крестьяне процветают».

ИТАЛИЯ

ПОЭТ КРЕСТЬЯНСКОЙ СВОБОДЫ

Итальянская литературная общественность отметила годовщину со дня смерти молодого поэта Рокко Скотелларо; он посвятил всю свою короткую жизнь делу культурного возрождения отсталого и нищего «Медзоджорно» (южные провинции Италии: Апулия, Калабрия, Сицилия) и защите южноитальянских крестьян от гнета помещиков, церкви, продажной администрации и бандитских организаций типа мафии. Сын батрака, Скотелларо в послевоенные годы был одним из руководителей крестьянского движения в Апулии. Ему было всего 23 года, когда его родная деревня Трикарико избрала его своим мэром. В 1950 году вышел сборник его поэм, сразу привлекший внимание новизной тем, искренностью и своеобразием формы и вызвавший оживленные споры в литературных кругах. Вскоре ему присудили литературную премию «Виареджо», которая считается одной из наиболее почетных в Италии.

Годовщина смерти Скотелларо была отмечена необычным в Италии собранием. По инициативе социалистической партии, руководимой Пьетро Ненни, в небольшой городок Матера (Апулия) съехались со всех концов страны представители передовой итальянской интеллигенции — писатели, критики, художники, научные работники, политические деятели,— а из окрестных деревень пришли крестьяне — батраки, поденщики, испольщики, мелкие собственники. В присутствии двух тысяч человек были зачитаны доклады о творчестве Скотелларо и его общественной деятельности. Одновременно была организована выставка картин Ренато Гуттузо, Карло Леви и молодого местного художника Спиццико.

Молчаливые, закутанные в черные плащи апулийские крестьяне с глубоким сосредоточенным вниманием слушали городских «северных» ораторов, касавшихся порой трудных и, казалось бы, далеких для этой аудитории проблем литературы и искусства. А когда критик Франко Фортини прочитал несколько стихотворений Скотелларо — тоже не всегда «легких» для понимания, — раздались взволнованные возгласы одобрения и на глазах у суровых, опаленных солнцем «браччанти» (поденщиков) показались слезы.

«Северяне», приехавшие из промышленных и культурных центров Ломбардии и Пьемонта, были, в свою очередь, потрясены, когда на трибуну поднялся односельчанин поэта и сказал: «Он читал нам свои стихи, которые слагал на гумне, когда мы молотили, в поле, где мы обрабатывали землю мотыгой, и сидя с нами за обеденным столом. Он спрашивал: «Нравится вам это?» Нам его поэмы нравились, потому что Рокко писал нашими словами».

Другой крестьянин сказал: «Он научил нас говорить, научил высказывать словами то, что мы чувствуем, чего мы хотим. Он умер, и мы со скорбью оплакиваем его. Нам остается идти далее по пути, который он нам указал».

После собрания в Трикарико на стене дома, принадлежащего семье Скотелларо, была открыта мемориальная доска с надписью: «Поэту крестьянской свободы, мэру-социалисту Рокко Скотелларо».

Художник и писатель Карло Леви (автор известной повести «Христос остановился в Эболи», посвященной «забытому богом югу») рассказывает на страницах журнала «Мондо операйо», что крестьяне Апулии уже сложили песню-легенду о жизни своего поэта и поют ее воскресными вечерами.

ЦЕННОЕ ИЗДАНИЕ ПО ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ

Среди итальянских литературоведов большой популярностью пользуется книга Эрнесто Моначи — «Антология древнейших памятников итальянской литературы». В настоящее время эта книга является библиографической редкостью. Вот почему новое издание было с большим удовлетворением встречено итальянской литературной общественностью.

Как сообщила газета «Унита», вновь вышедшая «Антология» существенно отличается от предыдущего издания. В нее включено 14 новых текстов, относящихся к самым ранним произведениям итальянской литературы. Справочный аппарат книги увеличен почти вдвое — в новом издании он занимает 119 страниц.

МИЛАНСКИЙ МАЛЫЙ ТЕАТР В ВЕНЕ

В развитии культурных связей между Италией и Австрией большую роль, по мнению итальянской печати, сыграли состоявшиеся не так давно гастроли Миланского Малого театра в Вене. В помещении одного из старейших и лучших австрийских театров — «Бургтеатра» итальянский коллектив показал две пьесы Карло Гольдони, в том числе — «Слугу двух господ».

Гастроли эти представляли для венского зрителя большой интерес еще и потому, что в нынешнем столетии итальянские театры вообще не выступали в австрийской столице.

Успех театра превзошел ожидания итальянской общественности. Как писал журнал «Мондо операйо», «и публика, и критики встретили спектакли Малого театра очень тепло и даже восторженно».

Руководство театра использовало пребывание в Вене для установления широких культурных связей. Перед началом гастролей была устроена пресс-конференция, на которой австрийских критиков ознакомили с ходом развития современного итальянского театра в целом, и Миланского Малого театра в частности.

Миланский Малый театр приглашен для участия в фестивале 1956 года, организуемом в связи с открытием нового здания «Бургтеатра» в Вене.

ИТАЛЬЯНСКАЯ КРИТИКА О ТВОРЧЕСТВЕ ЧЕХОВА

Недавно в Италии были опубликованы результаты конкурса на лучший очерк и статью о творчестве А. П. Чехова. Этот конкурс был объявлен в связи с пятидесятилетием со дня смерти великого русского писателя.

Премии удостоены очерки Карло ди Стефано «Реализм Антона Павловича Чехова» и Буно Мериджи — «Чехов и рождение нового русского театра».

Из статей, опубликованных в итальянской печати, первой премией жюри отметило статью Фердинанда Вердиа. Вторую премию получила статья Филиппо Ротоло — «Антон Чехов — поэт надежды».

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПЛАНЫ ЧЕЗАРЕ ДЗАВАТТИНИ

В журнале «Л'Италиа ке скриве» напечатано сообщение о литературных планах Дзаваттини.

«В апреле 1955 года,— сообщает Дзаваттини,— вышла книга, состоящая из фотографий Поля Стрэнда и моего текста. Она открывает серию «Моя Италия». Второй в этой серии будет книга Де Сика о Неаполе, третьей — Лукино Висконти о Милане.

В 1955 году выйдет «Кинематографический дневник». В «Дневник» войдет часть моих статей, печатавшихся в журнале «Новое кино» («Чинема нуово»), а также некоторые из моих работ, написанные за последние десять лет.

Мною задуман также роман, охватывающий жизнь одного итальянца с начала XX века и до наших дней. Но я не знаю, когда смогу осуществить этот замысел, так как очень загружен работой в кино».

РОССЕЛИНИ СТАВИТ ФИЛЬМ „КАРМЕН"

Режиссер Роберто Росселини приступил в Испании к съемкам фильма «Кармен». Это тринадцатый вариант новеллы Мериме в кино. Как сообщает французская газета «Ар», сценарий нового фильма в точности следует литературному первоисточнику.

„РЕВИЗОР" НА ЭСПЕРАНТО

В итальянском городе Болонье проходил международный съезд, все участники которого не нуждались в переводчиках. Это был 40-й конгресс эсперантистов.

Около двух тысяч делегатов со всех концов света собрались, чтобы обсудить возможность введения эсперанто в учебных заведениях в соответствии с предложением, выдвинутым не так давно ЮНЕСКО.

С работой конгресса связано интересное событие в театральной жизни Болоньи. Впервые на сцене городского театра для участников конгресса был поставлен «Ревизор» Гоголя на эсперанто.

Популярная в Китае картина художника Тан Вэнь-сюаня «Мать и невестка идут в зимнюю школу».

КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

ВЫСТАВКА ЯПОНСКОЙ ГРАФИКИ В ПЕКИНЕ

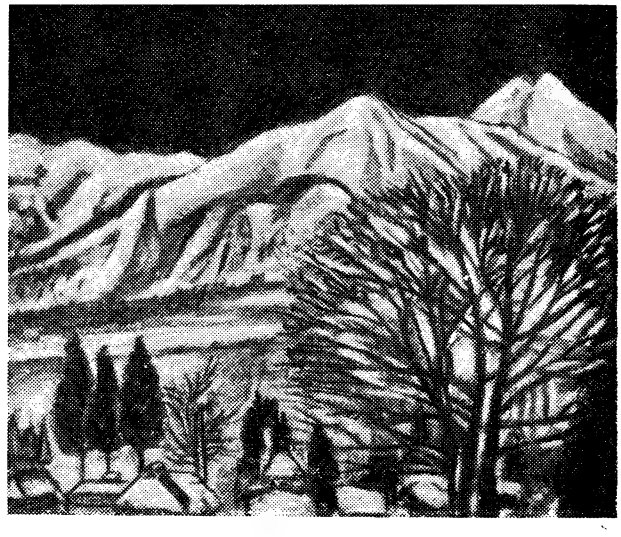
На выставке японской графики, состоявшейся в Пекине, было представлено более двухсот гравюр и рисунков.

Как сообщила пекинская печать, выставленные произведения искусства посвящены борьбе японского народа за мир и национальную независимость. Глубокой ненавистью к поджигателям и пропагандистам атомной войны проникнуты гравюры, изображающие пострадавших от взрыва атомных бомб.

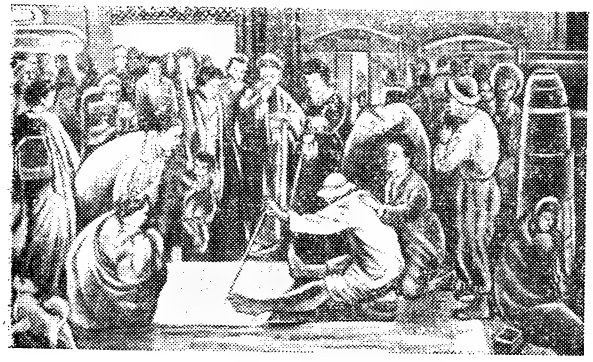
Внимание зрителей, по сообщению газеты «Гунжэньжибао», привлекла серия гравюр под названием «Нельзя забывать Хуагана». В них выражен горячий протест против расстрелов китайских военнопленных японской военщиной.

На выставке было также немало гравюр, с огромным мастерством воспроизводящих жизнь и быт японского народа, а также замечательные зарисовки природы.

Газета «Гунжэньжибао», оценивая значение выставки, писала: «Мы глубоко верим, что выставка японской графики будет способствовать дальнейшему укреплению дружеских и культурных связей китайского и японского народов».



Накаяма Тадаси. «Зима в деревне».
(Газета „Гунжэньжибао".)



Уэно Макото. «Выступление пострадавшего от атомной бомбы».
(Газета „Гунжэньжибао".)

„ВЫСОКОМЕРНЫЙ ПОЛКОВОДЕЦ"

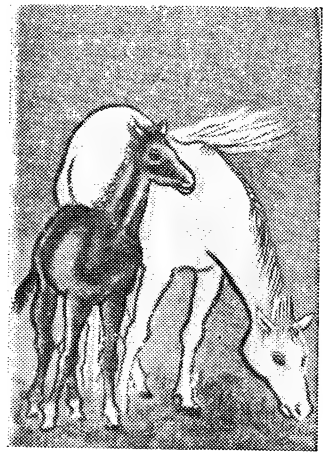
Первая цветная китайская кинокартина называется «Высокомерный полководец». Действие происходит в далекие времена, когда отдельные правители Китая постоянно воевали между собой. Один из них одержал блестящую победу над врагами. Успех и восторженные дифирамбы окружающих вскружили ему голову и усыпили его боевой дух. Он почил на лаврах и зажил беззаботной жизнью. Враги неожиданно напали на зазнавшегося полководца. В панике он созвал своих соратников, но оружие их заржавело, а колчаны превратились в мышиные гнезда. Полководец потерпел полное поражение.

История эта относится к далекому прошлому, но, как пишет журнал «Дачжундяньин», она учит не забывать той простой истины, что «зазнавшийся человек всегда терпит крах».

ПИСАТЕЛИ ПИШУТ СЦЕНАРИИ

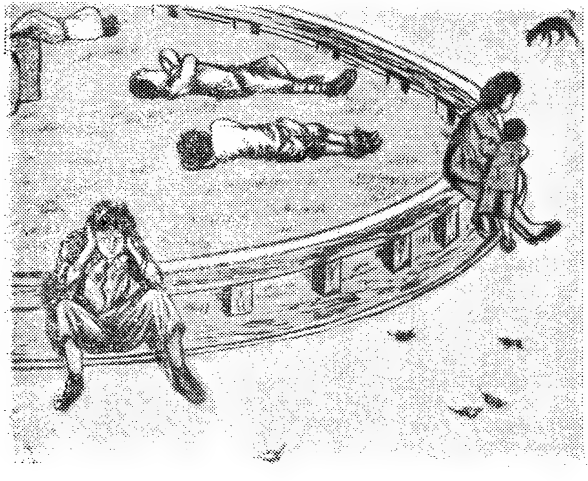
Пекинская киностудия получила ряд новых сценариев. Писатель Хай Мо закончил сценарий о жизни женщины-революционерки. «Счастливые пограничники» — так называется сценарий, написанный коллективом авторов. В нем рассказывается о бойцах Народно-освободительной армии, несущих службу на юго-западных границах, о дружбе малых народностей,

Маэкава Сэмпо. «Ребенок».
(Газета „Гунжэньжибао".)



Одзаки Киёдзи. «Лошади».
(Газета „Гунжэньжибао".)

Мураками Есио. «Безработные в Японии».
(Газета „Гунжэньжибао".)



населяющих этот край и помогающих бойцам охранять рубежи родины. Писатель Ван Ин-цы сдал сценарий «Неизвестный боец» о борьбе с контрреволюционерами. В сценарии «Неугасимое пламя» (авторы Ма Фын и Си Жун) изображе-

ны незабываемые годы войны против японских захватчиков.

КОРЕЙСКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ПЕРВЫЙ ФИЛЬМ-КОНЦЕРТ

На экранах КНДР с большим успехом демонстрировался первый корейский фильм-концерт «Прекрасная песня» (режиссер Чон Дон Мин). В «Прекрасной песне» показано пятнадцать различных по своему жанру номеров, получивших признание корейского зрителя.

...Воскресный день. На экране вновь восстановленное здание театра Моранбон в Пхеньяне. Зрительный зал. Медленно поднимается занавес. С экрана мощно и широко звучит песня, славящая мужество и героизм борцов, сражавшихся за свободу и независимость своей родины. Мелькают кадр за кадром, одна сцена сменяется другой; инструментальную музыку исполняют артисты Государственного художественного театра, корейские песни поет Ким Ван У. Корейские национальные танцы показывают учащиеся балетной студии Цой Сын Хи. В исполнении актеров Государственного художественного театра дается отрывок из оперы «Кончи и Патчи». На экране снова сводный хор. Звучит «Песня о восстановлении», в которой славится мирный труд народа.

Зрители и печать хорошо встретили этот фильм. Вместе с тем были отмечены и такие его недостатки, как громоздкость сценария и отсутствие логической связи между отдельными эпизодами.

Давая высокую оценку фильму в целом, газета «Нодон Синмун» указывает, что он открывает перед корейской кинематографией благоприятные возможности для дальнейшего развития популярного киножанра. В то же время «Нодон Синмун» пишет, что «успеху «Прекрасной песни» содействовал богатый опыт советской кинематографии».

ПОЛЬША

„ГОД МИЦКЕВИЧА" В ПОЛЬСКОЙ НАУКЕ

«Год Мицкевича» приблизился к своему кульминационному моменту: 26 ноября исполняется столетие со дня смерти поэта. К этой дате тираж послевоенных изданий его произведений превысил 4,5 миллиона экземпляров.

Широко развернулось освещение творчества великого поэта в польской печати. Со статьями выступили видные историки литературы, критики, писатели. Среди них — С. Жулкевский, К. Выка, Ю. Клейнер, Ю. Кжижановский, Ю. Пшибось, М. Яструн, Я. Ивашкевич.

По обширному плану ведутся научно-исследовательские работы в области изучения наследия Мицкевича и его эпохи. Они сосредоточены в четырех секциях, руководимых Научной комиссией, во главе которой стоит проф. Казимеж Выка. Это — Секция истории и истории философии, Секция истории польской литературы и языка, Секция истории искусства и Секция иностранных литератур. К работе в секциях привлечены многие институты и комиссии Польской Академии наук.

„СЛОВАРЬ МИЦКЕВИЧА"

Монументальным памятником творческой деятельности Мицкевича явится «Словарь» его языка, подготовка которого началась еще в 1950 году. Для руководства всеми работами по составлению «Словаря» Польская Академия наук образовала редакционную комиссию, возглавляемую С. Пигонем.

«Словарь» охватит в полном объеме произведения Мицкевича — его поэзию, прозу и публицистику.

Издание «Словаря», рассчитанное на ряд лет, явится своеобразным завершением «Национального собрания сочинений» Мицкевича. Уже на подготовительной стадии работы «Словарь» служит ценным справочным пособием при изучении и публикации текстов Мицкевича. Вместе с тем он является настоящей сокровищницей польского языка, дополняя и обогащая существующие толковые словари всем богатством поэтической речи величайшего национального поэта Польши.

МУЗЕЙ В ВАРШАВЕ

В районе Старе Място (Варшава) находится первый в Польше Музей Мицкевича. В ноябре 1955 года здесь открывается постоянная экспозиция, приуроченная к юбилейным торжествам.

Музей является важнейшим центром сбора и распространения материалов о великом польском поэте. Консультациями и коллекциями Музея пользуются научные и культурно-просветительные организации как в самой Польше, так и за ее пределами. Музей оказывает помощь польским издательствам и учебным заведениям. Около сорока передвижных выставок подготовлено им для посылки за границу.

„ГОД МИЦКЕВИЧА" ЗА РУБЕЖОМ

Постановление Всемирного Совета Мира о чествовании памяти А. Мицкевича вызвало широкий отклик во всем мире.

По данным польской печати, в ряде стран образованы комитеты по проведению юбилейных торжеств (в странах народной демократии, США, Франции,

Канаде, Израиле и других).

Во Франции «Комитет Мицкевича» организовал в Сорбонне торжественное собрание памяти поэта. Члены Комитета возложили венки к подножию памятника Мицкевича и на кладбище Монморанси, куда в 1890 году был перевезен его прах. Комитет объявил конкурс на лучший перевод стихов поэта. Издательство «Объединенные французские книгоиздатели» намерено выпустить в свет сочинения Мицкевича; первые тома должны выйти в 1956 году.

В Италии выйдет ряд изданий: том стихотворений Мицкевича, сборник статей и исследований о нем и другие. Будет отлита медаль в честь Мицкевича. Объявлен конкурс на лучшие иллюстрации к произведениям поэта; читаются лекции и проводятся научные конференции, посвященные его творчеству.

26 ноября намечено провести торжественное собрание в Капитолии.

«Год Мицкевича» широко отмечается во всех крупных городах Германской Демократической Республики. Особое внимание юбилейной дате уделяется в городах области, граничащей с Польшей (Котбус, Сталинштадт, Франкфурт-на-Одере), а также в Веймаре, где Мицкевич встретился с Гете.

На немецкий язык переведена биография Мицкевича, написанная М. Яструном. Издается антология произведений Мицкевича и сборник исследований о нем немецких ученых.

В Австрии «Комитет Мицкевича» намерен провести торжественные собрания в наиболее значительных городах страны; объявлен конкурс на лучшие иллюстрации к произведениям Мицкевича.

Конкурсы на лучшие переводы произведений Мицкевича и иллюстрации к ним проводятся также в Германской Федеральной Республике, Англии, Соединенных Штатах Америки.

КНИГА ПОЛЬСКОГО ПИСАТЕЛЯ О НЕКСЕ

Имя и творчество Мартина Андерсена Нексе пользуются большой популярностью в Польской Народной Республике. Его «Пелле-завоеватель» и «Дитя человеческое» выдержали по четыре издания (в общей сложности триста тысяч экземпляров), а роман «Мортен Красный» вышел в количестве двухсот сорока тысяч экземпляров.

Польский литературовед Эгон Нагановски готовит в настоящее время книгу о Нексе. В беседе с корреспондентом датской газеты «Ланд ог фольк» он сообщил:

«Из иностранных писателей, чьи произведения переведены на польский язык, Нексе, безусловно, принадлежит к числу самых популярных. Недавно я провел беседу о Нексе в военном госпитале, и моя беседа стала поводом для четырехчасовой дискуссии. Меня забросали вопросами о Пелле, о Дитте, о Дании, о самом Нексе. В последнее время я несколько раз выступал в школах. Я бы сказал, что почти все школьники знают Дитте или Дитту, как ее называют по-польски. Этому немало способствовала демонстрация превосходного датского фильма, поставленного по роману Нексе».

РУМЫНИЯ

НАУЧНЫЕ БИОГРАФИИ КЛАССИКОВ

В результате научных изысканий, предпринятых литературоведами народной Румынии, в новом свете предстали жизнь и творчество таких классиков, как И. Караджале, Георге Кошбук, Ион Крянгэ, Михаил Эминеску.

Истинное отношение правящих кругов старой Румынии к этим замечательным писателям сказывалось не только в замалчивании их лучших творений, но и в полном пренебрежении к их биографиям. Так, не была установлена даже точная дата рождения Иона Крянгэ и Михаила Эминеску. Что касается поэта Георге Кошбука, то хотя и был известен год его рождения (1866), но месяц так и оставался невыясненным.

Ныне румынскими историками литературы составлены научно разработанные и вполне достоверные биографии классиков, что является еще одним свидетельством того, каким всенародным уважением пользуется сейчас их творчество в новой Румынии.

США

„АТОМ НА СЛУЖБЕ МИРА"

Американский журнал «Нейшн» отмечает девяностолетие со дня выхода первого номера. Журнал был основан сразу после конца гражданской войны в США деятелями освободительного движения Годкином и Уэнделом Филиппсом. В первой же передовой статье журнала было выдвинуто требование равенства для негров.

Журнал выступал в защиту Тома Муни, в защиту Сакко и Ванцетти, требовал установления дипломатических отношений с Советским Союзом.

«Атом на службе мира» — такова основная тема содержания юбилейного номера журнала «Нейшн». В нем помещены статьи виднейших представителей науки США и других стран, призывающие к мирному сосуществованию, к использованию атомной энергии в промышленности, в сельском хозяйстве, медицине.

ХЕМИНГУЭЙ НА ЭКРАНЕ

Как сообщает газета «Ар», американский киноактер Спенсер Трейси будет исполнять главную роль

в американском фильме «Старик и море» (по повести Эрнеста Хемингуэя). Та же газета сообщает, что в качестве режиссера фильма намечено пригласить Витторио Де Сика.

КНИГА О ХУДОЖНИКЕ ДЖОНЕ СЛОУНЕ

Американец Джон Слоун известен в США как живописец, акварелист, карикатурист, график, мастер плаката. Его жизненному и творческому пути посвящена вышедшая недавно в Нью-Йорке книга известного критика Ван Вик Брукса.

Читатель узнает из книги, что Слоун начал свою творческую деятельность как художник-иллюстратор в газете «Нью-Йорк трибюн» и в газетном синдикате Скриппса. Первая выставка его произведений состоялась еще в 1913 году. Уже тогда он показал себя не только зорким наблюдателем жизни, но и решительным борцом за интересы простых людей.

Газета «Уоркер» в рецензии на книгу Ван Вик Брукса пишет: «Жизнь всегда была в самом центре полотен Джона Слоуна, он никогда ее не затушевывал, не прятал, не обходил, не отвергал, он всегда ее показывал». Так, еще в июне 1914 года Слоун создал свою гравюру, посвященную героической эпопее борьбы бастующих горняков штата Колорадо.

Отдельная глава книги Ван Вик Брукса рассказывает о роли и месте Слоуна в знаменитой «Восьмерке» («Восьмерка» — группа американских художников, открыто выступавших с протестом против господства застывших традиций академизма в изобразительном искусстве; эта группа сыграла большую и положительную роль в развитии живописи и графики в Америке). Соратниками Слоуна по «Восьмерке» были художники Джордж Лакс, Роберт Генри и другие.

В Соединенных Штатах выпущена почтовая марка, посвященная использованию атомной энергии в мирных целях. *(Газета „Пиплз уорлд".)*

Ван Вик Брукс напоминает в своей книге о нашумевшем антивоенном рисунке Слоуна: на нем изображен солдат, смертельно раненный в бою; но он все же напрягает последние силы и ползет через поле битвы к пославшему его на войну «боссу», который намерен наградить медалью эти окровавленные останки человека...

Произведения Слоуна хорошо известны его соотечественникам; они могут видеть его полотна не только на часто организуемых выставках, но и в ряде музеев — «Уорчестер Академи», «Вудс Гэллерис», собрании Холбрука, университета в Джорджии; немало картин Слоуна находится в частных собраниях. Последняя выставка акварелей Слоуна была открыта в апреле 1955 года в Нью-Йорке.

ВОСХВАЛЕНИЕ АМЕРИКАНСКОГО ДОМОСТРОЯ

«Место женщины — дома»,— такова нехитрая мораль романа Маргарет Бэннинг «Приданое», вышедшего не так давно в солидном нью-йоркском издательстве Харпер. Книга Бэннинг, как подчеркивается на страницах газеты «Уоркер»,— не случайное явление в сегодняшней Америке. Она перекликается с рассуждениями некоторых реакционных социологов, психологов, церковников и даже специалистов по вопросам питания; один из них, например, высказал предположение, что тяга женщины к работе вне дома вызывается... недостатком некоторых витаминов в ее организме.

Кэй Райленд, героиня «Приданого», безуспешно пытается совместить обязанности жены и матери с ответственной, высоко оплачиваемой работой. Все как будто бы идет хорошо, но муж Кэй, адвокат и политический деятель, заболевает острой неврастенией. Причина его болезни — «психологическая реакция» на независимость жены, зарабатывающей больше, чем он. В ходе романа эта «жертва семейного неравноправия» влюбляется в слабенькую, беспомощную Лиззи. Лиззи очень богата, но богатство ее унаследовано и потому приемлемо для мужчины. Кэй во-время спохватывается и, приняв срочные меры, спасает свой брак от гибели. Она усваивает ряд «святых истин»: муж — это «глава дома»; «единственная женщина, которая по-настоящему на месте в учреждении,— это уборщица, протирающая полы по вечерам», и т. п.

В небольшом романе М. Бэннинг уместилось не

менее полудюжины реакционных идеек, говорится в рецензии, помещенной на страницах газеты «Уоркер».

„ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ РАБСТВА"

Под таким заглавием в издании «Мэссиз энд Мэйнстрим» вышла новая книга публициста Сэмюэля Силлена. В книге собраны очерки о шестнадцати выдающихся американских женщинах, деятельно боровшихся за отмену рабства в США.

Л. ФЕЙХТВАНГЕР О РОМАНЕ МАРТЫ ДОДД

В еженедельнике «Нейшн» под заголовком «Зеркало Америки» опубликована статья Лиона Фейхтвангера о романе Марты Додд «Лучом прожектора».

В своей статье Фейхтвангер пишет: «Лучом прожектора» Марты Додд — яркий образец романа, проникнутого политической тенденцией. Книга имеет кое-какие недостатки, обычно присущие такого рода произведениям; но она обладает и всеми преимуществами, какие являются следствием того, что роман написан со всей силой общественно-политической убежденности. Мы обычно называем такой жанр литературы «активизмом», и, пожалуй, половина всех наиболее прославленных в истории романов обязана своим появлением именно этому стимулу. Сейчас принято насмешливо отвергать такие произведения или встречать их появление снисходительной улыбкой. Впрочем, чаще всего их отвергают потому, что критик не приемлет политической тенденции, присущей книге, которую он рассматривает.

Герой Марты Додд, профессор Джон Мино, заведующий английским отделением довольно известного университета, втягивается в движение протеста против принудительного «принесения присяги о лояльности». Он — далеко не воинственная натура. Это — ученый, более склонный к размышлению, нежели к действию. Но он — глубоко порядочный человек и не любит идти на сделку с совестью. Борьба против «присяги о лояльности» ставит этого немолодого уже человека перед выбором: либо, пожертвовав своими принципами, сохранить личную безопасность, продолжать свою научную работу и мирную семейную жизнь с женой и дочерью; либо, сохранив верность своим принципам, потерять все, чего он достиг, и оказаться беззащитным перед лицом враждебных сил.

Писательница изображает жизнь университета в момент, когда негодование против обязательного принесения присяги достигает высшей точки. Она показывает все стороны идущей борьбы. Люди подвергаются серьезным моральным испытаниям. Многочисленные оттенки душевных движений — от эгоистичной трусости до самозабвенной отваги — изображены отчетливо. С жестокой трезвостью рисует писательница колебания, испытываемые каждым из ее героев до того, как он принимает решение: устоять или сдаться и как скоро сдаться.

Яснее, нежели любое теоретическое исследование, этот роман отражает то неустойчивое положение между свободой и отсутствием свободы, какое переживает Америка нынешнего десятилетия. В книге нет отвлеченных рассуждений о том, как эта борьба меняет внутренне и внешне отдельную личность и классы в целом: все это реально в ней показано.

Правда, Марте Додд не всегда удается избежать опасности, какую таит в себе политический роман: порою она впадает в теоретизирование, в тон передовой статьи. Но она нашла превосходный выход, и притом совершенно оправданный с художественной стороны: воплотить идею романа не в одних только характерах и судьбах созданных ею персонажей. Ее герой пишет труд о Джоне Мильтоне; и в пользу Марты Додд как писателя говорит то, что выдержки из Мильтона, цитируемые героем, вполне гармонируют со всем тоном ее книги. Уместны и взятые ею в виде эпиграфа слова Мильтона: «Я не могу восхвалять уклончивую, скрытую в затвор добродетель, бездеятельную и безмолвную, которая никогда не выйдет навстречу своему противнику, а устранится от поединка там, где лавровый венок добродетели добывается не без пота и грязи». Да и другие глубокие мысли Мильтона отнюдь не случайны: они самым тесным образом связаны с ситуациями романа и с его героями.

Роман Марты Додд — это подлинное зеркальное изображение сегодняшнего дня Соединенных Штатов. Оно рождено трезвым видением, стремлением к художественному отображению, преданностью свободе и правде. Автор вправе гордиться тем, что одно из последних высказываний Альберта Эйнштейна относилось к ее книге: «Заслуживает признания каждого честного человека то,— писал ей Эйнштейн,— что вы пролили свет на весь фантастически-мрачный процесс, свидетелями которого все мы являемся...»

ФРАНЦИЯ

НОВЫЙ РОМАН ШАБРОЛЯ

Новый роман молодого французского писателя Ж.-П. Шаброля называется «Бу-Галё». Бу-Галё — одна из самых обездоленных окраин маленького городка, перенаселенное и шумное рабочее предместье, где немало разваливающихся домов, сырых лачуг, судачащих кумушек и ребят во дворах.

Таково место действия романа.

В центре внимания автора — повседневная будничн-

ная жизнь рабочей молодежи; Шаброль описывает все невзгоды и радости молодого поколения. При этом, как отмечает Андре Вюрмсер в «Леттр франсез», автор ничего не приукрашивает и наряду с положительными чертами изображает также и недостатки своих молодых героев.

Рабочая молодежь Бу-Галё неугомонна, полна энергии, требовательна, порой хвастлива, зачастую несчастна. Шаброль показывает читателю, как тяжела ее жизнь. Здесь и безработица, увольнения и безуспешные поиски работы, здесь и увлечение чемпионом бокса и пристрастие к стаканчику вина, здесь и повседневный изнуряющий труд на заводах и стройках.

Все герои Шаброля — рабочие, но далеко не все из них — коммунисты. Тем не менее писатель, подчеркивает Вюрмсер, показывает, что, даже не будучи коммунистами, они поддерживают свою партию, защищающую их интересы.

«Последний патрон», первый роман Шаброля, был очень хорош,— пишет в заключение Вюрмсер,— но «Бу-Галё» еще лучше. Эта книга доставляет радость и приносит пользу».

Попутно отметим, что новый роман Шаброля высоко оценивает и такая газета, как «Ар».

ПИСЬМА БАЛЬЗАКА

Во французском издательстве «Форм э рефле» вышли две книги, помогающие изучению литературного наследия Бальзака. Одна из них — «Переписка Бальзака». Как сообщил журнал «Ревю де де монд», среди 418 писем, вошедших в этот сборник, есть не только печатавшиеся с сокращениями или искажениями, но и вообще до сих пор нигде не опубликованные

Второй сборник, вышедший в том же издательстве,— «Предисловия Оноре де Бальзака». В него включены все предисловия, когда бы то ни было написанные Бальзаком к своим произведениям, в том числе и юношеским.

КНИГА О ПОЛЬСКОМ НАРОДНОМ ТВОРЧЕСТВЕ

В 1954 году в Париже с большим успехом прошли выступления художественного коллектива Польской Народной Республики — ансамбля «Мазовше».

Как сообщает журнал «Эроп», французский писатель Рене Жугле написал книгу, посвященную польским песням и танцам, исполняемым участниками этого ансамбля. Книга богато иллюстрирована красочными фотографиями; пояснительный текст к ним представляет собой взволнованный комментарий, раскрывающий высокую поэтичность народного искусства демократической Польши.

60 ЛЕТ КИНО

В этом году мировая кинематография отмечает шестидесятилетие своего существования: днем ее рождения считается тот день, когда французский изобретатель Луи Люмьер впервые показал в парижском «Гран Кафе» свои «оживленные картинки». В связи с этой юбилейной датой в Париже открылась

Жерар Филип известен советскому зрителю по фильмам «Пармская обитель» и «Фанфан-Тюльпан», где он исполняет с успехом главные роли. Несколько лет назад Жерар Филип снимался во французском фильме, сделанном по роману Достоевского «Идиот». На снимке — Жерар Филип в роли князя Мышкина.

выставка. В числе экспонатов здесь были представлены и киноаппаратура (от «волшебного фонаря» до современного съемочного аппарата), и рукописи самых известных режиссерских сценариев, и репродукции наиболее прославленных кадров из кинофильмов (в частности, кадр из «Броненосца Потемкина» Эйзенштейна, изображающий мать, несущую на руках убитого ребенка).

Среди экспонатов были и неизданные письма Вс. Пудовкина и С. Эйзенштейна.

На выставке демонстрировались первые ленты Люмьера, кинофильмы Макса Линдера, Чарли Чаплина, Сергея Эйзенштейна, Кинга Видора, Дэвида Гриффитса и другие выдающиеся произведения мировой кинематографии.

* * *

В связи с шестидесятилетием кинематографии киноработники ряда стран Европы, Азии и Америки обратились с предложением к французской кинематографии в лице режиссеров Клода Отан-Лара, Андре Кайатта, Жан-Поля Ле Шануа и Марселя Л'Эрбье. Суть этого предложения, как сообщает «Либерасьон», состоит в том, чтобы организовать «дружескую встречу, открытую для всех, кто... стремится содействовать улучшению условий производства фильмов, эффективности их духовного воздействия и обеспечению широкой свободы, которой должны пользоваться создатели кинофильмов». Встречу предлагается организовать в декабре этого года в Париже.

ОТРАЖАТЬ ЖИЗНЬ НАРОДА!

Еженедельник «Леттр франсез» опубликовал беседу с одним из старейших мастеров французского кино, режиссером и сценаристом Рене Клером.

«Необходимо, чтобы кинематография была по своему духу национальной, национальной во что бы то ни стало,— убежденно подчеркнул Рене Клер.— Мы не можем творить в обстановке изоляции. Мастер кино отражает жизнь страны, в которой он живет. Что он может создать без своего народа, без своего города, края?.. Произведение, имеющее большой международный успех,— это всегда произведение, национальное по своему характеру».

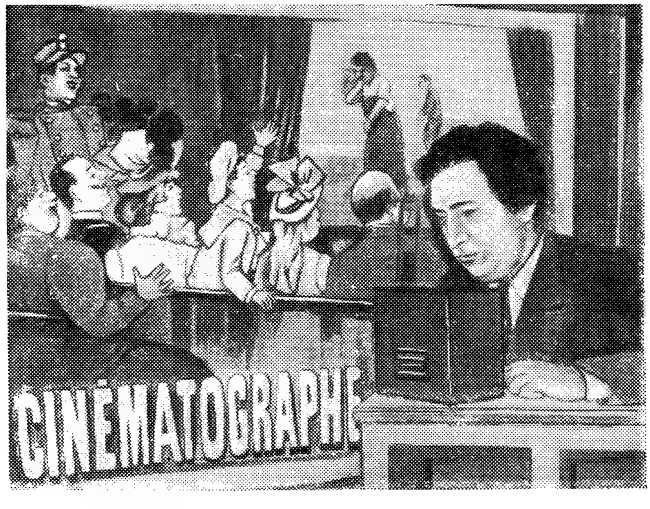
Рене Клер считает ненормальным такое положение, когда за последнее время французская кинематография почти не развивает столь традиционного национального жанра, как кинокомедия.

«...Кино и народность — можно ли разъединить эти два понятия?— восклицает Рене Клер.— Фильм по самой своей природе обращен к миллионам людей. Кино должно быть народным; эту истину внушил мне еще в первые годы моей работы Чарли Чаплин.

Экстраординарный фильм для избранных создать не так уж трудно. Не очень трудно делать и плохие фильмы для массового зрителя. Но разве не является для нас делом чести — создавать самые лучшие фильмы для самой широкой, самой массовой аудитории?!» — говорит Рене Клер.

Директор «Французской синематеки» Анри Ланглуа демонстрирует первый киноаппарат, которым снимали свои фильмы братья Огюст и Луи Люмьер.

(Газета „Унита".)



ФИЛЬМ „САЛЕМСКИЕ КОЛДУНЬИ"

По сообщению газеты «Либерасьон», постановщик пьесы Артура Миллера «Салемские колдуньи» в парижском театре «Сара Бернар» Раймон Руло начал работу над одноименным кинофильмом. В основной роли Проктора будет сниматься Ив Монтан.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ НОМЕР ЖУРНАЛА „ЭРОП"

Ежемесячный журнал «Эроп» посвятил сдвоенный номер театру. Передовая статья главного редактора Пьера Абрагама озаглавлена «Дайте место театру»; в ней говорится о тяжелом положении театрального искусства во Франции и подчеркивается, что главные социальные проблемы

современности не находят отражения в репертуаре. В театральных залах можно редко увидеть рабочих или мелких служащих. «Говорить сегодня о театре во Франции,— пишет Абрагам,— значит говорить о производстве предметов роскоши для привилегированных классов».

В том же номере журнала помещено несколько пьес целиком или в отрывках; в их числе «Старик» А. М. Горького, пьеса Иона Луки Караджале «Господин Леонида перед лицом реакции», пролог к пьесе Бертольда Брехта «Кавказский меловой круг», пьеса Альберта Мальца «Репетиция», «Нос» — комедия-балет Жоржа Соннье по Гоголю, одноактная пьеса Пьера Гамарра «Счастье и К°». В журнале напечатаны также первая пьеса восемнадцатилетнего драматурга Катрин Фальбе «Зеленая молодежь», отрывок из либретто поэта Жака Гошерона к новой опере Жозефа Косма «Стальной цветок».

НЕИЗДАННАЯ СИМФОНИЯ ДЕБЮССИ

Парижская национальная библиотека, как сообщает «Леттр франсез», приобрела рукопись неизданной симфонии Клода Дебюсси «Падение дома Эшер». Рукопись эта считалась уничтоженной.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

„КЛУБ ЧИТАТЕЛЕЙ"

Ежегодная подписная серия «Клуб читателей», выходящая в Издательстве художественной литературы, включает двенадцать книг классических, современных чехословацких и иностранных авторов, один поэтический альманах и пять иллюстрированных изданий. За два года существования эта серия стала весьма популярной: об этом свидетельствует хотя бы число подписчиков, уже превышающее 80 тысяч.

В 1956 году в состав серии «Клуб читателей» войдут: «Любовники» Павла и Ольги Бойяр, «Скалаки» Ирасека, «Гражданин Брих» Яна Отченашека, «Коробочка живых» Норберта Фрида, «Целина» Иозефа Секеры; из произведений иностранных авторов в серию включены: «Анна Каренина» Льва Толстого, «Русский лес» Леонида Леонова, «Сайлас Тимбермен» Говарда Фаста, «Собственник» Джона Голсуорси, «Диктатор Бандерас» Рамона дель Валье Инклана, один из романов Золя.

В иллюстрированную серию входят «Те, кто в офсайде» Карела Полачека, «Фотографии» Иозефа Судека, «Ештедские рассказы» Каролины Светлой, «Винные погреба» Бласко Ибаньеса и «Белый кит» Германа Мельвиля.

Каждый подписавшийся более чем на четыре книги основной серии получает в виде премии «Поэтический альманах 1956 года», в который будут включены лучшие стихи чешских и словацких поэтов, опубликованные в 1956 году.

ЮБИЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТЕАТРА СЛОВАКИИ

Народы Чехословакии отмечают в этом году тридцатипятилетие существования словацкого профессионального театра. В ознаменование этой даты на сцене вновь открытого театра в Братиславе была поставлена трагедия «Ирод и Иродиада» Павла Орсага Гвездослава. Борец за национальную самобытность словацкого народа Гвездослав провозглашает в этой трагедии, созданной на историко-мифологическую тему, передовые для своего времени идеи, сохранившие значимость и для нашего времени.

«Братиславская постановка,— пишет «Культурни живот»,— раскрыла все величие этой трагедии». Газета высоко оценивает качество режиссерской работы и уровень актерской игры. Актеры сумели создать выразительные, индивидуализированные образы и донести до зрителя глубокие и насыщенные содержанием стихи Гвездослава.

СМОТР НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

В Праге состоялся смотр народного творчества. В столицу съехалось триста ансамблей и пятьсот солистов — всего около десяти тысяч певцов, танцоров, музыкантов, декламаторов, рассказчиков, кукольников и оркестрантов, отличившихся в течение 1954—1955 годов на областных смотрах.

«Без всякого преувеличения можно сказать,— пишет журнал «Свет в образех»,— что этот фестиваль народного творчества прошел с подлинным триумфом. Он не только продемонстрировал богатство народных песен и танцев, которыми по праву гордится наша страна; одновременно (и это самое замечательное) он показал, что родники народного творчества не иссякли, что оно не сдано в архивы и музеи. Во всех районах страны рождаются новые песни и танцы; их создатели следуют народным традициям и в то же время отражают мысли и чувства своих современников — граждан народно-демократической Чехословакии».

ЧИЛИ

НЕДЕЛЯ КИТАЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ

В Чили прошла неделя китайской культуры, организованная чилийско-китайским институтом культуры. Она была открыта большим собранием в университете Сант-Яго; с сообщением о своей поездке в Китай выступил президент института сенатор Сальвадор Альенде.

Затем в течение недели в стране проводились лекции и беседы о Китае,

устраивались концерты, демонстрировались китайские кинофильмы.

СБОРНИК РАССКАЗОВ БАЛЬДОМЕРО ЛИЛЬО

В издательстве «Зигзаг» вышел сборник избранных рассказов крупнейшего чилийского писателя-реалиста начала двадцатого века Бальдомеро Лильо. Выход сборника приурочен к пятидесятилетию издания его книги «Под землей», рисующей тяжелую жизнь и труд рабочих угольных копей Чили.

Бальдомеро Лильо прекрасно знал жизнь шахтеров и посвятил ее описанию значительную часть своего творчества. Он показал также быт и обычаи чилийского народа.

Сборнику предпослана обстоятельная статья писателя Никомедеса Гусмана. Характеризуя творчество Лильо, Гусман пишет, имея в виду чилийскую литературу: «Никто не дает более сильной и более полной галереи человеческих образов, чем этот неутомимый мастер».

ЧИЛИЙСКИЙ ПИСАТЕЛЬ О НАРОДНОЙ РУМЫНИИ

В начале этого года вышла книга писателя и журналиста Грегорио Герра «Рассвет в странах народной демократии». Автор по приглашению румынских общественных организаций посетил в 1952 году Румынию и за время своего пребывания в этой стране ознакомился с различными сторонами ее жизни. В написанной им книге Герра рассказал чилийскому читателю о жизни трудящихся Румынии, о развитии культуры при народно-демократическом строе, о своих встречах с артистами и учеными, о культурном и научном сотрудничестве Румынии и Советского Союза.

Книга Грегорио Герра сочувственно встречена рядом чилийских газет и журналов. Общественно-политический журнал «Вистасо» посвятил ей большую рецензию.

Известный чилийский художник Хосе Вентурелли вынужден был в результате преследований со стороны реакции покинуть свою страну. Ныне он находится в Китайской Народной Республике.

Выставка его последних работ была открыта в Берлине. Помещаем один из представленных на этой выставке рисунков — «Китайские женщины».

(Газета „Нейес Дейчланд")

ШВЕЙЦАРИЯ

ЭПИСТОЛЯРНОЕ НАСЛЕДИЕ ГОТФРИДА КЕЛЛЕРА

В Берне завершена четырехтомная публикация эпистолярного наследия классика швейцарской литературы Готфрида Келлера (1819—1890).

В его творчестве литературная переписка, публицистические письма «к государству и обществу» занимают виднейшее место.

В связи с выходом в свет последнего тома швейцарская пресса характеризует всю публикацию в целом как важное культурное событие. Газета «Нейе цюрхер цейтунг» утверждает: «Это собрание писем, которое Швейцария может считать национальным документом». Литературно-библиографический ежемесячник «Швейцер Бюхерцейтунг» отмечает, что «каждый любитель литературы и исследователь отныне будет брать в советчики это издание келлеровских писем как значительное достижение нашей культуры».

ЭКВАДОР

ДЕСЯТИЛЕТИЕ „ДОМА КУЛЬТУРЫ"

Газеты отметили десятую годовщину деятельности «Дома эквадорской культуры» и выхода одного из его основных печатных органов — журнала «Летрас дель Эквадор».

Еще до его создания представители прогрессив-

ной интеллигенции вели борьбу за развитие национальной культуры и просвещения в своей небольшой стране. В результате их усилий десять лет назад в столице Эквадора г. Кито был организован «Дом эквадорской культуры». За десять лет он превратился в центр объединения молодых культурных сил страны.

Издательство «Дома эквадорской культуры» выпустило более семидесяти пяти книг национальных и зарубежных авторов. Среди них такие произведения, как роман Нельсона Эступиньяна Басс «Когда цветут гуайаканы» *, посвященный революционному движению негров и мулатов в начале XX века, и многотомная монография Альфредо Пареха Дьескансеко «История Эквадора».

«Дом эквадорской культуры» издает несколько журналов (литературно-художественный журнал «Летрас дель Эквадор», журналы «Дом эквадорской культуры», «Просвещение», «Философия», Бюллетень научной информации и Бюллетень исторического архива).

Созданная в этом году балетная труппа «Дома эквадорской культуры» поставила национальный балет «Куманда». Либретто создано по произведению писателя Хуана Леона Мера, музыка написана молодым эквадорским композитором Клаудио Айзага.

Деятельность «Дома эквадорской культуры» встречает единодушную поддержку у населения. Корреспондент аргентинской газеты «Нотисиас графикас» свидетельствует: «Я пересек Эквадор с севера на юг, от Гуайякила до колумбийской границы... Я никого не спрашивал о нем, но все без исключения мне говорили о «своем Доме» горячо, с энтузиазмом, с большой сердечностью и глубоким уважением... Столь единодушная любовь населения многое говорит об этой организации и о ее деятельности».

«Дом эквадорской культуры» имеет свои филиалы в стране.

* Гуайакан — дерево, характерное для флоры Южной Америки и весьма распространенное в странах этого континента.

ЮГОСЛАВИЯ

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ СТРАНЫ

В настоящее время в Югославии издается более тридцати литературных газет и журналов. За последние два с лишним года в стране вышло 33 романа, 75 сборников рассказов, 91 сборник стихов, 29 драматических произведений.

Союз писателей уделяет сейчас немало внимания подготовке и изданию собраний сочинений классиков и современных авторов.

Все эти факты, характеризующие развитие литературной жизни страны, привел в своем отчетном докладе на последнем съезде писателей в Охриде генеральный секретарь союза Александр Вучо.

Он же сообщил о расширении связей между писателями Югославии и их зарубежными коллегами. Согласно данным, содержащимся в том же докладе, за последнее время Югославию посетило 127 иностранных литераторов, публицистов и журналистов.

В свою очередь, 55 югославских писателей побывали за рубежом.

ОТКРЫТИЕ МУЗЕЯ НА ОСТРОВЕ БРИОНИ

На острове Бриони открыт Археологический музей; как сообщает газета «Борба», открытие музея представляет собой значительное явление в культурной жизни Истринского края.

Экспонаты музея собраны усилиями местного населения при поддержке Археологического музея города Пулы.

ВЫСТАВКА ДРЕВНИХ КНИГ В ДУБРОВНИКЕ

В Дубровнике открылась выставка древних книг. Она занимает три зала.

В одном из них представлены первые книги-инкунабулы, набранные печатниками Андреем Палташичем, Добричем Добричевичем, Кориоланом Чипико и Матием Цердонисом.

Среди этих экспонатов имеется много редких экземпляров и уникальных книг, которых нет в других библиотеках мира.

Художественная литература XVIII века представлена на выставке редкими изданиями произведений Игната Джурджевича, Аницы Бошкович, Раймунда Кунича, Андрея Качич-Миошича, Доситея Обрадовича и др.

На выставке также имеются редкие экземпляры некоторых журналов, в том числе «Славяно-сербского магазина», напечатанного в Венеции в 1768 году, а также ряд книг, изданных и отпечатанных в Дубровнике в конце XVIII века.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Поль Элюар (1895—1952) — известный французский поэт и общественный деятель. В 1953 году ему посмертно была присуждена Международная премия мира.

Стихотворение «Свобода» печатается в новом переводе.

Ньоу Чо — молодой бирманский поэт. Стихотворение «Рассвет» взято из альманаха Рангунского университета. (1951—52 г.г.).

Михай Бенюк (род. в 1909 году) — известный румынский поэт, лауреат Государственной премии первой степени (1952 г.), академик. В литературу вошел в 30-е годы.

Мария Домбровская (род. в 1892 году) — одна из старейших польских писательниц. Свою литературную деятельность начала в двадцатых годах книгами для молодежи. Широкую известность принесли писательнице сборник рассказов «Люди оттуда» (1925 г.), переведенный и на русский язык, и цикл романов «Ночи и дни» (1931—34 г.г.).

В 1954 году появляется повесть Домбровской «Третья осень», рисующая путь старого человека, обретающего, наконец, свое место в жизни новой Польши. В начале 1955 года в журнале «Твурчость» опубликована повесть «На деревне свадьба», вышедшая затем отдельным изданием. Она выражает стремление писательницы старшего поколения отобразить сложный процесс социалистического преобразования польской деревни.

Эти две повести — первые обращения Домбровской к тематике современной польской действительности. В середине 1955 года Домбровская за свою литературную деятельность удостоена Государственной премии первой степени. В одном из ближайших номеров редакция предполагает напечатать статью о творчестве М. Домбровской.

Говард Фаст (род. в 1914 году). Советский читатель хорошо знаком с творчеством прогрессивного американского писателя, лауреата Международной Сталинской премии «За укрепление мира между народами» Говарда Фаста, автора многих романов, рассказов, публицистических и литературно-теоретических работ. Помещенный в этом номере рассказ «Христос в Куэрнаваке» прислан журналу самим автором.

Мухаммед Диб (род. в 1920 году) — прогрессивный алжирский писатель. В качестве журналиста Диб сотрудничал в ряде алжирских, французских и швейцарских периодических изданий. Повесть «Большой дом» — первая часть начатой Дибом трилогии «Алжир» — вышла в 1952 году. Вторая часть трилогии «Пожар», опубликованная в 1954 году, описывает борьбу батраков-феллахов против колонизаторов.

Пабло Неруда (род. в 1904 году) — крупнейший поэт Чили, видный общественный деятель, лауреат Международной премии мира и Международной Сталинской премии «За укрепление мира между народами». Его стихи (сборник «Испания в сердце», поэма «Да пробудится лесоруб», поэма «Всеобщая песнь» и др.) известны советскому читателю. «Ода радости», перевод которой публикуется в этом номере, взята из сборника «Оды простым вещам» (1954).

Главный редактор **А. Б. Чаковский.**

Редакционная коллегия:

И. И. Анисимов, М. Я. Аплетин, М. О. Ауэзов, Н. Н. Вильмонт, С. А. Герасимов, С. А. Дангулов (зам. главного редактора), **Т. Л. Мотылева, Л. В. Никулин, С. В. Образцов, С. П. Щипачев**

Адрес редакции: Москва, ул. Воровского, д. 52, журнал «Иностранная литература». Телефоны Д 5-17-83; Д 5-19-81; Д 5-17-10

Художеств. редактор *М. М. Милославский.* Технический редактор *А. М. Королев*

А05761. Сдано в производство 14/IX 1955 г. Подписано к печати 21/X 1955 г. Учетно-изд. листов 27,8. Бумага 70×108$^{1}/_{16}$=9,1 бум. л., 24,7 печ. л., в т/ч 1 вкл. Зак. 434. Изд. № 19/2909. Цена 10 руб.

Министерство культуры СССР. Главное управление полиграфической промышленности. 13-я типография. Москва, Гарднеровский пер., 1а.

Цена 10 руб.